





МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА»
1979

Иоганн Вольфганг



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ДЕСЯТИ ТОМАХ

Москва
«Художественная литература»
1979

Иоганн Вольфганг



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ ВОСЬМОЙ

ГОДЫ СТРАНСТВИЙ ВИЛЬГЕЛЬМА МЕЙСТЕРА,
ИЛИ ОТРЕКАЮЩИЕСЯ

*Перевод с немецкого
С. Ошерова*

Москва
«Художественная литература»
1979

И (Нем)
Г 44

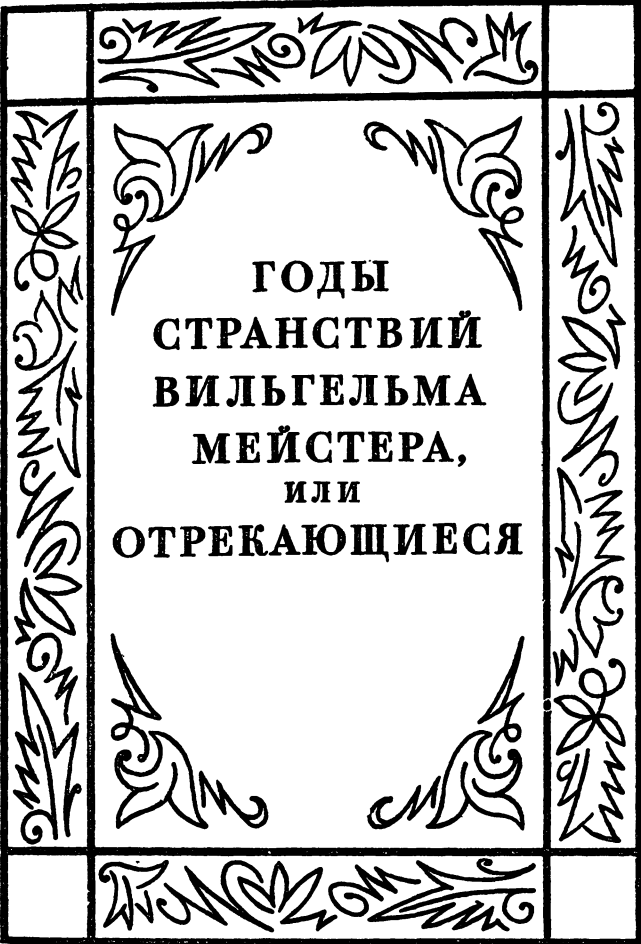
Под общей редакцией
А. Анкста и Н. Вильмонта

Комментарии
А. Анкста

Оформление художника
А. Лепятского

Г $\frac{70304-374}{028(01)-79}$ подписное

**© Перевод, комментарии. Издательство
«Художественная литература», 1979 г.**



**ГОДЫ
СТРАНСТВИЙ
ВИЛЬГЕЛЬМА
МЕЙСТЕРА,
ИЛИ
ОТРЕКАЮЩИЕСЯ**

КНИГА ПЕРВАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Бегство в Египет

Вильгельм сидел под сенью могучей скалы, в том примечательном месте, где обрывистая дорога резко поворачивала и шла под уклон. Солнце стояло еще высоко и озаряло верхушки сосен в теснинах у ног путника. Едва он занес что-то в записную книжку, как Феликс, карабкавшийся вверх и вниз по крутизне, подошел к нему, протягивая в руке камень.

— Как этот камень называется? — спросил мальчик.

— Не знаю, — ответил отец.

— А что в нем так блестит, — верно, золото?

— Это не золото; помнится мне, люди зовут его «кошачьим золотом».

— Кошачье золото! — со смехом отозвался мальчик. — А почему кошачье?

— Потому, как видно, что оно фальшивое, а кошки тоже считаются животными фальшивыми.

— Надо это запомнить, — сказал сын, сунул камень в кожаную дорожную сумку и тотчас извлек из нее еще что-то. — А это что такое? — спросил он.

— Какой-то плод, — отвечал отец, — судя по этим чешуйкам, сродни еловым шишкам.

— Совсем и не похоже на шишку! Ведь эта штука круглая.

— Спросим у лесника; они знают весь лес и все шишки и ягоды, знают, как сеять, как сажать деревья, они умеют ждать, дают стволам вытянуться и набрать росту.

— Лесники все знают; вчера только наш проводник показал мне, где олень перешел дорогу. Он позвал меня назад,

чтобы я посмотрел «натопы» — так он назвал след. Сам я пробежал было мимо, а тут увидел, как ясно отпечаталось раздвоенное копыто; олень, наверно, был крупный.

— Я слышал, как ты расспрашивал проводника.

— Он хотя и не лесник, но знал очень много. А я хочу стать лесником. Ведь как это хорошо: весь день быть в лесу, слушать птиц, знать, как их называют, и где их гнезда, и как добыть из гнезд яйца и птенцов, и какой нужен корм, и когда ловить взрослых птиц. Вот это радость!

Едва это было сказано, как выше них на крутой дороге показалось нечто не совсем обычное. Сверху вприпрыжку бежали друг за другом двое мальчиков, красивых, как ясный день, в ярких курточках, больше похожих на подпоясанные рубашки. Вильгельму удалось подробней рассмотреть их, когда они, прервав бег, на мгновенье застыли перед ним. С головы старшего ниспадали обильные белокурые пряди, их-то прежде всего и замечал взгляд, только потом его привлекали и голубые глаза, и весь облик, прелестью которого можно было любоваться без конца. Второго мальчика скорее можно было принять за его товарища, нежели за брата: волосы его, темные и прямые, опускались по плечам, и казалось, будто отблеск их отражается в его глазах.

Однако Вильгельм не успел внимательней рассмотреть эти существа, так странно и неожиданно появившиеся в столь дикой местности, потому что мгновенье спустя он услышал из-за скалы, скрывавшей поворот дороги, мужской голос, крикнувший строго, но не сердито:

— Что вы там встали? Не загораживайте нам путь!

Вильгельм взглянул вверх, — и если встреча с детьми пемало удивила его, то зрелище, представшее сейчас его взору, повергло его в совершеннейшее изумление. Молодой мужчина, крепкий и ладно сложенный, хотя и невысокого роста, черноволосый и загорелый, в подпоясанной легкой одежде, твердо и вместе осторожно шагал вниз по скалистой дороге, ведя в поводу осла; сперва показалась раскормленная и чистая морда, а потом и прекрасный груз, который осел нес на крестце. В широком, красиво обитом седле ехала тихая миловидная женщина, окутанная голубым плащом, под ним она прижимала к груди новорожденного младенца и глядела на него с несказанной нежностью. Тот, кто вел осла, при виде Вильгельма на мгновение замер на месте, точь-в-точь как мальчики, животное замедлило шаг, но спуск был слишком крут, шествие не могло остановиться, и Вильгельм с изумле-

нием провожал его глазами, пока оно не скрылось за отвесной скалой.

Столь редкостное зрелище, разумеется, оторвало Вильгельма от размышлений. Он поднялся с места и стал с любопытством глядеть вниз — не появятся ли опять необычайные путники. Когда он уже собрался было спуститься и поздороваться с ними, снизу подошел Феликс и сказал отцу:

— Можно мне пойти к этим мальчикам? Они хотят взять меня к себе домой. И ты тоже пойди — так мне сказал тот человек. Идем, они ждут внизу.

— Я хочу с ними поговорить, — отвечал Вильгельм.

Он нашел их на дороге, там, где она шла не так круто, и опять залюбовался дивной картиной, столь привлекавшей его. Только теперь мог он заметить некоторые особые их черты: так, молодой силач нес на плече топор-тесак и длинный, гибкий стальной наугольник, дети держали в руках вязки тростника, словно то были вайи; но если этим они напоминали ангелов, то корзиночки со съестным у них за спиной делали их похожими на обыкновенных проводников, что дель за днем снуют туда и сюда через горы. Присмотревшись поближе, наш друг заметил, что у матери под синим плащом было красное, неяркого цвета платье, и поэтому поневоле изумился, обнаружив перед собою во плоти то самое бегство в Египет, которое столько раз видал на картинах.

Мужчины поклонились друг другу, и меж тем как Вильгельм, пристально созерцавший молодого прохожего, от изумления не мог вымолвить ни слова, тот произнес:

— Наши дети подружились в один миг, так не угодно ли и вам пойти с нами? Посмотрим, быть может, и между взрослыми завяжутся добрые отношения.

Вильгельм, подумав немного, отвечал:

— Ваше семейное шествие одним своим видом внушает доверие и приязнь и, признаться откровенно, также любопытство и желание узнать вас поближе. Ведь в первый миг хочется задать себе вопрос, истинные ли вы путники или же духи, которые тешатся, оживляя приятными видениями эти неприветливые горы.

— Так пойдете в наше жилище! — сказал прохожий.

— Пойдете с нами! — закричали дети, увлекая за собой Феликса.

— Пойдете с нами! — сказала и женщина, и взгляд ее, оторвавшись от младенца, излил ту же нежную приязнь на незнакомца.

Но Вильгельм без колебаний ответил:

— Мне очень жаль, но я не могу сей же час последовать за вами. Хотя бы нынешнюю ночь мне придется провести в доме на перевале. Мой чемодан, мои бумаги — все осталось наверху, не уложенное и без присмотра. А чтобы доказать мою добрую волю принять ваше любезное приглашение, я отдаю вам в заложники Феликса. Завтра же буду у вас. Далеко к вам идти?

— Мы попадем к себе еще до заката, — ответил плотник, — а от дома на перевале ходу не больше полутора часов. На эту ночь членом нашей семьи станет ваш мальчик, а завтра мы ждем и вас.

Мужчина и ослик тронулись с места. Вильгельму было видеть Феликса в такой компании, он сравнивал сына с обоими ангелочками, от которых тот так сильно отличался. Для своих лет Феликс был не слишком высок, но кряжист, широк в груди и крепок в плечах; в его натуре странно смешались потребности повелевать и служить; он уже завладел пальмовой ветвью и корзинкой, в чем, по всей видимости, и обнаружались обе эти склонности.

Шествие должно было вот-вот вновь скрыться за отвесной скалой, когда Вильгельм, спохватившись, крикнул вслед:

— Как мне вас спросить?

— Спросите Святого Иосифа, — слышалось снизу, и видение исчезло за синевой стеной тени. Издали донесся, постепенно затихая, благочестивый многоголосный хорал, и Вильгельму почудилось, будто он различает голос Феликса.

Поднимаясь все время в гору, он отсрочил миг солнечного заката. Небесное светило, которое он не раз терял из виду, вновь заливало его лучами, едва он поднимался выше, и до своего пристанища Вильгельм добрался еще засветло. Еще раз полюбовавшись широким видом окрестных гор, он удалился затем к себе в комнату, где немедленно взялся за перо, и часть ночи провел в писании письма.

Вильгельм — Наталии

Вот наконец и достиг я вершины — той вершины хребта, что отныне разделит нас более неодолимой преградой, чем доселе вся ширь равнин. Для моего чувства любимые остаются рядом до тех пор, пока потоки стремятся от нас в их сто-

рону. Сегодня я еще могу вообразить себе, что если я брошу ветку в лесной ручей, она, может статься, доплывет до нее и всего лишь через несколько дней прибьется к берегу в ее саду; и точно так же дух наш легче посылает вниз по склону образы, а сердце — чувства. А по ту сторону гор, я боюсь, и воображение и чувство встретят перед собою глухую стену. Но, быть может, тревога преждевременна, и там, за горами, все будет так же, как здесь. Что может встать преградой между мною и тобой — тобой, кому я принадлежу навечно, хотя странная судьба и разлучает нас, неожиданно замыкая передо мною двери близкого рая? У меня было время решиться, и все же мне не хватило бы и более долгого времени, чтобы набраться решимости, если бы в тот роковой миг я не почерпнул ее в твоих устах, на твоих губах. Как бы я мог оторваться от тебя, если бы уже не была спрядена та прочная нить, которая должна связать нас на годы, навеки? Я не желаю преступать твои кроткие заповеди: здесь, на этой вершине, я произнесу перед тобой слово «разлука» в последний раз. Моя жизнь должна стать странствием. В этом странствии я должен буду исполнять необычные обязанности и пройти совсем особые испытания. Порой я улыбаюсь, перечитывая условия, которые предписало мне Общество, которые я предписал себе сам. Многие из них я выполняю, многие нарушаю; но при каждом нарушении этот листок — свидетельство моей последней исповеди и последнего отпущения — заменяет мне наказания совести, и я возвращаюсь на праведный путь. Я стал осмотрителен, и мои проступки уже не набегают друг на друга, как бурливые воды горного потока.

Но сознаюсь тебе, что нередко дивлюсь тем учителям и наставникам людских душ, которые возлагают на своих учеников одни лишь внешние, механические обязанности. Этим они только облегчают жизнь и себе и всем. Ведь как раз ту часть моих обязательств, которая сначала представлялась мне самой обременительной и непонятной, я выполняю с наибольшей легкостью и охотой.

Я не имею права оставаться под одним кровом долее, чем на три дня. Я должен, покинув свое пристанище, удалиться от него не меньше, чем на милю. Эти запреты поистине созданы затем, чтобы превратить годы моей жизни в годы странствий и оградить мою душу от малейшего соблазна оседлости. Этим условиям я подчинялся до сей поры неукоснительно и даже ни разу не воспользовался дозволенным мне сроком. Здесь я впервые сделал привал, впервые сплю третью ночь

в одной постели. Отсюда я шлю тебе многое из того, что успел услышать, увидеть, накопить, а ранним утром двинусь вниз по противоположному склону, сперва к одному необычайному семейству, мне бы даже хотелось сказать, святому семейству, — в моем дневнике ты найдешь о нем побольше. А теперь прощай и, откладывая этот листок, постигни сердцем, что он должен сказать тебе только одно, и только одно хотел бы говорить и повторять, но не желает ни говорить, ни повторять до тех пор, пока я вновь не обрету счастья пасть к твоим ногам и плакать обо всех моих лишениях, обливая твои руки слезами.

Наутро

Все уложено. Проводник приторачивает чемодан на крюки. Солнце еще не взошло, туман клубится, вздымаясь, словно пар, изо всех ущелий, но наверху небо ясно. Мы спускаемся в мрачные глубины, но скоро и там у нас над головой прояснится. Позволь, чтобы последний взгляд, обращенный в твою сторону, увлажнился невольной слезой! Я решителен и тверд. Больше ты не услышишь от меня жалоб; ты услышишь лишь о том, что встретилось страннику в пути. И все же, пока я собираюсь кончить письмо, в душе теснятся тысячи помыслов, желаний, надежд и намерений. По счастью, меня уже гонят прочь. Проводник зовет, а хозяин гостиницы прибирается прямо в моем присутствии, как будто меня уже нет, — совсем как те бесчувственные, опрометчивые наследники, которые, не стесняясь присутствием умирающего, открыто готовятся вступить во владение его добром.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Святой Иосиф Второй

Уже наш странник, спускаясь по пятам за проводником, оставил позади и выше крутые скалы, уже пересекали они не столь суровую срединную полосу склона и спорым шагом шли через ухоженные леса и приветливые луга, все вперед и вперед, пока не очутились наконец у косогора и не заглянули с него вниз, в тщательно возделанную долину, замкнутую в кольцо холмов. Прежде всего внимание Вильгельма привлек обширный монастырь, частью сохранившийся, частью лежавший в развалинах.

— Это и есть святой Иосиф,— сказал проводник.— Жалко такой красивой церкви! Смотрите, вон там, среди кустов и деревьев, виднеются ее колонны и столпы, целехонькие, хоть сама она уже много веков, как рухнула.

— А братские кельи, я вижу, целы и невредимы,— отозвался Вильгельм.

— Да,— сказал его спутник,— здесь-то и живет управляющий, который смотрит за хозяйством и взимает подать и десятину, которой обложено много сел вокруг.

За такую беседой они вошли в отворенные ворота на просторный двор, окруженный почтенного вида строениями, совсем неповрежденными. Тут перед ними предстала мирная картина: Вильгельм увидел своего Феликса вместе с давешними ангелами, они собрались вокруг какой-то дюжей женщины, перед которой стояла корзина, и покупали вишни,— хотя настоящим покупщиком был один Феликс, у которого всегда водилось при себе немного денег. Тотчас же сделавшись из гостя хозяином, он стал щедро оделять приятелей ягодой; даже и отцу приятно было подкрепиться ею среди здешних мшистых, бесплодных лесов, где яркие блестящие вишни выглядели еще красивей. Желая выставить приемлемой цену, которая покупателям показалась чересчур высокой, торговка объяснила, что носит ягоду сюда, наверх, издалека, из большого сада. Дети сказали Вильгельму, что отец скоро вернется, а он тем временем пусть пойдет в залу немного отдохнуть.

До чего же удивился Вильгельм, когда дети отвели его в помещение, именуемое «залой». Прямо со двора они вошли в широкие двери — и наш странник очутился в очень чистой и ничуть не поврежденной часовне, которая, однако, как он обнаружил, была приспособлена для повседневных надобностей домашней жизни. По одну сторону стоял стол с креслом и несколько стульев и лавок, по другую были красивой резьбы полки и на них — пестро расписанная глиняная посуда, стеклянные кувшины и стаканы. Еще там были сундуки и лари, и хотя в зале царил порядок, все в ней оживлялось прелестью повседневных домашних забот. Свет падал в часовню сбоку из высоких окон. Но более всего заняли внимание странника писанные красками по стене картины, которые шли под окнами, но довольно высоко и, словно ковры, украшая три стороны часовни, спускались вплоть до деревянной обшивки, покрывавшей низ стены до полу. Картины изображали житие святого Иосифа. Здесь представал он взгляду,

занятый плотничьей работой; там он встречал Марию, из земли между ними росла лилия, а сверху на них поглядывали реюющие ангелы. Здесь было его обручение, там — благовещенье. Тут он сидит в расстройстве, оставив начатую работу, бросив топор, и помышляет оставить жену. Но там во сне ему является ангел, и все в нем переменяется. С благоговением взирает он на новорожденного младенца в вифлеемском хлеву и молится ему. Затем следует особенно прекрасная картина. На ней видно множество обтесанных брусьев; скоро должны их сложить в сруб, и случайно два бруса составили крест. Младенец уснул на кресте, мать, присев рядом, с сердечной любовью на него взирает, приемный отец прерывает работу, чтобы не разбудить его. Сразу после этой картины изображено бегство в Египет. На губах засмотревшегося странника оно вызвало улыбку, потому что здесь, на стене, он увидел точное повторение вчерашней живой картины.

Вильгельму не дали долго предаваться созерцанию, в залу вошел хозяин, которого он тотчас узнал: то был давешний вожатый святого каравана. После искренних приветствий завязался разговор обо многих предметах, но внимание гостя было занято росписями. Хозяин заметил его интерес и начал с улыбкой:

— Вас, конечно, удивляет соответствие между этой постройкой и ее обитателями, с которыми вы вчера познакомились. Соответствие это даже более странно, чем можно вообразить: ведь именно постройка создала своих обитателей такими. Ибо если безжизненное живо, оно может произвести на свет нечто живое.

— О да, — отвечал Вильгельм, — мне было бы странно, если бы дух, с такою мощью действовавший в этих пустынных горах много веков назад, столь могуче воплотившийся в этих постройках, угодьях, правах и за то распространявший в округе всяческое просвещение, — мне было бы странно, если бы он даже среди нынешних развалин не явил бы на живом существе своей животворящей силы. Но оставим общие рассуждения; лучше поведайте мне вашу историю, дабы я узнал из нее, как вы сумели, не впадая в кощунственную игру, повторить образы прошлого так, что давно минувшее воротилось снова.

Вильгельм ожидал от хозяина все объясняющего ответа, когда приветливый голос во дворе выкликнул имя Иосиф. Хозяин, услышав, пошел к дверям.

«Значит, его и зовут Иосиф! — сказал Вильгельм про себя. — Само по себе это достаточно странно, но еще более странно то, что он и в жизни являет образ своего святого».

Он выглянул в дверь и увидел, что с мужем разговаривает вчерашняя Матерь Божья. Потом они разошлись, и жена направилась к стоявшему напротив жилищу.

— Мария, — крикнул вслед ей муж, — послушай-ка еще!

«Значит, ее и зовут Мария! — подумал Вильгельм. — Еще немного, и я почувствую, что перенесся на восемнадцать столетий назад». Тут он представил себе суровую замкнутую долину, где находился сейчас, развалины и тишину и вдруг настроился на какой-то старинный лад. Но в эту минуту вошел хозяин с детьми; мальчики пригласили Вильгельма прогуляться с ними, куда отец управится с делами. Путь их шел через руины многоколонной церкви, чьи высокие шпильцы и стены, казалось, стали лишь крепче от ветров и ненастий, хотя по верху толстых стен давно уже пустили корни могучие деревья, которые вместе с травами, цветами и мхами составили целый сад, дерзко повисший в воздухе. Мягкие луговые тропинки вели вверх, к веселому ручью, и теперь наш странник мог с высоты обозреть монастырь и его окрестность с тем большим интересом, что его обитатели казались ему все примечательнее, а гармония между ними и их окружением пробуждала в нем живейшее любопытство.

Когда они воротились, стол в благочестивой зале был уже накрыт. Кресло во главе его заняла хозяйка. Подле нее стояла высокая плетеная люлька, где лежал младенец; отец сел от нее по левую, Вильгельм по правую руку. Дети расположились в конце стола. Старая служанка подала отлично приготовленные кушанья. Тарелки, кружки, вся посуда тоже напоминали о стародавних временах. Начали с разговора о детях; Вильгельм смотрел на святую мать семейства и не мог налюбоваться ее красотой и осанкой.

После обеда собравшиеся разбрелись, хозяин отвел гостя в тенистый уголок среди руин, откуда можно было с приятностью обозревать всю ширь долины и видеть, одну дальше другой, гряды менее высоких гор с их плодородными склонами и лесистыми гребнями.

— Настало время, — сказал хозяин, — удовлетворить ваше любопытство, тем более что вы — я это чувствую — способны серьезно отнестись даже к людским причудам, если смысл их серьезен. Святая обитель, остатки которой вы видите, была воздвигнута во имя святого семейства, она исстари прослави-

лась многими чудесами и стала местом паломничества. Церковь во имя матери и младенца разрушилась уже много веков назад. Сохранилась часовня святого Иосифа — приемного отца Христова — и еще частично жилые постройки. Доходы с давних пор перешли к владельцу-мирянину, который держит здесь управляющего. Я и есть этот управляющий, сын прежнего управляющего, который тоже был преемником своего отца на этой должности.

Хотя всякое богослужение прекратилось здесь много лет назад, святой Иосиф оказывал так много благодеяний нашему семейству, что нет ничего странного, если мы были особенно ему преданны. Так и вышло, что меня окрестили Иосифом и тем отчасти определили мою жизнь. Подросши, я охотно помогал отцу в сборе податей, но с еще большей охотой пособлял матери, которая с радостью раздавала, что могла, и была известна и любима по всем горам за свою доброту и благодеяния. Она посылала меня то отнести, то передать, то устроить что-нибудь, и я скоро освоился с этим богоугодным ремеслом.

Вообще жизнь в горах человечнее, чем жизнь на равнине. Здешные обитатели ближе друг другу и, если угодно, дальше; потребности их не столь велики, но более настоятельны. Человек больше предоставлен сам себе и поневоле научается полагаться на свои руки и ноги. Он и работник, и проводник, и носильщик — все в одном лице; каждый здесь ближе к другому, люди чаще встречаются и живут сообща, занятые одними заботами.

Когда я был еще мал и не мог много таскать на плечах, мне пришлось в голову завести ослика с вьючными корзинами и гонять его вверх и вниз по отвесным тропам. Осел в горах вовсе не такое презренное животное, как на равнине, где батрак, если у него в плуг впряжены лошади, величается перед другим, который перепахивает поле на волах. И совсем уж без стеснения стал я ходить вслед за осликом, когда еще ребенком увидел в часовне, что этому животному выпала честь везти на своем хребте бога и пресвятую мать его. Впрочем, тогда часовня была не в том виде, что в нынешнее время. Ее превратили в кладовую, даже в сарай. Вся она была загромождена поленьями, жердями, сельскими орудиями, бочками, лестницами и еще чем попало. К счастью, росписи там высоко, а обшивка на стенах довольно прочна. Но для меня уже в детстве величайшим удовольствием было карабкаться по всем поленицам и рассматривать картины, которые никто

не мог мне толком объяснить. Я знал только, что крещен в честь святого, чье житие нарисовано наверху, и любил его так, словно он мой родной дядя. Я подрастал, и так как особое условие обязывало всякого, кто притязал на доходное место управляющего, владеть каким-нибудь ремеслом, то и я должен был по воле родителей, желавших передать мне в наследство выгодное владение, обучиться ремеслу, и притом непременно полезному в хозяйстве здесь, на горах.

Мой отец был бочар и один на всю округу выполнял всю потребную по этой части работу, отчего и он и все получали немалую выгоду. Но я не мог решиться стать и в этом его преемником. Неодолимо влекло меня к плотничьему ремеслу, все орудия которого я с малых лет видел тщательно изображенными рядом с моим святым. Я объявил о своем желании; родители ничего против не имели, тем более что для всяческих построек у нас частенько требуются плотники, а у кого руки ловки и есть любовь к более тонкой работе, тому, особенно в лесистой местности, недолго стать столяром и резчиком. Но особенно укрепляла меня в таких высоких стремлениях одна картина,— сейчас она, к сожалению, почти совсем стерлась, но, зная, что на ней представлено, вы сможете ее разобрать, когда я вас к ней подведу. Святому Иосифу заказали ни больше ни меньше, как трон для царя Ирода. Роскошный престол следует воздвигнуть между двух заранее указанных колонн. Иосиф тщательно измеряет ширину и высоту и делает драгоценный трон. Но как удивлен он, как смущен, когда, доставив престол на место, обнаруживает, что тот слишком велик в высоту и мал в ширину. С царем Иродом, как известно, были шутки плохи, и благочестивый плотник оказался в большом затруднении. Младенец Христос, привыкший повсюду сопровождать его и в смиренной детской игре носить за ним орудия, замечает беду и желает немедленно помочь словом и делом. Чудесное дитя требует, чтобы приемный отец взялся за трон с одной стороны, само берется с другой, и оба начинают тянуть. Легко и просто, будто кожаный, резной трон растягивается в ширину, соответственно убавляется в высоте и отлично устанавливается на место, к великому утешению успокоенного мастера и к полному удовольствию царя.

В мои детские годы этот трон был еще хорошо виден, да и вы по остаткам одной его стороны заметите, что резьбы для него не пожалели; ведь живописцу она далась легче, чем далась бы плотнику, если бы от него такой работы требовали,

Но никаких опасений это мне не внушало, наоборот, ремесло, которому я посвятил себя, виделось мне особенно почетным, и я не мог дожидаться, когда же наконец отдадут меня в учение. Исполнить это было нетрудно: по соседству от нас жил мастер, который работал на всю округу, так что мог занять в деле многих учеников и подмастерьев. Поэтому я остался при родителях и жил по-прежнему,— в том смысле, что отдавал часы и дни досуга благотворительным поездкам, которые мать поручала мне, как и раньше.

Посещение Елизаветы Марией

— Так прошло несколько лет,— продолжал свой рассказ хозяин.— Я быстро постиг все преимущества моего ремесла, тело у меня развилось от работы, так что мне было по силам все, чего она требовала. Вдобавок я по-прежнему служил моей добросердечной матушке, или, вернее, больным и нуждающимся: ходил с осликом по горам, раздавал, кому следовало, его поклажу, а обратно привозил от купцов и разносчиков все, чего не было у нас в горах.

Мною были довольны и мастер и родители. Странствуя по округе, я с радостью видел там и сям дома, которые возводил вместе с другими или украшал. Потому что обтесывать балки по концам и вырезывать на них незамысловатые фигуры, выжигать узоры и закрашивать алым углубления, словом, делать всю ту искусную работу, благодаря которой деревянные домики в горах выглядят так весело, поручалось чаще всего мне: с этим я справлялся лучше остальных, постоянно имея в памяти трон Ирода и его украшения.

Из числа нуждающихся в помощи под особой опекой матушки были молодые женщины, ожидавшие потомства; я сам постепенно заметил это, потому что в таких случаях смысл посольства держали от меня в тайне. Прямых поручений я тогда не получал, дело велось через повивальную бабу, которая жила неподалеку, ниже по склону, и звалась госпожою Елизаветой. Моя мать, и сама сведущая в том искусстве, которое многим спасало жизнь при самом вступлении в жизнь, всегда была с госпожою Елизаветой в добром согласии, и мне частенько приходилось слышать, что многие наши дюжие горцы обязаны жизнью этим двум женщинам. Таинственный вид, с каким всякий раз принимала меня Елизавета, краткость ее ответов на мои загадочные, непонятные мне самому вопросы заставляли меня почти что благоговеть перед ней, а ее дом,

всегда чисто прибранный, казался мне чем-то вроде маленького святилища.

Постепенно, благодаря моим познаниям и моему ремеслу, я приобрел в семье некоторое влияние. Как отец, будучи бочаром, обеспечивал наш погреб, так на моем попеченье было теперь наше жилище: я, где мог, исправлял поврежденные части старого строения. Особенно успешно удалось мне вновь приспособить для домашних нужд обветшалые амбары и сараи; а как только это было сделано, так я тотчас же принялся освобождать от скарба и чистить мою любимую часовню. За несколько дней я навел порядок, и она стала почти такой же, какой вы ее видели. При этом, заменяя сорванные или поврежденные доски обшивки новыми, я старался в точности подогнать их под старые. И створки входных дверей вы наверняка приняли за старинные, — а они моей работы. Много лет пошло у меня на то, чтобы украшать их резьбою в часы досуга, после того как я сбил их из хорошо пригнанных дубовых плах. Что из росписей к тому времени не было повреждено и не стерлось, то сохранилось и по сей день, а я помог стекольщику строить новый дом с тем, чтобы он вставил в окна цветные стекла.

Если и раньше картины в часовне и мысли о житии моего святого немало занимали мое воображение, то особенно сильно запечатлелись они в моей душе теперь, когда я мог снова смотреть на эту залу как на святилище, проводить в ней, особенно летом, немало времени и на досуге думать о том, что я видел или о чем догадывался. Я испытывал неодолимую склонность во всем следовать святому Иосифу, но, так как вряд ли можно было надеяться, чтобы повторились сходные обстоятельства, я решил начать путь уподобления ему с вещей более обыденных, — что я и сделал уже тогда, когда приспособил под груз ослика. Я считал, что низкорослая скотинка, служившая мне до тех пор, больше мне не подходит, и отыскал себе более статную, раздобыл самой лучшей работы седло, одинаково удобное и для езды, и под вьюки. Припас я и пару новых корзин, а шею осла украшала сетка из разноцветных шнурков, с помпонами и кисточками, с позвякивающей металлической бахромой, так что скоро моей длинноухой твари не стыдно было бы показаться рядом со своим образцом на стене. Никому не приходило в голову насмехаться надо мною, когда я ехал таким образом по горам: ведь в каком бы причудливом обличье ни явилось благодеяние, люди охотно ему это прощают,

Между тем и до наших мест добралась война, или, вернее сказать, ее последствия: стали собираться банды всякого сброда, которые то там, то тут буянили и чинили насилие. Правда, местное ополчение у нас действует хорошо: разъезжая по округе, оно своей мгновенной бдительностью разогнало эту напасть, но слишком скоро все снова впали в беспечность, и не успел никто опомниться, как злодейства повторились снова.

В наших местах долгое время было тихо, и я спокойно странствовал с моим осликом по знакомым тропам, пока однажды не очутился на только что засеянной лесной прогалине и не увидел у обводной канавы сидящую или, вернее, лежащую женщину. Она то ли спала, то ли потеряла сознание. Я стал над ней хлопотать; едва лишь она открыла прекрасные глаза и выпрямилась, как тотчас воскликнула с живостью: «Где он? Вы не видели его?» — «Кого?» — спросил я. Она отвечала: «Моего мужа». При том, как молодо она выглядела, ее ответ был для меня неожидан; но тем охотнее продолжал я о ней заботиться и уверять ее в своем участии. От нее я узнал, что оба они, находясь в пути, из-за трудности дороги отошли от повозки, чтобы пройти короткой тропой. Неподалеку отсюда на них напали вооруженные люди, ее муж, обороняясь, отступал все дальше, она не могла за ним поспеть и осталась здесь, а долго ли пролежала, она сказать не могла. Женщина настойчиво меня просила, чтобы я ее оставил и поспешил к мужу. Она встала на ноги, и я увидел, как она мила и хороша собой, но при этом мне нетрудно было заметить, что ей в самом скором времени может понадобится помощь моей матери и госпожи Елизаветы. Сначала мы немного поспорили: я настаивал, что сперва должен отвести ее в безопасное место, а она настаивала, чтобы я принес ей вести о муже. Она не хотела уходить прочь и терять его след, и все мои доводы остались бы, верно, напрасны, если бы на ту пору через лес не проскакал разъезд наших ополченцев, которых известия о новых злодеяниях заставили взяться за дело. Им было сообщено обо всем, обговорено все необходимое, назначено место встречи, и на первый случай дело оказалось улажено. Я поскорей спрятал корзины в ближней пещерке, которая и прежде не раз служила мне тайным хранилищем, приспособил седло так, чтобы на нем удобней было сидеть, и со странным волнением поднял прекрасную ношу на хребет моего послушного ослика, который сам тотчас же нашел привычную тропу, так что я получил возможность идти рядом.

Вы и без моих долгих описаний представите себе, каково было у меня на душе. Я поистине нашел то, чего искал так долго. То я чувствовал, будто сплю и вижу сон, то словно бы опять просыпался. Небесное создание, которое как бы парило в воздухе, проплывая на фоне зеленых деревьев, порой казалось мне виденьем, навеванным на мою душу росписями в часовне, но порой сами росписи казались мне сонной грезой, которая сейчас рассеялась и претворилась в прекрасную действительность. Я расспрашивал ее, она отвечала мне с кроткой готовностью, как подобает женщине, которая и в горе не забывает приличий. Часто, когда мы пересекали какую-нибудь безлесную вершину, она просила меня остановиться, оглядеться вокруг и прислушаться. В ее просьбах было столько прелести, а в глазах, глядевших из-под длинных черных ресниц, выражалось такое сердечное желание, что я не мог не сделать всего, что было в моих силах; я даже вскарабкался на стоявшую особняком высокую ель без сучьев. Никогда с такой охотой не проделывал я это упражнение, часть моего ремесла, никогда с таким удовлетворением не снимал на гуляньях и ярмарках с верхушек столбов ленты и шелковые платки. Но увы, на сей раз я остался без добычи: и сверху ничего не удалось мне увидеть или услышать. Наконец она сама стала манить меня рукой, призывая спуститься, и даже вскрикнула, когда я на изрядной высоте перестал держаться и спрыгнул вниз, а потом, когда она увидела меня невредимым, лицо ее стало ласковым и приветливым.

Зачем описывать бесчисленные знаки внимания, которыми я всю дорогу старался угодить ей и отвлечь ее? Да и как бы мне это удалось? Ведь таково свойство истинного внимания, что оно способно в один миг сделать из ничего все! Для моего чувства цветы, которые я ей срывал, дальние местности, которые я ей показывал, горы и леса, которые я ей называл, были все равно что драгоценные сокровища, которые я отдавал ей, чтобы с нею сблизиться, подобно тому как люди всегда ищут сближения через подарки.

К тому времени, когда мы прибыли к дверям повивальной бабки, я предался ей на всю жизнь и сейчас с болью предчувствовал миг разлуки. Еще раз оглядел я ее с головы до ног, и когда мой взгляд дошел до ее стопы, я наклонился, как будто собираясь поправить подпругу, и незаметно поцеловал самый милый башмачок из всех, какие мне приходилось видеть. Я помог ей сойти, взбежал на ступени и крикнул в двери: «Госпожа Елизавета, встречайте-ка гостью!» Пови-

туха вышла к нам, и я смотрел, как моя красавица поднялась по ступенькам в дом, сохраняя вид пленительной скорби и печального достоинства, а потом обняла достопочтенную старую женщину и позволила увести себя в комнату. Они заперли дверь, а я стоял с осликом перед крыльцом, как погонщик, который сгрузил драгоценный товар и снова стал прежним бедняком.

Цветок лилии

Я все еще медлил, не решив, что делать дальше, когда вышла госпожа Елизавета и попросила меня позвать к ней матушку, а потом поехать по округе и разузнать, что возможно, о муже ее госты. «Мария тоже вас просит», — добавила она. «А нельзя мне самому с нею поговорить?» — спросил я. «Это не годится», — отвечала она, и на этом мы расстались. Спустя короткое время я был дома; матушка готова была хоть сегодня пойти и помочь чужестранке. Я поспешил на равнину, в надежде получить достоверные сведения у старосты. Однако и его покамест ни о чем не уведомили, а так как мы были знакомы, он пригласил меня заночевать у него. Ночь мне показалась чересчур долгой, все время перед глазами у меня была прекрасная женщина, которая, покачиваясь на осле, глядит на меня скорбно и ласково. С минуты на минуту ждал я известий. Я не желал ее мужу смерти, но все же мне было приятно воображать ее себе вдовой. Прочесавшие округу стражники съезжались один за другим и приносили переменчивые слухи, пока наконец не выяснилось с определенностью, что повозку выручили, но несчастный муж умер от ран в соседней деревне. Я узнал также, что, по предварительному нашему уговору, кто-то из разъезда отправился уже с этой скорбной вестью к госпоже Елизавете. Таким образом, мне там делать было нечего; но все же безмерное нетерпение, бесконечное желание гнало меня через леса и горы к ее дверям. Уже стемнело, дом был заперт, я видел свет в комнатах, видел, как двигаются по занавесям тени, и так сидел на скамейке напротив, то и дело порываясь постучаться, но все время удерживаемый какими-нибудь соображениями.

Стоит ли рассказывать так обстоятельно о предметах все не интересных? Довольно сказать, что и на следующее утро меня не пустили в дом. Печальную весть уже узнали и

во мне более не нуждались: меня отсылали к отцу или на работу, на мои вопросы не давали ответа, от меня хотели избавиться.

Восемь дней поступали со мною таким образом, пока наконец госпожа Елизавета не позвала меня в дом. «Ступайте тише, мой друг, — сказала она, — но не стесняйтесь подойти ближе». Она ввела меня в чисто прибранную комнату, и в углу, за полураздвинутым пологом, я увидел мою красавицу, сидевшую в кровати. Госпожа Елизавета подошла к ней, чтобы предупредить обо мне, подняла что-то с кровати и вынесла мне навстречу дивной красоты мальчика, запеленатого в белоснежный повой. Госпожа Елизавета держала его как раз между мною и матерью, и мне тотчас вспомнился цветок лилии, который на картине рос из земли между Марией и Иосифом, знаменуя чистоту их союза. В тот же миг с сердца моего спал всякий гнет: я более не сомневался в своем деле, в своем счастье. Мне достало сил без смущения подойти к ней, заговорить с нею, выдержать взгляд ее небесных очей, взять на руки младенца и напечатлеть на его челе поцелуй сердечной любви.

«Как благодарна я вам за такое участие к моему сироту!» — сказала мать. Не подумавши, я горячо воскликнул: «Он не будет сиротой, стоит вам только пожелать!»

Госпожа Елизавета, будучи умней меня, забрала ребенка и сумела спровадить меня прочь.

До сего дня, когда мне приходится странствовать по здешним горам и долам, я с особой охотой коротаю время воспоминаниями о той поре. Я могу воскресить в памяти малейшие подробности, которыми, конечно, не стану вас утомлять. Неделя шла за неделей; Мария поправилась, я мог чаще видиться с нею, оказывая ей одну за другой услуги и знаки внимания. Семейные обстоятельства позволяли ей проживать, где она сочтет за благо. Сперва она не покидала госпожу Елизавету, потом навестила нас, чтобы поблагодарить матушку и меня за дружескую помощь. У нас ей понравилось, и я льстил себя мыслью, что это отчасти из-за меня. Но то, что я больше всего хотел и не осмеливался ей сказать, чудесным образом сказалось само собой, едва я привел ее в часовню, уже тогда превращенную мною в годную для жилья залу. Одну за другой я показывал и объяснял ей картины и при этом так пылко и искренне рассуждал о долге приемного отца, что на глазах у нее выступили слезы, а я не в силах был закончить объяснения. Я не сомневался, что она питает ко мне

склонность, хотя и был чужд самоуверенных притязаний так быстро изгладить в ее душе память о муже. Закон предписывает вдовам соблюдать траур не менее года, и несомненно, такое время, охватывающее полный кругооборот всего земного, и потребно чувствительному сердцу, чтобы в нем утихла боль тяжелой утраты. Человек видит увядание цветов и падение листьев, но видит также, как наливаются плоды и набухают новые почки. Что живо, то должно жить, а кто живет, тот будь готов к переменам.

Я переговорил с матушкой о деле, которое так меня заботило. Она поведала мне, каким горем была для Марии смерть мужа и как ее поддержала только мысль о том, что она должна жить ради ребенка. Моя склонность не осталась для женщин тайной, и Мария уже свыклась с мыслью, что ей предстоит жить среди нас. Еще некоторое время она оставалась по соседству, затем перебралась к нам в горы, и мы еще несколько месяцев прожили счастливо и чисто, став женихом и невестой. Потом наконец мы обвенчались. Первое чувство, толкнувшее нас друг к другу, не исчезло. Обязанности и радости приемного отца соединились с радостями отцовства; наше маленькое семейство, умножаясь, превзошло числом свой образец, но его добродетели всегда были нам примером, и мы свято блюли ту же верность и чистоту помыслов. Также полюбилась нам привычка сохранять и внешний облик, обретенный нами случайно, но как нельзя лучше отвечающий нашей внутренней сути: хотя каждый из нас — хороший ходоk и крепкий носильщик, все же вьючное животное всегда остается при нас, и если нам надобно отправиться по делу или в гости через горы и доли, оно везет какой-нибудь груз. Какими вы нас вчера встретили, такими нас знает вся округа, и мы гордимся тем, что дела наши не посрамят святых имен и их носителей, подражание которым стало нашим символом веры.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Вильгельм — Наталии

Я сию минуту кончил записывать для тебя со слов одного доброго человека занимательную и отчасти даже чудесную историю. Если не все здесь его подлинные слова, если его мысли и чувства порой служат мне поводом высказать мои

собственные; так это естественно при таком родстве душ, какое я ощущал между нами. Разве его преклонение перед женой не похоже на то, что я чувствую к тебе? И разве сама встреча любящих не напоминает нашу встречу? А в том, что счастливая судьба позволяет ему идти рядом с осликом, несущим вдвойне прекрасный груз, что его семейная процессия вправе войти вечером в монастырские ворота, что он неразлучен с любимой и со всеми своими близкими, я могу лишь про себя ему завидовать. Но нет, я не могу сетовать на свою участь, — ведь я обещал тебе молчать и терпеть, как и ты приняла то же самое обязательство.

Мне приходится пропустить много чудесных подробностей моего пребывания среди этих благочестивых и жизнерадостных людей: обо всем ведь не напишешь. Несколько дней я провел здесь с приятностью, но третий напоминает, что пора подумать и о дальнейшем пути.

С Феликсом вышел у меня сегодня небольшой спор: он хотел чуть ли не силой заставить меня преступить одно из добрых правил, которые я дал тебе обет блюсти. По моей ли оплошности, по несчастью или по велению судьбы, не успеваю я оглянуться, как число людей рядом со мной вырастает и мне приходится взваливать на себя новый груз, чтобы потом везде таскать его. В теперешнем моем странствии никто не вправе присоединяться к нам третьим постоянным спутником: мы хотим и должны оставаться вдвоем, а тут чуть было не завязалось новое и не столь уж приятное знакомство.

К хозяйским детям, с которыми играл в эти дни Феликс, пристал шустрый мальчишка-бедняк, который позволял помыкать собою как угодно, если этого требовала игра, и тем быстро вошел в милость у Феликса. И по многим его обмолвкам я обнаружил, что этот-то мальчишка избран им в товарищи на дальнейший путь. В этой округе его знают, терпят за шустрый нрав и даже подают порой милостыню. Но мне он не по душе, и я попросил хозяина удалить его. Он это сделал, но Феликс остался недоволен, и вышла маленькая сцена.

В связи с этим я сделал открытие, весьма для меня приятное. В углу часовни, или залы, стоял ящик с камнями, и Феликс, который за время наших странствий по горам приобрел неодолимое пристрастие ко всяческим камням, вытащил этот ящик наружу и перерыл его с величайшим рвением. Там были очень красивые куски, они сразу бросались в глаза. Хозяин сказал, чтобы мальчик взял себе, что хочет. Это собра-

ние камней — все, что осталось от огромной их груды, недавно отосланной отсюда каким-то пришлым человеком. Хозяин назвал его Монтаном, и ты можешь себе представить, с какой радостью услышал я это имя, под которым путешествует один из лучших наших друзей, тот, кому мы столь многим обязаны. Расспросив о времени и прочих обстоятельствах, я стал надеяться на скорое свидание с ним.

Весть о том, что Монтан находится поблизости, заставила Вильгельма призадуматься. По его соображениям, встречу со столь дорогим другом никак нельзя было оставлять на волю случая, поэтому он спросил у хозяина, не известно ли, куда направился названный путешественник. Никто не имел о том понятия, и Вильгельм решил было продолжать странствие, не меняя первоначального намеренья, когда Феликс воскликнул:

— Не будь ты так упрям, мы бы уже отыскали Монтана.

— Каким это образом? — спросил Вильгельм.

— Маленький Фиц вчера мне сказал, что пойдет по следам того господина, который носит с собою красивые камни и все про них знает.

После недолгих пререканий Вильгельм наконец решился попытать счастья, но при этом не спускать глаз с подозрительного мальчишки. Его вскорости нашли; едва узнав, что имеется в виду, он прихватил вместе с дорожным мешком кирку, ломик и отличный молоток и, облаченный как настоящий рудокоп, резво побежал вперед.

Дорога шла вверх, огибая гору. Дети скакали друг за дружкой со скалы на скалу, через ручьи и потоки, и Фиц, не разбирая дороги, а только поглядывая то вправо, то влево, мчался все вверх и вверх. Поскольку ни Вильгельм, ни тем более проводник с поклажею не могли за ними поспевать, дети много раз проделали путь взад и вперед, распевая и насвистывая. Внимание Феликса привлек вид незнакомых ему деревьев, он впервые узнавал, как выглядят лиственница и кедр, и не мог оторвать глаз от на диво высокой горечавки. Таким-то образом и нашлось, чем занять все время нелегкого перехода.

Вдруг маленький Фиц остановился и прислушался, потом поманил остальных.

— Слышите удары? — сказал он. — Это звук молотка, который бьет о скалу.

— Слышим, — отвечали остальные.

— Это или Монтан, или кто-нибудь, у кого мы можем о нем разузнать.

Направившись на звук, который время от времени повторялся, путники вышли на прогалину посреди леса и увидели крутую голую скалу, поднимавшуюся высоко над самыми рослыми деревьями. На вершине скалы стоял человек, но слишком далеко, чтобы его можно было узнать. Дети сейчас же пустились карабкаться по крутой тропе. Вильгельм последовал за ними не без труда и опасностей,— ведь первый всегда поднимается на скалу уверенней, так как сам себе высматривает места поудобнее, а идущий следом видит только, куда тот добрался, но не видит, каким образом. Вскоре дети были уже на вершине, и Вильгельм услышал радостный вопль.

— Это Ярно! — прокричал Феликс навстречу отцу, и тотчас же Ярно вышел на кручу, протянул другу руку и втащил его наверх. С восторгом приветствовали они друг друга, обнявшись среди вольных небес.

Но едва друзья разомкнули объятия, как у Вильгельма закружилась голова,— не столько из-за себя, сколько оттого, что он увидал, как мальчики свесились над бездонной пропастью. Ярно заметил это и немедленно предложил всем сесть.

— Нет ничего естественнее, — сказал он, — чем это головокружение перед внезапно открывшимся нам величавым видом, который заставляет нас ощутить и наше ничтожество, и наше величие. Но ведь и подлинное наслаждение бывает только там, где сначала кружится голова.

— Неужели вон там, внизу, те самые большие горы, на которые мы взошли? — спросил Феликс. — Какими маленькими они отсюда кажутся! А вот, — продолжал он, отколунав кусочек камня от вершины скалы, — опять кошачье золото; значит, оно есть везде?

— Оно попадается часто, — отвечал Ярно, — и если уж ты спрашиваешь о таких вещах, то приметь себе, что сейчас ты сидишь на самых старых горах, на древнейшей в мире горной породе.

— Выходит, мир не был сотворен сразу? — спросил Феликс.

— Вряд ли, — отвечал Монтан, — что споро, то не скоро.

— Значит, там, внизу, совсем другой камень, а там опять другой, и так везде! — сказал Феликс, указывая сперва на ближние горы, а потом на все более дальние — вплоть до самой равнины.

День выдался прекрасный, и Ярно дал им полюбоваться величественной панорамой во всех подробностях. Там и сям вздымались вершины, подобные той, на которой они находились. Горы средней высоты, казалось, стремились вверх вдолгону этим пикам, но намного от них отставали. Дальше местность становилась все более плоской, лишь изредка глазам являлись очертания вздымающихся гор. А в самой дальней дали виднелись озера и реки, и плодородная страна простиралась широко, как море. Возвращаясь же вспять, взгляд проникал в пугающие пропасти, наполненные шумом водопадов, переплетающиеся, словно лабиринт.

Феликс не уставал задавать вопросы, а Ярно был настолько снисходителен, что на каждый давал ответ; однако Вильгельму почудилось, что наставник не вполне искренен и правдив. Поэтому, когда беспокойные мальчишки стали карабкаться дальше, Вильгельм сказал другу:

— С ребенком ты говорил об этих вещах не так, как говорил бы с самим собой.

— Твое требование чрезмерно, — отвечал Ярно. — И себе самому не всегда говоришь то, что думаешь, а по отношению к другим наш долг — говорить не более того, что они могут воспринять. Человек способен понять только то, что ему по силам. А с детьми самое лучшее — сообщить, как называются те или другие из видимых ими сейчас предметов, и не более того. Они и так слишком рано спрашивают о причинах.

— Детям это простительно, — отозвался Вильгельм. — Многообразии мира кого угодно собьет с толку, и проще сразу спросить, почему и отчего, чем разбираться самому:

— Но поскольку дети видят лишь поверхность предметов, — сказал Ярно, — то и об их цели и происхождении с детьми можно говорить только поверхностно.

— Большинство людей на том и остаются всю жизнь, — возразил Вильгельм, — и никогда не достигают той прекрасной поры, когда очевидное кажется пошлым вздором.

— Да, ее можно назвать прекрасной, — отвечал Ярно, — потому что состояние это — среднее между отчаянием и приобщением к божественному.

— Не будем отвлекаться от того, с чего начали, — сказал Вильгельм, — ведь о мальчишке теперь вся моя забота. С тех пор как мы путешествуем, он пристрастился ко всяческим камням. Не можешь ли ты просветить меня настолько, чтобы

я в силах был, хотя бы до поры, удовлетворять его любопытство?

— Это невозможно,— сказал Ярно.— Вступая в новый круг, нужно вновь стать ребенком, приняться за дело со страстным увлечением, вдоволь натешиться внешней оболочкой, прежде чем тебе выпадет счастье добраться до ядра.

— Так скажи хоть,— отозвался Вильгельм,— как ты достиг такой глубины знаний? Ведь с тех пор, как мы расстались, прошло не так уж много времени.

— Мой друг,— отвечал Ярно,— мы обязаны были смириться, если не навсегда, то надолго. Первая мысль, которая при таких обстоятельствах приходит на ум человеку дельному,— о том, что нужно начать новую жизнь. Новых предметов ему мало — они могут разве что развлечь его; он требует новой вселенной и сразу ставит себя в ее средоточье.

— Но откуда у тебя,— прервал его Вильгельм,— именно эта склонность — самая странная и самая одинокая?

— Как раз по той причине,— воскликнул Ярно,— что она ведет в уединение! Я хочу быть подальше от людей. Им помочь нельзя, и они мешают, когда хочешь помочь себе самому. Если они счастливы, ты должен дать им волю исповедовать привычный вздор; если они несчастливы, ты обязан их спасать, не посягая на этот вздор,— а тебя никто и не спросит, счастлив ты или нет.

— Ну, с ними дело обстоит пока что не так худо,— с улыбкой отвечал Вильгельм.

— Твое счастье я не намерен оспаривать, сказал Ярно. Странствуй дальше, новый Диоген,— и пусть твой фонарь не гаснет среди бела дня. Там, внизу, перед тобою простирается новый мир, но я побьюсь об заклад, что все идет в нем так же, как и в старом, за нашей спиной. Если ты не в состоянии сводничать и платить долги, ты и среди них будешь лишним.

— Но, на мой взгляд, с ними интереснее, чем среди твоих мертвых скал.

— Вот уж нет,— отвечал Ярно,— камни, по крайней мере, не поймешь.

— Ты ищешь отговорок,— сказал Вильгельм.— Не в твоём характере заниматься вещами, которые безнадежно понять. Скажи откровенно, что ты нашел в таком холодном, мертвом увлечении.

— Это трудно сказать о любом увлечении, тем более о таком.— Ярно на мгновенье задумался, потом продолжал: —

Буквы — вещь хорошая, но передать звук живой речи они не способны; мы не можем обойтись без живой речи, но и ее звука в конечном счете мало, чтобы открылся истинный смысл. В итоге мы держимся за наши буквы и звуки, хотя с ними нам немногим лучше, чем было бы без них, ибо что бы мы ни высказывали сами и ни воспринимали от других, все это — только общие места, которые и труда не стоят.

— Ты уклоняешься от ответа,— сказал наш друг.— Какое касательство все это имеет к уступам и скалам?

— Что, если я,— отвечал Ярно,— смотрю на эти трещины и расселины как на буквы, стараюсь их разгадать, составить из них слова и учусь бегло читать их? Можешь ты мне что-нибудь возразить?

— Нет, но только алфавит кажется мне слишком велик.

— Он меньше, чем ты полагаешь; надо только выучить его, как любой другой. Природа знает только одни письмена, и мне нет нужды возиться со множеством разных закорючек. Здесь мне нечего бояться, что я буду долго и с любовью биться над каким-нибудь пергаментом, а потом, как водится, придет более пронизательный критик и уверит меня, что источник подделан.

Друг с улыбкой отвечал ему:

— И здесь тоже твое чтение признают спорным.

— Вот потому-то я ни с кем о нем и не говорю, и так как я тебя люблю, то полно и нам подсовывать друг другу негодный товар, обмениваясь пустыми словами.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Друзья не без труда и с предосторожностями спустились вниз, к детям, разбившим бивак в тенистом месте. Феликс и Монтан вынули из поклажи образцы каменных пород чуть ли не с большим нетерпением, чем съестные припасы. Феликс без конца спрашивал. Монтану пришлось без конца отвечать. Мальчик был счастлив тем, что его собеседник знает все названия, и сам легко удерживал их в памяти. Под конец он вытащил еще один камень и спросил:

— А этот как называется?

Монтан с удивлением осмотрел образец и сказал:

— Откуда вы его взяли?

Фиц сразу же ответил:

— Это я его нашел, он из здешних мест.

— Камень не из этой округи, — отозвался Монтан.

Фиц был рад тому, что поставил в тупик столь сведущего человека.

— Ты получишь дукат, — сказал Монтан, — если доставишь меня на то место, где попадаются такие камни.

— Это дело нетрудное, — отвечал Фиц, — только не сию минуту.

— Так укажи мне точно место, чтобы я без ошибки его нашел. Впрочем, это невозможно: такой камень зовется крестовым и доставляется от святого Иакова Компостельского; здесь его, верно, потерял какой-нибудь чужестранец, если только ты не стащил камень ради его необычайного вида.

— Отдайте дукат на хранение нашим попутчикам, — сказал Фиц, — а я честно признаюсь вам, откуда взял камень. В разрушенной церкви святого Иосифа есть разрушенный алтарь. Верхние плиты развалились, а в основании под ними я открыл целый слой такого камня и отбил столько, сколько мог унести. Если отвалить верхние камни, там еще много можно найти.

— Получи свой золотой, — сказал Монтан, — ты заработал его таким открытием. Ведь оно довольно любопытно. Мы по праву радуемся, когда неодушевленная природа производит нечто такое, в чем виден символ любимого и почитаемого нами. Тогда она предстает нам в образе сивиллы, заранее свидетельствующей о том, что решено от века, но осуществится лишь со временем. Потому священнослужители и возвели свой алтарь на этом чудесном, божественном камне.

Вильгельм, прислушиваясь к его словам, заметил, что некоторые названия повторялись не раз, и вновь попросил, чтобы Монтан просветил его настолько, сколько надобно для первоначального обучения мальчика.

— Оставь эту затею, — отвечал Монтан. — Нет ничего хуже учителя, знающего не больше, чем положено узнать ученику. Кто хочет обучать других, тому нередко приходится утаивать лучшую часть своих знаний, но быть недоучкой он не имеет права.

— Где же найти таких совершенных учителей?

— Ты встретишь их на каждом шагу, — отвечал Монтан.

— Но где? — переспросил Вильгельм недоверчиво.

— Всюду, где истинная родина того дела, которому ты хочешь обучаться, — отвечал Монтан. — Соответствующее окружение — вот откуда можно извлечь наилучшие уроки. Раз-

ве чужой язык не лучше всего изучать в странах, где он родной? Где у тебя в ушах звучит только он и никакой другой?

— Так, значит,— спросил Вильгельм,— ты научился знанию гор в горах?

— Разумеется.

— Безо всякого общения с людьми? — спросил Вильгельм.

— Пожалуй, только с теми людьми,— отвечал Монтан,— что сами стали подобны горным породам. Там, где пигмеи, привлеченные жилами металлов, роются в толще скал, пролагая путь в земные недра, стараясь любым способом разрешить труднейшие задачи,— там и должен находиться ищущий знания мыслитель. Он, не вмешиваясь, созерцает чужую работу, для него и успех и неуспех ее — одинаковая радость. Ибо в том, что имеет значение, польза — лишь малая часть. Чтобы овладеть предметом, подчинить его себе, должно изучить его ради него самого. Но я говорю с наивысшей ступени, до которой поднимаются нескоро, познав очень многое; а перед нами дети, у них все иначе. Ребенка может увлечь любой род занятий, ибо все, что делается мастерски, кажется легким. «Первый шаг труден!» Это верно только в известном смысле, а чаще можно сказать иначе: первый шаг легкий, а вот на верхние ступени взбираются и с трудом и редко.

Вильгельм, слушавший его в задумчивости, спросил:

— Значит, ты в самом деле убежден, что как в жизни занимаются одним каким-нибудь делом, так и обучать надо только одному из всех?

— Не сомневаюсь в этом,— отвечал Монтан.— Все сделанное человеком должно, даже отделяясь от него, остаться как бы его вторым «я»,— а разве это возможно, если его первое «я» не проникнется насквозь тем, что он делает?

— Однако многостороннее образование считается предпочтительным и даже необходимым.

— Всему свое время,— отозвался собеседник.— Многосторонность создает лишь стихию, в которой действует человек односторонний, именно в ней находя довольно простора для деятельности. Сейчас пришло время односторонности. Благо тому, кто это постиг и действует так на пользу себе и другим. Иногда это понятно с первого взгляда. Стань хорошим скрипачом — и будь уверен, что любой капельмейстер с удовольствием даст тебе место в оркестре. Стань многозвучным, как огран,— и ты увидишь, какое место отведет тебе в общей жизни благонамеренное человечество. Впрочем, до-

вольно об этом. Кто не верит, пусть идет своей дорогой, иногда и на ней ждет удача; а я утверждаю: от малого к великому — таков смысл всякого служения. Лучше всего ограничить себя одним ремеслом. Для неумного оно и останется ремеслом, для ума более обширного станет искусством, а самый высокий ум, делая одно, делает все, или, чтобы это не звучало парадоксом, в том одном, что он делает хорошо, ему виден символ всего хорошо сделанного.

Этот разговор, воспроизведенный нами лишь вкратце, затянулся до заката, который, при всем своем великолепии, заставил путников задуматься, где провести ночь. Фид сказал:

— Куда вас отвести, чтобы была крыша над головой, я не знаю, но коли вы согласны пересидеть или перележать эту ночь у доброго старого угольщика, в теплом местечке, тогда добро пожаловать.

Путники пошли за ним следом и причудливо вьющимися тропами добрались до такого места, где каждый вскоре почувствовал себя как дома.

Посреди окруженной стеною леса поляны курилась тщательно сложенная угольная куча, согревая все вокруг, поодаль стоял шалаш из еловых лап, а рядом с ним светло горел костерик. Путники пристроились к нему. Дети сразу нашли себе дело подле жены угольщика, которая намазывала маслом поджаренные ломтики хлеба, радушно стараясь приготовить угощение повкуснее для жадно поглядывавших на него голодных гостей.

Потом, покуда дети играли в прятки среди едва освещенных еловых стволов и то выли волками, то лаяли по-собачьи, так что даже и храбрый прохожий мог бы испугаться, друзья стали доверительно беседовать о своих обстоятельствах. Помимо прочих странных обязательств, Отрекающиеся принимают на себя и такое: встречаясь, они не имеют права говорить ни о прошлом, ни о будущем, их должно занимать одно лишь настоящее.

Ярно, который только и думал что о новых горных разработках и о потребных для этого знаниях и умениях, пылко, но обстоятельно и точно перечислил Вильгельму все выгоды, какие сулит ему в обеих частях света совершенное понимание дела. Но наш друг, всегда искавший подлинных сокровищ лишь в человеческом сердце, не мог составить себе об этом никакого понятия и под конец возразил с улыбкой:

— Но ведь ты сам себе противоречишь, если в зрелом возрасте впервые берешься за дело, к которому надо бы приступить смолоду.

— Ничего подобного: я с детства воспитывался у дядюшки, важного чиновника горного ведомства, я вырос среди мальчишек-дробильщиков, пускал вместе с ними кораблики из коры по заброшенным копиям, что и привело меня вновь в этот круг деятельности, где я чувствую себя привольно и молодо. Едва ли дым этой угольной кучи говорит тебе столько, сколько мне, привыкшему с детства вдыхать его, как ладан. В мире я брался за многое и всегда обнаруживал одно: человеку бывает хорошо только среди привычного. Привыкнув даже к неприятному, мы недовольны, если его лишаемся. Один раз я долго страдал раной, которая все не заживала, а когда наконец выздоровел, то испытывал величайшее неудовольствие от того, что хирург не приходит больше сделать перевязку и разделить со мною завтрак.

— Зато я бы хотел, — отозвался Вильгельм, — чтобы мой сын смотрел на мир широко, а одно какое-нибудь ремесло не может дать нам такой широты взгляда. Ограничивай человека сколько угодно, в свое время он все равно посмотрит вокруг; а как понять ему свое время, если он хоть немного не знает прошлого? Разве он не изумится, войдя в любую лавку с пряностями, если не будет иметь понятия о странах, откуда прибыли к нему эти необходимые диковины?

— Зачем столько хлопот? — отвечал Ярно. — Пусть читает газеты, как любой филистер, и пьет кофе, как любая старуха. А если ты не можешь этого допустить и одержим мыслью о всестороннем образовании, то я не понимаю твоей слепоты, не понимаю, почему ты ищешь так долго и не видишь, что превосходнейшее воспитательное заведение находится прямо перед тобою.

— Передо мною? — переспросил Вильгельм, покачав головой.

— Ну конечно! Что ты здесь видишь?

— Где?

— Перед самым твоим носом! — Ярно указал пальцем в нужную сторону и воскликнул в нетерпении: — Что это такое?

— Ах, это! — сказал Вильгельм. — Угольная куча. Но при чем тут она?

— Отлично! Наконец-то! А что делают, чтобы эту угольную кучу сложить?

— Укладывают поленья слой на слой.

— А когда это сделано, что дальше?

— По-моему,— сказал Вильгельм,— ты хочешь оказать мне честь на сократовский лад, то есть обнаружить передо мной всю мою нелепость и тупоумие, да еще заставить меня признать их.

— Ничуть не бывало,— отвечал Ярно,— продолжай отвечать столь же неукоснительно. Так вот, что же делают, когда дерево сложено правильными рядами, плотно, но свободно?

— Как что? Его поджигают.

— А когда оно хорошо займется? Когда пламя пробивается в каждую щель, что тогда делают? Дают ему гореть?

— Ни в коем случае: пламя, как ни стремится оно выбиться, поскорей заваливают дерном, землей, угольным мусором, всем, что есть под рукой.

— Чтобы совсем загасить его?

— Нет, конечно; чтобы его заглушить.

— Значит, ему дают ровно столько воздуха, сколько нужно, чтобы жар охватил все дерево и оно как следует перетлело. Потом затыкают каждую щель, чтобы и дым не выбивался, а дерево внутри само собой помаленьку погасло, обуглилось, остыло; потом, когда кучу разгребают, его сбывают за наличные денежки кузнецу и слесарю, пекарю и повару, и, наконец, когда оно достаточно послужит на благо и пользу добрым христианам, то в виде золы идет в дело у прачек и мыловаров.

— Ну а на себя,— спросил Вильгельм со смехом,— как ты смотришь, если держаться твоей притчи?

— На это нетрудно ответить,— сказал Ярно.— Сам себя я считаю старой корзиной доброго букового угля, но при этом я позволяю себе, в отличие от прочих, одно: жгу себя только ради себя самого, поэтому люди на меня и удивляются.

— А я? — спросил Вильгельм.— За кого ты меня считаешь?

— В тебе,— сказал Ярно,— я вижу, особенно теперь, страннический посох, наделенный чудесным свойством везде, куда его ни поставят, зеленеть листьями, но нигде не пускать корней. Дорисуй сам мое сравнение и постарайся понять, почему ты не можешь пригодиться в дело ни садовнику, ни леснику, ни угольщику, ни столяру.

Во время этого разговора Вильгельм неведомо зачем извлек из-за пазухи какой-то предмет, напоминавший то ли

сумку, то ли бумажник, а Монтан сразу же заговорил о нем как о вещи дажно ему знакомой. Наш друг не отпирался, что носит ее при себе как фетиш, в суеверном убеждении, что судьба его отчасти зависит от обладания ею.

Что это было, мы покуда не вправе поведать читателю, но должны сказать, что по этому поводу завязалась беседа, и в ее результате Вильгельм признался в давней своей склонности посвятить себя некоему делу, некоему чрезвычайно полезному искусству, но при том лишь условии, что Монтан исключит у членов Общества скорейшей отмены самого обременительного из жизненных правил — запрета оставаться на месте долее трех дней — и Вильгельму будет дозволено ради достижения своей цели задерживаться, как ему будет угодно. Монтан обещал добиться этого, после того как друг дал торжественный обет неустанно следовать доверительно высказанному намерению и не уклоняться от однажды поставленной цели.

За непрерывной беседой, в которой обо всем этом было основательно переговорено, друзья успели отойти от ночлега, где мало-помалу собралось странное и подозрительное общество, и на рассвете вышли из лесу на прогалину, где, к вящей радости любознательного Феликса, повстречали диких животных. Попутчики приготовились распрощаться, так как отсюда тропы расходились в разные стороны света. О том, куда они ведут, спросили у Фица, однако он казался рассеян и, против обыкновения, отвечал сбивчиво.

— Вообще-то ты изрядный плут, — сказал Ярно. — Все эти люди, что подсели к нам нынче ночью, отлично тебе знакомы. Ладно, пусть это были дровосеки и рудокопы, но вот те, что подошли позже, по-моему, или контрабандисты, или браконьеры, а самый последний, долговязый, — он все чертил на песке какие-то знаки и явно внушал почтение остальным, — наверняка кладоискатель, с которым ты действуешь заодно.

— Все это порядочные люди, — произнес в ответ Фиц, — им нелегко добывать свой хлеб, а если иногда они и сделают что недозволенное, так ведь это бедняки, им, чтобы прожить, надо давать себе послабление.

Но вообще-то плутоватый мальчишка был в задумчивости: видя, что друзья собираются расстаться, он что-то обдумывал про себя, будучи в нерешительности, к какой из двух партий присоединиться. Фиц соображал свою выгоду: отец и сын весьма легкомысленно обходятся с серебром, а

Ярно — и с золотом, потому Фиц счел за лучшее не разлучаться с последним. В итоге он воспользовался представившимся случаем, и когда Ярно сказал ему на прощание:

— Как приду к святому Иосифу, так поищу разрушенный алтарь с крестовым камнем и проверю твою честность, — Фиц ответил:

— Вы ничего там не найдете, хотя я все сказал по-честному; камень оттуда, но только я его весь поковырял и припрятал здесь, наверху. Камень этот в цене, без него не взять ни единого клада, и за каждый кусок мне дорого платят. На этом деле я и свел знакомство с тем тощим: тут вы были правы.

После новых переговоров Фиц обязался еще за один дукат добыть для Ярно неподалеку отличный кусок этого редкого минерала, идти же к Великанову замку он всячески отговаривал, а когда Феликс все-таки настоял на этом, строго-настрого наказал проводнику не пускать путников в пещеры и расселины, так как оттуда никто еще не находил обратной дороги. Друзья расстались, и Фиц обещал в скором времени отыскать их в залах Великанова замка.

Проводник пошел вперед, отец и сын — за ним; не успели они взойти немного в гору, как Феликс заметил, что они идут не по указанной Фицем дороге. Но проводник возразил:

— Мне лучше знать! Как раз на этих днях сильная буря повалила тут поблизости лес, деревья попадали друг на друга вкривь и вкось и завалили дорогу. Ступайте за мною, я приведу вас, куда надо.

Феликс сокращал себе нелегкий путь, проворно перепрыгивая со скалы на скалу, и, зная теперь, что скачет по глыбам гранита, радовался новообретенному знанию.

Так шли они в гору; наконец мальчик, вспрыгнув на поверженные колонны черного камня, остановился и увидел перед собою Великанов замок. На одинокой вершине частоколом стояли каменные столбы, в их тесных рядах открывались неисчетные проемы и проходы. Проводник строго наказал путникам не забредать слишком глубоко в пещеры, а сам, заметив посреди залитой солнцем площадки кострище, оставшееся от прежних посетителей, развел тут же трескучий огонек. Поскольку приготовление скудной пищи в таких местах было для Феликса уже не внове, а Вильгельм оглядывал широкую панораму, стараясь изучить местность, по которой собирался странствовать, мальчик исчез; должно

быть, он заблудился в пещере, так как не отвечал ни на оклики, ни на свист и наружу не показывался.

Но Вильгельм, имевший, как и полагается страннику, запас на все случаи жизни, достал из охотничьей сумки моток бечевки, тщательно закрепил ее конец и доверился путеводной нити, с помощью которой еще раньше намеревался сводить сына в пещеры. Так он продвигался вперед, то и дело дуя в свистульку. Долгое время все было напрасно, потом из глубины в ответ прозвучал резкий свисток, и вскоре у его ног из расселины в черном камне выглянул Феликс.

— Ты один? — опасливо прошептал мальчик.

— Один, — отвечал отец.

— Принеси-ка мне сучьев! Принеси палок! — сказал мальчик и, едва получил требуемое, снова исчез, перед тем со страхом прокричав: — Никого не впускай в пещеру!

Через некоторое время он опять вынырнул и потребовал палок еще длинней и толще. Отец нетерпеливо ждал, как разрешится эта загадка. Наконец смельчак проворно вылез из трещины и вынес ларчик не больше книги в восьмую долю листа; ларец, на вид старинный и богато изукрашенный, был, судя по всему, из золота, с финифтяными узорами.

— Спрячь у себя и никому не показывай! — Феликс второпях поведал отцу, как, повинувшись безотчетному порыву, прополз в эту трещину и обнаружил внизу полутемную залу. В ней стоял железный сундук; крышка была не заперта, но ее с трудом можно было пошевелить, а не то что поднять. Чтобы сладить с нею, он и потребовал палок: одни подставлял под крышку как подпоры, другие вгонял как клинья, — и наконец нашел сундук пустым, только в углу лежала эта роскошная книжица. Отец и сын обещали друг другу держать все в глубокой тайне.

Полдень миновал, они успели поесть, а Фица, вопреки его обещанию, все не было. Между тем Феликсу, совсем потерявшему покой, не терпелось уйти с места, где клад мог быть востребован прежними владельцами, земными или подземными. Каменные столбы казались ему еще чернее, пещеры еще глубже. На него легло бремя тайны, бремя обладания — законного или незаконного? надежного или ненадежного? Нетерпение гнало его прочь, мальчик полагал избавиться от тревоги переменою места.

Они пустились в путь, направляясь к обширным поместьям того крупного землевладельца, о чьем богатстве и

чьих странностях им так много рассказывали. Феликс уже не скакал, как утром, несколько часов все трое шли друг за другом. Не раз Феликс порывался взглянуть на ларчик, но отец, указывая глазами на проводника, его успокаивал. Порой мальчик всей душой желал, чтобы Фиц пришел поскорее, потом опять верх брал страх перед плутом. То он свистел, подавая знак, то каялся, что сделал это, и такие непрерывные колебания продолжались до тех пор, пока издали не послышалась свистулька Фица.

Мальчишка извинился за то, что не пришел к Великанову замку, — он-де замешкался с Ярно и поваленные деревья ему помешали, — а потом стал точнейшим образом выспрашивать, как им ходилось между столбов и пещер и глубоко ли они забрались. Феликс заодно и вместе смущенно рассказывал ему одну небылицу за другой и при этом поглядывал на отца, исподтишка дергал его, — словом, всеми способами показывал, что у него есть тайна и он прикидывается.

Наконец они вышли на проезжую дорогу, которая должна была с удобством привести их к поместью, но Фиц стал уверять, будто знает путь лучше и короче. Проводник не желал сопровождать их этой тропой и пошел прямо широкою торной дорогой, а оба странника доверились непутевому мальчишке и думали, что поступили правильно, так как он повел их круто под гору, через рошу высоких тонкоствольных лиственниц, которая становилась все реже, так что в конце концов они увидели перед собой в ярком солнечном свете самое прекрасное имение, какое только можно вообразить.

Обширный сад, посвященный, по-видимому, одному лишь Плодородию, был, несмотря на густые посадки, весь обозрим для них, так как его правильно разбитые делянки занимали хотя и пересеченный возвышениями и впадинами, но единый участок на склоне. В саду разбросаны были там и сям жилые дома, так что могло показаться, будто он принадлежит многим, но Фиц утверждал, что и владеет и пользуется им один хозяин. За садом они увидели необозримый простор возделанных и щедро засеянных нив, среди которых были ясно различимы реки и озера.

Спускаясь с горы, они подходили все ближе и думали уже вот-вот попасть в сад, но вдруг Вильгельм остановился, а Фиц не сумел скрыть злорадства: у подножья горы зияла раселина, а за нею оказалась прежде скрытая от глаз стена,

снаружи довольно крутая, хотя изнутри до края засыпанная землей. Получалось, что, заглядывая в сад, они все же были отделены от него глубоким рвом.

— Чтобы выйти на дорогу к поместью, — сказал Фиц, — нам придется сделать большой крюк. Но я знаю, как войти с этой стороны, чтобы не ходить далеко. Здесь устья подземных водостоков, через которые во время ливней в сад направляют потоки с гор и подают сколько нужно воды. Мы свободно через них пройдем, такие они высокие и широкие.

Феликсу, едва он услышал о подземных ходах, неодолимо захотелось пробраться в них. Вильгельм пошел следом за детьми, и все трое стали спускаться по сухим высоким ступеням подземного стока, то темным, то освещенным, смотря по тому, проникали ли солнечные лучи в боковые проемы или путь им преграждали стены и опоры. Они дошли до совсем пологого места и медленно двинулись дальше, как вдруг рядом раздался выстрел и в тот же миг замкнулись две потайные железные решетки, заперев путь и спереди и сзади. Впрочем, в плену оказались не все, а только Вильгельм с Феликсом, потому что Фиц, едва раздался выстрел, отскочил назад, и захлопнувшаяся решетка только защемила его широкий рукав; но мальчишка, ни на мгновение не задерживаясь, сбросил курточку и убежал прочь.

Оба узника едва успели опомниться от изумления, как послышались медленно приближавшиеся человеческие голоса. Вскоре к решетке подошли с факелами вооруженные сторожа, с любопытством поглядывая, какая добыча им попалась. Прежде всего они спросили, согласны ли пришельцы сдать добровольно.

— О каком согласии может быть речь, — отвечал Вильгельм, — если мы и так в вашей власти. Скорей уж у нас есть причина спрашивать, согласны ли бы нас помиловать. Я сдаю вам единственное оружие, какое при нас есть.

С этими словами он протянул сквозь решетку свой охотничий нож. Решетка открылась, сторожа мирно повели пришельцев вперед, потом вверх по винтовой лестнице, и наконец все очутились в странном месте. То была просторная чистая комната с маленькими окошками под самым карнизом, которые, хоть и были забраны толстыми железными брусками, все же пропускали довольно света. Хозяева позаботились о стульях, кроватях, обо всех удобствах, какие

нужны для скромной гостиницы, и казалось, что у находящегося тут есть все, кроме свободы.

Вильгельм, как только вошел, сразу уселся и стал обдумывать положение; Феликс же, едва оправившись от изумления, впал в небывалую ярость. Эти высокие стены, эти окна под потолком, эти крепкие двери, это сидение взаперти и ограничение свободы — все было для него внове. Он оглянулся вокруг, заметался взад и вперед, затопал ногами, заплакал, стал трясти дверь, колотить в нее кулаками и собирался было с разбегу выбить ее головой, но Вильгельм схватил его и удержал силой.

— Не горячись так, мой мальчик, — начал отец, — ни нетерпение, ни сила нас не выручат. Тайна скоро разъяснится, но и сейчас я не ошибусь, если скажу: не похоже, чтобы мы попали в дурные руки. Погляди на эти надписи: «Невиновному — свобода и возмещение, соблазненному — сострадание, виновному — карающее правосудие». Все это показывает, что такие меры предосторожности имеют причиной не жестокость, а необходимость. У человека есть множество оснований обороняться от себе подобных. Злоумышленных людей множество, злодеев тоже немало, и чтобы жить, как подобает, мало делать одно только добро.

Феликс овладел собой, но тотчас же бросился на кровать, ни словом не ответив и не возразив отцу, который между тем продолжал:

— Пусть все, что ты сегодня испытал так рано и безвинно, останется для тебя свидетельством великих успехов того столетия, когда ты родился. Какой долгий путь пришлось проделать человечеству, пока оно не привыкло наконец быть кротким с виновными, милостивым с преступными, человеческим с бесчеловечными! Божественной природы были мужи, которые первыми научили его этому и положили жизнь на то, чтобы их учение могло скорее претвориться в дело. Люди редко способны на прекрасное, немного чаще на доброе; как же высоко должны мы ставить тех, кто ценою великих жертв старался развить в них эту способность!

Но Феликс не услышал этой утешительной и вместе назидательной речи, которая столь понятно объясняла смысл окружающего: он спал глубоким сном и выглядел красивей и свежей, чем всегда, ибо сильное чувство, обычно не так легко им овладевавшее, а сегодня захватившее всю его душу, прихлынуло сейчас ему к щекам. Отец стоял и растроганно глядел на него, когда в комнату вошел учтивый моло-

дой человек; некоторое время он дружелюбно рассматривал пришельца, потом стал спрашивать, какие обстоятельства привели его на столь необычный путь и в эту западню. Вильгельм без обиняков рассказал обо всем, что было, предъявил бумаги, удостоверившие его личность, и сослался на проводника, который скоро должен подойти по дороге, как все порядочные люди. Когда все это выяснилось, служащий предложил гостю последовать за ним. Феликса невозможно было разбудить, и младшие служители на матрасе вынесли его, как некогда Улисса, под открытое небо.

Вильгельм прошел вслед за служащим в красивый садовый павильон, где было приготовлено угощение, которым ему предстояло заняться, пока провожатый отправится с докладом в более высокие инстанции. Феликс, проснувшись, никак не мог опомниться, когда увидел накрытый столик, фрукты, вино, печенье и главное — о, радость! — распахнутую дверь. Он выбегает в сад, он возвращается обратно, все кажется ему сном; но вскоре вкусная еда и красивый павильон заставили его забыть давешний страх и все беды, словно дурной сон светлым утром.

Между тем прибыл проводник, служащий возвратился вместе с ним и еще с каким-то человеком постарше, который держался приветливей первого, и дело разъяснилось следующим образом. Хозяин поместья, чья благотворительность имела высший смысл — побуждать всех вокруг к труду и созиданию, — уже много лет раздавал саженцы деревьев из своих необъятных питомников: усердным и рачительным земледельцам задаром, нерадивым — за известную цену, а тем, кто хотел их перепродать, также за деньги, хотя и небольшие. Но и эти оба разряда людей требовали бесплатно того, что даром получали достойные, а встретив отказ, всякими способами пытались стащить деревца, что им обычно и удавалось. Хозяин сердился тем сильнее, что они не только разграбляли питомники, но и в спешке их портили. По следам выяснили, что воры проникали через водостоки, и тогда устроили западню, приспособив решетки и самострельное ружье, которое только подавало знак. Мальчишка много раз появлялся в саду под разными предлогами, и нет ничего удивительного, что он из дерзкого озорства надумал повести пришельцев тем же путем, который прежде отыскивал для другой цели. Хорошо было бы поймать его самого, а до той поры реквизировали и приобщили к вещественным уликам его камзолчик,

По дороге к барскому дому наш друг, к великому своему удивлению, не увидел ничего напоминающего ни старомодный сад, ни современный парк; с первого же взгляда, обзрев полого спускающийся участок, он обнаружил лишь высаженные рядами плодовые деревья, овощные гряды, лужайки, засеянные целебными травами, — словом, только то, что может быть сочтено полезным. Затененная высокими липами площадка служила достойным преддверием внушительному зданию, выходявшая на нее аллея, обрамленная столь же рослыми и почтенными деревьями, позволяла во всякое время дня прогуливаться и беседовать на вольном воздухе. Вступив в дом, Вильгельм обнаружил на стенах прихожей странное убранство: ему бросились в глаза географические карты всех четырех частей света, вдоль нарядной лестницы по стенам были также развешены чертежи отдельных государств, а попавши в парадную залу, Вильгельм увидал вокруг перспективные виды самых примечательных городов, обрамленные сверху и снизу ландшафтными изображениями тех местностей, где они находятся; все было представлено столь искусно, что ни единая подробность не ускользала от глаз и притом оставалась ясна неразрывная последовательность.

Хозяин дома, невысокий подвижный господин в летах, приветствовал гостя и без долгих церемоний спросил, указывая на стены, не знаком ли ему какой-нибудь из этих городов и не жил ли он в одном из них. Наш друг сумел дать обо многих исчерпывающий отчет и тем доказать, что не только повидал немало мест, но и зорко подмечал особые черты и обстоятельства каждого.

Хозяин дома позвонил и приказал отвести новоприбывшим комнату, а позже проводить их к ужину; так и было сделано. В большой зале на нижнем этаже Вильгельм встретился с двумя девицами, одна из которых весело с ним заговорила:

— Общество, что вы найдете здесь, невелико, но изысканно. Я — младшая племянница, меня зовут Герсилия, а это моя старшая сестра, ее все называют Жюльетта. Эти господа — отец и сын — наши служащие, их вы уже знаете, оба они друзья дома и по заслугам пользуются полным доверием. А теперь пора за стол.

Девицы сели по обе руки от Вильгельма, служащие уселись по концам стола, Феликс, оказавшись по противопо-

ложную сторону, тотчас подвинул стул, чтобы сидеть прямо против Герсии, и больше уже не спускал с нее глаз.

После обычного сначала разговора об общих предметах Герсия, воспользовавшись случаем, сказала:

— Я хочу, чтобы гость поскорее среди нас освоился и был посвящен в наши беседы, и поэтому скажу откровенно, что у нас много читают и что мы — случайно, по склонности, а отчасти из духа противоречия — разделились между собой, выбрав каждый одну какую-нибудь литературу. Дядюшка душой за итальянцев, эта дама ничуть не обидится, если ее примут за совершенную англичанку, я держусь французов, куда они остаются веселы и пристойны. Папенька-управляющий находит удовольствие в немецкой древности, а сын отдал свое пристрастие, как и следовало ожидать, новейшей словесности. По этому выбору вам и судить о нас, разделять наши увлечения, соглашаться или спорить; в любом случае вы останетесь желанным гостем.

Об этих предметах и пошла дальнейшая оживленная беседа. Между тем от Герсии отнюдь не ускользнуло, куда направлен огненный взгляд красивых глаз Феликса; удивленная и польщенная, она послала мальчику лучшие кусочки, которые тот принимал с радостной благодарностью. Сейчас, за десертом, он смотрел на нее из-за блюда с яблоками, и каждый из приманчивых плодов ей казался соперником. Не долго думая, она схватила яблоко и протянула его через стол подрастающему дамскому угоднику; тот поспешно схватил плод и сейчас же начал его чистить, но, продолжая неотрывно смотреть на прелестную соседку, глубоко порезал себе большой палец. Обильно потекла кровь; Герсия вскочила с места, захлопотала вокруг Феликса, а когда кровь удалось остановить, заклеила ему палец английским пластырем из своего несессера. Мальчик между тем как прилип к ней, так больше уже не хотел отпускать. Замешательство было всеобщим, собравшиеся поднялись из-за стола и приготовились разойтись.

— Вы читаете перед сном? — спросила Герсия Вильгельма. — Я пришлю вам рукопись, это сделанный мною перевод с французского, а вы потом мне скажете, попадалось ли вам что-нибудь прелестнее. Итак, на сцене — сумасшедшая девица! Это, конечно, не самая лучшая рекомендация, но если уж я потеряю рассудок, — а порой мне забредает в голову такое желание, — то пусть мое сумасбродство будет в том же роде.

Господин де Реванн, человек богатый и не служащий, владеет лучшими в провинции землями. Вместе с сыном и сестрой он живет во дворце, в каком пристало бы жить и князю; и в самом деле, коль скоро его парк, его водные угодья, его сданные в аренду участки, его мануфактуры и домашнее хозяйство доставляют пропитание чуть ли не половине обитателей шестимильной округи, то он и есть самый настоящий князь, как по всеобщему к нему уважению, так и по щедрости, с какой он творит добро.

Несколько лет тому назад он прогуливался по большой дороге вдоль стены своего парка, и вдруг его потянуло отдохнуть в роще, сулящей отрадный приют путникам. Рослые стволы деревьев возвышаются там среди густого подлеска; там всякий защищен от солнца и ветра; ключ, наполнив чистый бассейн, катит свои воды дальше по корням, камням и травам. Господин де Реванн, как всегда на прогулках, имел при себе книгу и ружье. Он попробовал читать, но частенько пение птиц, а порой и шаги путников отвлекали его и приятно рассеивали внимание.

Был уже поздний час погожего утра, когда он увидел, что в его сторону идет молодая и прелестная девица. Она свернула с дороги, как видно, суля себе спокойный отдых в том же прохладном местечке, где находился он. От неожиданности книга выпала у него из рук. Путница с прекраснейшими в мире глазами и с лицом, приятно покрасневшимся от ходьбы, отличалась такой безупречностью сложения, осанки и манер, что он невольно встал на ноги и взглянул на дорогу, предполагая увидеть следующую за ней свиту. Затем его взгляд снова привлекла девица, с достоинством ему поклонившаяся, и он учтиво ответил ей на поклон. Прекрасная пришелица села на краю источника, вздохнув, но не вымолвив ни слова.

— Вот странное действие симпатических сил! — восклицал господин де Реванн, описывая мне эту встречу. — Я невольно ответил на прозвучавший в тишине вздох. При этом я продолжал стоять, не зная, что сказать, что сделать. Мои глаза не могли насытиться жадным созерцанием ее совершенств. Нельзя было даже вообразить себе женщину прекрасней, чем та, что вытянулась передо мной сейчас на траве, опершись на локоть. Ее башмаки навели меня на размыш-

ления: покрытые пылью, они свидетельствовали о долгом пройденном пути, и, однако, ее шелковые чулки были чисты, словно только что из-под гладильного камня. Ее приподнятое платье не было помято, ее волосы, казалось, завиты нынче утром, на ней было тонкое белье, тонкие кружева, словно она отправлялась на бал. Ничто в ней не напоминало бродяжку, — и все же она была бродяжкой, впрочем, достойной и сострадания и уважения.

Наконец, воспользовавшись тем, что она несколько раз взглянула на меня, я спросил, одна ли она путешествует. «Да, сударь, — сказала она, — я одна на целом свете». — «Как, мадам, неужели у вас нет ни родителей, ни знакомых?» — «Я не это хотела сказать, сударь. Родители у меня есть и знакомых довольно, но друзей нет». — «Но не может быть, — продолжал я, — чтобы в том была ваша вина. Ваша наружность и, без сомнения, ваше сердце таковы, что вам многое можно простить».

Она почувствовала укор, скрытый в моем комплименте, из чего я мог составить себе понятие о ее воспитании. Она взглянула на меня широко открытыми синими глазами, незамутненно-чистыми и блистающими, как небо, и сказала благородным тоном, что не может винить порядочного человека, каким я ей кажусь, если он, встретив девушку одну на большой дороге, сочтет ее подозрительной: такое случилось с нею уже не раз; но хотя она здесь и чужая, хотя никто не имеет права расспрашивать ее, все же она просит верить ей, что незапятнанная честь вполне совместима с той целью, ради которой она пустилась в путь. Причины, в коих она никому не обязана давать отчет, вынуждают ее нести свое горе по всему свету. И она обнаружила, что опасности, грозящие, как принято опасаться, ее полу, все выдуманы, ибо честь женщины даже среди разбойников с большой дороги подвергается опасности, лишь если она сама слаба сердцем и не имеет твердых правил. Впрочем же, она ходит лишь в те часы и по таким дорогам, что бояться ей нечего, заговаривает не со всяким и порой останавливается на время в благородных домах, где может заплатить за содержание услугами, приличествующими ее воспитанию. Тут ее голос упал, веки опустились, и я увидел у нее на щеках слезинки.

В ответ я сказал, что не сомневаюсь ни в ее благородном происхождении, ни в том, что ее поведение безупречно. Я лишь сожалею, что необходимость заставляет ее прислушиваться другим, между тем как она, по видимости, сама

достойна везде находить слуг. Я добавил, что, несмотря на мое живейшее любопытство, не собираюсь ничего более выпытывать у нее, а желаю лишь ближе познакомиться с нею и через это убедиться, что она везде печется о своем добром имени не меньше, чем о добродетели. Эти слова, надо полагать, снова задела ее, так как в ответ она сказала, что если и скрывает, как ее зовут и где она родилась, то как раз ради доброго имени, ибо людская молва всегда основывается более на домыслах, чем на истине. Если она предлагает свои услуги, то предъявляет свидетельства тех семейств, которым помогала перед тем, и не скрывает, что не желала бы отвечать на вопросы об имени и родине. Так люди и должны принять решение, а в том, что жизнь ее невинна, положиться на небесный промысел либо на ее слово.

Речи такого рода не давали повода подозревать, что ведущая столь рискованную жизнь красавица не в своем уме. Господин де Реванн, не постигавший, как можно решиться бродить по свету, предположил, что девицу хотели выдать замуж вопреки ее склонности. Потом ему пришла мысль, не безнадежная ли это любовь; и вот, — удивительное и все же вполне обычное дело, — полагая, что она любит другого, он сам в нее влюбился и больше всего боялся, как бы она не ушла дальше. Он не мог отвести глаз от красивого лица, казавшегося еще краше среди зеленой полутени. Если когда-нибудь и вправду были нимфы, то ни одна из них, лежа на траве, не казалась столь прекрасной; и сама эта встреча была несколько романтической и оттого приобретала неодолимое для него очарование.

Поэтому господин де Реванн без долгих размышлений уговорил прекрасную незнакомку, чтобы она позволила проводить ее к нему в дом. Она отправляется с ним, не чинясь и выказав знание большого света. Ей подают угощение, она принимает его без жеманных церемоний, с прелестной благодарностью. Во время, оставшееся до обеда, ей показывают комнаты. Она отмечает только действительно заслуживающее внимания, будь то предмет мебелировки, картина или удачное расположение покоев. Она обнаруживает библиотеку, она знает толк в хороших книгах и говорит о них со вкусом и без развязности. Ни пустой болтовни, ни смущения. За столом — та же благородная естественность мапер, тот же приятный тон и любезная беседа. Покамест в ее речах все понятно и разумно, а характер у нее такой же приятный, как и наружность.

После обеда она показалась всем еще милее благодаря маленькой прихоти: с улыбкой обратившись к девице де Реванн, она сказала, что взяла себе за правило платить за обед работой и, так как денег у нее частенько не бывает, просить у хозяйки иголку.

— Позвольте мне, — прибавила она, — вышить на ваших пальцах цветов, чтобы впредь, взглянув на него, вы вспоминали бедную незнакомку.

Девушка де Реванн отвечала, что у нее нет, к сожалению, пальцев с натянутой тканью и потому придется отказаться от удовольствия полюбоваться искусством гостыи. Тогда странница обратила взгляд на клавесин.

— В этом случае я уплачу долг невесомой монетой, — сказала она, — ведь таков давний обычай бродячих певцов.

Она попробовала инструмент, сыграв две-три прелюдии и обнаружив весьма искусную руку. Никто более не сомневался, что она девушка из благородного сословия и обладает всеми необходимыми в обществе талантами. Сперва игра ее была блестящей и бурной, потом звук стал более сдержанным и, наконец, полным печали, столь же глубокой, как та, которую заметили в ее глазах. Они увлажнились слезами, ее лицо изменилось, пальцы остановились; но сразу же вслед за тем она ошеломила всех, задорно и весело запев приятнейшим в мире голосом озорную песню. Так как позже появился повод полагать, что содержание шутивного романса прямо ее касается, то да простят мне, если я приведу его здесь:

Куда, приятель, иль откуда?
Чуть свет, уже ты на ногах!
В лесной часовне ль, чая чуда,
Мадонне каялся в грехах?
Прекрасный паж мой, неужели
Лука с туманом и росой
Теплее пуховой постели?
Бредешь нагой ты и босой!

Ах, верно! Только что покинул
Бедняга славную постель —
В тот миг, как сладкий жребий вынул,
Попал уже, казалось, в цель.
И вот — не выдумать позорней
Обмана! — мчится по лугам
Он резвого ручья проворней,
Нагой, бездомный, как Адам.

За парой райских яблоч ловко
Прокрался в мельничный он сад.
Как может ангел стать чертовкой?
Дверями ль рая входят в ад?
Ночной прохладой жар объятий
Легко ль изгнаннику сменить,
Словами жалоб и проклятий
Прервав речей любовных нить?

«В ее очах под кровом ночи
Кто б мог предательство прочесть?
Сама она мне что есть мочи
Вручить свою спешила честь,
Уйти Амуру не давала,
Пока в окошке рассвело,
А между тем в уме держала,
Коварная, заране зло!

Любви моей вкушая сладость,
Она зовет внезапно мать —
И тотчас, возглашая радость,
Ворвалась родственников рать:
Быками наступают дяди,
За ними тетки по пятам,
Двоюродные братья сзади,
Дружок-батрак и тут и там.

Мать, уподобясь хищной птице,
Вот-вот взлетит под потолок,—
Все требуют, чтоб я девице
Вернул невинности цветок!
Цветок, что сорван был не мною,—
Вот лицемерия венец!
Взбешен я подлостью такою,
Такой бессмыслицей вконец!

Амуру первая забава
Снимать с запретного запрет,—
Ну, мог ли потерпеть он, право,
Чтоб цвел цветок шестнадцать лет!
Цветок, на мельнице взращенный,
Успели до меня сорвать,—
За что ж, одежд своих лишенный,
Я обесславлен, словно тать?!

Отвергнув ложе вероломной,—
Она и в этот даже час
Сияла красотой нескромной,
Как ослепительный алмаз,—
Я бурным гневом разразился
И, к выходу наметив путь,
В осенний холод погрузился,
Как в прорубь, лишь бы улизнуть.

Ах, деревенские девицы
Ничуть не лучше городских:
Грешат всюду, а голубицы,
Поверить им, не чище их!
В такую стужу стать Адамом,
Чтоб после кашлять и чихать!
Нет, к черту! Лучше знатным дамам
Жар сердца буду отдавать!»

Бредя ручьем, так наш приятель
Обманщиц гневно обличал.
Посмейтесь же со мной! Создатель
Его за дело покарал:
Обманывал он сам бессечно,
Неверность шуткой почитал
И с дочкой мельника охотно
Прекрасной даме изменял ¹.

То, что она могла так забыться, было, конечно, подозрительно, и выходка гостыи могла бы показать всем, что голова ее не всегда остается светлой.

— Не знаю,— говорил мне господин де Реванн,— как это могло случиться, но ни одно из возможных в тот миг соображений нам даже в голову не пришло. Нас подкупила невыразимая прелесть, с какой она пела эти непристойности. В ее игре был задор, но была и сдержанность. Пальцы совершенно ей повиновались, а голос звучал поистине волшебно. Окончив петь, она приняла прежний невозмутимый вид, и мы сочли, что она просто хотела нас позабавить в послеобеденный час.

Вскороости она попросила разрешения вновь пуститься в дорогу, но по моему знаку сестра сказала, что ежели она не

¹ Перевод А. Глобы.

спешит и наш прием пришелся ей по душе, то для нас было бы праздником видеть ее у себя еще несколько дней. Я думал предложить ей какое-нибудь занятие, лишь бы она согласилась остаться. Но и в тот первый день, и на завтра мы только водили ее по усадьбе. Она была всегда ровна, неизменно оставаясь воплощением разумности и прелести. Ум у ней был такой тонкий и быстрый, нрав — такой мягкий, а память хранила так много прекрасного, что мы только на нее и глядели и нередко восхищались ею. При этом правила благородного обхождения были ей столь хорошо известны и она столь неукоснительно следовала им и с каждым из нас, и с немногими навещавшими нас друзьями, что мы понять не могли, как сочетать некоторые ее странности с таким безупречным воспитанием.

Я теперь не осмеливался предложить ей какую-нибудь службу по дому. Моя сестра, которой незнакомка весьма понравилась, также считала своим долгом щадить ее чувствительность. Они вместе пеклись о домашних делах, и тут милое дитя нередко снисходило до простой работы, но справлялось и с любимым делом, требующим высшей распорядительности и расчета.

В короткий срок она навела такой порядок, о каком у нас в усадьбе прежде и не слыхивали. Гостья оказалась очень толковой домоправительницей, и так как она с самого начала садилась с нами за стол, то и теперь не ретировалась из ложной скромности и без церемоний продолжала кушать с нами, — однако не прикасалась ни к картам, ни к клавишам прежде, чем не кончала все дела.

Должен признаться честно, что судьба девушки стала глубоко волновать меня. Я жалел родителей, которым, наверно, больно было лишиться такой дочери; я вздыхал, что столько скромных добродетелей и прекрасных качеств должны пропасть втуне. Она жила у нас уже несколько месяцев, и я надеялся, что доверие, которое мы старались ей внушить, в конце концов исторгнет тайну из уст. Если то было несчастье — мы могли бы помочь ей; если оплошность — можно было надеяться, что наше посредничество, наше свидетельство добудут ей прощение за мимолетную ошибку. Но все заверения в дружбе и даже просьбы оставались напрасны. Заметив наше намерение добиться от нее объяснений, она тут же прикрывалась общими нравственными сентенциями, которыми оправдывалась, ни во что нас не посвящая. Например, когда мы затевали разговор о се

несчастье, она отвечала: «Несчастье постигает добрых и злых. Оно — чересчур сильное лекарство, ибо гонит из нас вместе с дурными соками и хорошие».

Когда мы старались угадать причину ее побега из родительского дома, она говорила с улыбкой: «Если лань бежит, в этом не ее вина». Когда мы спрашивали, не подвергалась ли она преследованиям, то слышали в ответ: «Стойко терпеть преследования — судьба многих девушек из благородных семейств. Кто плачет, обиженный однажды, того обидят еще много раз». Но как решилась она поставить свою жизнь под угрозу людской грубости или, в лучшем случае, в зависимость от милосердия толпы? Она вновь начинала смеяться и отвечала: «Если бедный попал за стол к богатому, значит, ему хватило на это ума». Как-то раз в шуточной беседе о похождениях любовников мы спросили у нее, не знакома ли она с промерзшим героем своего романа. До сих пор помню, как пронзили ее эти слова. Подняв глаза, она посмотрела на меня так серьезно и строго, что я не выдержал ее взгляда; и с тех пор если разговор заходил о любви, то следовало ожидать, что и прелесть ее облика, и жизнерадостность духа тотчас же омрачатся и она погрузится в задумчивость, которую мы принимали за пустые мечтания, между тем как то была подлинная боль. Но в общем она была бодрa, хоть и без чрезмерной жизнерадостности, благородна без чопорности, пряма, хоть и без откровенности, сдержанна без боязливости, более терпелива, чем мягкосердечна, а когда ей говорили ласковые слова и комплименты, более признательна, чем душевна. Без сомнения, эта девица была создана для того, чтобы стать во главе большого дома, но при этом на вид ей было не больше двадцати одного года.

Такой мы знали эту завоевавшую мое сердце загадочную молодую особу в течение двух лет, которые ей угодно было провести у нас, прежде чем завершить их безумной выходкой, столь же странной, сколь блестящи были ее достоинства. Мой сын — ведь он моложе меня! — еще успеет утешиться; я же боюсь, что по слабости моей буду тосковать по ней всю жизнь.

А теперь я хочу поведать о безумстве рассудительной девицы, дабы показать, что безумство зачастую есть тот же здравый ум, только иначе проявляющий себя. Правда, нельзя не усмотреть странного противоречия между благородным характером скиталицы и забавной хитростью, к которой

она прибегла; однако два несоответствия нам уже известны: это ее скитания и песня.

Само собой понятно, что господин де Реванн был влюблен в незнакомку. Конечно, он не мог возлагать надежд на свое лицо — лицо пятидесятилетнего мужчины, хотя и крепкого и бодрого на вид, как в тридцать лет; но, быть может, он рассчитывал ей понравиться своим нерастраченным юношеским здоровьем, добротой, веселостью, мягкостью, великодушным характером, — а может быть, и своим богатством, хотя чувства его были достаточно тонки и он ощущал, что бесценное купить нельзя.

Но и сын господина де Реванна, юноша с душою нежной и пылкой, нимало не задумавшись, как и его отец, также захотел попытать счастья с незнакомкой и ринулся очертя голову. Сперва он лишь осторожно пытался завоевать чувства девицы, которую похвалы и приязнь отца и тетки делали все дороже для него. Старался он изо всех сил, тем более что прелестная особа представлялась его страсти стоящей много выше нынешнего своего положения. Ее строгость воспламеняла его даже больше, чем ее достоинства и красота; он осмелился говорить открыто, добиваться, обещать.

В домогательствах господина де Реванна, помимо его воли, была доля отеческой степенности. Хорошо себя зная, он, когда проведал, кто его соперник, сразу потерял надежду взять над ним верх, не прибегая к средствам, не подобающим человеку твердых правил. Несмотря на это, он продолжал начатое, хотя ему и не было неизвестно, что обычно на приманку доброты и даже богатства девица идет лишь по расчету и что приманка эта не действует, если вдруг явится любовь со своими чарами, да еще сопутствуемая юностью. К тому же господин де Реванн совершил еще одну ошибку, в которой позднее каялся. Наряду с заверениями в самой почтительной дружбе он говорил и о другой связи, прочной, тайной и узаконенной. При этом он иногда начинал сетовать и даже произнес слово «неблагодарность». Конечно, он не знал той, которую любил, если однажды мог сказать ей, что многим благодетелям платили злом за добро. Незнакомка ответила ему прямо:

— Многим благодетелям хочется за свою чечевичную похлебку купить все права на тех, кого они благодетельствовали.

Прекрасная незнакомка, опутанная домогательствами с двух сторон, руководимая неведомыми побуждениями, но,

по-видимому, питая лишь намерение избавить себя и других от вздорных распрей, нашла удивительный выход из этого двусмысленного положения. Сын настаивал с присущей его возрасту дерзостью и, как водится, угрожал лишиться себя жизни ради неумолимой. Отец, хоть и менее безрассудный, был столь же настойчив, и оба — совершенно искренни. Прелестная особа легко могла обеспечить себе подобающее положение, так как оба де Реванна уверяли ее, что намерены взять ее в жены.

Но на примере этой девушки все женщины могут постичь, что, даже когда ум помрачен тщеславием либо настоящим помешательством, особа честных правил не даст углубляться сердечным ранам, которых не хочет исцелить. Ски-талица чувствовала, что достигла крайней точки и ей нелегко будет отныне защитить себя. Она была во власти двух влюбленных, которые могли оправдать любую настойчивость чистотой своих намерений, ибо оба имели в мыслях изгладить свою дерзость брачной церемонией. Так обстояло дело, и она это понимала.

Она могла найти укрытие за спиной девицы де Реванн, но не прибегла к ней, — без сомнения, из шепетильности, щадя своих благодетелей. Не теряя присутствия духа, она придумывает средство: никто не потеряет своей добродетели, если она заставит усомниться в своей собственной. Ее свела с ума верность, которой ее любовник, конечно, не заслуживает, если не чувствует, сколько жертв она ему принесла, пусть даже он и не мог о них узнать.

Однажды, когда господин де Реванн слишком живо отвечал на ее изъявления дружбы и благодарности, она вдруг приняла вид крайнего простодушия, что сразу же бросилось ему в глаза.

— Ваша доброта, сударь, — сказала она, — меня пугает. Позвольте чистосердечно открыть вам причину. Я чувствую, что вам одному обязана я благодарностью. И все же...

— Жестокая женщина, — сказал господин де Реванн, — я понимаю вас! Мой сын затронул ваше сердце.

— Ах, сударь, этого мало! Я не могу открыть вам иначе, как этим смущением...

— Как, мадемуазель! Неужели вы...

— Да, я думаю, это так... — сказала она, низко кланяясь и пролив слезу, ибо женщина всегда умеет пролить слезу, когда она хитрит или когда ей нужно оправдать провинность.

Как ни влюблен был господин де Ревани, он не мог не подивиться такой простодушной откровенности у женщины, которая ждет ребенка, и счел, что кланяется она весьма к стати.

— Но, мадемуазель, мне совершенно непонятно...

— И мне тоже, — сказала она, и слезы полились обильнее.

Они лились до тех пор, пока рассерженный господин де Ревани, поразмыслив и прикинувшись спокойным, не заговорил снова:

— Теперь глаза мои открылись. Я вижу, как смехотворны мои притязания. Ни в чем вас не упрекаю, а за ту боль, что вы мне причинили, обещаю вам в наказание только одно: вы получите из его доли наследства, сколько необходимо, и мы узнаем, любит ли он вас, как я.

— Ах, сударь, пощадите мою невинность и ничего не говорите ему об этом!

Просьба молчать — слишком слабое средство, чтобы добиться молчания. Сделав этот шаг, безвестная красавица ожидала увидеть своего обожателя в крайней досаде и раздражении. Вскоре он появился, и взгляд его предвещал громовую речь. Но он тут же запнулся и мог произнести только:

— Возможно ли это, мадемуазель?

— Что случилось? — сказала она с улыбкой, способной при таких обстоятельствах довести до отчаяния.

— Как что случилось? Хороши вы, право, мадемуазель! Вам не следовало бы, по крайней мере, отнимать у законных детей наследство, — довольно с вас и того, что вы возводите на них обвинения! Да, мадемуазель, я понял ваш комплот с моим отцом! Вы подбрасываете мне сына, который, я уверен, приходится мне братом!

Лишенная разума красавица ответила ему, причем чело ее было по-прежнему ясно и безмятежно:

— Ваша уверенность напрасна. Мое дитя — не сын вам и не брат. Мальчишки так злы! Я не хочу мальчика, — нет, я хочу унести отсюда девочку, унести далеко, подальше от людей, таких злых, глупых и неверных! — И она продолжала, изливая все, что было у ней на сердце: — Прощайте же, прощайте, милый Ревани! По природе вы чисты душой, не изменяйте же вашей искренности и впредь. Когда богатство прочно, она не опасна. Будьте великодушны к беднякам. Кто презрит просьбу бедствующей невинности, сам когда-нибудь станет просить и не будет услышан. Кто без зазрения совести пренебрегает совестью беззащитной девушки, сам

падет жертвой бессовестных женщин. Кто не чувствует, что должна испытывать честная девушка, когда ее домогаются, тот теряет ее по заслугам. Кто строит расчеты вопреки разуму, вопреки намерениям и планам своей семьи, но зато в угоду своей страсти, по заслугам не получает от своей страсти плодов и лишается уважения семейства. Я верю, что вы искренне меня любили, но, мой милый Реванн, кошка знает, чье мясо съела, и если вам суждено быть любимым достойной женщиной, то вспомните о мельнице неверного любовника. Пусть мой пример научит вас полагаться на стойкость и молчаливость возлюбленной. Вам известно, верна я или нет, и вашему отцу тоже. Я намеренно скитаюсь по свету и подвергаю себя всяческим опасностям. И самые большие угрожали мне, без сомнения, в этом доме. Но так как вы молоды, я по секрету скажу вам одному: и мужчины и женщины бывают неверны только по своей воле. Это я и хотела доказать дружку с мельницы, если он станет настолько чист сердцем, чтобы пожалеть об утраченном.

Младший Реванн все слушал ее, хотя она уже высказалась. Потом он вскочил, словно пораженный молнией; наконец слезы хлынули у него из глаз, и он в волнении кинулся к отцу и к тетюшке, восклицая:

— Мадемуазель уходит, мадемуазель — ангел, или, вернее, демон, который бродит по свету, чтобы терзать сердца.

Но скиталица так хорошо все предусмотрела, что найти ее не удалось. Отец и сын объяснились, и после этого не осталось уже сомнений в ее невинности, ее дарованиях и ее безумии. Сколько господин де Реванн ни прилагал с тех пор усилий, ему так и не удалось добыть никаких сведений о прекрасной особе, чье явление было таким же мимолетным и прекрасным, как явление ангела.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

После долгого и основательного отдыха, столь необходимого путникам, Феликс живо вскочил с постели и начал одеваться — в спехе, но, как показалось отцу, с большим тщанием, чем обыкновенно. На его взгляд, все сидело плохо и нескладно, ему бы хотелось одеться во все новое и чистое. На бегу схватив что-то из закуски, поданной гостям слугою, он выскочил в сад, куда через час должны были выйти девицы.

Слуга, привыкший занимать гостей и показывать им дом, отвел нашего друга в галерею, где висели и стояли только портреты — многолюдное и прекрасное общество деятелей одного лишь восемнадцатого столетия, представленных, по возможности, картинами и бюстами работы самых превосходных мастеров.

— Во всем доме, — сказал хранитель, — не найти картины, содержащей даже отдаленный намек на религию, предание, миф, легенду или сказку. Наш господин считает, что воображение нужно поощрять лишь к тому, чтобы оно рисовало нам подлинные вещи. Он любит повторять: «Мы измышляем слишком много, чтобы еще и подстегивать внешними средствами эту опасную способность ума».

В ответ на вопрос Вильгельма, когда можно посетить хозяина, ему было сообщено, что тот, по своему обыкновению, спозаранок ускакал прочь. Он любит повторять: «Жизнь есть неусыпное внимание».

— И это и другие изречения, в которых отражается его нрав, написаны у нас над всеми дверьми. Вот, например, взгляните сюда: *«От полезного через действительное к прекрасному»*.

Девушки уже накрыли к завтраку под липами, Феликс паясничал подле них, в надежде отличиться и привлечь внимание озорными сумасбродствами или хотя бы добиться от Герсии выговора или замечания. Обе сестры старались прямотой и откровенностью завоевать доверие молчаливого гостя, который им понравился: они рассказали ему о некоем милом кузене, которого ждут наконец домой после трехлетнего отсутствия, о почтенной тетушке, которая живет неподалеку от этой усадьбы и по праву считается как бы духом-хранителем семейства. Они описывали ее в дряхлости недужного тела и в цветущем здравии ума, такой, словно в ней ожил голос исчезнувшей древней сивиллы, попросту изрекающий божественные глаголы о делах человеческих.

Гость перевел разговор на то, что видел сам. Он высказал желание ближе познакомиться с их благородным дядюшкой и его положительной деятельностью, припомнил указанный им путь от полезного через действительное к прекрасному и попытался по-своему истолковать эти слова, что вполне удалось ему и снискало одобрение Жюльетты.

Герсия, которая до поры только молча улыбалась, возразила на это:

— С нами, женщинами, дело обстоит особым образом. Мы то и дело слышим от мужчин их сентенции, видим эти сентенции, выведенные золотыми буквами у нас над головой, и все же про себя любая девушка знает, что можно перевернуть изречение — и оно останется справедливым: Возьмем хоть этот афоризм. *Прекрасная* находит поклонников, потом женихов, а в конце концов и мужа — и переходит к *действительной* жизни, которая не всегда бывает так уж отрадна; но если женщина умна, она посвящает себя *полезному*, печется о доме и детях и на том стоит. Мне, по крайней мере, не раз встречалось такое. А ведь у нас, у девушек, довольно времени для наблюдений, и чаще всего мы находим, чего не искали.

Тут явился посыльный от дядюшки и сообщил, что все общество приглашают откусать в ближний охотничий домик, куда можно отправиться верхом либо в экипаже. Герсилия выбрала поездку верхом. Феликс стал настойчиво просить, чтобы и ему дали лошадь. Сошлись на том, что Жюльетта поедет с Вильгельмом в экипаже, а Феликс примет роль пажа и будет обязан первой в жизни верховой прогулкой избраннице своего юного сердца.

Жюльетта с новым другом ехала мимо тянувшихся непрерывной чередой угодий, отданных пользе и удовольствию; плодовых деревьев росло столько, что даже было сомнительно, возможно ли съесть весь урожай.

— Вы проникли к нам через столь странную прихожую и нашли столько удивительного и необычайного, что вам, я полагаю, хочется понять связь между увиденным. Основание всему — склад ума и образ мыслей моего почтенного дядюшки. Зрелые годы этого благородного человека пришлось на времена Беккарии и Филанджери, когда правила всеобъемлющей человечности действовали везде и во всем. Но целеустремленный дух и непреклонный характер дядюшки преобразовали эти общие начала в соответствии с его мышлениями, всегда направленными к вещам практическим. Он не скрыл от нас, что по-своему переделал либеральный девиз: «Наилучшее — наибольшему числу», — придумав взамен другой: «Желанное — многим». Нельзя ни найти это наибольшее число, ни узнать, что для него наилучшее, ни тем более это наилучшее осуществить. Многие же всегда рядом; чего они желают, мы узнаем на опыте, чего им следует желать, мы постигаем размышлением, поэтому всегда есть возможность сделать и создать что-нибудь существенное. В ду-

хе сказанного и насаждено, возделано, устроено все, что вы видите, — ради цели близкой и легко постижимой. Все здесь должно служить на пользу ближайшей, но обширной горной округи.

Превосходный человек, располагающий и силами и средствами, сказал себе: «Пусть у каждого ребенка в горах всегда будет и вишня и яблоко, до которых они недаром так лакомы; пусть у каждой хозяйки будет вдоволь капусты, и репы, и прочих овощей, чтобы они хоть отчасти возместили бедственное преобладание картофеля в их столе». В этом духе он и старается действовать, благо само имение тому способствует, и за много лет появилось множество разносчиков и разносчиц, которые носят овощи и плоды на продажу в самые глубокие горные ущелья.

— Я сам наслаждался ими, как ребенок, — отозвался Вильгельм. — Я не ожидал найти там, среди скал и елей, ничего подобного и, увидев свежий плод, был удивлен больше, чем встретив пример чистойшей набожности. Дарам духовным место везде, а дары природы скупо распределены по земле.

— Затем наш достойный землевладелец подвез из дальних мест ближе к здешним горам много необходимых вещей; вон в тех строениях у подножья гор сложена соль и запасы пряностей. Зато снабжать горцев табаком и водкой он предоставляет другим: тут, по его словам, дело идет не о потребностях, а о прихотях и посредники всегда найдутся.

Прибыв к назначенному месту, общество вновь воссоединилось в просторном доме лесничего, где уже был накрыт столик.

— Мы можем садиться, — сказала Герсилия, — правда, здесь поставлен стул для дядюшки, но он, по своему обыкновению, наверняка не придет. Мне отчасти даже по душе, что наш гость, как я слышала, пробудет у нас недолго, — не то он соскучился бы, узнав ближе здешних действующих лиц, таких же, как в любом романе и комедии: чудак-дядюшка, две племянницы, одна тихая, другая бойкая, умная тетушка, друзья дома — всё на привычный лад; а если бы к тому же приехал кузен, наш гость познакомился бы с сумасбродом-путешественником, а может быть, и с каким-нибудь необычайным его попутчиком. Так скверная пьеса сочинилась бы сама собой и была разыграна в жизни.

— Нужно уважать дядюшкины причуды, — отвечала Жюльетта, — они не только ни для кого не обременительны, по

и предназначены облегчить всем жизнь. Для него несносно садиться за стол в определенный час, и он редко соблюдает время, утверждая, что лучшее изобретение новейших времен — обед по карте.

Среди прочего заговорили о пристрастии этого превосходного человека видеть повсюду надписи.

— Моя сестра, — сказала Герсилия, — может истолковать все до единой и потягаться в этом с самим хранителем, а я нахожу, что каждую можно вывернуть наизнанку, и от этого она станет не менее, а быть может, и более справедливой.

— Не могу отрицать, — отозвался Вильгельм, — что попадают и такие изречения, которые сами себя опровергают; например, я заметил на очень видном месте надпись: «Собственность и общее благо». Разве одно из этих понятий не отменяет другое?

Герсилия, перебив его, заметила:

— По-моему, дядюшка перенял это на Востоке, где на всех стенах начертаны изречения из Корана, не столько понятные, сколько почитаемые.

Жюльетта, не давая отвлечь себя в сторону, ответила Вильгельму:

— Изложите пространнее сказанное в двух словах, и смысл их тотчас станет понятен. — Далее, пропустив мимо ушей сторонние замечания, она объяснила, что имеется в виду: — Пусть каждый ценит по достоинству дарованную ему природой и судьбой собственность и старается не растратить ее и даже умножить; пусть расширит, насколько возможно, поле приложения своих способностей; но пусть при этом думает, как дать другим участвовать во всех его начинаниях, ибо имущих оценивают по тому, сколько людей получает благодаря им пользу.

Стали искать в подтверждение этому примеров, и тут наш друг оказался в своей стихии. Собеседники наперебой старались найти истинный смысл лаконической сентенции. Не за то ли чтят государя, что он может каждого побудить к деятельности, поощрить ее, благоприятствовать ей и так сделать всех подданных как бы участниками своей абсолютной власти? Не потому ли все обращают взоры на богача, что он, имея множество потребностей, хочет, чтобы везде получили долю от его избытка? Почему все люди завидуют поэту? Потому что делиться со всеми необходимо ему по природе и даже более — его природа в этом и состоит. Му-

зыконт счастливей живописца, так как сам непосредственно оделяет всех отрадными дарами, живописец же дает нечто только тогда, когда его дар от него отчуждается.

Далее шли общие рассуждения. Любую собственность человек должен беречь, чтобы самому стать источником общего блага; он обязан быть эгоистом, чтобы не сделаться эгоистом, копить, чтобы было что тратить. Что значит дать бедным собственность и благо? Куда похвальной вести себя как управляющий их имуществом. В этом и заключен смысл слов: «Собственность и общее благо». На капитал никто не вправе посягать, а проценты с него в мировом обороте и так достанутся каждому.

Из дальнейшего разговора стало известно, что дядюшку упрекали за то, что доходы с его имений слишком малы. Он отвечал на это: «Такой недобор для меня все равно что трата на собственное удовольствие, потому что так я облегчаю людям жизнь и притом избавляю себя от труда производить расходы самому; а общий итог остается тот же самый».

Таким образом, беседа девиц с новым другом касалась многих предметов, а так как доверие между ними все возрастало, то они заговорили об ожидаемом вскорости кузене.

— Мы полагаем, что коль скоро он ведет себя так странно, то заранее условился об этом с дядюшкой. Вот уже несколько лет, как он не дает о себе знать, только посылает милые подарки, иносказательно указывающие нам место его пребывания; а тут вдруг пишет из ближайшего соседства, однако приехать хочет не прежде, чем мы сообщим ему обо всех наших обстоятельствах. Такое поведение неестественно, и, что бы тут ни крылось, мы должны все выяснить до его приезда. Нынче вечером мы дадим вам целую пачку писем, из них вы сможете уразуметь остальное.

Герсилия присовокупила:

— Вчера я познакомила вас с полоумной бродяжкой, а сегодня вам предстоит услышать о безумном путешественнике.

— Однако сознайся, — добавила Жюльетта, — что все это мы сообщаем не без расчета.

Едва только Герсилия не без нетерпения спросила, почему мешкают с десертом, как доложили, что дядюшка ожидает общество к десерту в большой беседке. На пути туда заметили походную кухню; усердно хлопочущие повара с грохотом укладывали вычищенные до блеска кастрюли,

блюда, тарелки. Старого господина застали в просторной беседке за большим круглым столом, только что накрытым, и пока прибывшие усаживались, были щедро поданы необычайной красоты фрукты, превосходное печенье и наилучшие сладости. На вопрос дяди, что они видели и о чем беседовали, Герсилия выпалила в ответ:

— Наш гость чуть было не сломал себе голову над вашими лаконическими надписями, но, к счастью, Жюльетта пришла ему на помощь и дала к ним пространный комментарий.

— Вечно ты цепляешься к Жюльетте, — отозвался дядюшка, — а ведь она славная девушка и хочет чему-то научиться и что-то понять.

— А мне хочется позабыть многое из того, чему я выучилась; да и в том, что я поняла, немного проку, — весело отвечала Герсилия.

Тут в разговор вступил Вильгельм и рассудительно сказал:

— Я с почтением отношусь ко всякого рода афоризмам, особенно если они заставляют меня охватить взглядом противоположности и привести их к единству.

— Совершенно верно, — отозвался дядюшка, — но ведь разумный человек всю жизнь только этим и занимается.

Между тем места за столом постепенно заполнились, и пришедшим позже уже негде было сесть. Явились оба управляющих, егерь, берейтор, садовник, лесничий и другие, по виду которых нельзя было сразу определить их занятие. Каждый принес самые свежие новости, явно приятные старому господину, который старался заинтересованными вопросами вызвать людей на рассказ. Наконец он встал из-за стола и, поклонившись обществу, которому незачем было трогаться с места, удалился вместе с управляющими. Все полакомились фруктами, а молодежь, — хоть и немного неотесанная на вид, — отдала должное и сластям. Потом присутствующие один за другим стали подниматься и, откланявшись остающимся, уходили прочь.

Девицы, заметив, что гость удивляется происходящему, дали ему такое объяснение:

— Все, что вы здесь видите, есть опять-таки следствие своеобразных взглядов дядюшки; он утверждает, что самое поразительное изобретение нашего века — это трактир, где можно пообедать за отдельным столиком по карте. Едва он об этом изобретении узнал, как постарался ввести то же

самое и в своем семействе. Если он в хорошем расположении духа, то с удовольствием описывает все ужасы семейной трапезы, где каждый сидящий думает о своем, неохотно слушает других, рассеянно отвечает или с кислым видом молчит, а если, на несчастье, за столом окажутся дети, мгновенно впадает в педагогический раж и невпопад срывает на них дурное настроение. «Вот сколько приходится терпеть неприятностей,— говорит он.— А я сумел сразу от всего избавиться!» За нашим столом он появляется редко и присаживается только на миг, хотя стул для него всегда стоит. Походная кухня всегда при нем, обедает он обыкновенно в одиночестве, а остальные пусть сами о себе заботятся. Если же вдруг он приглашает к завтраку или к десерту, то домохадцы собираются отовсюду, где бы они ни были, и, как вы видели, едят с удовольствием. Именно это ему и приятно; у кого нет аппетита, тот не имеет права приходить, и всякий, кто полакомился вволю, обязан встать из-за стола; только так дядюшка может быть уверен, что все вокруг него получают удовольствие. Я слышала от него однажды: «Если хочешь доставить людям радость, старайся время от времени дать им то, что доступно им только изредка или недоступно совсем».

На обратном пути общество привел в волнение неожиданный случай. Герсилия сказала Феликсу, скакавшему бок о бок с нею:

— Погляди, что там за цветы. Весь южный склон сплошь зарос ими, а я никогда таких не видала.

Феликс немедля пустил лошадь вперед, поскакал к указанному месту и уже возвращался с букетом, издали потрясая цветущими венчиками, как вдруг и он и лошадь исчезли. Оказывается, мальчик свалился в ров. Тотчас же двое верховых, отделившись от попутчиков, поскакали к нему.

Вильгельм хотел выпрыгнуть из экипажа, но Жюльетта запретила ему:

— Помощь уже подана, а у нас есть правило, что в таких случаях может покидать свое место только тот, кто оказывает помощь. Хирург уже там.

Герсилия придержала коня.

— Да,— сказала она,— лейб-медик, чтобы лечить недуги, нужен не так часто, а вот хирург, чтобы лечить раны, нужен каждый час.

Феликс уже скакал к ним с повязкой на голове, не выпуская из рук добычи и высоко поднимая цветы всем на

обозрение. Довольный собой, он преподнес букет своей повелительнице, а Герсилия подарила ему тонкий, пестрый шейный платок, сказав при этом:

— Белая повязка тебе не к лицу, эта будет выглядеть веселее.

Домой все воротились успокоенные, еще более расположенные друг к другу.

Было уже поздно, все разошлись в радостной надежде встретиться поутру; однако нашему другу еще несколько часов не давали заснуть мысли о переписке, которую мы приводим здесь.

Ленардо — тетушке

Вот Вам, дорогая тетушка, первое за три года письмо, согласно нашему уговору, впрочем, довольно странному. Я хотел видеть свет и полностью ему предаться, а ради этого забыть на время родные места, откуда я приехал и куда надеялся воротиться. Я хотел сохранить лишь общее впечатление, чтобы никакие мелочи не занимали меня и не отвлекали мои мысли в такую даль. Однако обе стороны все же подавали необходимые признаки жизни. Я получал деньги, а Вам доставлялись подарки для раздачи всей родне. Из того, что я присылал, Вы могли усмотреть, где именно я обретаюсь. Дядюшка мог определить место моего пребывания по вкусу вина, для девиц мой путь в Брабант, а оттуда через Париж в Лондон был обозначен кружевами, щепетильными и стальными изделиями, так что на их письменных, рабочих и чайных столиках, на их домашних и парадных платьях я найду много путеводных примет для моих рассказов. Таким образом, Вы, хотя и ничего обо мне не слышали, следили за мною, и Вам, верно, будет ничуть не любопытно узнать больше. Мне же настоятельно необходимо, чтобы Вы по доброте своей дали мне знать, что происходит в том кругу, куда я вновь собираюсь вступить. Я хотел бы прибыть с чужбины, как чужой человек, который, чтобы не быть в тягость, прежде осведомляется обо всех обычаях и привычках дома и не воображает, что там, принимая его, должны ради его прекрасных глаз приворожиться к его вкусам. Потому напишите мне о нашем добром дядюшке, о милых племянницах, о себе и обо всей ближней и дальней родне, а также о новой и старой прислуге. Одним

словом, пусть Ваше умелое перо, которое Вы давно уже не погружали в чернильницу ради племянника, снова разгуляется для него по бумаге. Ваше назидательное письмо станет для меня верительной грамотой, с которой я и явлюсь, как только получу ее. Так что от Вас зависит, когда вы заключите меня в объятия. Мы меняемся меньше, чем полагаем сами, да и обстоятельства наши по большей части сходятся с прежними. И я хочу сразу же узнать, — не что изменилось, а что осталось как раньше, что прибыло либо убыло, хочу снова увидеть себя в знакомом зеркале. Передайте привет всем нашим и поверьте, что, при всей странности моего отсутствия и возвращения, я сохранил больше тепла, чем сохраняют порой, постоянно интересуясь друг другом и оживленно переписываясь. Тысячу раз кланяюсь всем и каждому!

Приписка

Неприменно напишите мне, милая тетушка, обо всех наших служащих и о том, как идут дела с нашими старостами и арендаторами. Что стало с Валериной, дочерью того арендатора, которого дядюшка перед самым моим отъездом прогнал, поступив с ним хотя и по заслугам, но, сдается мне, довольно сурово? Вы видите, я помню многие обстоятельства, я ничего не забыл. Можете проэкзаменовать меня относительно прошлого, но только раньше сообщите о настоящем.

Тетушка — Жюльетте

Вот наконец, детки, и письмо от трехлетнего молчальника. До чего же странны эти странные люди! Он думает, будто все его приметные подарки заменят одно-единственное доброе слово, с каким друг обращается к другу прямо или в письме, и поистине воображает нас своими должниками, а потому хочет, чтобы мы первыми сделали то, в чем он сам так сурово и недружелюбно нам отказывал. Как же нам поступить? Что до меня, так я бы написала в угоду его желанию самое длинное письмо, ежели бы не первые признаки мигрени, которая вряд ли даст мне дописать и эту записку. Нам всем не терпится его увидеть. Так что возьмите-ка, мои милые, этот труд на себя. Я же, если поправлюсь прежде, чем вы кончите, тоже внесу свою лепту. Выберите

себе каждая тех лиц и те обстоятельства, о которых больше хочется писать, да поделите работу. У вас все получится еще лучше, чем у меня. Отправите ли вы мне с моим посыльным хоть два слова?

Жюльетта — тетушке

Мы немедленно все прочли, обдумали и сообщаем Вам с Вашим посыльным свое мнение, каждая в отдельности, но предварительно вместе удостоверившись, что ни одна из нас не настроена так же добродушно, как милая тетушка — к своему всегдашнему баловню-племяннику. Он три года не открывал нам своих карт, не открыл и сейчас, а мы после этого должны выложить перед ним наши и играть в открытую? Так не годится! Впрочем, коль скоро хитрец, слишком желая себя обезопасить, нередко сам себя обманывает, то уж куда ни шло. Только мы никак не могли договориться, что и как ему отправить. Писать, что мы думаем о своих близких, — задание по меньшей мере странное. Обычно о них думаешь только в тех случаях, когда они уж очень угодят или досадят тебе. В остальное время никому ни до кого нет дела. Вам одной это под силу, дорогая тетушка, ибо в Вас зоркость сочетается со справедливостью. Герсилия, которая, как Вам известно, воспламеняется мгновенно, экспромтом в два счета сочинила шуточный критический обзор всего семейства, который я хотела бы видеть записанным, с тем чтобы он и Вас заставил улыбнуться даже вопреки головной боли, но не с тем, чтобы он был отослан ему. Мое предложение таково: перешлем ему нашу корреспонденцию за эти три года, — пусть, если у него хватит духу, прочтет ее всю или пусть явится сам, чтобы увидеть то, о чем не захочет прочесть. Ваши письма ко мне, дорогая тетушка, в полном порядке и могут быть немедленно предоставлены в Ваше распоряжение. Герсилия к моему мнению не присоединяется, ссылаясь в оправдание на беспорядок в бумагах и прочее, о чем она сама Вам скажет.

Герсилия — тетушке

Я собираюсь поневоле быть краткой, дорогая тетушка, так как Ваш посыльный нетерпелив до неучливости. Помоему, мы выкажем чрезмерную и неуместную доброту,

если посвятим Ленардо в нашу переписку. Зачем ему знать, что мы о нем говорили хорошего, зачем ему знать, что мы о нем говорили плохого? Надо ли, чтобы он обнаружил из плохого больше, чем из хорошего, как мы к нему добры? Не давайте ему спуска, прошу Вас! В этом его требовании, во всем его поведении есть какое-то несоразмерное высокомерие, присущее большинству мужчин, когда они возвращаются из чужих краев. Для них все, кто оставался дома, уже и не люди. Сошлитесь в оправдание на мигрень. Он все равно придет, а не придет — что ж, подождем еще немножко. Может быть, ему тут же придет в голову проникнуть к нам странным и таинственным образом, узнать нас, оставшись неузнанным, — да мало ли что может напридумывать такой умник, как он! Вот будет приятная неожиданность! От нее, верно, началось бы много такого, чего бы никак не случилось, воротись он в семью со всеми задуманными дипломатическими церемониями.

Посыльный, опять этот посыльный! Или воспитывайте Ваших людей лучше, или посылайте кого помоложе. Этого не проймешь ни лестью, ни вином. Прощайте, прощайте, прощайте!

Приписка по поводу приписки

Объясните, пожалуйста, что это кузен приписал по поводу Валерины? Вопрос этот занимает меня по двум причинам. Валерина — единственное лицо, которое он называет по имени. Мы, все прочие, остаемся для него племянницами, тетушками, служащими — не личностями, а общими обозначениями. Валерина — дочка нашего старосты! Конечно, эта белокурая девочка недурна собой и могла приглянуться господину кузену перед отъездом. Она удачно вышла замуж и счастлива, мне незачем Вам об этом напоминать. Но он этого не знает так же, как и всего остального, что до нас касается. Поэтому не забудьте сообщить ему, и непременно в приписке: Валерина день ото дня становилась красивей и потому могла сделать хорошую партию. Она теперь жена богатого землевладельца. Вышла замуж белокурая красотка! Так и скажите ему напрямик! Но это еще не все, дорогая тетушка. Мне совершенно непонятно и потому больше всего интересуется одно: как можно было, запомнив так хорошо белокурую красавицу, перепутать ее с разбитной черноволосой дочкой нерадивого арендатора, которую звали Находиной и которая бог весть куда пропала? И все же мне

сдается, что господин кузнец, хотя и похвально хорошей памятью, самым странным образом перепутал имена и лица. Быть может, он чувствует этот изъян и хочет, чтобы Ваше описание оживило потускневшие картины. Прошу Вас, не давайте ему спуска, но постарайтесь узнать, что это за Валерины, Находины и каких еще -рин и -трин сохранило его воображение, между тем как -етты и -илии вовсе исчезли у него из памяти. Посыльный, опять этот проклятый посыльный!

Тетушка — племянницам
(Писано под диктовку)

К чему так притворяться перед теми, с кем придется бок о бок прожить жизнь? Ленардо, при всех его чудачествах, заслуживает доверия. Пересылаю ему оба ваши письма; из них он лучше вас узнает, и я надеюсь, что и мы ненароком найдем случай в скором времени показаться ему во всей красе. Будьте здоровы. Головная боль замучила.

Герсилия — тетушке

К чему так притворяться перед теми, с кем живешь бок о бок! Ленардо — баловень тетушки. Это гадко, гадко — посылать ему наши письма! Из них он лучше нас не узнает, и я теперь только и жду случая в самом скором времени показаться ему совсем с другой стороны. Мучаясь сами, Вы мучите других слепотой Вашей любви. Поправляйтесь скорее, чтобы больше не мучиться! А от любви Вам не излечиться,

Тетушка — Герсилии

Я вложила бы в предназначенный для Ленардо пакет и последнюю твою записку, если бы вообще не отказалась от намерения, которое было внушено мне неисправимым пристрастием, мигренью и нежеланием себя утруждать. Ваши письма не отправлены.

Вильгельм — Наталии

Человек — существо общительное и разговорчивое, ему приятно применять на деле данные ему природой способности, даже если в итоге ничего и не получится. Как часто

в обществе жалуются на то, что один не дает другому вымолвить слово. Точно так же можно было бы сказать, что один не дает другому взяться за перо, не будь писание таким делом, которым непременно надобно заниматься в одиночестве.

Никто не имеет понятия, как много люда пишут! Не стану говорить о той доле, которая попадает в печать, хотя и она велика. Но сколько писем, рассказов, анекдотов и отчетов о нынешнем положении той или иной особы обращается негласно, в виде посланий и даже длинных статей,— об этом можно составить себе понятие, только если пожить в образованном семействе, как я сейчас. В моем нынешнем кругу тратят на то, чтобы сообщить родным и друзьям о своих занятиях, почти столько же времени, сколько на сами эти занятия. Этим соображением, которое вот уже несколько дней не выходит у меня из головы, я делюсь тем охотнее, что обуревающая моих новых друзей страсть к писанию дает мне возможность быстро и со всех сторон узнать их дела и отношения. Мне доверяют, мне вручают связку писем, несколько тетрадок путевого дневника, исповедь пребывающей в разладе с собою души,— и я могу в один миг со всем освоиться. Я узнаю свое ближайшее окружение, узнаю тех, с кем мне предстоит познакомиться, мне известно о них чуть ли не больше, чем им самим, потому что каждый из них в плену собственных обстоятельств, а я парю над ними — рука об руку с тобою, непрестанно и обо всем с тобою беседуя. Когда мне предстоит услышать откровенное признание, первое мое условие — чтобы я мог поделиться с тобой. Итак, вот тебе несколько писем; они введут тебя в круг, в котором я сейчас вращаюсь, не преступая и не обходя моих обетов.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Рано поутру наш друг один ходил по галерее и с удовольствием рассматривал знакомые лица, а о незнакомых черпал сведения из заранее найденного каталога. Портрет, как и жизнеописание, заключает в себе особый интерес: замечательная личность, которую нельзя вообразить себе вне ее окружения, тут отдельно от всех предстает перед нами, как перед зеркалом, и мы должны уделить ей преимущественное внимание, заниматься ею одной, как сам

этот человек, непринужденно стоя перед зеркалом, занимался бы только своей особой. Если это полководец — он представляет в своем лице все войско, а короли и императоры, за которых он сражается, образуют лишь смутно различимый фон. Если это любезный царедворец — он как будто только перед нами и лебезит, мы и не вспоминаем о большом свете, ради которого он приобрел весь свой лоск. Нашего зрителя сразу поразило сходство многих людей, живших давно, с живущими ныне, знакомыми ему и виденными во плоти, и даже сходство с ним самим. Но почему близнецы Менехмы должны быть непременно рождены одной матерью? Почему и великой матери богов и людей не производить из своего плодоносного лона одинаковых творений, одновременно или с перерывами?

В конце концов и наш чуткий зритель не мог не признаться себе в том, что среди маячивших перед его глазами картин есть много привлекательных, но также много внушающих неприязнь.

Хозяин дома застиг его врасплох среди таких размышлений, и Вильгельм свободно заговорил с ним об этих предметах, чем, судя по всему, еще больше завоевал его расположение, так как был любезно введен им во внутренние комнаты, где увидел изображения замечательных людей шестнадцатого столетия. Они окружили его, совершенно такие, какими были в жизни и во плоти, без оглядки на зеркало или на зрителя, вольные и довлеющие себе, воздействуя одним своим присутствием, безо всякого намерения или расчета.

Хозяин, довольный тем, что гость сумел полностью оценить, сколь богато представлено тут прошлое, показал ему рукописи многих лиц, о которых было говорено в галерее, а потом и реликвии, о которых было достоверно известно, что предыдущий владелец пользовался ими и к ним прикасался.

— Вот мой род поэзии, — сказал хозяин с улыбкой. — Моему воображению нужны твердые опоры; если что не оставило следов до сего дня, я с трудом верю, что оно вообще было. О каждой такой святыне прошлых времен я стараюсь получить достовернейшие свидетельства, иначе я ее не беру. Самой строгой проверке подвергается всякое рукописное предание: я охотно верю, что монах составил хронику, но вот тому, о чем он свидетельствует, я верю редко.

Под конец он положил перед Вильгельмом чистый лист и попросил написать на нем несколько строк, но не подписываться; для этой цели гость был введен через завешенный ковром проем в залу, где оказался рядом с хранителем.

— Я рад,— сказал тот,— что вы полюбились нашему господину, о чем свидетельствует уже то, что вы вышли из этой двери. Вы знаете, за кого он вас принимает? Он полагает, будто вы — практикующий педагог, приставленный к мальчику, якобы отпрыску знатного семейства, которого доверили вашему руководству, с тем чтобы вы уже в раннем возрасте показали ребенку все многообразие мира и привили ему верный взгляд и твердые правила.

— Слишком много чести для меня,— сказал наш друг,— но постараюсь, чтобы слова его не пропали для меня даром.

Спустившись к завтраку, он обнаружил Феликса уже хлопочущим около девиц, которые поведали Вильгельму свое желание: если ему нельзя задержаться, то пусть он отправится к благородной тетушке Макарии, а от нее, быть может, и к кузену, чтобы пролить свет на странную его медлительность. Благодаря этому он сразу же делается членом их семьи, окажет всем им немалую услугу и без долгих церемоний войдет в самые доверительные отношения с Лернардо.

На это Вильгельм ответил:

— Я с охотой отправлюсь, куда бы вы меня ни послали; я пустился в путь затем, чтобы смотреть и мыслить; у вас я многому научился и узнал больше, чем мог надеяться, и потому уверен, что и завтрашний мой путь даст мне многому научиться и уразуметь больше, чем я ожидаю.

— А ты, прелестный шалопай, чему ты будешь учиться? — спросила Герсилия, на что мальчик задорно отвечал:

— Я учусь писать, чтобы присылать тебе письма, и ездить верхом лучше всех, чтобы в любой час прискакать к тебе.

На это Герсилия задумчиво сказала:

— С поклонниками из моих сверстников мне никогда не везло, но сдается, что следующее поколение скоро возместит мне неудачи.

А сейчас мы, хотя и чувствуем вместе с нашим другом горечь приближающейся разлуки, желали бы составить более ясное понятие об особенностях нрава замечательного

хозяина дома и о странностях этого необыкновенного человека. Но чтобы не судить о нем ложно, нам придется обратиться внимательный взгляд на предков и потомков достойного господина, уже достигшего преклонных лет. Из рассказов нам удалось установить следующее:

Дед его принимал деятельное участие в некоем посольстве в Англию. То были последние годы знаменитого Уильяма Пенна, чье высокое стремление к благу, чистота помыслов, непоколебимая энергия, а также столкновение с миром, вызванное этими его достоинствами, опасности и беды, под бременем которых благородный законодатель, казалось, готов был пасть, пробудили в восприимчивой душе молодого человека чрезвычайный интерес к нему. Интерес этот стал для него столь кровным, что он в конце концов сам отправился в Америку. Отец Вильгельмова хозяина родился в Филадельфии, и оба хвалились тем, что способствовали большей свободе вероисповеданий в колониях.

Здесь и выработалось правило, гласившее, что замкнутая в себе нация, исконно связанная единством прав и веры, должна, конечно, оберегаться от всяческих чужеземных влияний и новшеств, но там, где живущие на новой почве стремятся созвать к себе людей со всех сторон, нельзя ограничивать ни деятельности, которой они добывают себе хлеб, ни свободы их нравственных и религиозных воззрений.

Живая тяга в Америку была в начале восемнадцатого столетия весьма сильна, поскольку каждый, кто здесь чувствовал себя не вполне уютно, надеялся там стать свободным; эта тяга питалась также возможностью приобрести превосходные земли, пока еще заселение не продвинулось дальше на запад. Все так называемые графства на границе обитаемой области подлежали продаже, и отец Вильгельмова хозяина приобрел там обширные владения.

Но и здесь, как бывает нередко, в сыне родилось чувство противоречия отцовским взглядам и устремлениям. Наш хозяин дома, попав в Европу юношей, почувствовал себя здесь совершенно иначе: увидев ее бесценную цивилизацию, возникшую много тысяч лет назад, возросшую, распространившуюся, потом угнетенную, подавленную, но нигде не задушенную и вновь воскресшую, проявляющую себя, как и прежде, в бесчисленных отраслях деятельности, он составил себе иное понятие о достижениях человечества. Он предпо-

чел получить свою долю необозримых преимуществ и лучше затеряться в многолюдном, но деятельном и благоустроенном обществе, трудясь вместе с ним, нежели с многовековым опозданием играть за морем роль Орфея или Ликурга. Он говорил: «Человек везде должен быть терпелив, везде должен оглядываться на других, и я предпочитаю иметь дело с государем, который признает за мной те или другие законные права, предпочитаю тягаться с соседями, которые дадут мне кое-какие послабления, если я, со своей стороны, в чем-нибудь уступлю им, чем сражаться с ирокезами или заключать с ними сделки, чтобы силой прогнать или обманом вытеснить их из болот, где потом меня до смерти замучат москиты».

Он вступил во владение родовыми поместьями, сумел, управляя ими в духе свободомыслия, наладить в них хозяйство, присоединить к ним на первый взгляд бесполезные соседние участки и внутри цивилизованного мира, который нередко тоже может быть назван в известном смысле дикой пустыней, приобрести и создать небольшую самостоятельную область, что для человека среднего состояния есть почти утопия.

Свобода веры в этом случае разумеется сама собой, посещение службы по тому или иному обряду рассматривается как дело вольного исповедания, к которому человек присоединяется навсегда, и тут уже строго смотрят, чтобы никто не обособлялся.

В каждом поселении бросаются в глаза довольно обширные здания; такие помещения землевладелец обязан построить для каждой общины, сюда сходятся на совет старейшины, здесь собираются все ее члены, чтобы услышать слово поучения и благочестивого ободрения. Но та же зала предназначена и для увеселений: здесь танцуют на свадьбу, здесь звучит музыка, завершающая каждый праздник.

Все это может быть подсказано самою природой. Мы постоянно видим, как при ясной погоде под одной и тою же липой то совещаются старейшины, то община внимает поучению, то вертится в танце молодежь. На фоне степенной повседневности веселье выделяется особенно красиво, степенность и благочестие не дают перейти меру в удовольствиях,— а ведь только блюдя меру, мы и можем оставаться собою.

Если община думает иначе и достаточно богата, ей дается право посвятить различным целям разные постройки,

Все это имеет в виду общественную жизнь и ее общие нравственные основы, между тем как религия в собственном смысле остается переживанием внутренним и даже личным: ведь только она одна может, когда нужно, подстегнуть, когда нужно, успокоить нашу совесть. Подстегнуть — если она притупилась, застыла в бездеятельной лени, успокоить — если беспокойная горечь ее угрызений грозит отравить нам жизнь. Ибо совесть — родная сестра тревоги, которая грозит перейти в тяжкую горечь, всякий раз как мы по собственной вине навлечем беду на себя или на других.

Но так как мы не всегда расположены к сосредоточенному раздумью, которое для этого необходимо, и не всегда нас можно к нему побудить, то для такой цели и отводится воскресенье, когда все, что гнетет человека, — будь то в религиозной и нравственной, будь то в общественной и экономической сфере, — должно быть открыто высказано.

— Если бы вы остались подольше, — сказала Жюльетта, — то, верно, вам бы у нас понравилось и в воскресный день. Послезавтра вы бы сразу заметили, как тихо везде с утра: каждый остается в одиночестве, посвящая его часы предписанным размышлениям. Человек — существо ограниченное, и воскресенье у нас посвящено раздумьям об этой ограниченности. Если она проявляется в телесном недуге, на который мы в суматохе будней обращали, быть может, слишком мало внимания, то в начале новой недели мы обязаны обратиться к врачу; если мы видим некие ограничения экономического или гражданского свойства, то наши слушающие должны собраться на совещание; если то, что омрачает нас, относится к области духовной или нравственной, то нам следует обратиться к кому-нибудь из друзей или вообще людей благомыслящих за советом и содействием; одним словом, закон гласит, что никто не имеет права оставаться на новую неделю при своих беспокойствах и муках. От гнета долга нас может избавить только его добросовестное исполнение, а что нам решить не по силам, то мы препоручаем богу, единственному существу, властному все вязать и разрешать. Даже дядюшка ни разу не преминул пройти испытание, и бывали случаи, когда он доверительно обсуждал с нами обстоятельства, с которыми в тот миг не мог совладать; но чаще всего он совещается с тетюшкой,

к которой время от времени ездит с визитами. А по вечерам в воскресенье он обыкновенно спрашивает, во всем ли мы чистосердечно исповедались и от всего ли избавились. Из этого вы можете видеть, что мы всячески стараемся не быть принятыми в ваше товарищество, в орден Отрекающихся.

— Вот чистая жизнь! — воскликнула Герсилия. — Впрочем, если я смиряю себя каждые восемь дней, то из трехсот шестидесяти пяти в моем распоряжении остается еще предостаточно.

При прощании наш друг получил от младшего управляющего пакет с приложенной запиской, из которой мы приводим следующий отрывок:

«У каждого народа, сдается мне, преобладает одно чувство, в удовлетворении которого он только и находит счастье; то же самое можно видеть и у отдельных людей. Тот, кто насыщает слух стройной красотой полнозвучья, кому она наполняет ум и душу желанным волнением, — будет ли он мне благодарен, если я поставлю пред его глазами картину самого превосходного живописца? Любитель живописи хочет смотреть и не допустит, чтобы его воображение было увлечено поэмой или романом. И кто одарен достаточно богато, чтобы испытывать всесторонние наслаждения?»

Но вы, наш кратковременный друг, показались мне именно таким человеком, и я могу надеяться, что вы, сумев оценить прелесть аристократического французского умпомешательства, не пренебрежете простой и верной благонамеренностью немецкой жизни и простите мне то, что для меня, по моему нраву и образу мыслей, по происхождению и положению в обществе, нет картины отраднее той, какую являет немецкое среднее сословие во всей его уютной домовитости.

Будьте же терпеливы к моему писанию и не забывайте меня!»

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Кто предатель?

— Нет, нет! — вскричал он, ворвавшись в отведенную ему спальню и поставив свечу. — Нет, это невозможно! Но куда мне податься? Впервые я мыслю с ним розно, впервые

разошлись наши чувства и желания! О батюшка! Когда бы ты незримо здесь присутствовал, когда бы заглянул мне в душу — ты убедился бы, что я все тот же твой неизменно послушный, любящий сын. — Отказываться! Перечить столь давно взлелеянному, заветному желанию родителя! Как открыться? В каких словах это высказать? Нет, я не могу жениться на Юлии! Вот я сказал это — и сам испугался. Как подойти к нему, как поведать доброму, любимому батюшке такие мысли? Он молча глядит на меня и удивленно качает головой; он не находит слов — такой прощительный, умный, ученый! Горе мне! О, я знал бы, кому рассказать об этой муке, об этой безысходности, кого избрать ходатаем. Тебя одну, Люцинда! Я открыл бы тебе сначала, как я тебя люблю, как предан тебе душой, а потом стал бы слезно молить: «Вступишь за меня, а если ты можешь меня любить и хочешь быть моею, так вступишь за нас обоих!»

Увы, объяснять этот краткий страстный монолог нам придется куда более пространно.

У профессора Н. из Н-ского университета был единственный сын, мальчик необычайной красоты; до восьми лет отец предоставлял его попечению супруги, весьма достойной дамы, которая всякий день и час направляла жизнь и учение ребенка и старалась привить ему добрые привычки. Она умерла — и в тот же миг отец почувствовал, что опекать сына и дальше ему одному не по силам. До сих пор все делалось по обоюдному согласию между родителями: они трудились ради одной цели, вместе решали, что предпринять в ближайшее время, а уж мать умела разумно все выполнить. Теперь заботы вдовца умножились вдвое и втрое: ведь он знал, что профессора, даже из университетов, только чудом могут дать своим детям хорошее образование.

В таком затруднении он обратился к другу, председателю суда в Р., с которым и раньше строил планы еще теснее связать оба семейства. Тот сумел помочь советом и делом, определив сына в одно из процветавших тогда в Германии учебных заведений, где старались по возможности всесторонне заботиться о человеке, развивая его тело, душу и ум.

Сын был пристроен, но отец сразу же почувствовал себя слишком одиноким. Лишившись супруги, он был лишен теперь и отрадной близости ребенка, который так благополуч-

но рос у него на глазах без всяких усилий с его стороны. Но и тут помогла ему дружба с председателем суда: растояние, разделявшее их дома, исчезло, уничтоженное взаимной симпатией и охотой найти рассеянье в перемене мест. В семействе председателя, где также не было матери, осиротелый ученый нашел двух подрастающих дочек, красивых и по-разному очаровательных; это и позволяло отцам все более укрепляться в своих замыслах и рассчитывать в будущем отраднейшим образом соединить оба дома.

Княжество, в котором они проживали, благоденствовало, и такой честный и дельный человек, как председатель суда, мог быть уверен, что место останется за ним пожизненно, а может быть, и перейдет к удобному для него преемнику. Согласно разумному семейному и административному плану, Люцидор должен был готовиться к тому, чтобы занять важный пост будущего тестя. Это постепенно и делалось. Не упускали ни одной возможности передать ему те знания и развить в нем те способности, в которых постоянно нуждается государство, то есть научить его строго соблюдать законы, делать послабление там, где исполнителю могут помочь ум и опыт, брать в расчет повседневные обыкновения, не упуская из виду и высших соображений, и во всем применяться к жизни, как это следует делать всегда и неукоснительно.

В этом духе Люцидор воспитывался в школе, и теперь, по ее окончании, отец с покровителем готовили его в университет. Ко всем наукам юноша выказывал отличные способности, а кроме того, природа наградила его редкостным счастьем: охотой направить их туда, куда было указано,— сперва из любви к отцу, из почтения к другу, из послушания, а потом и по собственному убеждению. Его послали учиться в другой город, и в тамошнем университете он, как гласили его отчеты в письмах и свидетельства наставников и надзирателей, шел тем путем, который вел прямо к цели. Одно только в нем не одобряли: порой он бывал нетерпелив в своем рвении. Отец покачивал на это головой, председатель одобрительно кивал. Кому не хотелось бы иметь такого сына!

Между тем подрастали и дочери, Юлия и Люцинда. Первая, младшая, была задорна, мила, непоседлива,— словом, из тех девиц, с которыми не соскучишься. Вторую описать труднее, так как она во всей чистоте воплощала собою то, что нам хочется видеть в каждой женщине. Семейства

обменивались визитами, и Юлия неизменно находила в доме у профессора, чем себя занять.

В число наук, преподаваемых профессором, входила и география, которую он умел оживлять топографическими описаниями. Юлия, едва взяла в руки один из томов, выпускаемых Гомановой печатней и длинным рядом стоявших на полке, сразу принялась сравнивать города, вынося суждение обо всех, предпочитая одни и пренебрегая другими; в наибольшей милости были у ней города портовые, а все прочие, чтобы хоть отчасти притязать на ее одобрение, должны были отличаться обилием башен, куполов и минаретов.

Отец позволял ей целыми неделями оставаться у испытанного друга, поэтому ее познания становились шире и глубже, она уже неплохо знала весь населенный мир, то есть главные особенности всех пунктов и местностей. Большое внимание обращала она и на чужеземные наряды, и когда приемный отец в шутку спрашивал ее, не нравится ли ей тот или иной из молодых красавчиков, расхаживавших под окнами, она отвечала: «Нравится, конечно: ведь он выглядит так чудно!» А так как этого нашим студентам не занимать стать, у нее часто бывал случай заинтересоваться то одним, то другим и вспомнить, глядя на него, какой-нибудь чужеземный костюм; однако она уверяла, будто целиком занять ее внимание мог бы разве что приезжий грек в своем национальном убранстве; по той же причине ей хотелось побывать на Лейпцигской ярмарке, где на улицах можно видеть такие наряды.

После своих сухих и подчас раздражающих занятий наш учитель не знал минут счастливее тех, когда он давал ей шутливые уроки и тайком ликовал тому, что воспитывает себе сноху, которая и сама не ведает скуки, и другим не дает скучать. Впрочем, отцы порешили, что девушка не должна догадываться об их намерениях; от Люцидора их также держали в тайне.

Так прошли годы, быстротечные, как всегда; Люцидор, окончив университет, выдержав все экзамены, явился, обрадовав даже и высшие власти, которые только того и чаяли, как бы с чистой совестью исполнить надежды старых почтенных слуг, удостоенных и достойных милости.

Дело двигалось законным порядком и наконец пришло к тому, что Люцидор, показавший себя образцовым подчи-

ненным, должен был по заслугам занять желанное и выгодное место — как раз на полпути между университетом и должностью председателя.

Теперь-то отец и заговорил с сыном о Юлии как о невесте и супруге; прежде он ограничивался намеками, а сейчас сказал об этом как о деле окончательно решенном и только превозносил счастье приобрести такое сокровище. Он уже воображал себе сноху, как она время от времени посещает его дом и возится с картами, планами и перспективами городов; сын, напротив того, вспоминал милого шаловливого ребенка, который в прежние годы всегда забавлял его то поддразниваньем, то дружеской лаской. Теперь Люцидору предстояло верхом отправиться к председателю, поглядеть на успевшую вырасти красотку и за несколько недель ближе познакомиться со всем семейством и освоиться в доме. Если молодые люди оправдают надежды и сойдутся ближе, об этом надобно будет известить отца, который не замедлит явиться, чтобы торжественная помолвка навеки упрочила чаемое счастье.

Люцидор приезжает, его встречают весьма радушно, отводят ему комнату, он переодевается и выходит к хозяевам. Среди них он находит, кроме известных нам членов семейства, еще и сына, подростка весьма избалованного, но неглупого и добродушного, который, если считать его только весельчаком и забавником, не портит общей картины. Кроме него, к числу домашних принадлежал старик весьма преклонных лет, но здоровый и жизнерадостный, тихий и умный, на исходе дней готовый услужить другим. Вскоре после Люцидора явился еще один гость, не первой молодости, солидный и важный, к тому же интересный собеседник, знающий жизнь и повидавший дальние страны. Звался он Антони.

Юлия приняла нареченного с вежливой предупредительностью; но если Люцинда старалась, чтобы гостю понравился дом, то Юлия старалась лишь о самой себе. День прошел приятно для всех, кроме Люцидора: будучи вообще молчалив, он должен был, чтобы не сидеть как немой, время от времени задавать вопросы, а такое поведение никого не красит.

К тому же он был очень рассеян, потому что с первого же мига Юлия вызвала в нем хотя и не отвращение и не неприязнь, но чувство отчужденности, между тем как Люцинда привлекала его настолько, что он вздрагивал всякий

раз, когда она глядела на него своими широко открытыми, спокойными, чистыми очами.

Огорченный этим, он в первый же вечер, едва очутился у себя в спальне, излился в монологе, с которого мы начали рассказ. Однако, чтобы объяснить, как согласуется страстность этого многословного красноречия с тем, что нам известно о Люцидоре, мы должны вкратце сообщать еще нечто.

Люцидор чувствовал глубоко, и обычно в мыслях у него было не то, чего требовал насущный миг; поэтому он был несловок в разговоре, в легкой беседе и, ощущая это, сделался молчалив, если только речь не шла о хорошо изученных им предметах, из которых любой был всегда к его услугам. К тому же и в школе и позже, в университете, он не раз обманывался в друзьях и неудачно поверял тайны сердца; поэтому всякая откровенность стала казаться ему опасной, а опасения мешают быть откровенным. С отцом он привык говорить в унисон, поэтому душа его изливалась в монологах, как только он оставался один.

На следующее утро он совладал с собою, но чуть было вновь не утратил спокойствия, когда Юлия встретила его с еще большим дружелюбием и веселой непринужденностью. Она без устали расспрашивала о странствиях посуху и по воде, предпринятых им в студенческие годы, когда он исходил с котомкой за плечами всю Швейцарию и даже перевалил Альпы. Она хотела побольше узнать о прекрасном острове на большом южном озере, а на обратном пути Люцидор должен был снова пройти вдоль Рейна от самого истока, через безотрадные нагорья, наблюдая непрерывную смену ландшафтов, вниз, до того заслуживающего внимания места между Майнцем и Кобленцем, где последние препоны с честью пропускают поток на волю, к морю.

Люцидор почувствовал чрезвычайное облегчение, рассказывал охотно и занимательно, так что Юлия в восторге вскричала: все это надо бы увидеть вдвоем! Эти слова опять испугали Люцидора, ибо он усмотрел в них намек на будущее совместное странствие по жизни.

Однако вскоре он был освобожден от своих обязанностей рассказчика: приезжий, которого все называли Антони, быстро затмил все горные ключи, скалистые берега, стесненные и отпущенные на волю реки, так как отправился прямым путем в Геную; а оттуда недалеко было и до Ливорно, легкой добычей становились самые интересные в стране

места; ведь нельзя умереть, не увидав Неаполя, потом остается еще Константинополь, которым тоже невозможно пренебречь. Описывая дальние страны, Антони увлекал воображение всех слушателей, хотя и рассказывал не столь пылко. Позабывшая обо всем Юлия была ненасытна, ей хотелось в Каир, в Александрию, особенно же к пирамидам, о которых она получила почти исчерпывающие знания от своего предполагаемого тестя.

Чуть только наступил вечер, Люцидор (он едва притворил дверь и даже не успел поставить свечу) опять вскричал:

— Возьмись же за ум! Теперь не до шуток. Ты умен и учен, но для чего изучал ты право, если сейчас не можешь действовать, как положено правоведа? Считаю себя уверенным, забудь, что дело идет о тебе, и выполни все, что обязан был бы сделать для другого! Дело запутывается страшным образом. Приезжий наверняка явился ради Люцинды, она привечает его с таким благородством и так по-домашнему радушно. Маленькая дурочка готова без всяких пуститься странствовать по свету с первым встречным. К тому же она и хитра, этот ее интерес к городам и странам — уловка, чтобы заставить нас молчать. Впрочем, почему все кажется мне так запутанно и сложно? Разве не будет самым разумным, проницательным посредником сам председатель? Ты скажешь ему все, что думаешь и чувствуешь, а он подумает вместе с тобой и, быть может, тебе посочувствует. Над батюшкой он имеет полную власть. И разве не обе — его дочери? Зачем этому Антону Рейзеру Люцинда, рожденная, чтобы дарить счастье и быть счастливой в домашнем кругу? Пусть бы егозливая ртуть соединилась с этим Вечным Жидом, — лучшей партии ей не сделать!

Поутру Люцидор спустился вниз, твердо решившись поговорить с отцом и ради этого непременно повидать его в часы, отведенные для досуга. Но сколь горестным было его замешательство, когда он узнал, что председатель отбыл по делам и ждут его только послезавтра. Юлия, судя по всему, собиралась весь день отдать дальним странствиям и потому не отходила от кругосветного путешественника, а Люцидора предоставила Люцинде, предварительно пошутив над ее домоседством. Если прежде наш друг наблюдал благородную девушку из некоторой дали и предался ей всем сердцем по первому впечатлению, то теперь, оказав-

шись вблизи, он видел удвоенными и утроенными достоинства, привлекавшие его издали.

Тут место отсутствующего отца заступил старый друг дома; когда-то и он жил и любил, а когда жизнь потрепала его, нашел убежище под боком у друга своей юности и ободрился душой. Он оживлял разговор, распространяясь более всего об ошибках в выборе супруга, приводя удивительные примеры вовремя или слишком поздно разъяснившихся недоразумений. Люцинда показала себя во всем блеске, объявив, что случай везде, в том числе и при заключении брака, может послужить ко благу, но гораздо прекрасней и возвышенней, если человек вправе сказать: «Я обязан счастьем самому себе, спокойному убеждению своего сердца, благородству намерений и быстроте решений». Люцидор одобрил ее слова со слезами на глазах, и вскоре девицы удалились. Старый председатель застолья мог дать себе волю и рассказать множество историй; забавные примеры, о которых пошла беседа, так близко задевали нашего героя, что лишь при его воспитании можно было победить себя и не взорваться; впрочем, это и произошло, едва юноша остался один.

— Я сдержался! — вскричал он. — Нет, я не хочу огорчать батюшку, впутав его в такую неразбериху. Я сдержал себя, потому что в этом достойном старце увидел заместителя обоих отцов: с ним я поговорю, он станет посредником, — ведь он почти уже высказал мои желанья. Неужели в отдельном случае он будет порицать то, что вообще одобряет? Завтра же утром пойду к нему: надобно дать выход этому напору чувств.

За завтраком, однако, старик отсутствовал; было сказано, что вчера он слишком много разговаривал, слишком поздно засиделся и выпил вина сверх привычного. В похвалу ему рассказали немало разных вещей, и, слыша их, Люцидор приходил в отчаяние из-за того, что сразу же к нему не обратился. Это неприятное чувство еще усилилось от известия, что при таких приступах замечательный старик не показывается иногда по целой неделе.

Деревенская жизнь предоставляет для светского общения немалые выгоды, особенно если хозяева, люди думающие и чувствующие, много лет имели возможность помогать природе и улучшать все вокруг. К счастью, то же самое было и тут. Председатель, который сам был богат и служил на доходном месте, занимался и пока был холост,

и в годы долгого счастливого брака тем, что по своему суждению, по вкусу жены, а потом и по желанию и прихоти детей разбивал там и тут большие и малые парки и затем с умом соединял их дорогами и аллеями, так что теперь перед взором гуляющих непрестанно сменялись приятные и разнообразные декорации. В такую прогулку и увлекли гостя младшие члены семейства: ведь мы охотно показываем постороннему наши владения, чтобы он свежими глазами увидел ставшее для нас привычным и навсегда сохранил первое приятное впечатление.

И ближние и дальние окрестности были весьма удобны для скромных угодий, для истинно сельских затей. Плодородные холмы перемежались низменными влажными лугами, так что временами можно было обозреть всю местность, вовсе не такую уж плоскую. И хотя большая часть земли была отдана пользе, не было забыто и приятное, радующее взгляд.

К усадебному дому и к службам примыкали парки, плодовые сады и лужайки, откуда незаметно переходили в рощицу, через которую вилась, то взбираясь на холм, то спускаясь под уклон, широкая проезжая дорога. Посреди рощи, на самом высоком месте был построен садовый домик — зала с примыкающими покоями. Вошедшие в главную дверь видели перед собой отраженный в огромном зеркале ландшафт, на который отсюда открывался наилучший вид, и сразу же оборачивались, чтобы взгляд, пораженный неожиданной картиной в стекле, успокоился созерцанием природы. Дело в том, что подход к домику был устроен весьма хитро, и все, чему следовало предстать внезапно, было искусно скрыто от глаз. И каждому вошедшему хотелось по многу раз оборачиваться от зеркала к природе и от ландшафта — к его отражению.

В этот погожий долгий день, раз тронувшись с места, решили обойти лесными и полевыми дорогами все поместье. Сперва было показано место вечернего отдыха покойной матушки, лужайка, где деревья расступались, освобождая место великоленному буку. Вскоре Юлия указала на осенний тополями и ветлами берег ручейка, между полого спускавшихся лугов и взбиравшихся на холм нив, заметив не без насмешливости, что здесь Люцинда любит умильно мечтать по утрам. Невозможно описать, до чего тут было красиво! Казалось, вы тысячи раз видели то же самое, но нигде скромная природа не была так многозначительна и

приветлива. В отместку младший брат, вопреки воле Юлии, показал крохотные беседки и садики, явно устроенные ребенком: их едва можно было заметить близ уютной мельницы. Относились они к тому времени, когда Юлия лет в десять надумала сделаться мельничихой и после кончины стариков самой занять их место, отыскав себе дельного работника.

— Но ведь тогда,— воскликнула Юлия,— я ничего еще не знала о городах, что стоят у реки или даже у моря, ни о Генуе, ни о других. Ваш папенька, Люцидор, обратил меня в свою веру, и с тех пор я сюда ни ногой.

Она с насмешливым видом присела под раскидистым бузинным кустом на скамеечку, которая едва могла ее выдержать.

— Фу, совсем скорчилась! — вскричала она и, вскочив, побежала вперед вместе с веселым братцем.

Отставшая чета рассудительно беседовала, но при таких случаях рассудок близко сходится с чувством. Когда перед глазами идущих сменяются простые, естественные предметы, когда можно спокойно созерцать, как рассудительный, разумный человек умеет получать от них пользу, как, сочетая умение видеть насущное и знание своих потребностей, творит чудеса, с тем чтобы сделать мир пригодным для обитания, потом заселить, а в конце концов и перенаселить его,— тогда обо всем этом легко говорить в подробностях. Люцинда давала отчет обо всем и, как ни была скромна, не могла скрыть, что удобные и красивые пути, связывавшие отдаленные части имения,— дело ее рук, предпринятое по указанию, под руководством или с одобрения ее почтенной матушки.

Так как рано или поздно самый долгий день клонится к вечеру, пришлось подумать о возвращении, а когда вспомнили о приятном кружном пути, веселый братец потребовал идти некрасивой и даже трудной, зато короткой дорогой.

— Вы-то успели,— восклицал он,— похвастаться всем, что устроили и понастроили, украсили и улучшили для искусенного в художестве глаза и чувствительного сердца. Теперь дайте и мне похвалиться!

Пришлось идти по пахоте, по ухабистым тропам, перебираться по беспорядочно брошенным камням через топкие места, пока вдали не завиднелось нагромождение каких-то механических снарядов. Когда присмотрелись

поближе, увидели, что это площадка для игр и увеселений, устроенная довольно толково, в простонародном вкусе. Здесь стояли по порядку и в должном отдалении друг от друга перекидное колесо, на котором, и поднимаясь вверх, и опускаясь вниз, сохраняешь спокойное горизонтальное положение, простые качели, гигантские шаги, шесты для лазанья, кегельбаны и все прочее, что только придумано ради возможности в равной мере занять и доставить разнообразные развлечения множеству людей.

— А вот это все,— воскликнул барчук,— я сам придумал и устроил! Правда, отец дал денег и поставил во главе этого дела разумного парня, но без меня, хоть вы и называете меня часто неразумным, не нашлось бы на это ни ума, ни денег.

С заходом солнца все четверо в веселом настроении воротились домой. Там ждал уже Антони; однако младшая из сестер, которой, хоть она и прошагала целый день, все было мало, приказала запрягать и покатила в гости к подруге, так как отчаянно затосковала, не выдавшись с нею два дня. Четверо оставшихся испытывали некоторое смущенье, было даже сказано, что отсутствие отца беспокоит родных. Беседа стала иссякать; тогда веселый барчук выскочил вон и вскоре вернулся с книгой, которую предложил почитать вслух. Люцинда не удержалась и спросила, как это ему впервые за целый год пришла в голову такая мысль, но он отвечал, не смутившись:

— Мне всякая мысль приходит в голову кстати, а вот вы этим похвастаться не можете.

И он прочел подряд несколько подлинных народных сказок, которые высоко поднимают человека над его уделом, льстят его желаниям и заставляют забыть ограничения, стесняющие нас даже в самые счастливые минуты.

— Что же мне делать? — воскликнул Люцидор, едва остался один.— Время не терпит; Антони я не доверяю, он чужак, я не ведаю, кто он, как попал в дом и чего хочет; по всей видимости, он добивается Люцинды, так чего же мне от него ждать? Остается одно: открыться самой Люцинде; она, она первая должна все узнать. Это я почувствовал с самого начала; для чего же мудрствовать и идти окольным путем? С чего я начал, тем надобно кончить,— это и приведет меня к цели.

В субботу утром Люцидор, одетый спозаранок, расхаживал по своей комнате и раздумывал, что сказать Люцинде;

вдруг за дверью послышались шуточные препирательства, двери отворились, и веселый барчук втокнул в комнату мальчика, принесшего гостю кофий и печенье; сам же он нес вино с холодной закуской.

— Проходи первым,— кричал барчук,— сначала надо подать гостю, а себе я привык подавать сам. Простите, дорогой друг, что я ворвался к вам так рано и наделал такой переполох; давайте спокойно позавтракаем вместе, а потом поглядим, что нам предпринять. На других нам вряд ли приходится рассчитывать. Малютка еще не воротилась от подруги,— им нужно хоть раз в две недели выкладывать друг дружке все, что накопилось на сердце, не то оно лопнет. Люцинда по субботам недоступна, она досконально отчитывается перед отцом во всех расходах по хозяйству; я бы тоже должен в этом участвовать, да только боже меня избави! Мне кусок в горло нейдет, если я знаю, почем еда куплена. Гостей ждут только завтра, старик до сих пор не пришел в себя, Антони на охоте, так пойдем и мы поохотиться.

Когда они спустились во двор, ружья, ягдташи и собаки были готовы; бродя по полям, они кое-как сумели подстрелить зайчонка и несчастную, никому не нужную птаху. Между тем разговор шел о гостях, о домашних и об их отношениях. Назвали имя Антони, и Люцидор не преминул подробнее о нем расспросить. Веселый барчук не без самодовольства заверил, что какую бы таинственность ни напускал на себя этот чудак, сам он разглядел его насквозь.

— Конечно, Антони — наследник богатого торгового дома, потерпевшего крах в тот самый миг, когда он в расцвете юных сил собирался решительно взяться за крупные дела и насладиться всеми удовольствиями, которые щедро сулила ему жизнь. Павши с высоты таких надежд, он не позволил себе унывать и занялся на службе у чужих людей тем, чего не мог делать для себя и своих близких. Так он объездил мир, изучил его, узнал все о перекрещивающихся в нем торговых связях, не забыв при этом и своей выгоды. Неумолимое усердие и испытанная честность помогли ему завоевать и сохранить безусловное доверие многих лиц. Так он завел повсюду друзей и знакомцев; нетрудно заметить, что его состояние раскидано по всему миру широко, как и его знакомства, и поэтому ему необходимо время от времени бывать в каждой из четырех частей света.

Веселый барчук рассказал все это много обстоятельней и простодушней, то и дело вставляя забавные замечания и как будто намереваясь длить и длить свою сказку.

— Ведь уже сколько лет он ведет с отцом дела! Они думают, я ничего не вижу, потому что мне ни о чем нет заботы; а я оттого и вижу все так хорошо, что ни в чем не заинтересован. Он передал отцу на хранение много денег, а тот сумел надежно и выгодно поместить их. Только вчера он вручил старику шкатулку с драгоценностями; я не видал ничего проще, красивей и дороже, хотя взглянул только мельком,— ведь это держат в секрете. Наверно, ларец — подарок будущей невесте: сразу и удовольствие, и обеспечение на будущее. Он ведь имеет виды на Люцинду. Но я, как увижу их рядом, нет, не могу сказать, чтобы это был удачный альянс! Наша сумасбродка больше ему подходит; по моему, и она пошла бы за него охотней, чем старшая,— порой она посматривает на старика так задорно и с таким интересом, как будто готова сию минуту усесться с ним в карету и укатить прочь.— Люцидор старался не выдать себя, но и не знал, что на это сказать, хотя в душе радостно соглашался с каждым словом. Барчук между тем продолжал: — Вообще у этой девчонки противоестественная страсть к старикам. По моему, она бы вышла за вашего батюшку скорей, чем за сына.

Люцидор шел за своим спутником без дороги, куда бы тот ни вел его, оба позабыли об охоте, и так не сулившей добычи. Потом заглянули к арендатору, который радушно их принял, и пока один из приятелей развлекался едой, питьем и болтовней, другой погрузился в размышления, обдумывая, как бы использовать сделанное открытие к своей выгоде.

После всех этих рассказов и раскрытых секретов Люцидор преисполнился таким доверием к Антони, что немедленно по возвращении спросил о нем и поспешил в сад, где должен был с ним повстречаться. Он обошел все аллеи парка, освещенного ясным закатным солнышком,— но напрасно. Нигде не было ни души. Наконец он вошел в садовый домик, и — странное дело! — отраженное в зеркале заходящее солнце так его ослепило, что он не узнал сидевших на канаве, хотя и различил, что это мужчина, который пылко целует руку сидящей рядом даме. Каков же был его ужас, когда в глазах у него прояснилось и он обнаружил перед собою Люцинду с Антони! Он чуть было не лишился чувств, по остал-

ся стоять как вкопанный, когда Люцинда приветливо и без тени смущения окликнула его и, подвинувшись, пригласила сесть справа. Потом он все же сел, не помня себя, но когда она, обратившись к нему, спросила, как он провел день, и извинилась, сославшись на домашние хлопоты, голос ее был для юноши невыносим. Антони встал и откланялся Люцинде, она, также поднявшись, пригласила оставшегося при ней кавалера прогуляться. Идя рядом, он был задумчив и смущен, она тоже казалась встревоженной, и если бы он хоть немного пришел в себя, то догадался бы по ее глубокому дыханию, что она старается скрыть горестные вздохи. Когда они приблизились к дому, Люцинда попрощалась с ним, а он повернул назад и зашагал сперва медленно, потом скоро и порывисто. Парк был для него тесен, он шел по вольным полям, внимая только голосу сердца, нечувствительный к красоте безмятежного вечера. Не видя никого вокруг и дав чувствам излиться в умиротворяющих слезах, он вскричал:

— Сколько ни страдал я в жизни, а таких мук еще не знал и никогда не был так жалок! Желанное счастье приближается к тебе, идет с тобою рука об руку — и навсегда с тобою прощается. Я сидел с нею рядом, шел с ней, ее развевающееся платье касалось меня — и вот она потеряна навеки! Но зачем все это перечислять, зачем понапрасну твердить об одном? Молчи и прими решение!

Запретив самому себе говорить, он стал молча размышлять, а между тем шел, не выбирая торных дорог, по полям, лугам и кустарникам. Только поздно вечером, воротившись к себе, он не удержался и воскликнул:

— Завтра чуть свет уеду, зачем мне еще один такой день!

И он бросился в постель, не раздеваясь. Счастливая, здоровая юность! Через мгновение он спал, заслужив за день утомительного движения отрядный ночной покой. Первые лучи солнца разбудили его, прогнав утешительные утренние сновидения; наступил самый долгий день года, грозивший Люцидору быть слишком долгим. Если он остался нечувствителен к умиротворяющей красоте ночного светила, то будоражащую прелесть утра он почувствовал, ибо снова впал в отчаянье. Он видел мир прекрасным, как всегда, таким мир оставался для его глаз, но не для его души; ничто вокруг с нею не гармонировало, ничто ей не принадлежало: Люцинда была потеряна.

Чемодан, который Люцидор намеревался оставить, был быстро уложен, письмо он писать не стал, а хотел наказать стремянному, которого все равно следовало разбудить, чтобы тот в двух словах извинился за него и передал, что к обеде, а может быть, и к ужину он не вернется. Однако стремянного Люцидор застал уже внизу, тот широкими шагами рассказывал перед конюшней.

— Уж не собрались ли вы отправиться куда верхом? — досадливо воскликнул этот вообще-то добродушный малый. — Должен вам сказать, молодой хозяин что ни день, то становится несносней. Вчера носился по всей округе, можно было подумать, что хоть в воскресенье от него, слава богу, будет покой. Так нет, является сегодня ни свет ни заря на конюшню, поднимает шум, а когда я вскакиваю, он уже седлает и взнуздывает вашу лошадь, и образумить его нет никакой возможности. Вскакивает в седло и кричит: «Подумай только, какое доброе дело я делаю! Эта тварь всегда ходит неспешной юридической рысью, вот и посмотрим, как я пушу ее бодрым житейским галопом». Что-то в таком роде он говорил, да и другие его речи были тоже чудные.

Люцидор был весьма и весьма задет, — он любил свою лошадь именно за то, что она так хорошо подходила к его праву и образу жизни. Ему было досадно, что доброе, умное созданье попало в руки необузданному сорванцу. К тому же рухнул его план найти в этот критический миг убежище у некоего приятеля по университету, с которым он всегда жил в радостном и сердечном содружестве. Сейчас прежнее доверие вновь пробудилось, расстояние во много миль не принималось в расчет, Люцидору казалось, будто он уже получил от доброжелательного, разумного друга совет и утешение. И вот эта возможность была отнята; впрочем, нет, не отнята, если он отважится достигнуть цели на своих двоих, благо это средство передвижения к его услугам.

Первым делом он постарался выбраться из парка в поля и выйти на дорогу, которая должна была привести его к приятелю. Он шел, не зная точно, куда держать путь, когда в глаза ему бросилось поднимавшееся слева среди кустов причудливое деревянное строение, которое прежде от него утаили; то было подобье отшельничьей кельи, на галерее которой, под скатом китайской крыши, он с удивлением увидел доброго старика; тот, хотя уже несколько дней считался

больным, бодро озирался вокруг. На его радушные приветствия и настойчивые приглашения взойти наверх Люцидор уклонился ответить, только торопливыми знаками да понять, что отказывается. И лишь участие к старику, который нетвердыми шагами поспешил вниз по крутой лестнице, рискуя свалиться, заставило его пойти навстречу, а потом и позволить увлечь себя наверх. С удивлением вошел он в уютную маленькую залу, всего в три окна, из которых открывался прелестнейший вид на поля; остальные стены были украшены, или, вернее сказать, покрыты сотнями и сотнями гравированных на меди или рисованных портретов, наклеенных на стену в определенном порядке и разделенных разноцветными полями и промежутками.

— Не каждый удостоивается от меня такой чести, как вы, мой друг; ведь это — святилище, в котором я отрадно провожу остаток моих дней. Здесь я отдыхаю от всех тех промахов, которые поневоле делаешь, живя в обществе, здесь я восстанавливаю равновесие, когда нарушаю диету.

Люцидор обзрел собрание и, будучи сведущ в истории, сразу увидел, что все здесь зиждется на исторических пристрастиях обитателя.

— Наверху, в виде фриза, — говорил старик, — вы найдете имена знаменитых мужей древнейших времен; ниже — также одни лишь имена, хотя и более близкие к нам по времени, ибо нельзя установить с достоверностью, как эти люди выглядели. А то, что находится на главном поле, прямо причастно моей жизни, тут люди, чьи имена я еще слышал в детстве. Ибо имя замечательного человека живет в памяти народа лет пятьдесят, потом оно исчезает или делается сказкой. Хотя мои родители и немцы, я увидел свет в Голландии, и для меня Вильгельм Оранский, штатгальтер Нидерландов и король Английский, есть родоначальник всех выдающихся мужей, всех героев. А рядом с ним вы видите Людовика Четырнадцатого, который...

О, с какой охотой Люцидор тоже прервал бы доброго старика, не будь для него невежливо то, что вполне пристало нам, рассказчикам! Ведь, взглянув уголком глаза на портреты Фридриха Великого и его генералов, он сразу понял, что ему грозит опасность прослушать полный курс новой и новейшей истории.

Сколь ни почтенным казался юноше живой интерес старика к недавнему прошлому и современности, сколь ни любопытны были оригинальные черты его воззрений, не усколь-

завшие от внимания Люцидора, но курс этот он прослушал в университете, а человеку свойственно думать, что прослушанное один раз он знает наизусть. Чувства его витали далеко, он не слушал, почти что не смотрел на портреты и даже собрался было самым непочтительным образом выбежать в двери и скатиться с высоты роковой лестницы, — но тут вдруг снизу послышался громкий плеск ладоней.

Люцидор не дал воли любопытству, зато старик высунул голову в окно, и снизу раздался знакомый голос:

— Спуститесь-ка сюда из вашей исторической галереи, богом вас заклинаю! Полно вам поститься, помогите мне лучше как-нибудь задобрить нашего друга, если он все узнает. Я не слишком осторожно погнал Люцидорову лошадь, она потеряла подкову, пришлось ее бросить. Что он скажет? Даже для такого дурака, как я, все вышло слишком по-дурацки.

— Поднимайтесь ко мне! — крикнул старик и обернулся к Люцидору: — Ну, что вы на это скажете?

Люцидор промолчал, неотесанный барчук вошел. Последовала долгая сцена пререканий, в итоге которых было решено немедленно послать стремянного, приказав ему позаботиться о лошади.

Покинув старца, молодые люди поспешили в дом, куда Люцидор дал увлечь себя без особого сопротивления: будь что будет, а в этих стенах находился единственный предмет его желаний. В таких отчаянных случаях мы лишаемся помощи нашей свободной воли и даже чувствуем на миг облегчение, если кто-нибудь решит за нас или нас приневолит. Но как бы то ни было, Люцидор, войдя к себе в комнату, испытал странное чувство человека, который, только что покинув гостиницу, принужден против воли опять вернуться в свой номер из-за сломанной оси.

Веселый барчук принялся аккуратно разбирать чемодан, тщательно откладывая в сторону все, сколько их было захвачено в дорогу, принадлежности парадного костюма; потом он заставил Люцидора надеть чулки и башмаки, поправил его завитые темные локоны и вообще помог ему одеться как можно лучше. Потом, отойдя на два шага и с ног до головы обзрев дело своих рук, то есть нашего друга, он воскликнул:

— Ну вот, милый мой, теперь вы и впрямь похожи на человека, который притягивает на внимание прекрасного пола, и настолько серьезно, что даже подыскивает себе невесту. Но еще один миг! Вы увидите, что в нужный момент я

тоже умею себя показать. Этому я научился у офицеров, а уж на них-то девицы поглядывают всегда; поэтому и я усвоил себе этакую солдатскую статью, так что они смотрят на меня, смотрят, и ни одна не знает, на что я ей годеи. А там, глядишь, из этого внимательного удивленного разглядыванья вдруг и получится что-нибудь путное, — пусть ненадолго, но стоит того, чтобы потратить несколько минут.

А теперь пойдете ко мне! Окажите-ка мне такую же услугу, и когда вы увидите, как я постепенно влезаю в свою шкуру, то не станете спорить, что этот вертопрах не лишен изобретательности и тонкости. — Он тащил друга за собой по длинным, просторным переходам старого барского дома. — Я угнездилился с задней стороны. Не то чтобы я хотел прятаться, но предпочитаю быть один: ведь на всех угодить невозможно.

Они проходили мимо конторы, из которой лакей как раз вынес стародедовский письменный прибор, черный и тяжелый; не была забыта ни одна принадлежность, в том числе и бумага.

— Знаю, знаю, что они там собираются мараить! — закричал барчук. — Поди сюда и дай мне ключ. Загляните-ка сюда, Люцидор! Пока я оденусь, это вас позабавит. Любителю юриспруденции такие места не претят, не то что завсегдаю конюшен. — И он втокнул Люцидора в присутственную комнату.

Молодой человек сразу почувствовал себя в своей стихии; ему вспомнились дни, когда он, падкий до любого дела, упражнялся за таким же столом, слушая и записывая. От него не скрылось, что с переменю религиозных воззрений для служения Фемиде была приспособлена старая, нарядная домовая капелла. На полках он нашел давно знакомые ему документы и протоколы: по этим делам он сноился со здешним судом из столицы. В одной из случайно раскрытых папок ему попался циркуляр, перебеленный его рукой, в другой — составленный им самим. Исписанная бумага, печати, росчерк первоприсутствующего — все возвращало его в те времена, когда его юношеские надежды устремлялись по стезе закона. А когда, озираясь, он увидел кресло председателя, определенное и предназначенное ему, когда вспомнил, что сейчас рискует пренебречь этим прекрасным местом и лишиться почетного круга деятельности, такая мысль особенно его огорчила, а образ Люцинды стал все более и более отдаляться,

Ему захотелось на волю, но оказалось, что он в плену. Сумасбродный приятель, то ли по легкомыслию, то ли из озорства, запер за собою двери. Впрочем, наш друг недолго оставался в тягостном заточении: приятель вернулся, стал извиняться и даже несколько развеселил его своим странным видом. В его одежде смелость расцветки и покроя умиралась неким естественным вкусом,— так порой мы не можем не признать красивой татуировку индейца.

— Сегодня,— воскликнул он,— мы повеселимся за все дни, что проскачали тут. Друзья приехали — славные, живые ребята, и хорошенькие девушки — задорные, влюбленные! И мой отец вернулся, а с ним — прямо чудо за чудом! — явился ваш батюшка. Будет настоящий праздник! Все уже собрались к завтраку в зале.

Люцидор вдруг почувствовал себя так, словно смотрит на мир сквозь густой туман, в котором призрачно виднеются фигуры знакомых и незнакомых гостей; однако благодаря твердости характера и чистоте сердца он не потерялся и уже через несколько секунд почувствовал, что превозможет все. Твердым шагом шел он вслед за поспешающим приятелем, окончательно решившись обождать — будь что будет! — и объясниться,— а уж там будь что будет!

И все же на пороге залы он вновь почувствовал растерянность. В широком полукруге сидевших вдоль окон он сразу заметил отца и рядом с ним председателя, оба были одеты по-праздничному. Помутившимся взглядом он обозрел сестер, Антони и других гостей, знакомых и незнакомых. Нетвердыми шагами подошел он к отцу, который поздоровался с ним хотя и приветливо, но сухо, что никак не располагало к доверительной беседе. Оказавшись перед таким многолюдным обществом, Люцидор стал искать себе подходящее место; он мог бы сесть рядом с Люциндой, но Юлия, вопреки всеобщей чопорности, устроила так, что ему пришлось подойти к ней, а рядом с Люциндой остался Антони.

В этот решительный миг Люцидор снова почувствовал себя поверенным во всеоружье юридической учености и повторил для подкрепления душевных сил следующий прекрасный афоризм: «Мы должны вести порученные нам дела, как наши собственные,— но почему бы нам и к своим делам не относиться так же?» Понаторев делать доклады по службе, он пробежал в уме все, что надлежало сказать. Гости расселись ровным полукругом, так что он оказался в

самом средоточии. Содержание доклада было ему ясно, только начало никак не приходило в голову. Тут он приметил на столике в углу огромную чернильницу, а при ней писмоводителей; председатель сделал жест, как будто бы желая начать речь. Люцидор хотел было его опередить, но в это мгновение Юлия пожала ему руку. От этого он сейчас же пал духом, убедившись, что все решено, все для него потеряно.

Теперь уже незачем было считаться ни с обстоятельствами, ни с семейными связями, ни со светскими приличиями; Люцидор взглянул прямо перед собой, отнял у Юлии руку и вышел так быстро, что собравшиеся даже не заметили его ухода, а сам он не мог понять, как очутился за дверью.

Робея дневного света, сиявшего сейчас особенно ярко, избегая попадаться на глаза встречным, опасаясь, что его хватятся, он шел и шел, пока не добрался до садового домика с большой залой. Там колени у него чуть не подкосились, он стремительно вошел внутрь и в отчаянии рухнул на диван под зеркалом; среди всех этих мирных, добропорядочных людей он один был охвачен смятением, оно накапывало на него волнами и бушевало в нем, как прибой. Прошлое вступило в борьбу с настоящим, мгновенье было ужасно.

Так он пролежал некоторое время, уткнувшись лицом в подушки, на которых вчера покоилась рука Люцинды. Поглощенный своим страданием, он не услышал приближающихся шагов и вскочил, только когда почувствовал чье-то прикосновение. Рядом с ним стояла Люцинда.

Полагая, что ее прислали за ним, что ей поручено по-сестрински урезонить его и вернуть к гостям и к его несчастной доле, он воскликнул:

— Нет, не вас надобно было посылать, Люцинда! Ведь это из-за вас я бежал и не вернусь ни за что. Если ваше сердце способно сострадать, помогите мне, дайте мне возможность скрыться отсюда. А чтобы вы могли засвидетельствовать, что меня никакой силой нельзя было привести назад, — вот вам ключ к моим поступкам, которые, верно, кажутся и вам, и всем прочим безумными. Выслушайте клятву, которую я дал про себя, а сейчас произнесу вслух, дабы она была нерушима: только с вами хочу я прожить жизнь, насладиться годами юности и, оставшись таким же верным и преданным, окончить дни в старости. Пусть же клятва,

которую я, несчастнейший из людей, даю, покидая вас навсегда, будет столь же тверда и нерушима, как обет перед алтарем!

Тут, хотя Люцинда и стояла к нему вплотную, он попытался было ускользнуть от нее, но она мягко обхватила его руками.

— Что вы делаете! — воскликнул он.

— Люцидор! — воскликнула она. — Не воображайте себя таким жалким! Вы — мой, я — ваша, я держу вас в объятиях, так не медлите и вы заключите меня в объятия. Ваш папенька вполне доволен, а на моей сестре женится Антони.

Люцидор отпрянул от нее в изумлении.

— Неужели это правда? — Люцинда кивнула с улыбкой, он высвободился из ее объятий. — Позвольте мне еще раз взглянуть издали на то, что отныне будет мне ближе всего на свете! — Он схватил ее за руки, в упор поглядел ей в глаза. — Неужто вы моя, Люцинда?

— Да, да, — ответила она, и ее полные преданной любви глаза увлажнились сладостными слезами. Он обнял Люцинду, припав к ней и держась за нее, как потерпевший крушение за прибрежную скалу; земля все еще колебалась у него под ногами. Вновь открыв полные восторга глаза, он взглянул в зеркало: там он увидел в своих объятиях Люцинду, обнимавшую его. Он снова опустил глаза, снова взглянул. Такие чувства остаются в памяти человека на всю жизнь. Отраженный в зеркале вид, вчера казавшийся ему таким мрачным и зловещим, сегодня был особенно блистателен и прекрасен. Такие объятия на таком фоне! Они с избытком вознаграждали за все муки.

— Мы не одни, — сказала Люцинда, и не успел он прийти в себя от восторга, как явились нарядно одетые мальчики и девочки, в веночках и с венками в руках, и загородили выход.

— Все должно было сделаться иначе! — вскричала Люцинда. — Так хорошо было задумано, а теперь все смешалось и спуталось!

Издали послышался бодрый марш, и на широкой дороге показались гости, приближавшиеся веселым праздничным шествием. Люцидор все не решался пойти навстречу, — казалось, ноги не послушаются его, если он не обопрется на руку Люцинды, которая стояла рядом с ним, ожидая приближающегося мгновенья торжественной встречи и благодарности за давно уже данное им обоим прощенье.

Но своенравные боги решили иначе: весело долетевший со стороны громкий звук почтового рожка вмиг расстроил всю чинность.

— Кто бы это мог быть? — воскликнула Люцинда. Люцидор испугался приезда постороннего человека, карета также показалась ему незнакомой. Но вот она подкатила прямо к домику — новехонький двухместный дорожный возок. Отлично обученный мальчик-форейтор соскочил наземь и распахнул дверцу: возок был пуст, мальчик залез в него, немногими ловкими движениями опустил верх — и на глазах у приближающихся гостей мастерски построенная карета была в один миг приготовлена для веселой прогулки. Антони, опередивший остальных, подвел к ней Юлию.

— Посмотрите, — сказал он, — придется ли вам по вкусу эта повозка, чтобы вместе со мной катить в ней по всему свету — самыми лучшими дорогами, другими я вас не повезу, а если и случится в чем нужда, то мы сумеем найти выход. А через горы мы поедем на вьючных лошадях, и они же перетащат карету.

— О, до чего вы милы! — воскликнула Юлия.

Мальчик подошел и с ловкостью фокусника показал, как проворен легкий возок и в чем состоят малейшие его достоинства и удобства.

— На земле я не смогу вас поблагодарить! — воскликнула Юлия. — Только с этого облачка, из этого маленького рая на колесах, в который вы меня вознесли, я от всего сердца скажу вам спасибо! — Она уже вскочила в карету и оттуда посылала Антони ласковый взгляд и воздушный поделуй. — Сейчас вам нельзя ко мне, в испытательную поездку я собираюсь взять другого, он тоже должен выдержать испытание. — Она кликнула Люцидора, который был занят немой беседой с отцом и будущим тестем, но с охотой дал усидеть себя в легкий возок, так как чувствовал неодолимую потребность хоть на миг чем-нибудь рассеяться. Он сел рядом с Юлией, она позвала почтальона, который должен был их прокатить. Карета полетела прочь и скрылась из глаз изумленных зрителей в облаке пыли.

Юлия уверенно и вольготно расположилась в уголке.

— Сядьте-ка в тот угол, любезный зять, чтобы мы могли поглядеть друг другу в глаза.

Люцидор. Вы сами чувствуете, до чего я смущен и растерян. Я все еще как во сне, помогите же мне проснуться.

Ю л и я. Посмотрите, посмотрите на этих милых крестьян, как они нам сердечно кланяются. За все время, что вы здесь, вы так и не зашли в верхнюю деревню. Тут все хорошо живут и все мне преданно. Ведь нет такого богача, которому, если есть на то добрая воля, нельзя было бы оказать важной услуги. Дорогу, по которой мы так покойно едем, проложил мой папенька и сделал этим еще одно доброе дело.

Л ю ц и д о р. Я охотно вам верю и согласен с вами. Но к чему эти внешние подробности, им ли успокоить мое душевное смятение?

Ю л и я. Терпенье! Я только собираюсь показать вам все царства мира и славу их. Ну вот мы и поднялись. Какой светлой кажется равнина на фоне гор! Все эти деревни многим обязаны моему папеньке, да и маменьке с дочерьми тоже. Граница проходит по лугу возле того городка.

Л ю ц и д о р. Странное у вас настроение. По-моему, вы никак не выскажете того, что хотите сказать.

Ю л и я. Поглядите-ка налево! Как красиво раскинулось именье там, внизу! Вон среди высоких лип церковь, а среди тополей, за холмом, посреди деревни,— контора. И все сады, и парк как на ладони.

Почтальон погнал еще резвее.

Ю л и я. Тот садовый домик на холме вам известен; отсюда на него такой же красивый вид, как из него — на окрестности. А возле этого дерева мы остановимся. Теперь мы отражаемся в большом зеркале, они там нас отлично видят, а мы себя рассмотреть не можем.— Подъезжай туда! — Только что, если не ошибаюсь, в этом зеркале отражалась некая пара, весьма довольная своей близостью.

Люцидор в досаде ничего не ответил, некоторое время они ехали молча. Карета катилась очень быстро.

— Отсюда,— сказала Юлия,— начинается плохая дорога, когда-нибудь и вы сможете сделать тут доброе дело. Прежде чем спускаться, поглядите вниз еще раз: вон там надо всеми деревьями поднимается верхушка маменькина бука.— Она обратилась к кучеру: — Поезжай вниз плохой дорогой, а мы пойдем пешей тропой через долину и будем на той стороне раньше тебя.— Выходя, она воскликнула: — Признайтесь-ка, этот Вечный Жид, этот непоседливый Антон Рейзер умеет и сам путешествовать с удобствами, и о спутниках позаботиться: право, эта карета и красива и удобна.

Она уже сбежала вниз по склону; Люцидор задумчиво пошел вслед и нашел ее на скамейке в красивом местечке, излюбленном Люциндой. Юлия пригласила его сесть рядом.

Ю л и я. Вот мы и сидим здесь, чужие друг другу, — так и должно было стать. Ртутный шарик ничуть вам не подходит. Куда там полюбить такое создание, — вам впору было его возненавидеть.

Люцидор удивлялся все больше.

Ю л и я. Зато Люцинда! Если есть такое воплощение всех совершенств, то куда уж хорошенькой сестрице с нею равняться! Но я вижу, вам не терпится спросить, кто осведомил нас обо всем так точно?

Л ю ц и д о р. Тут кроется предательство!

Ю л и я. Ну конечно, в дело замешан предатель.

Л ю ц и д о р. Назовите его.

Ю л и я. Сейчас он будет разоблачен. Это вы сами! У вас есть привычка, — не знаю, хорошая или дурная, — разговаривать с самим собой; я хочу от лица всего семейства признаться, что все мы по очереди вас подслушивали.

Л ю ц и д о р (*вскакивая*). Вот искреннее радушие — устраивать приезжим такие ловушки!

Ю л и я. Никаких ловушек. У нас не было умысла подслушивать ни вас, ни любого из гостей. Вы знаете, ваша кровать стоит в углублении, за стеною есть такая же ниша, обыкновенно она служит чуланом. Несколько дней назад мы заставили нашего старичка ночевать там, — отдаленность его скита нас тревожила. А вы в первый же вечер пустились читать ваш страстный монолог, содержание которого старик подробно изложил нам наутро.

Люцидор, не имея охоты прерывать ее, зашагал прочь.

Ю л и я (*вставая и следуя за ним*). Как вы услужили нам этим объяснением! Не стану скрывать от вас: хотя вы сами и не были мне неприятны, но ожидающая меня участь вовсе не казалась мне желанной. Стать госпожой председательшей, — какой ужас! Быть женою честного, дельного чиновника, который должен вершить над людьми правосудие — и не способен сквозь правосудие пробиться к справедливости, не может быть справедлив ни к выше-, ни к нижестоящим, ни даже к самому себе. Мне известно, сколько натерпелась матушка от отцовской неподкупности и непоколебимости. Потом, — но, увы, только после ее смерти, — нрав его немного смягчился, он как будто обрел себя в

человеческом мире и стал равняться по нему, тогда как прежде напрасно с ним боролся.

Люцидор (*останавливается, весьма недовольный случившимся, негодую на столь легкомысленное с ним обхождение*). Шутка на один вечер,— ну ладно! Но по целым дням и ночам бессовестно мистифицировать ничего не подозревающего гостя,— это непростительно!

Юлия. Мы все виноваты равно, мы все вас подслушивали, но я одна принимаю кару за эту вину.

Люцидор. Все! Тем более это непростительно! Как же вы могли без стыда глядеть на меня днем, а ночью так постыдно и недопустимо обманывать? Но теперь-то я вижу: все ваши дневные затей только на то и были рассчитаны, чтобы вернее меня поймать. Вот славное семейство! А что же ваш батюшка — он ведь так привержен справедливости? А Люцинда?

Юлия. А Люцинда! Что за тон! Вы, верно, хотели сказать, что вам больно думать о Люцинде плохо, неприятно ставить Люцинду на одну доску с нами?

Люцидор. Люцинду я не понимаю.

Юлия. Вы хотите сказать: эта чистая, благородная душа, это тихое, кроткое создание, этот образец женщины,— сама доброта, сама благожелательность,— и вдруг связалась с такой легкомысленной компанией: с егозливой сестрицей, с избалованным юнцом, с какими-то таинственными личностями. Вот что непонятно.

Люцидор. Поистине непонятно.

Юлия. Так попробуйте понять! У Люцинды, как у всех нас, были связаны руки. Если бы вы могли разглядеть ее смущение, заметить, как она едва удержалась, чтобы не выдать вам все,— вы полюбили бы ее вдвое и втрое сильнее, не будь истинная любовь сама по себе десятикратно, стократно сильна. И еще я уверяю вас: под конец шутка стала надоедать нам самим.

Люцидор. Так почему же вы ее не прекратили?

Юлия. Это-то я и собираюсь вам объяснить. Когда отец узнал о первом вашем монологе и к тому же заметил, что его дети отнюдь не против такого обмена, он тотчас же решил отправиться к вашему батюшке. Важность начатого дела тревожила его: ведь только отец чувствует ту меру почтения, какая подобаает отцу. «Он должен знать все заранее,— говорил мой папенька,— я не хочу, чтобы потом, когда мы все сговоримся, ему пришлось соглашаться, скрепя сердце

и досадуя. Я хорошо его знаю, мне известно, как он уперен в своих замыслах, привязанностях и намерениях, потому-то я и беспокоюсь. Все эти карты и перспективы городов так прочно связались в его мыслях с Юлией, что он задумал разместить свое собрание у нас, если в один прекрасный день молодая чета поселится здесь и не сможет так легко переезжать с места на место; сам он рассчитывает проводить тут все каникулы и вообще преисполнен самых добрых и отчаянных помыслов. Он должен заранее узнать, какую шутку сыграла с нами природа, откуда ничего еще не стало ясно, ничего не решено». Затем он торжественно взял с нас присягу следить за вами и, что бы ни случилось, удержать вас здесь. Почему он задержался возвратом, сколько искусства, труда и упорства потребовалось на то, чтобы получить от вашего батюшки согласие,— пусть он расскажет вам сам. Довольно сказать, что дело сделано и Людинду решили отдать за вас.

Людидор и Юлия, не прерывая разговора, быстро удалялись от того места, где присели вначале; то останавливаясь, то бредя дальше, они лугами добрались до возвышенности, где проходила еще одна тщательно проложенная дорога. Скоро подъехал и возок. Юлия обратила внимание соседа на необычайное зрелище: все снаряды и механизмы — гордость веселого братца — были приведены в движение, колесо возносило вверх и опускало вниз множество людей, раскачивались качели, на каждый шест кто-нибудь карабкался, то и дело какой-нибудь смельчак взлетал в прыжке над головами несчетных зрителей. Барчук все привел в действие, чтобы после угощенья гости могли весело провести время.

— Вези нас через нижнюю деревню,— крикнула Юлия,— там меня любят, так пусть люди посмотрят, как хорошо их любимице.

Деревня была пуста, все, кто помоложе, поспешили на качели и карусели, только старики и старухи, привлеченные звуками рожка, показывались в окнах и в дверях, кланялись, благословляли и приговаривали:

— Вот пригожая парочка!

Ю л и я. Ну вот вам! Пожалуй, мы бы все-таки подошли друг другу. Как бы вы потом не раскаялись!

Л ю д и д о р. Но сейчас, милая моя сестрица...

Ю л и я. Скажите пожалуйста! Теперь, когда вы от меня отделались, я вдруг стала «милая»!

Л ю д и д о р. Еще два слова. Вы в ответе за тяжкую провинность: зачем было жать мне руку, если вы знали и могли

почувствовать, как ужасно мое положение? В жизни не видывал такой злой шутки!

Ю л и я. Благодарите бога! Было бы покаяние, а прощение вам дано. Я не хотела за вас, это верно, но вот что вы решительно не хотели брать меня в жены, — таких вещей ни одна девушка не прощает. За такое плутовство — запомните хорошенько! — я и пожала вам руку. Согласна, с моей стороны это было еще большим плутовством, но раз я вас извинила, то могу простить и себе эту выходку. Итак, все прощено и забыто. Вот вам моя рука!

Они ударили по рукам, и Юлия вскричала:

— Вот мы и вернулись, вернулись к нам в парк! Скоро так оно и пойдет: отсюда — в широкий мир, потом — обратно домой. Мы еще встретимся!

Они подъехали к садовому домику, который, судя по всему, был пуст: общество, с неудовольствием видя, что время обеда отодвигается на неизвестный срок, двинулось на прогулку. Однако навстречу им вышли Антони с Люциндой. Юлия кинулась из кареты навстречу своему избраннику, горячо обняла его в знак благодарности и не сдержала радостных слез. Щеки благородного путешественника зарумянились, лицо прояснилось, в глазах заблестела влага, и сквозь прежнюю оболочку проступили черты красивого и серьезного юноши.

И обе пары двинулись вдогонку гостям, полные чувств, каких не мог бы подарить им и самый прекрасный сон.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Проводивши отца с сыном через красивую местность, стреманный остановился, едва завиднелась окружавшая обширный участок высокая стена, и объяснил, что к парадным воротам им следует подойти пешком, так как подъезжать ближе на лошадях запрещено. Путники позвонили в колокольчик, створки распахнулись, хотя никого при воротах не было видно; отец и сын направились прямо к высокому зданию, светло выделявшемуся среди столетних буков и дубов. Странен был вид этого дома: хотя и старинной архитектуры, оно выглядело так, будто строители и каменотесы только что ушли, до того тщательно заделан был каждый шов, до того новы казались замысловатые украшения.

Тяжелое металлическое кольцо на красивых резных дверях приглашало постучать, что распалившийся Феликс и проделал без должной робости. Эта дверь также распахнулась сама собой, впустив их в прихожую, где они увидели женщину средних лет, сидевшую за пяльцами и что-то вышивавшую по изящному узору. Она поклонилась гостям, словно о них уже было доложено, и запела веселую песенку, после чего из дверей соседней комнаты сейчас же вышла еще одна особа женского пола; то, что висело у нее на поясе, сразу обличало в ней ключницу и рачительную домоправительницу. Она тоже приветливо поклонилась и повела пришельцев вверх по лестнице в залу, просторность и вышина которой, так же как деревянная облицовка по стенам и ряды исторических картин, сразу настроили их на возвышенный лад. Навстречу вошедшим появились двое: юная девица и престарелый мужчина.

Девица от души приветствовала гостя.

— Нам рекомендовали вас, — сказала она, — как близкого человека. Но как же мне в двух словах представить вам этого господина? Он — друг нашего дома в самом прекрасном и широком смысле этого слова: днем — многознающий собеседник, ночью — астроном и в любой час суток — врач.

— А мне, — дружелюбно отозвался старый господин, — позвольте познакомить вас с этой девицей, которая днем трудится без устали, ночью при малейшей нужде оказывается тут как тут и всегда весело сопутствует нам в жизни.

Потом Анжела (так звалась эта пленявшая и внешностью и манерами красавица) возвестила о выходе Макарии; задернулся зеленый занавес — и две миловидные юные служанки вкатили кресло, в котором сидела престарелая дама весьма почтенного вида; следом две другие внесли круглый стол с накрытым завтраком. В углу шедшей вдоль стен скамьи из тяжелого дуба положены были подушки, на которых уселись трое взрослых; Макария в креслах расположилась напротив, а Феликс завтракал, расхаживая по зале и с любопытством разглядывая изображения рыцарей над карнизом облицовки.

Макария разговаривала с Вильгельмом как с близким другом; казалось, ей самой доставляло удовольствие описывать свою родню, что она и делала с таким умом и такой проникательностью, будто сквозь надетую на себя каждую особую личину прозревала его внутреннюю сущность. Люди, знакомые Вильгельму, вставали перед ним словно пре-

ображенные: доброжелательная проницательность этой редкостной женщины освобождала здоровое зерно от скорлупы и являла его живым и облагороженным.

Когда в дружелюбном разговоре этот приятный предмет был исчерпан, достойная дама обратилась к своему компаньону:

— Не старайтесь оправдаться присутствием нашего нового друга и не откладывайте снова обещанной беседы: он представляется мне человеком, вполне достойным принять в ней участие.

Тот возразил ей:

— Но вам известно, какой тяжкий труд внятно говорить об этих предметах; ведь речь пойдет, ни мало ни много, о злоупотреблении превосходными и широко употребительными средствами.

— Я согласна с вами,— отвечала Макария,— ибо тут сложность двоякого рода. Говоришь о злоупотреблении — а кажется, будто посягаешь на достоинство самого средства, хотя дело-то только в злоупотреблении. Начнешь говорить о самом средстве — и трудно допустить, чтобы его достоинство и основательность позволили злоупотребить им. Но мы здесь в своем кругу и не хотим ни окончательно устанавливать что-либо, ни влиять на других; наше желание — самим достичь ясности, поэтому разговор у нас может идти своим чередом.

— Но все же,— отозвался осторожный компаньон,— нам следует спросить сначала, есть ли у нашего друга желание разбираться вместе с нами в этой довольно-таки запутанной материи и не предпочтет ли он отдохнуть в своей комнате. Может ли быть, чтобы он с благосклонной охотой слушал нас, не зная ни последовательности, ни повода наших прежних бесед?

— Если объяснять сказанное вами через аналогию, то случай ваш, пожалуй, схож с тем, когда нападающий на ханжество боится обвинений в нападках на религию.

— Что ж, ваша аналогия годится,— сказал друг дома,— потому что и здесь речь идет о совокупном деле многих выдающихся личностей, о высокой науке, о важнейшем из искусств, короче говоря — о математике.

— Что до меня,— отвечал Вильгельм,— то даже когда разговор идет о совершенно неизвестных мне вещах, я всегда могу что-нибудь из него извлечь; ведь все, что занимает одного человека, найдет отклик и в другом.

— При том условии, — сказал его собеседник, — что им достигнута свобода духа; а так как мы полагаем, что вы обладаете ею, то я несколько не возражаю, чтобы вы остались.

— Но что нам делать с Феликсом? — спросила Макария. — Он, как я вижу, рассмотрел все картины и явно выказывает нетерпение.

— Позвольте мне сказать кое-что на ухо этой девице, — отозвался Феликс и тихо прошептал что-то Анжеле, которая удалилась с ним, а потом, улыбаясь, вернулась одна. Тогда друг дома стал говорить в таком роде:

— В тех случаях, когда нужно высказать неодобрение, или хулу, или даже просто сомнение, я не люблю брать на себя почин, а стараюсь найти авторитет и успокоиться сознанием того, что рядом со мною есть союзник. Хвалить я хвалю без колебаний, ибо почему должен я молчать, когда мне что-то нравится? Пусть даже похвала обнаружит ограниченность, я не вижу причин стыдиться ее. Не то с хулою: тут может случиться, что я отвергну нечто превосходное и тем навлеку на себя неодобрение людей более сведущих, чем я. Потому я принес сюда кое-какие выписки, и притом переводные, потому что в таких вещах я верю моим соплеменникам так же мало, как себе самому, зато согласие издали, с чужбины, дает мне больше уверенности. — И вот, получив разрешение, он начал читать следующее...

Однако если мы последуем своему побуждению и не дадим достопочтенному мужу прочесть его рукопись, то благосклонный читатель, смеем надеяться, на нас не посетует, ибо все доводы, высказанные против присутствия Вильгельма при этой беседе, еще более действительны в нашем случае. Наши друзья взялись за роман, и поскольку он оказался местами более назидательным, чем следовало бы, то мы сочли разумным не испытывать более их благожелательное терпение. Бумаги, лежащие сейчас перед нами, мы рассчитываем напечатать в другом месте, а сейчас без дальнейших околичностей переходим к повествованию, так как и нам не терпится видеть загадку разгаданной.

И все-таки мы не можем удержаться и не упомянуть некоторых вещей, о коих говорилось в этом благородном обществе, прежде чем оно разошлось на ночь. Вильгельм, внимательно выслушав прочитанное, заметил непринужденно:

— Нам говорили о том, как велики дарованные природою способности и приобретенные совершенства и как часто, однако, применение их сомнительно. Если бы мне при-

шло коротко подытожить сказанное, я бы воскликнул: пошли нам бог высокие помыслы и чистое сердце, а о другом и молить не следует.

Все присутствующие одобрили это разумное слово и затем разошлись, но астроном пообещал, что этой ясной, погожей ночью даст Вильгельму в полной мере приобщиться к чудесам звездного неба.

Спустя несколько часов астроном провел гостя по винтовой лестнице обсерватории и одного выпустил на открытую и неогороженную площадку высокой круглой башни. Безмятежная ночь, искрясь и сверкая всеми своими звездами, объяла наблюдателя, которому показалось, будто он впервые увидел высокий небосвод во всем его великолепии. Ведь в обыденной жизни, даже если не считать неблагоприятной погоды, так часто заслоняющей от нас блистающий простор эфира, нам мешают в городе стены и крыши, вне его — леса и скалы и повсюду — внутренние волнения, проносающиеся в душе, точно грозы и ненастья, и еще сильнее омрачающие кругозор.

Измученный и захваченный, он зажмурил глаза. Непомерное перестает быть величественным, оно превосходит нашу способность восприятия, оно грозит уничтожить нас.

«Что я такое по сравнению со Вселенной? — говорил себе Вильгельм. — Как я могу противопоставлять себя ей или ставить себя в ее средоточие? — Потом, немного поразмыслив, он продолжал: — Конечный вывод нынешней вечерней беседы разрешает и загадку этого мига. Может ли человек противопоставлять себя бесконечному, иначе как собрав в глубочайших глубинах своего существа все духовные силы, обычно рассеянные по всем направлениям, и задав себе вопрос: «Какое право ты имеешь хотя бы помыслить себя в середине этого вечно живого порядка, если в тебе самом не возникает тотчас же нечто непрестанно-подвижное, вращающееся вокруг некоего чистого средоточия? И пусть тебе будет трудно найти в груди у себя это средоточие, все равно ты распознаешь его по тому благоприятному, благотворному действию, которое от него исходит и о нем свидетельствует».

Кто из нас, кто может оглянуться на прошедшую жизнь и не почувствовать, как мутится в глазах, — ибо любой обнаружит, что в желаниях своих он был прав, но действовал ложно, в вожделениях достоин был укора, но в достигнутом — зависти?

Как часто ты видел сияние светил,— и разве не всякий раз они находили тебя иным? А ведь они всегда одинаковы и всегда говорят одно: «Нашим равномерным движением,— повторяют они,— мы отмеряем день и час; спроси же себя, чем ты занял этот день, этот час». Но на этот раз я могу ответить: «Мне нет причины стыдиться того, чем я сейчас занят: мое намеренье — вновь сплотить подобающим образом всех членов благородного семейства; мой путь предначертан. Я должен исследовать, что разобщает благородные души, должен устранить препоны, в чем бы они ни состояли». Вот что можешь ты, как на духу, сказать этим небесным воинствам, и если бы они снизошли заметить тебя, то улыбнулись бы над твоей ограниченностью, но уж наверное не презрели бы твоего замысла и способствовали его исполнению».

С такими словами или мыслями он оглянулся вокруг, и в глаза ему бросился Юпитер, приносящий счастье, который сиял великолепней, чем всегда; он счел знаменье благоприятным и некоторое время неотрывно созерцал светило.

Тут астроном позвал его вниз и дал полюбоваться в отличную подзорную трубу тем же чудом звездного неба — Юпитером — во всю его огромную величину, со всеми его лунами.

Наш друг долго оставался погруженным в созерцание, потом обернулся и сказал звездослову:

— Не знаю, следует ли мне благодарить вас за то, что вы свыше всякой меры приблизили к глазам моим это светило. Когда я глядел на него раньше, оно соизмерялось для меня с бесчисленным множеством остальных звезд и со мною самим, а теперь заняло в моем воображении несоизмеримо большое место, так что я не уверен, надо ли мне так же приближать к себе и весь прочий сонм светил. Мне будет тесно и страшно среди них.— Дальше наш друг продолжал в том же обычном для него роде, высказав по сему случаю немало неожиданного. К примеру, на какое-то возражение знатока астрономии Вильгельм отвечал: — Я прекрасно понимаю, какая радость для вас, космографов, приближать к себе всю необъятную Вселенную так же, как я сейчас видел одну планету. Но позвольте мне высказаться прямо: в жизни, если брать на круг, эти средства, предназначенные в помощь нашим чувствам, обычно не оказывают благотворного нравственного влияния. Кто носит очки, считает себя умнее, чем есть на самом деле, потому что нарушено равновесие между

внешним чувством и внутренней способностью суждения; а умение уравновесить внутренним знанием правды то ложное, что приблизилось к нам извне, есть привилегия более высокого развития, доступного лишь избранным. Едва я надену очки, как становлюсь другим человеком и перестаю самому себе нравиться, я вижу больше, чем мне следует видеть, — чем отчетливей я вижу мир, тем меньше он гармонирует с моей внутренней сущностью, поэтому я, едва только удовлетворю любопытство и узнаю, что представляет собою тот или другой предмет вдалеке, поскорее снимаю очки.

Астроном возразил что-то в шутку, на что Вильгельм ответил:

— Мы не станем добиваться, чтобы эти стекла или любое другое механическое устройство были изгнаны из мира, однако наблюдателю нравов важно исследовать и понять, как прокралось в человеческую среду многое, на что теперь сетуют. Например, я уверен, что привычка носить очки, все приближающие к нам, есть главная причина самомнения нынешней молодежи.

В таких разговорах протекла большая часть ночи, поэтому испытанный в ночных бдениях астроном предложил своему молодому другу прилечь на походную кровать и поспать, чтобы потом свежим взглядом наблюдать восход предшествующей Солнцу Венеры и приветствовать светило, обещавшее именно сегодня явиться во всем своем блеске.

Вильгельм, до того мига державшийся бодро, чуть только услышал сочувственное предложение заботливого старика, сразу почувствовал себя утомленным и улегся, а через мгновение заснул глубоким сном.

Когда звездослов разбудил его, Вильгельм тотчас же вскочил и бросился к окну, где на мгновение замер в созерцании, а потом воскликнул, охваченный восторгом:

— Какое величие! Какое чудо! — Далее последовали новые возгласы восхищения, но зрелище по-прежнему оставалось для него чудом, великим чудом.

— Я предвидел заранее, что вас поразит это ласковое светило, редко являющееся, как сегодня, всю полноту своего великолепия. Но осмелюсь сказать, не боясь упрека в холодности, что не вижу никакого, ну просто никакого чуда!

— Да как вам его видеть? — отозвался Вильгельм. — Ведь оно во мне, я принес его с собою, я сам не знаю, что со мной творится! Дайте мне еще молча на нее полюбовать-

ся, а потом выслушайте меня.— Помолчав немного, он продолжал: — Я спал, и сон мой был легок, но глубок; я видел себя в давешней зале, но со мною никого не было. Зеленый занавес поднялся, само собой, как живое, выдвинулось кресло Макарии, блистая золотом. Ее одежда была словно ризы жреца, ее взгляд излучал кроткое сияние, я готов был броситься ниц перед нею. Под ее стопами появились облака и, поднимаясь ввысь, как на крыльях вознесли исполненный святости образ, на месте ее величавого лика я видел в разрыве облаков сверкающую звезду, взлетающую все выше, пока наконец потолок не расступился и она не присоединилась к сонму светил на небе, которое расширялось, охватывая все сущее. В это мгновение вы будите меня; с затуманенной сном головой я иду к окну, та звезда еще стоит у меня в глазах, и что же я вижу? Передо мною наяву — утренняя звезда, такая же прекрасная, хотя, быть может, не столь блистательная и величавая! Звезда, действительно парящая там, в высоте, замещает виденную во сне, похищает ее величие, а я все смотрю и смотрю, и вместе со мною смотрите вы — на то, что должно было бы исчезнуть из моих глаз вместе с сонным угаром.

Астроном воскликнул:

— Да, это чудо, истинное чудо! Вы сами не знаете, сколько чудесного в ваших словах. Только бы все это не предвещало нам разлуку с блистательной, ведь такой апофеоз рано или поздно предназначен ей судьбою.

Наутро Вильгельм в поисках Феликса, который спозаранок куда-то ускользнул, поспешил в сад, где с удивлением обнаружил, что возделывают его девушки: их было немало, все не слишком красивы, но и не уродливы и, по-видимому, все не старше двадцати. Одеты они были каждая по-разному, как уроженки разных местностей, работали усердно, здоровались с ним весело и снова брались за дело.

Навстречу ему попала Анжела, которая, расхаживая туда и сюда, распределяла и принимала работу. Гость поведал ей, как странно ему видеть эту миловидную и трудолюбивую колонию.

— Наша колония, — отвечала Анжела, — бессмертна, так как всегда изменяется и всегда остается все той же. По двадцатому году эти девушки, как и все обитательницы нашего убежища, начнут жить и трудиться самостоятельно, причем, большая часть их выйдет замуж. Вся мужская молодежь по соседству, желая иметь хороших, работающих жен, внима-

тельно приглядывается к тому, что у нас подрастает. Да и наши воспитанницы не сидят тут взаперти, они не раз бывали на ярмарках, где могли людей посмотреть и себя показать, так что многие просватаны и обручены, а между тем другие семейства приглядываются в ожидании, не освободится ли у нас место, чтобы отдать к нам дочерей.

Побеседовав об этом предмете, гость не скрыл от новой приятельницы своего желанья перечесть еще раз прочитанное вчера вслух.

— Общй смысл беседы я уловил, — сказал он, — но хотел бы в подробностях познакомиться со всем, о чем шла речь.

— К счастью, — отвечала Анжела, — я легко могу выполнить ваше желанье. Вы так быстро получили доступ в святая святых нашего семейства, что я имею право сказать вам: бумаги уже у меня в руках, я тщательно подобрала их и присоединила к другим. Моя госпожа, — продолжала она, — незыблемо убеждена в важности всякой мимолетней беседы; она говорит, что тут, будучи сказано вскользь, пропадает и то, чего не найдешь ни в каких книгах, и самое лучшее, что только можно найти в книгах. Поэтому она вменила мне в обязанность собирать интересные мысли, когда в умной беседе они сыплются, словно семена с раскидистого растения. Она говорит: «Только если неизменно стараться закрепить настоящее, можно найти удовольствие в преданиях прошлого: тогда обнаруживаешь, что лучшие мысли были уже высказаны, а прекраснейшие чувства выражены. Через это становится для нас очевидно то единомыслие, к которому человек призван и должен приноровиться, — часто против своей воли, так как любит воображать, будто весь мир начался вместе с ним».

Далее Анжела поведала гостю, что таким образом собрался богатый архив, из которого она в бессонные ночи вслух читает Макарии то тот, то другой лист, и при таком чтении примечательным образом бросаются в глаза многочисленные частности, — так точно ртуть, упав, рассыпается на бесчисленное множество шариков.

На вопрос о том, сохраняется ли этот архив в тайне, она не скрыла, что знают о нем только самые близкие, но сказала, что охотно возьмет на себя ответственность и по первому желанью вручит ему несколько тетрадей.

За таким разговором они пересекли сад и подошли к господскому дому, где Анжела, входя в одну из комнат во флигеле, сказала с улыбкой:

— Я воспользуюсь случаем доверить вам еще одну тайну, к которой вы менее всего подготовлены.

После этого она велела ему заглянуть за занавес в кабинет, где он, к величайшему своему изумлению, увидел за столом Феликса, занятого писанием, и не сразу мог угадать причину столь неожиданного усердия. Но Анжела тут же просветила его, открыв следующее: мальчик использует на это дело каждый миг уединения и объясняет, что ему, мол, ничего больше не хочется, кроме как ездить верхом и писать.

Тотчас после этого наш друг был отведен в комнату, где в шкафах по всем стенам мог увидеть множество аккуратно уложенных бумаг. Само число подразделений свидетельствовало о разнообразном содержании, во всем видны были внимание и порядок. Когда Вильгельм похвалил эти достоинства, Анжела ответила, что вся заслуга принадлежит другу дома: он не только продумал саму систему, но и умеет, с присущей ему широтой кругозора, в трудных случаях определенно указать, в какой раздел следует отнести бумагу. После этого она разыскала прочитанную вчера рукопись и разрешила любопытному гостю пользоваться и ею, и всеми остальными с правом не только в них заглядывать, но и снимать копии.

Этим делом нашему другу пришлось заниматься с умеренностью, потому что нашлось слишком много привлекательного и занимательного; особенно оценил он тетради с короткими, почти не связанными между собою высказываниями. Каждое было лишь конечным выводом и, если не знать породивших его обстоятельств, могло показаться парадоксом, однако каждое заставляло нас, двигаясь вспять, заново все додумывать и придумывать и взглядом издали и снизу вверх охватывать всю последовательность мыслей, порождающих одна другую.

Но и этим выпискам мы, по изложенным выше причинам, не можем уделить места. Однако мы не упустим первой же представившейся возможности с выбором преподнести читателю в подходящем месте почерпнутое нами из этого архива.

На третье утро наш друг отправился к Анжеле, перед которой предстал не без некоторого смущения.

— Сегодня пришел срок проститься, — сказал он, — и я должен получить у досточтимой госпожи, к которой, увы,

не был вчера допущен, последние поручения. И есть еще нечто, затронувшее мне сердце и занявшее мои мысли, о чем я хотел бы получить разъяснения. Если это возможно, со- благоволите мне их дать.

— По-моему, я поняла вас,— сказала его очарователь- ная собеседница,— но продолжайте дальше.

— Чудесный сон, несколько слов, сказанных почтенным звездословом, особый запертый ящик с надписью «Стран- ности Макарии» в одном из шкафов, куда вы дали мне до- ступ,— все эти обстоятельства вторят моему внутреннему голосу, а он твердит мне, что этот усиленный интерес к не- бесным светилам — не только научное увлечение любителя, стремление побольше узнать о звездной Вселенной; нет, тут скорее можно предположить, что между Макарией и свети- лами существует особая скрытая связь, которую мне было бы весьма важно узнать. С моей стороны это не любопытство и не назойливость: такой случай столь интересен для иссле- дователя душ и умов, что я не могу удержаться и спрашиваю, не будет ли мне оказана, вдобавок к прежнему доверию, и эта чрезвычайная милость.

— Мне дано на это право,— отвечала ему любезная со- беседница.— Правда, ваш примечательный сон остался для Макарии тайной, но мы с нашим другом говорили о вашей поразительной духовной пронизательности, о вашей неожиданной способности постигать глубочайшие тайны и по раз- мышлении решили, что можем отважиться ввести вас еще глубже. Но наперед позвольте мне изъясниться иносказания- ми. Говоря о вещах трудных и непонятных, полезно быва- ет прибегнуть к их помощи.

О поэтах сказано, что первостихии видимого мира за- ложены в глубинах их существа и должны лишь постепен- но развиться из него и выйти наружу, и что бы поэт ни со- зерцал в мире, все уже было пережито им в предчувствиях; насколько можно судить, таковы же были связи Макарии с нашей солнечной системой: сперва они не проявлялись, по- том постепенно развились и, наконец, стали живыми и оче- видными, обнаружив свой врожденный характер. Сначала это явление доставляло ей муки, потом — некоторое удо- вольствие, а под конец и восторг, все возраставший с годами. Но успокоилась она и примирилась с собой не прежде, чем обрела помощника и друга, о чьих заслугах вы знаете.

Будучи математиком и философом, то есть человеком изначально недоверчивым, он долго сомневался, полагая, что

своими прозрениями Макария обязана урокам астрономии, которую, по собственному признанию, стала изучать в раннем возрасте и была ею страстно увлечена. Вместе с тем она сообщила ему, что на протяжении многих лет сравнивала и сопоставляла то, что происходило у ней в душе, с тем, что воспринимала вовне, но никогда не видела, чтобы одно согласовалось с другим.

Тогда наш многознающий друг попросил ее точнейшим образом описать то, что она прозревала и что лишь временами открывалось ей с полной ясностью, произвел некоторые расчеты и заключил из них, что Макария не носит в себе всю солнечную систему, но скорее духовно движется в ней как неотъемлемая ее часть. Исходя из этой посылки, он продолжил свои счисления, которые почти невероятным образом были подтверждены всем, что говорила Макария.

Доверить вам больше я покамест не имею права, да и это открываю лишь с настоятельной просьбой никому не обмолвиться ни словом. Разве любой разумный и рассудительный человек, как бы ни был он благожелателен, не сочтет все за фантазии и не истолкует их как искаженные воспоминания ранее усвоенных научных сведений? Даже в семействе почти ничего не знают; эти тайные созерцания, эти восхитительные видения слынут у родни за недуг, подчас мешающий Макарии участвовать в общей жизни и ее интересах. Храните же все про себя, друг мой, и не показывайте вида даже Ленардо.

Ближе к вечеру наш друг еще раз предстал перед Макарией; сказано было много вещей приятных и назидательных, из которых мы избираем лишь следующее.

— От природы у нас нет ни одного изъяна, который не мог бы стать достоинством, и ни одного достоинства, которое не могло бы стать изъяном. Причем второй случай всего опаснее. Повод к такому наблюдению подал мне прежде всего мой чудак-племянник, тот самый молодой человек, о котором вы слышали в семействе много необычайного и которому я, по словам всех близких, прощаю по любви больше, чем следовало бы.

С юности он легко и споро справлялся со всякой ручной работой; полностью отдавшись этой склонности, он счастливо достиг немалых познаний и мастерского совершенства. И позже он посылал домой из путешествия всегда самые искусные, самые хитроумные, тонкие и изящные из ремесленных изделий, указывающие на страну, где он находился и

которую нам надобно было угадать. Из этого, пожалуй, можно заключить, будто он был и остался человеком сухим, безучастным ко всему и поверхностным, тем более что и в разговорах он не расположен был касаться общих нравственных рассуждений; между тем в душе обладал он удивительно тонким практическим тактом в различении хорошего и дурного, похвального и постыдного, и я не видела, чтобы этот такт хоть раз изменил ему в отношениях со старшими или младшими и по возрасту, и по чину. Но такая врожденная совестливость при отсутствии правильных основ превращалась нередко в ипохондрическую слабость: он мог вообразить себя чем-нибудь обязанным там, где этого вовсе не требовалось, или без нужды признать себя в чем-нибудь виноватым.

По всему, как он вел себя во время путешествия и как готовится к возврату, я могу предположить одно: он возомнил, будто нанес обиду какой-либо из женщин в нашем окружении, и теперь обеспокоен ее судьбою, а избавится он от беспокойства, только когда услышит, что с нею все благополучно. Об остальном с вами поговорит Анжела. Возьмите это письмо и сделайте так, чтобы наша семья счастливо воссоединилась. Признаюсь откровенно: я хотела бы еще раз встретиться с ним в этом мире и в час кончины от души благословить его.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Смуллолиця девушка

Когда Вильгельм точно и обстоятельно изложил, что ему было поручено, Ленардо отвечал с улыбкой:

— Как ни обязан я вам за все, что через вас узнал, все же мне нужно задать еще один вопрос. Не наказывала ли под конец тетушка сообщить мне некую, на первый взгляд не слишком важную вещь?

Вильгельм на мгновенье задумался, потом сказал:

— Да, припоминаю. Она вскользь говорила о какой-то девице, которую называла Валериной. О ней я должен вам сообщить, что она счастливо вышла замуж и живет вполне благополучно.

— Вы сняли у меня камень с души! — отозвался Ленардо. — Теперь я с радостью ворочусь домой, ибо мне нечего

бояться, что на месте воспоминание об этой девушке будет для меня особенно тяжким укором.

— Мне не пристало спрашивать, что вас с нею связывало,— сказал Вильгельм,— но если вас каким-то образом занимает судьба девушки, то вы, по крайней мере, можете быть спокойны.

— На свете не бывало связи удивительней той, что возникла между нами,— сказал Ленардо,— но вопреки тому, что можно подумать, это не была любовная связь. Я вам доверяю и могу все рассказать, хотя рассказывать-то и не о чем. Но что бы вы подумали, если бы я вам признался, что и промедление с возвратом, и боязнь снова вступить в наше жилище, и странная затея с вопросами о домашних делах — все имело одну лишь цель: узнать, что случилось с этой девочкой. Поверьте,— продолжал он,— мне отлично известно, что можно на долгий срок покинуть людей, которых ты знаешь, и найти их ничуть не изменившимися; поэтому я и рассчитываю быстро освоиться в кругу родных. И тревожился я об одном только существе, чье положение должно было перемениться и, благодарение богу, переменялось к лучшему.

— Вы дразните мое любопытство,— сказал Вильгельм,— и заставляете ждать чего-то необычайного.

— Для меня, по крайней мере, все это необычайно,— отозвался Ленардо и начал свой рассказ:— Совершить, по обычаю, путешествие и в молодости объездить цивилизованные страны Европы — это намерение лелеял я с юных лет, но его исполнение, как водится, все время откладывалось. Ближайшее привлекало меня и удерживало, а отдаленное тем больше теряло свое обаяние, чем больше я о нем читал или слышал. Наконец настойчивость дядюшки и заманчивые письма друзей, которые раньше меня разъехались по свету, заставили меня принять решение, и даже быстрее, чем все ожидали.

Дядюшка, который должен был приложить немало усилий, чтобы дать мне возможность совершить путешествие, тотчас же задался одной этой целью.

Вы его знаете и знаете его особое свойство: он всегда стремится к чему-нибудь одному, и покуда это одно не осуществит, обо всем остальном не может быть и речи; благодаря этому свойству он и сделал так много — куда больше, чем это кажется по силам частному лицу. Мое путешествие отчасти явилось для него неожиданностью, но он сразу же собрался с мыслями. Затеянные им и начатые строительные

работы были прекращены, а так как своих сбережений он ни за что не трогает, то как разумный финансист стал искать других средств. Самым простым было получить просроченные долги, особенно недоимку по аренде; ведь это тоже обычная его манера — быть снисходительным к должникам, покуда у самого нет особой нужды в деньгах. В руки управляющего был передан список, а исполнять дело он мог по своему усмотрению. О каждой из принятых им мер мы и не знали, я только услышал мимоходом, что арендатора одного из наших владений, которому дядюшка долгое время оказывал снисхождение, придется наконец прогнать, удержать его залог в виде скудного возмещения недоплаты, а владение отдать в аренду другому. Человек этот был из числа «тихих братьев», но не столь умный и работящий, как многие из них; его любили за благочестие и доброту, но ругали за негожую для хозяина дома слабость. После смерти жены на руках у него осталась дочка, которую иначе как «Смуглолицей» не называли; она, хоть и подавала надежду стать женщиной крепкой и решительного нрава, однако была чересчур молода, чтобы взять все на себя; одним словом, дела у этого человека шли все хуже, так что даже дядюшкина снисходительность не изменила бы его участи к лучшему.

Ни о чем, кроме путешествия, я не думал и не мог не соглашаться со всем, что бы ради него ни делалось. Все было готово, уже отбирали и укладывали вещи, до отъезда оставались считанные дни. Как-то под вечер я отправился пройтись по парку, чтобы проститься со знакомыми деревьями и кустами, тут навстречу мне вышла Валерина, — так звали ту девушку, а второе имя было только прозвищем, которое дали ей за смуглый цвет лица, — и загородила мне дорогу.

Ленардо на мгновение умолк в задумчивости, потом сказал:

— Что ж это такое? Валериной ли ее звали?.. Да, конечно, — продолжал он, — только привычней была кличка. Одним словом, Смуглолицая загородила мне дорогу и стала с горячностью просить, чтобы я замолвил за нее с отцом слово перед дядюшкой. Я, однако, знал, как обстоит дело, и ясно видел, что сделать для нее что-нибудь было в ту пору трудно и даже невозможно, а потому прямо ей обо всем сказал, с неодобрением отозвавшись об ее отце как виновнике беды.

Отвечая, она обнаружила такую ясность суждения и вместе с тем столько детской любви и бережной снисходительности, что сразу завоевала мою приязнь, и если бы дело шло о моих финансах, я немедленно осчастливил бы ее, исполнив просьбу. Но доходы принадлежали дядюшке, им же были приняты меры и отдан приказ; при его образе мыслей и при том, что успело произойти, надеяться было не на что. Обещание всегда было для меня священно. Любой настойчивый проситель ставил меня в затруднение. Я так привык отклонять все просьбы, что не давал обещаний, даже когда собирался их выполнить. Такая привычка оказалась кстати и в тот раз. Просьбы девушки основывались на ее личной воле и пристрастии, мой отказ — на велениях долга и разума, которые, не скрою, в конце концов показались мне самому слишком суровыми. Мы уже по многу раз повторили каждый свое, не убедив друг друга; однако нужда сделала ее красноречивее, погибель, в ее глазах неотвратимая, исторгла у ней слезы. Она не изменила вполне своей сдержанности, но заговорила горячо и взволнованно, а так как я продолжал разыгрывать холодность и равнодушие, то вся ее душа устремилась наружу. Я хотел положить конец этой сцене, но девушка вдруг упала к моим ногам, схватила меня за руки, стала целовать их и с такой пленительной красотостью глядеть на меня сквозь слезы, что я на мгновение забыл самого себя. Быстро подняв ее, я сказал: «Успокойся, дитя мое, я сделаю все, что могу», — и повернул на боковую дорожку. «Сделайте больше, чем можете!» — крикнула она мне вслед. Не помню, что я хотел сказать, но произнес только: «Я попробую», — и запнулся. «Сделайте это!» — крикнула она снова, ободрившись и просияв блаженной надеждой. Я поклонился ей и поспешил прочь.

Мне не хотелось тотчас же подступаться к дядюшке, так как я слишком хорошо знал, что если он задался общей целью, нельзя напоминать ему о частностях. Я стал искать управляющего, но он уехал; вечером в гости пришли друзья, чтобы со мною проститься, игра и ужин затянулись за полночь. Они оставались и на другой день, развлечения изгладили всякую память о моей настойчивой просительнице. Вернулся управляющий, он совсем захлопотался и был занят больше, чем всегда. Все его домогались. У него не было времени меня выслушивать, однако я попытался задержать его; но стоило мне назвать имя богомольного арендатора, как он с живостью прервал меня: «Ради бога, не говорите

об этом деле дядюшке, если вам неохота напоследок рассердить его». День моего отъезда был назначен, мне пришлось писать письма, принимать гостей, отдавать визиты соседям. Люди мои, хотя и годные для повседневной службы, были не настолько расторопны, чтобы облегчить предотъездные хлопоты. Я должен был все делать сам,— но когда однажды, почти ночью, управляющий уделил мне час, чтобы уладить денежные дела, я отважился еще раз попросить за Валерина отца.

«Любезный барон,— сказал мне наш расторопный управитель,— как вам это взбрело на ум? Мне и так досталось сегодня от вашего дядюшки: ведь вам, чтобы уехать свободно, нужно куда больше, чем мы предполагали. Это вполне естественно, но нам от этого не легче. Старый хозяин очень не любит, когда дело вроде бы закончено, а на самом деле остаются хвосты; но такое случается часто, и расхлебывать приходится нам. Он возвел в закон со строгостью взыскивать просроченные долги и тут колебаний не знает, так что добиться от него уступки весьма нелегко. Прошу вас, лучше и не пытайтесь, все равно толку не будет».

Я дал себя отговорить, но не до конца. Самого управляющего, от которого зависело исполнение приказа, я просил действовать мягко и по справедливости. Он обещал мне все, по обыкновению таких людей,— лишь бы сейчас его оставили в покое. Я отстал от него; и дел и развлечений становилось все больше. Наконец я уселся в экипаж и оставил за спиной все, что занимало меня дома.

Сильное впечатление все равно что рана: ее не чувствуешь, когда получаешь. Только потом начинает она болеть и гноиться. Так же было у меня и с той встречей в саду. Едва я оставался праздным и в одиночестве, как перед моим внутренним оком вставал образ плачущей девушки вместе со всем, что нас окружало: с деревьями и кустами, с тем местом, где она пала на колени, с той дорожкой, по которой я поспешил от нее прочь,— одним словом, вся картина, словно живая. Это было одно из неизгладимых впечатлений, которые могут быть затенены и заслонены другими образами, другими интересами, но не стерты до конца. Едва выдавался тихий час, как оно выплывало передо мною, и чем дальше, тем сильнее чувствовал я тяжесть долга, который принял на себя вопреки моим правилам и привычкам,— пусть лишь бормоча и запинаясь от впервые испытанного по такому случаю смущения.

В первых же письмах я не преминул спросить управляющего, как шло дело. Он все тянул с ответом, обещал дать сведения по этому пункту позже, потом слова его стали двусмысленны, и, наконец, он совсем смолк. Расстояние между мною и родными местами росло, все больше предметов становилось между нами; множество наблюдений, множество интересов занимали мое внимание; образ девушки понемногу исчез, почти позабылось и само ее имя. Мысли о ней посещали меня все реже, моя прихоть, заставившая меня общаться с близкими не посредством писем, а посредством знаков немало способствовала тому, что прежнее мое положение и все его обстоятельства почти исчезли у меня из памяти. Только теперь, когда я приблизился к дому, когда стал думать, как бы мне с лихвою возместить моему семейству все, чего оно до сих пор было лишено, мною снова со всею силой овладело это странное — иначе я не могу назвать его — раскаяние. Образ девушки приобретает ту же яркость, что и образы моих родных, и больше всего я боюсь услышать, что несчастье, на которое я ее обрек, погубило ее; мое бездействие кажется мне поступком ей во вред, способствовавшим ее печальной участи. Я уже тысячу раз твердил себе, что ощущение это по сути своей есть лишь слабость, что поставить себе за правило никому ничего не обещать принудил меня только страх перед раскаянием, а не благородство чувств. И вот то самое раскаяние, которого я бежал, мстит мне, воспользовавшись одним случаем вместо сотни, чтобы предать меня пытке. И вместе с тем воображаемая картина, которая так мучит меня, до того сладостна и пленительна, что я охотно останавливаюсь на ней мыслью. И чуть я вспомню о девушке, как поцелуй, который она запечатлела у меня на руке, начинает жечь ее.

Ленардо смолк, а Вильгельм, не помедлив, радостно сказал:

— Значит, я больше всего услужил вам, прибавив к моему докладу дополнительную статью; ведь и в письме самое интересное часто содержится в постскриптуме. Правда, я мало что знаю о Валерине, так как слышал о ней мельком, но уж точно, что она стала женой состоятельного землевладельца и живет припеваючи: в этом тетушка заверила меня перед самым прощанием.

— Отлично, — сказал Ленардо, — теперь больше ничего меня не удерживает. Вы дали мне отпущение, и мы сей-

час же отправимся к моей родне, которая и так уже зажда-
лась меня.

Вильгельм возразил на это:

— Как ни прискорбно, но сопровождать вас я не могу: странное обязательство запрещает мне оставаться на месте более трех дней и возвращаться в покинутое пристанище ранее, чем год спустя. Не посетуйте на меня за то, что я не имею права открыть вам причину этой странности.

— Мне очень жаль,— сказал Ленаардо,— что мы так скоро с вами расстаемся и я ничего не могу для вас сделать. А вот вы, коль скоро уже начали мне благодетельствовать, могли бы довершить мое счастье, побывав у Валерины, точно осведомившись о ее положении и сразу же, для моего успокоения, подробно сообщивши мне все письменно или устно,— ведь встретиться можно и в каком-нибудь новом месте.

Это предложение было обсуждено. Вильгельму указали, где проживает теперь Валерина, и он взял на себя труд побывать у нее. Назначили место, куда барон должен был приехать и привезти с собою Феликса, который покуда оставался у Макарии с Анжелой.

Некоторое время Ленаардо и Вильгельм, беседуя, скакали рядом по красивым лугам, потом, добравшись до проезжей дороги, нагнали карету барона, которой суждено было вместе с хозяином снова вернуться в родные края. Здесь друзья намеревались расстаться; Вильгельм сказал на прощанье несколько дружеских слов, еще раз пообещав в скором времени известить Ленаардо о Валерине; вдруг барон объявил:

— Если подумать, что, поехав с вами, я сделаю совсем небольшой крюк, то почему бы мне самому не побывать у Валерины, самому не удостовериться, что она счастлива? Вы были столь любезны, что предложили себя в курьеры,— так почему бы вам не стать моим провожатым? Мне непременно нужен провожатый, так сказать, поверенный по нравственным делам, так же, как необходим поверенный законник всякому, кто не считает себя в силах вести тяжбу.

Уговоры Вильгельма, твердившего, что после долгого отсутствия Ленаардо ждут не дождутся дома, что карета, вернувшаяся без хозяина, произведет странное впечатление, и прочее в таком роде, не оказали на барона ни малейшего действия, и в конце концов Вильгельму пришлось решиться

на роль провожатого, хотя и без всякой радости, так как он опасался за исход посещения.

Слугам наказали, что им говорить по прибытии, и друзья пустились по дороге, которая вела к жилищу Валерины. Местность выглядела богатой и плодородной, словно предназначенной для земледелия. Также и во владениях Валерина мужа поля были тучны и тщательно возделаны. Вильгельм вполне успел рассмотреть ландшафт во всех подробностях, потому что Ленардо, ехавший рядом, молчал. Наконец он заговорил:

— Другой на моем месте, верно, попытался бы проникнуть к Валерине неузнанным, — ведь это истинная мука — являться на глаза тем, кого мы обидели. Но лучше на это пойти и снести укор, который я боюсь увидеть в первом же ее взгляде, чем оберегаться, прибегая к обману и маскарарду. Неправда может смутить не меньше, чем правда; а если мы взвесим пользу от правды и пользу от неправды, то увидим, что больше проку раз и навсегда присягнуть на верность правде. Так что едем дальше, ни о чем не тревожась, я назову себя и введу вас в дом как моего друга и спутника.

Тем временем они приехали в усадьбу и спешили во дворе. Солидный мужчина, одетый весьма просто, так что его можно было принять за арендатора, вышел встретить их и отрекомендовался как хозяин дома. Ленардо назвал себя, и владелец усадьбы явно обрадовался его визиту и знакомству с ним.

— Что скажет жена, — вскричал он, — когда увидит у себя племянника своего благодетеля! Ведь она наговориться не может о том, сколь многим они с отцом обязаны вашему дядюшке.

Какие противоречивые мысли зароились в уме Ленардо! Неужели этот человек, такой прямодушный на вид, прикрывает приветливой улыбкой и гладкими речами недобрые чувства? Способен ли он говорить упреки под видом любезностей? Разве дядюшка не сделал эту семью несчастной? Возможно ли, чтобы это осталось ему неизвестно? Или же, — подумал он с внезапной надеждой, — дело обернулось не так плохо, как ты полагаешь? Ведь ничего определенного тебе так и не сообщили. Все эти предположения быстро сменяли друг друга, между тем как хозяин приказывал заложить лошадей и привезти домой жену, уехавшую с визитом по совету,

— Если вы позволите мне до возвращения жены занять вас по-своему и заодно не бросать дел, то соблаговолите пройти со мною несколько шагов до поля, чтобы посмотреть, как я веду хозяйство; ведь вы сами — крупный землевладелец, значит, и вам нет ничего ближе благородной науки, благородного искусства земледелия.

Ленардо не стал возражать, Вильгельм любил узнавать новое, хозяин знал все о своих землях и угодьях, которыми владел и правил неограниченно; если он что предпринимал, все было целесообразно, если что сажал или сеял — все на самом подходящем месте; к тому же он толково объяснял, что и почему следует делать, так что любому становилось понятно и даже казалось возможно самому повторить то же самое и того же достигнуть, — заблуждение, в которое легко впасть, видя, как работает мастер и как в руках у него все ладится.

Приезжие высказали хозяину свое полное удовольствие заодно с заслуженной похвалой. Он принял их слова с благодарностью, но тут же добавил:

— А теперь я должен показать вам, в чем моя слабость; такую слабость, впрочем, можно найти у каждого, кто всецело отдается одному делу. — Он отвел гостей на хозяйственный двор, показал им весь запас орудий, а также запас нужных к ним принадлежностей и всевозможной утвари. — Меня часто упрекают, что я захожу тут слишком далеко, — говорил он. — Но мне себя за это ругать не приходится. Счастлив человек, если для него дело становится любимой куклой, с которой он просто-напросто играет, забавляясь тем, что его состояние вменяет ему в обязанность.

Оба друга усердно расспрашивали его, осведомляясь о том и о сем. Вильгельму особенное удовольствие доставляли общие замечания, к которым, очевидно, был склонен хозяин и на которые гость неукоснительно отвечал; Ленардо же, больше погруженный в себя, был в душе счастлив счастьем Валерины, несомненным при нынешних ее обстоятельствах, — вопреки смутной тревоге, непонятной ему самому.

Они были уже в доме, когда мимо окон проехал экипаж хозяйки. Все поспешили ей навстречу. Как же был изумлен и испуган Ленардо, когда увидел ее на подножке! Это была не она, не Смуглолицая, — напротив того, хотя и красивая, и стройная, она была белокура, со всеми привлекательными чертами, присущими блондинкам.

Ее красота и прелесть внушали Лена́рдо ужас; глаза его искали темноволосую, а перед ним сияло светлое золото. Но он вспоминал и эти черты, а ее речь и повадки скоро не оставили в нем ни малейшего сомнения: перед ним была дочка одного из старост, весьма почитаемого дядюшкой, который ради отца одарил ее приданым и покровительствовал новобрачной чете. Молодая женщина, весело приветствуя гостей, рассказала им и об этом, и о многом другом с тою радостью, которой позволяет непринужденно излиться неожиданность встречи. Пошли вопросы, сразу ли гость и хозяйка узнали друг друга, разговоры о том, кто насколько переменялся и как заметны перемены в таком возрасте. Валерина, вообще не лишенная приятности, стала совсем очаровательна, когда радость вывела ее из обычного равнодушия. Все присутствующие разговорились, и за оживленной беседой Лена́рдо успел овладеть собой и скрыть уныние. Вильгельм, которому друг сейчас же знаком дал понять о странном происшествии, изо всех сил старался ему помочь, а тщеславие Валерины, польщенной тем, что барон, еще не повидавшись с родными, вспомнил о ней и завернул к ней, не давало ей заподозрить ни иных намерений гостя, ни недоразумения.

Засиделись вместе до поздней ночи, хотя оба друга только и мечтали, как бы им побеседовать по душам; такой разговор и начался, едва они остались одни в комнатах для гостей.

— От этой муки,— сказал Лена́рдо,— мне, верно, не избавиться! И я замечаю, что от злосчастной путаницы с именами она усилилась вдвое. Мне часто случалось видеть эту белокурую красавицу, когда она играла со смуглой, которую и красавицей-то не назовешь; я и сам носился с ними по полям и садам, хотя и был намного старше. Обе не производили на меня ни малейшего впечатления, только имя одной я запомнил, да и то перенес на другую. И вот я открываю, что та, до которой мне нет дела, на свой лад счастлива сверх меры, между тем как другая затерялась в мире бог весть где.

Наутро друзья встали едва ли не раньше трудолюбивых сельских жителей. Удовольствие еще раз повидать гостей вовремя разбудило Валерину. Она и не догадывалась, с какими помыслами спустились они к завтраку. Вильгельм ясно видел, в каких муках пребывает Лена́рдо, пока остается в неведении о судьбе Смуглолицей, и потому завел раз-

говор о прошлом, о друзьях детских игр, о тех местах, которые знал и сам, — и вышло как бы само собой, что Валерина упомянула о Смуглолицей и назвала ее имя.

Ленардо, едва услышав имя Находина, тотчас же вспомнил его, но вместе с именем и самый образ просительницы вернулся к нему и овладел его душой с такой силой, что ему показался невыносим Валеринин рассказ, — впрочем, полный участия, — о том, как у набожного арендатора забирали за долги имущество, о его смирении при выезде, о дочери, на которую он опирался и которая несла только маленький узелок. Ленардо казалось, что он вот-вот лишится чувств. К счастью, или к несчастью, Валерина повествовала с чрезвычайной обстоятельностью, которая разрывала сердце Ленардо, но при этом позволяла ему, благодаря помощи спутника, хотя бы внешне не терять самообладания.

Гости простились с супружеской четой, ответив лицемерным полусогласием на ее искренние просьбы поскорей приехать снова. Но если человек сам себе сулит благо, то ему и все на счастье; поэтому Валерина истолковала в свою пользу и молчаливость, и явную рассеянность Ленардо, и поспешность его отъезда, и хотя была верной и любящей супругой добропорядочного сельского жителя, не могла не потешить себя мыслью о возродившейся или теперь только возникшей у барона склонности к ней.

По окончании этой странной встречи Ленардо сказал: — В этом крушении, которое, вопреки добрым надеждам, мы потерпели у самой пристани, меня утешает только одна мысль, и она же дает мне силы покамест успокоиться и встретиться с родными; мысль о том, что небо послало мне вас, человека, которому все равно, куда и зачем направить путь, ибо такова ваша странная миссия. Возьмите на себя этот труд — отыскать Находину и сообщить мне о ней. Если она счастлива, с меня этого довольно; если несчастлива, окажите ей за мой счет помощь. Действуйте без оглядки, не скупитесь ни на какие траты.

— Но в какую сторону света направить мне стопы? — спросил Вильгельм, улыбаясь. — Если вы не имеете понятия, то откуда же знать мне?

— Послушайте, — ответил Ленардо, — этой ночью, когда я у вас на глазах метался в полном отчаянье, когда лихорадочно перебирал в уме и в сердце все и вся, перед моим духовным взором предстал один мой старый друг, достойный человек, который, хотя и не менторствовал надо мной,

все же имел на меня в юности немалое влияние. Я с охотой попросил бы его быть моим спутником, пусть даже не на все путешествие, если бы его не привязывало к дому собрание прекраснейших художественных редкостей и антиков, которое он не оставляет больше чем на мгновение. Широчайший круг его знакомств, сколько я знаю, охватывает все, что связано в этом мире какою-нибудь благородною нитью. Поспешите же к нему, расскажите ему обо всем так, как я вам изложил, и можно надеяться, что тонкое чутье укажет ему место или край, где ее можно найти. В беде мне пришла мысль об ее отце, который был из числа благочестивцев, и я сам в тот же миг стал благочестив настолько, чтобы обратить взгляд к нравственному миропорядку и молить его, чтобы он ради меня чудесно явил свою милость.

— Но есть одна трудность,— отвечал Вильгельм,— которую необходимо разрешить: куда мне деть Феликса? Я не хотел бы ни брать его с собой в такое неведомое странствие, ни отпускать от себя. Мне кажется, сын развивается лучше всего, когда рядом с ним отец.

— Никоим образом! — возразил Ленардо.— Это — прекрасное родительское заблуждение. Отец всегда сохраняет над сыном подобие деспотической власти: его достоинств он не признает, а недостаткам радуется. Потому-то древние и говорили обычно: «Сыны героев ни на что не годны»,— и сам я достаточно видел свет, чтобы просветиться на этот счет. К счастью, наш старый друг,— я сейчас же черкну для вас записку к нему,— и в этом деле лучше всех поможет вам полезными сведениями. Несколько лет назад, когда я в последний раз видел его, он много рассказывал мне о некоем педагогическом обществе, которое я счел чем-то вроде Утопии; мне показалось, что речь идет о выдаваемой за действительность совокупности идей, мыслей, предложений и планов, разумеется, взаимосвязанных, но при обычном ходе вещей едва ли осуществимых в целом. Зная, как он любит представлять в зримых образах и возможное и невозможное, я не стал придирааться к его словам, а теперь они оказались нам кстати: он наверняка вам укажет, где и как вы можете без опасений и с наилучшими надеждами вверить мальчика мудрым наставникам.

За такой беседой они скакали все дальше, пока не увидели изысканную виллу, построенную в строгом, но изящном вкусе, с открытым двором, достойно обрамленную широким кольцом старых, но цветущих деревьев; однако все

двери и окна были заперты, и вилла выглядела покинутой, хотя и не обветшалой. От старика, который возился с чем-то у входа, они узнали, что дом перешел в наследство некоему молодому человеку от отца, недавно скончавшегося в преклонных годах.

Из дальнейших расспросов выяснилось, что для наследника, к его сожалению, все здесь было слишком завершено, ему тут нечего было делать, а наслаждаться готовым он не умел и поэтому отыскал местность ближе к горам, где стал строить для себя и для приятелей шалаши из мха, воздвигая подобье пустыни для охотников. Что же до их собеседника, то он был, как они узнали, кастеляном, который перешел в наследство вместе с виллой и теперь неукоснительно заботился об ее сохранности и чистоте, чтобы какой-нибудь внук, если ему достанутся от деда не только владения, но и склонности, нашел все таким же, каким тот оставил.

Некоторое время они продолжали путь в молчании, потом Ленардо заметил, что таково странное свойство человека — желать все начать сначала; друг возразил ему, что это легко объяснимо и простительно, потому что, если быть точным, каждый действительно начинает сначала.

— Ведь никто, — воскликнул он, — не избавлен от страданий, которыми терзались предки! Так надо ли упрекать людей за то, что они не желают упустить ни одной из доставшихся предкам радостей?

Ленардо отвечал на это:

— После ваших слов я осмелюсь признаться, что и сам люблю иметь дело только с тем, что мною самим создано. Никогда не ценил я слуг, которых не школил с детства, или лошадей, которых не сам объезжал. И еще я готов признаться вам в последствиях такого образа мыслей: меня неодолимо привлекают первобытные условия существования, этого чувства не притупили во мне все путешествия по цивилизованным странам среди просвещенных народов. Мое воображение любит переноситься за море, где заброшенное отцами в тех необжитых краях владение дает мне надежду осуществить так, как мне хочется, втайне задуманный и постепенно созревший план.

— На это мне нечего возразить, — отвечал Вильгельм, — в такой мысли, устремленной к новому и неизвестному, есть и необычайность и величие. Но прошу вас принять в соображение вот что: подобные предприятия осуществимы только

соединенными усилиями. Вы отправляетесь туда, где вас ждут, как мне известно, наследственные владения; у моих сотоварищей такие же замыслы, они уже основали там поселения. Объединитесь с ними — осмотрительными, умными и сильными людьми: это поможет обеим сторонам шире вести дело.

За таким разговором друзья доехали до места, где должны были расстаться. Оба уселись за письма: Ленардо рекомендовал друга упомянутому выше чудаку; Вильгельм докладывал о своем новом друге сотоварищам по Обществу, для чего, понятно, требовалось написать рекомендательное письмо; в конце он сообщил также о деле, ранее обсужденном с Ярно, и еще раз изложил причины своего желания скорее избавиться от тягостного условия, которое запечатлеvalo его клеймом Вечного Жида.

Обмениваясь с другом письмами, Вильгельм не удержался и забросил в его сердце новые опасения.

— В моем положении, — сказал он, — для меня желанно такое задание, как ваше: избавить благородного человека от душевной тревоги и вызволить еще одно существо из беды, если оно бедствует. Эта цель может стать путеводной звездой, по которой направляют корабль, даже не зная, на что натолкнешься и с чем встретишься по пути. Но я не могу скрыть, что в любом случае вас подстерегает одна опасность. Не будь у вас привычки уклоняться от обещаний, я взял бы с вас слово никогда не встречаться с этой женщиной, которая, судя по всему, очень вам дорога, и удовольствоваться моим известием, что у нее все хорошо, — в том случае, конечно, если я найду ее счастливой или буду в силах способствовать ее счастью. Но я и не могу, и не хочу вымогать у вас обещание, а потому заклинаю вас всем, что вам дорого и свято: ради себя самого, ради ваших близких, ради меня, в ком обрели вы друга, ни под каким предлогом не позволяйте себе приближаться к той, которую потеряли, и не требуйте от меня, чтобы я определенно указал или назвал вам место, где нашел ее, и край, где оставил. Вы поверите мне на слово, что с нею все хорошо, и успокоитесь данным вам отпущением.

Ленардо отвечал с улыбкой:

— Сослужите мне эту службу, а уж я сумею быть благодарным. Вам дается право действовать по вашему желанию и силам, а меня препоручите действию времени, здравого смысла, а может быть, и разума,

— Простите меня,— отозвался Вильгельм,— но любому, кто знает, под какими странными обличиями закрадывается к нам в душу влечение, станет не по себе, ежели он предвидит, что друг может пожелать себе такого, от чего — при его обстоятельствах и отношениях с людьми — непременно выйдет беда и смятение чувств.

— Я надеюсь,— сказал Ленардо,— избавиться от мыслей о девушке, узнав, что она счастлива.

На этом друзья расстались и отправились каждый своим путем.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Дорога до указанного в письме города была короткой и приятной, а сам город Вильгельм нашел уютным и красивым, и только новизна строений с ясностью свидетельствовала, что недавно он пострадал от пожара. Адрес на письме привел Вильгельма на окраину, не тронутую огнем, к дому старинной постройки, суровому на вид, но хорошо сохранившемуся и чистому. Непрозрачные стекла в затейливых переплетах обещали обрадовать глаз вошедшего роскошью красок. И действительно, внутри все было как снаружи; в чисто прибранных комнатах повсюду попадалась утварь, послужившая, наверно, уже многим поколениям и лишь изредка перемежаемая новыми вещами. Хозяин дома радушно принял Вильгельма в комнате с таким же убранством. Эти часы многим пробил час рождения и смерти, и все стоявшее вокруг напоминало о том, что и прошлое может войти в настоящее.

Новоприбывший передал письмо, которое получатель, однако, отложил, не вскрыв, и затеял с гостем веселую беседу, ища узнать его непосредственно. Скоро они освоились, и так как Вильгельм, вопреки своему обыкновению, блуждал по всей комнате внимательным взглядом, добродушный старик сказал ему:

— Вас заинтересовала моя обстановка. Здесь вы видите, как долговечны могут быть вещи, а это зрелище необходимо нам как противовес всему, что в мире так быстро изменяется и заменяется новым. Этот чайник служил еще моим родителям и был свидетелем наших вечерних семейных трапез; этот медный экран перед камином по сей день защищает меня от жара, который я разгребаю этими ста-

рыми тяжелыми щипцами. И таково здесь все. Предметы моих интересов и трудов потому и были так многочисленны, что я не менял вещей, которые служат внешним потребностям, между тем как у большинства людей это занятие отнимает немало времени и сил. Человека делает богатым любовное внимание ко всему, чем он владеет, ибо так он пополняет сокровищницу воспоминаний, связанных с самыми неприметными вещами. Я знал одного молодого человека, который, прощаясь, похитил у возлюбленной булавку и каждый день закалывал ею манишку, а потом привез это любимое и лелеемое сокровище из долгого путешествия домой. Нам, маленьким людям, такое можно зачесть в добродетель.

— А иной,— отвечал Вильгельм,— привозит из такого долгого и дальнего путешествия занозу в сердце и рад был бы от нее избавиться.

Но старику, хоть он той порой вскрыл и прочел письмо, судя по всему, ничего не было известно о состоянии Ленардо, потому что он незамедлительно вернулся к прежнему предмету.

— Упорство в сохранении принадлежащего нам,— продолжал он,— часто придает нам величайшую энергию. Такому упрямству я обязан тем, что мой дом уцелел. Когда город горел, мои домашние тоже хотели бежать и спасать вещи. Я запретил им это, приказал закрыть окна и двери, а сам с несколькими соседями стал обороняться от пламени. Благодаря нашим усилиям этот конец города не выгорел. У меня в доме на следующее утро все стояло так же, как сейчас и как стоит уже почти сто лет.

— Но при всем при том вы признаете,— сказал Вильгельм,— что человек не в силах противостоять изменениям, которые приносит время.

— Конечно,— сказал старик,— но кто дольше сохранил себя, тот уже чего-то достиг. Ведь мы способны сохранять и упрочивать многое даже за пределами нашего существования; мы передаем знания, мы оставляем в наследство воззрения точно так же, как имущество, а я, поскольку больше всего меня заботит последнее, с давнего времени был на редкость осмотрителен и придумал совершенно особые меры предосторожности; но только на старости лет мне удалось увидеть исполнение моих желаний.

Обыкновенно сын расточает собранное отцом и собирает сам что-нибудь другое или по-другому. Но дождитесь

внука, дождитесь нового поколения — и вы снова увидите те же склонности, те же взгляды. В конце концов мне удалось, благодаря стараниям наших педагогических друзей, взять к себе дельного молодого человека, который, если это возможно, больше меня дорожит наследственным добром и привержен редкостным вещам. Этот юноша окончательно завоевал мое доверие, когда, напрягая все силы, отстаивал наше жилище от пожара. Он вдвойне и втройне заслуживает владеть теми сокровищами, которые я намерен ему отказать; да, впрочем, они уже и переданы ему, и с этого времени наши запасы стали чудесным образом умножаться.

Но не все, что вы здесь видите, — наше. Ведь у закладчиков вы можете найти много чужих драгоценностей; точно так же и здесь я укажу вам немало дорогих вещей, которые ради лучшего их сохранения были оставлены нам при разных обстоятельствах.

Вильгельм тут же вспомнил о великолепном ларчике, который ему и прежде не хотелось возить с собою в путешествие, и, не удержавшись, показал его новому другу. Старик внимательно рассмотрел ларчик, назвал время, когда он мог быть изготовлен, и показал похожие вещи. Вильгельм заговорил о том, не следует ли открыть его. Старик, однако, думал иначе.

— Хотя, по-моему, это можно сделать, и не очень повредив ларчик, но коль скоро его дал вам в руки столь чудесный случай, вы должны попытаться на нем счастье. Если вы родились счастливым и если этот ларчик не лишен значения, то ключ должен отыскаться сам собой, и непременно там, где вы меньше всего ожидаете.

— Такое иногда случается, — отвечал Вильгельм.

— Со мной самим это бывало, — отозвался старик. — И самый замечательный пример — вот это распятие. Тело Христа с головой и ногами, вырезанное из одного куска слоновой кости, принадлежит мне уже лет тридцать; ради священности предмета и ради искусной работы я хранил его в драгоценной шкатулке; а лет десять назад я раздобыл крест с надписью, явно от этого же распятия, и не устоял от искушения дать самому умелому из нынешних резчиков приделать еще и руки. Но как далеко ему, бедняге, до его предшественников! И все-таки я мог поставить распятие, больше чтобы предаваться перед ним душеспасительным размышлениям, чем любоваться искусным художеством

Так вообразите себе, до чего я ликовал, когда раздобыл недавно изначальные, подлинные руки! Они были приложены на место, и вы видите, как пленительна гармония целого! Столь счастливое воссоединение разрозненного восхищает меня настолько, что я не могу не узнать в нем грядущей судьбы христианской религии; многократно расчлененная и раздробленная, она в конце концов всякий раз непременно собирается воедино у подножья креста.

Вильгельм вслух подивился и распахнул, и странному стечению случайностей и прибавил:

— Я последую вашему совету: пусть ларчик остается запертым, пока не найдется ключ, хотя бы ему и пришлось пролежать до конца моих дней.

— Кто долго живет,— сказал старик,— у того на глазах многое собирается воедино и многое распадается.

Тут в комнату вошел младший владелец собрания, и Вильгельм объявил о своем намерении передать им ларец на сохранение. Тотчас же принесена была толстая книга, чтобы зарегистрировать доверенное имущество; с соблюдением множества формальностей и оговорок составили сохранную расписку на предъявителя, который, однако, имел право на получение вещи лишь по особому, обусловленному с хранителем знаку.

Когда все было готово, они принялись обсуждать содержание письма, прежде всего — советоваться о том, куда определить Феликса; по этому поводу старик объявил себя сторонником следующих правил, долженствующих быть основой всякого воспитания:

— Прежде чем вступить в жизнь, прежде чем заняться любым делом, любым искусством, следует сначала овладеть ремеслом, а это достигается только ценой ограничения. Кто хорошо знает и владеет чем-нибудь одним, тот более образован, чем многосторонний полужайка. Там, куда я вас посылаю, все роды деятельности разделены; учеников ежеминутно испытывают и так узнают, к чему они стремятся по природе, хотя до поры их рассеянные желания обращаются то на одно, то на другое. Мудрые наставники незаметно наталкивают мальчиков на то, что отвечает их натуре, и сокращают кружные пути, на которых человеку так легко заблудиться и отклониться от своего призвания.

— Затем,— продолжал он,— я надеюсь, что вам, когда вы окажетесь в средоточии столь разумно устроенного сообщества, сумеют указать дорогу к девушке, так сильно пора-

жившей вашего друга, что нравственное его чувство и размышления придали чрезвычайное значение несчастьям одного невинного существа, которое помимо его воли стало для него целью и смыслом жизни. Я надеюсь, вы сможете его успокоить, потому что у провидения есть бесчисленное множество средств поднять павшего и выпрямить согбенного. Порой наша участь подобна плодovому дереву зимой. Кто мог бы подумать, взглянув на его унылый вид, что эти окоченелые сучья, эти узловатые ветви весной покроются листьями, цветами, а потом и плодами; но мы надеемся, мы знаем, что так оно и будет.



КНИГА ВТОРАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Паломники отправились указанным путем и благополучно прибыли на границу той провинции, где им предстояло увидеть и узнать так много примечательного. Сразу же по въезде они могли обозреть плодородный край, где пологие склоны холмов благоприятствовали земледелию, горы повыше — овцеводству, а низменные равнины — выпасу крупного скота. Урожай, и притом очень обильный, почти поспел для жатвы. С самого начала их удивило то, что за работой нигде не было видно ни мужчин, ни женщин; только мальчики и юноши готовились снимать богатый урожай, а то и справлять веселый праздник жатвы. С поклоном подъезжая то к одному; то к другому, путники осведомлялись, где найти Главного, но никто не мог назвать его местопребывания. Адрес на письме гласил: «Главному либо Троице». Мальчики и тут бессильны были ответить, но зато указали надзирателя, который как раз собирался сесть на лошадь. Ему путники и поведали о своей цели; открытый нрав Феликса, судя по всему, ему понравился, и все втроем поскакали по дороге.

Вильгельм еще прежде заметил, что одежда мальчиков была разного цвета и покроя, и это придавало малолетнему народу весьма своеобразный вид; он собрался было спросить об этом вожатого, но его отвлекло еще более странное наблюдение: все дети, как бы ни были они заняты работой, прерывали ее и поворачивались лицом к проезжающим с особыми, но не у всех одинаковыми жестами, которые, как

нетрудно было понять, относились к надзирателю. Младшие весело поднимали глаза к небу, скрестив руки на груди; средние с улыбкой смотрели в землю, заложив руки за спину; третьи, опустив руки по швам и повернув голову направо, выстраивались в ряд, между тем как остальные так и стояли поодиночке, где их застали.

В одном месте, где несколько мальчиков встали перед ними должным для каждого образом, путники спешили, и надзиратель произвел детям смотр; тут Вильгельм и задал вопрос о значении этих жестов, и Феликс тоже, без стеснения вмешавшись в разговор, спросил:

— А мне как положено стоять?

— Для начала,— отвечал надзиратель,— скрестить руки на груди и неотрывно смотреть вверх, весело, но серьезно. Мальчик повиновался наказу, но вскоре воскликнул:

— Ну, оссбенного удовольствия я тут не нахожу: ведь наверху ничего не видно. Долго мне так стоять? — Потом он крикнул радостно: — Ох, нет! Вон с запада на восток летят два ястреба; это, кажется, хорошая примета?

— Смотри как ты ее истолкуешь и как будешь себя вести,— отвечал надзиратель.— А теперь ступай к мальчикам и будь с ними.

Он подал знак, дети принялись за прежние дела или игры.

— Не объясните ли вы мне,— сказал Вильгельм,— то, что меня удивляет? Я вижу, эти жесты и позы заменяют при встрече с вами приветствия.

— Совершенно верно. И эти приветствия сразу показывают мне, какой ступени образования достиг каждый из мальчиков.

— А не можете ли вы,— отозвался Вильгельм,— объяснить мне последовательность и значение этих ступеней? Ведь нетрудно понять, что такая последовательность есть.

— Это подобает сделать стоящим выше, чем я,— ответил надзиратель.— Но я вправе вас заверить, что все это — не пустые ужимки, и детям сообщают, в чем их смысл, пусть не высший, но важный и понятный для них; однако каждому наказано держать про себя все, что ему сочли за благо открыть; болтать об этом они не имеют права ни с посторонними, ни между собой, и таким образом учение принимает сотни разных обличий. Кроме того, у тайны есть большое преимущество: ведь если обо всем сразу же говорить, в чем тут дело, то начнут думать, будто ничего сокры-

того и нет. Есть тайны, которым, даже когда они перестают быть тайнами, подобает честь остаться невысказанными и сокровенными, ибо это способствует стыдливости нравов.

— Это мне понятно,— ответил Вильгельм.— Почему бы не перенести обычай, столь необходимый во всем, что относится до тела, также и в сферу духовного? Но, быть может, вы снизойдете к моему любопытству и в другом. Мне бросилось в глаза, до чего разнообразна здесь и по покрою, и по цвету одежда, но все же я вижу не все цвета, а только некоторые,— правда, во всех оттенках, от самых светлых до самых темных. Но коль скоро костюмы одного покроя и цвета носят без разбора и старшие и младшие, а те, что приветствуют вас одинаково, могут различаться по платью, значит, оно, как я вижу, не предназначено указывать, на какой ступени, по возрасту или по успехам, стоит воспитанник.

— И об этом,— отвечал Вильгельму спутник,— я не имею права распространяться. Но едва ли я ошибусь, если скажу, что до отъезда вы получите все объяснения, какие пожелаете.

Они направлялись теперь к Главному, чей след, по-видимому, отыскался. Приезжий не мог не обратить внимания на благозвучный напев, который чем дальше продвигались они в глубь страны, тем громче звучал им навстречу. За что бы ни брались мальчики, за каким бы делом их ни заставляли, все они пели песни, очевидно, наиболее подходящие к их занятию, а значит, одни и те же повсюду, где делалась одинаковая работа. Если собиралось несколько мальчиков, они, каждый в свой черед, подпевали друг другу; ближе к вечеру стали попадаться и танцующие, причем движения танца оживлялись ритмом хорового напева. Феликс, не слезая с коня, стал довольно удачно вторить мальчикам; Вильгельму пришлось по душе такое развлечение, оживлявшее звуками окрестность.

— Судя по всему,— обратился Вильгельм к спутнику,— об этой стороне обучения здесь пекутся весьма усердно, иначе бы умение петь не было столь распространено и столь совершенно.

— Конечно,— отвечал тот.— Пение у нас — самая первая ступень образования, все остальное связано с ним как с посредствующим звеном. Пробудить простейшее чувство удовольствия, запечатлеть в памяти простейшие знания — вот чему служит у нас пение; даже те начатки веры и нрав-

ственности, которые мы хотим передать детям, сообщаются им при помощи песни. От этого неотделимы и другие преимущества, способствующие самостоятельным навыкам: ведь когда мы обучаем детей знаками записать на доске звуки песни, затем сразу же напеть их, а потом подписать под ними слова, они упражняют и руку, и ухо, и глаз, усваивают чисто- и правописание быстрее, чем можно было бы предположить; а поскольку все должно быть воспроизведено с соблюдением правильной меры и счета, то и высокое искусство измерения и счисления они так усваивают быстрее, чем любым другим способом. Мы потому и выбрали музыку первоосновой воспитания, что от нее торные дороги расходятся во все стороны.

Вильгельм, тщась получить новые сведения, не скрыл, что удивляется, не слыша инструментальной музыки.

— У нас не пренебрегают и ею, — отвечал надзиратель, — но для занятий отведен особый округ — красивая, замкнутая между горами долина; да и там позаботились чтобы на каждом инструменте учились играть в особом, удаленном от прочих месте. Прежде всего фальшивые звуки, извлекаемые новичками, сосланы в особые пустыни, где никого не могут довести до отчаяния. Ведь вы не станете отрицать, что в благоустроенном гражданском обществе вряд ли бывает мучение горше, чем терпеть по соседству начинающего флейтиста или скрипача.

А наши новички, в похвальном намеренье никому не быть в тягость, добровольно удаляются в пустыню на больший или меньший срок и в одиночку усердно трудятся там, чтобы заслужить себе право вернуться в обитаемый мир; ради этого каждому разрешается время от времени держать испытание, и неудачи редки, ибо тут, как и везде, мы растим и пестуем в наших воспитанниках стыдливость и скромность. Меня искренне радует, что у вашего сына оказался неплохой голос, — ведь тогда все остальное труда не составит.

Путники достигли места, где Феликс покамест должен был остаться и примериться к новой обстановке, прежде чем решено будет принять его по всей форме. Уже издали услышали они веселое пение: то была игра, которой мальчики забавлялись в этот час досуга. Порой звучал весь хор, причем каждый стоявший в обширном кругу радостно и чисто исполнял свою партию в общем напеве, повинуюсь знаку регента. Однако регент, неожиданно для поющих, то и дело

мановением руки приказывал хору умолкнуть, а одного из певцов прикосновением палочки заставлял подхватывать последнюю ноту и начать с нее новую, подходящую по смыслу песню. Большинство уже понаторело в этом искусстве, а те, у кого такой кунштюк не получался, покорно отдавали фанты, причем остальные и не думали над ними смеяться. Феликс был еще довольно ребячлив, чтобы присоединиться к хору, и вполне сносно справился с задачей. Потом ему дали право приветствия, положенного на первой ступени; он немедленно скрестил на груди руки и стал глядеть вверх, однако с таким плутовским видом, что нетрудно было заметить, как далеко ему еще до понимания тайного смысла.

Красивая местность, радушный прием, бойкие товарищи — все до того понравилось мальчику, что отъезд отца не доставил ему особенного горя; едва ли не с большим огорчением глядел он вслед уводимому прочь коню, но обрассудился, когда узнал, что в здешнем округе нельзя оставить его при себе, зато потом он неожиданно-негаданно получит другого скакуна, не хуже объезженного и не менее резвого.

Поскольку Главный оставался недосыгаем, надзиратель сказал:

— Мне придется вас покинуть и заняться своими делами, но прежде я намерен доставить вас к Троице; они ведают нашими святынями и все вместе представляют особу Главного, письмо же ваше адресовано и к ним.

Вильгельм пожелал было заранее узнать что-нибудь о святынях, но спутник возразил ему:

— Вы оставляете нам сына, и в награду за такое доверие Трое, по долгу мудрости и справедливости, непременно поведают вам все, что необходимо. Видимые предметы почитания, которые я назвал святынями, сосредоточены в особом округе, вдали от всего постороннего и способного стать помехой; только несколько раз в год, в определенное время, туда допускаются воспитанники, соответственно ступени образования, чтобы получить там исторические и наглядные уроки, унести довольно впечатлений и некоторый срок находить в них пищу, занимаясь положенным делом.

И вот Вильгельм стоял у ворот в высокой стене, замыкавшей лесистую долину; по знаку калитка отворилась, и навстречу нашему другу вышел степенный, внушительного вида человек. Вильгельм очутился на широкой зеленой поляне, затененной деревьями и кустами разных пород; их высокая, вольно растущая чаща почти заслоняла от глаз

стройные стены и внушительные строения. Один за другим подошли Трое, и их радушные приветствия стали началом разговора, в который каждый внес свою долю, но содержание которого мы изложим лишь вкратце.

— Поскольку вы доверили нам сына,— сказали они,— то паш долг — глубже познакомить вас с нашей методой. Вы уже видели некоторые внешние формы, но так как видеть не значит сразу же понять, то что бы вы хотели узнать о них?

— Я видел странные, хотя и благопристойные знаки приветствия, и желал бы осведомиться об их значении; ведь у вас, конечно, внешнее связано с внутренним и наоборот, и эту связь я прошу мне объяснить.

— Благородные и здоровые дети наделены многим: природа дала каждому в запас все необходимое на долгое время; наш долг — развивать эти задатки, которые часто лучше всего развиваются сами собою. Одного только никто не приносит с собою в мир,— того самого, от чего зависит, чтобы человек во всем был человеком. Если вы можете угадать сами, то назовите это одно.

Вильгельм задумался, потом покачал головой.

Трое, выждав, сколько требовали приличия, воскликнули:

— *Благоговения!* — Вильгельм замер от неожиданности.— Да, благоговения! — прозвучало вновь.— Его не хватает всем, может быть, даже и вам.

Вы видели жесты трех родов; мы и прививаем три рода благоговейного страха, которые, только слившись воедино, обретают высшую силу воздействия. Первый род — это благоговейный страх перед тем, что выше нас. Руки, скрещенные на груди, и радостный взгляд, устремленный к небу,— мы требуем этого от самых маленьких в свидетельство тому, что над нами есть бог, чей явный образ отпечатлелся для них в родителях, учителях и наставниках. Второй род — это благоговение перед тем, что под нами. Заложенные за спину и как бы связанные руки и опущенный, но веселый взгляд говорят о том, что землю следует воспринимать как благо и радость: она дает нам возможность прокормиться, она доставляет несказанные утехи, но приносит и неизменно большие страдания. Если кто по своей вине или ненарочном поранит или изувечит себя, если кого поранят другие, намеренно или случайно, если кого заставят страдать земные обстоятельства, лишенные собственной воли,— пусть он поразмыслит об этом: ведь такие опасности сопутствуют нам всю жизнь. Но от этой позы мы освобождаем

нашего воспитанника как можно скорее, едва только убедимся, что уроки этой ступени достаточно на него подействовали; тут мы призываем его ободриться духом и обратить взгляд на товарищей. Теперь воспитанник стоит прямо и мужественно, уже не в одиночку, ибо только в сообществе может он противостоять всему миру. Больше мы ничего сказать не можем.

— Теперь-то мне все ясно! — отозвался Вильгельм. — Толпа оттого так погрязла во всяческой гнусности, что для нее зложелательство и злоречие — родная стихия; кто предается им, тот скоро начинает относиться с равнодушием — к богу, с презрением — к миру и с ненавистью — к себе подобным, а подлинное, естественно присущее нам самоуважение вырождается в спесь и высокомерие. Но позвольте мне все же заметить одно: разве многие не считали страх, испытываемый дикарями перед грозными явлениями природы и другими необъяснимыми неожиданностями, тем зерном, из которого постепенно произросли высшие чувства и чистые помыслы?

Трое ответили ему:

— Страх — в природе человека, но это не благоговейный страх. Страшится постижимого или непостижимого могущества, сильный ищет вступить с ним в борьбу, слабый — уклониться, но оба желают от него избавиться и счастливы, когда на короткий срок отвращают его от себя, когда природа их хотя бы отчасти обретает вновь свободу и независимость. Естественный человек производит такого рода маневр миллионы раз за свою жизнь, из-под ига страха он стремится на свободу, потом, лишившись свободы, снова загоняется под ярмо страха, и ничего больше. Страшиться легко, но тягостно; благоговеть трудно, но спокойно. Человек лишь с неохотой решается допустить в сердце благоговейный страх, вернее, вообще не решается на это: ведь благоговение — это высшее чувство, оно должно быть даровано человеческой природе, а само из себя оно развивается только у взысканных особой милостью, у тех, кого за это издавна считали святыми и божественными. В том и заключено все достоинство, в том и состоит прямое дело всех подлинных религий, которых существует только три, в зависимости от того, что служит в каждой предметом почтения.

Трое мужей прервали речь, Вильгельм некоторое время молчал в задумчивости; но так как он не чувствовал в себе

смелости самому истолковать смысл странных слов, то попросил, чтобы достойные продолжали объяснение, и Трое незамедлительно снизошли к его просьбе.

— Если религия зиждется на страхе,— сказали они,— то у нас ее не признают. Но если этот страх возвысится в душе до благоговейного страха, или благочестия, тогда человек, воздавая честь, не теряет и собственной чести, ибо, не в пример первому названному случаю, сохраняет единство с самим собой. Религию, в основе которой лежит благоговейный страх перед тем, что превыше нас, мы называем этнической; это религия народов, знаменующая счастливое начало освобождения от низменного страха; к роду этнических принадлежат все языческие религии, как бы они ни именовались. Религию, которая зиждется на благоговении перед тем, что равно нам, мы называем философической, ибо философ, который ставит себя в средоточие мира, должен низвести все высшее и возвысить все низшее вровень с собою, а иначе он не заслуживает имени мудреца. Взгляд мудреца глубоко проникает в те отношения, которые связывают его с ближним, а значит, и со всем человечеством, и со всем случайным и необходимым, что окружает его на земле, и поэтому в космическом смысле только мудрец живет в истине. Теперь следует сказать и о той религии, которая зиждется на благоговении перед тем, что ниже нас; ее мы называем христианской, так как в христианстве такой образ мыслей обнаруживается всего явственней. Это — последняя ступень, которой можно и должно было достигнуть человечеству. Но для этого мало подняться над землей, покинув ее ради более высокой отчизны,— следует еще признать унижение и бедность, глумление и поругание, презрение и несчастье, страдание и смерть божественными, постичь, что даже грех и преступление не только не мешают, но и способствуют святости, и за то почтить и возлюбить их. Правда, следы такого умонастроения можно найти во все времена, но следы еще не цель, а когда цель достигнута, человечеству нет пути назад, и можно сказать, что христианская религия, раз возникнув, не исчезнет вновь, раз достигнув божественного воплощения, не расточится опять.

— Какую же из этих религий вы исповедуете предпочтительно перед другими? — спросил Вильгельм.

— Все три,— ответили ему,— ибо только все три вместе и создают подлинную религию. Эти три вида благочестия порождают высшее благочестие — благоговение перед са-

мим собой, которое, в свой черед, дает развитие остальным трем видам, так что человек достигает высочайших высот, каких способен достигнуть, получает право считать себя совершеннейшим произведением бога и природы и может оставаться на высшей ступени, не позволяя спеси и самодовольству вновь низвести его до обыденной пошлости.

— Это исповедание, да еще изложенное таким образом, не кажется мне странным,— отозвался Вильгельм,— оно согласуется со многим, что порой приходится слышать в жизни, только вы объединяете то, что остальные разделяют.

В ответ ему было сказано:

— Это исповедание уже сейчас произносит большая часть человечества, но только не сознавая смысла.

— Где и когда? — спросил Вильгельм.

— В символе веры! — вскричали Трое.— Ибо первый его член — этнический, он принадлежит всем народам; второй член — христианский, он для тех, кто борется с страданиями и в страдании возвеличивается; наконец, третий возвещает нам учение об исполненной духом общине святых, то есть пребывающих на высшей ступени добра и мудрости. Так не справедливо ли будет считать высшим единством три ипостаси божества, чьи имена суть символы, выражающие эти убеждения и обетования?

— Я благодарен вам,— сказал Вильгельм,— за то, что вы так ясно и последовательно изложили все мне, взрослому человеку, которому не чужды все три образа мысли, и не могу не одобрить вас, когда вспоминаю, что детям вы преподносите это возвышенное учение сперва в виде чувственных знаков, затем посредством некоего символического созвучия и только под конец даете высшее его истолкование.

— Это верно,— ответили Трое,— но теперь вы должны узнать больше и убедиться, что ваш сын в хороших руках. Однако отложим это на утро; отдохайте и набирайтесь сил, чтобы поутру радостно, как подобает человеку, последовать за нами в сокровенное.

ГЛАВА ВТОРАЯ

И вот рука об руку со старейшим из Трех наш друг вошел через внушительного вида портал в круглую или, вернее сказать, восьмиугольную залу, столь богато убранную картинами, что это повергло пришельца в изумление. Он

легко сознал, что все видимое им непременно имеет важный смысл, пусть даже и не постигаемый им с первого взгляда. Вильгельм собирался уже задать провожатому вопрос, когда тот пригласил его пройти через боковые двери в открытую с одной стороны галерею, окружавшую просторный цветник. Но еще более, чем это веселое природное убранство, взгляд привлекала стена галереи, вся покрытая росписями, предметы коих,—пришельцу не понадобилось много времени, чтобы это заметить,—были почерпнуты из священных книг израильтян.

— Здесь,—сказал старейший,—мы посвящаем учеников в ту религию, которую я для краткости назвал вам этнической. Ее содержание заключено во всемирной истории, а отдельные события суть ее внешняя оболочка. Она постигается на примере повторяющихся судеб целых народов.

— Я вижу,—сказал Вильгельм,—вы оказали особую честь народу израильскому, чья история стала у вас основой или, лучше сказать, главным предметом изображения.

— Это вам кажется,—возразил старец,—потому что, как вы можете заметить, у основания стены и под карнизом изображены поступки и события, связанные с главными не столько синхронистически, сколько симфронистически, потому что у всех народов есть предания, значащие и знаменующие одно и то же. Вот здесь, на среднем поле, вы видите Авраама, которого посетили его боги в виде прекрасных юношей, а выше, под карнизом — Аполлона среди Адметовых пастухов, из чего мы можем понять, что боги, если являются людям, пребывают среди них неузнанными.

Зрители двинулись дальше. Вильгельм находил по большей части знакомые сюжеты, однако представленные живее и осмысленнее, чем он привык их видеть. Кое о чем он попросил объяснений, потом не удержался и еще раз задал вопрос, почему предпочтение отдано истории израильского народа. На это старейший ответил:

— Среди языческих религий,—а израильская также относится к их числу,—она обладает многими преимуществами, из коих я намерен упомянуть лишь некоторые. Перед судом этническим, перед судом бога народов задается вопрос не о том, лучше ли остальных какое-нибудь племя, а лишь о том, долговечно ли оно, способно ли сохраниться. Израильский народ был далеко не безгрешен, за что тысяче-

кратно слышал упреки от своих предводителей, судей, старейшин и пророков; он не наделен достоинствами других народов, но делит с ними пороки; зато по самостоятельности, твердости, храбрости, а если этих свойств мало, то и цепкости, ему нет равных. Это самый упорный народ на земле, он был, есть и будет, дабы имя Иеговы славилось во все времена. Потому-то мы избрали его главным примером, главным предметом изображения, а остальное служит только обрамлением.

— Мне не подобает вступать с вами в пререкания, — отвечал Вильгельм, — скорее вы должны и можете учить меня, а потому поведайте мне, в чем состоят прочие преимущества этого народа, или, вернее сказать, его истории и его религии.

— Главное из них, — было сказано в ответ, — есть превосходное собрание священных книг. Оно составлено так удачно, что из чуждых друг другу частей возникает мнимое целое. Их полноты довольно, чтобы удовлетворить нас, их отрывочности — чтобы раззадорить наш интерес; в них хватает варварства, чтобы заставить нас негодовать, и хватает нежности, чтобы смягчить нас; и сколько есть еще противоречащих друг другу, но равно заслуживающих хвалы свойств в этих книгах, в этой книге!

Порядок главных картин, равно как и соотношение с ними меньших изображений снизу и сверху так занимали мысли гостя, что он едва слышал глубокомысленные замечания, которыми провожатый скорее старался отвлечь его внимание, чем приковать к тому или другому предмету. Так, старейший сказал по какому-то поводу:

— Я должен упомянуть еще об одном преимуществе израильской религии: она не воплощает своего бога ни в каком образе и оставляет нам свободу придать ему достойное человеческое обличие, а божества идольские, напротив того, унижить звериными и чудовищными ликами.

Во время недолгого странствования через эти залы перед глазами нашего друга вновь предстала вся всемирная история, причем во взгляде на происшедшее многое было для него ново. Благодаря сопоставлению картин и рассуждениям провожатого у него возникло немало новых воззрений, и он порадовался тому, что Феликс через эти достойные и осязаемые образы воспримет на всю жизнь великие, полные смысла и ставшие всеобщим образцом события, словно они подлинные и произошли рядом с ним. Под конец он стал

глядеть на картины только глазами ребенка и при таком взгляде остался ими вполне доволен. Так путники подобрались к печальным, смутным временам, к разрушению города и храма, к почти поголовному истреблению, изгнанию и рабству упорного племени. Дальнейшие его судьбы были разумно представлены в иносказаниях, потому что реальное, историческое их изображение лежит за пределами благородного искусства.

Тут вдруг галерея, по которой они шли до сих пор, замкнулась, и Вильгельм удивился, увидав, что дошел до конца.

— Я нахожу здесь,— сказал он своему водителю,— пробел в ходе истории. Вы разрушили Иерусалимский храм и подвергли рассеянию народ, так и не показав богочеловека, незадолго перед тем учившего именно здесь и никем не услышанного.

— Сделать то, чего вы требуете, было бы большой ошибкой. Жизнь того богочеловека не стоит ни в какой связи с историей мира в его времена. Жизнь его была жизнью частного лица, а учение — учением для каждого в отдельности. Что происходит с целыми народами и с теми, кто их составляет, то и принадлежит всемирной истории и мировой религии, которую мы относим к первому роду. А происходящее в душе у каждого принадлежит религии второго рода, религии мудрых, каковой и была та, которой учил и которую исповедовал Христос, откуда странствовал по земле. Потому-то здесь внешнее и завершается, и теперь я открою вам внутреннее.

Отворилась дверь, и они вошли в такую же галерею; Вильгельм тотчас же узнал картины из второй части Священного писания. Судя по всему, они были писаны другой рукою: все в них было мягче — фигуры, и движения, и обстановка, и свет, и краски.

— Вы видите,— сказал провожатый, когда они миновали часть картин,— что здесь нет ни деяний, ни происшествий, а только чудеса и притчи. Здесь изображен новый мир — с новым внешним обликом и с внутренним смыслом, которого прежде вовсе не было. И этот новый мир открывают чудеса и притчи. Первые делают обычное необычайным, вторые же необычайное — обычным.

— Окажите мне любезность,— отозвался Вильгельм,— поясните обстоятельнее то, что сказали в немногих словах; самому мне, я чувствую, это не по силам.

— Смысл их, при всей его глубине, естествен, — отвечал ему собеседник, — и на примерах вы постигнете его всего скорее. Нет ничего обыкновеннее, чем есть и пить; но превратить простой напиток в благородный, умножить количество пищи настолько, чтобы ее хватило несчетной толпе, — вот что необычайно. Нет ничего обычнее болезни и телесной немочи; но устранить или облегчить их духовным или подобным ему воздействием — это необычайно. Чудо потому и чудесно, что в нем сливаются воедино обычное и необычное, возможное и невозможное. Нечто противоположное видим мы в притче, в параболе: в ней высшее, необычайное и недостижимое — это смысл, постижение, общее понятие. И если мы видим его воплощенным в обыденном, привычном и общепонятном образе, если благодаря этому он предстает перед нами живым, насущным и подлинным, так что мы можем его усвоить, постичь и запомнить, можем обходиться с ним попросту, то тут еще одно чудо, достойное стоять рядом с первым, а быть может, и выше него. Высказываемое в притчах учение не вызывает споров, ибо здесь сама жизнь, сама правда и кривда, а не мнение о том, что есть правда и что — кривда.

Эта часть галереи была короче, или, вернее, это была лишь четвертая сторона галереи, окружавшей внутренний двор. Но если вдоль первой стороны зритель шел без остановки, то здесь приятно было задержаться, приятно было походить взад и вперед. Сюжеты картин, менее разнообразные, не так поражали зрение, но зато манили проникнуть в их глубокий, молчаливый смысл. И Вильгельм со спутником, достигнув конца, повернул обратно, выразив недоумение по тому поводу, что история доведена здесь только до вечера, до прощания учителя с учениками, и спросив, где же остальная ее часть.

— Наставляя воспитанников и передавая им знания, — отвечал старейший, — мы стараемся разделять все, что только возможно, ибо это единственный способ дать молодежи понятие о том, что существенно и что нет. Жизнь все смешивает и громоздит как попало, зато мы здесь отделили жизнь этого исключительного человека от его кончины. При жизни он предстает перед нами как истинный философ, — пусть вас не пугает это имя! — как мудрец в высшем смысле слова. Он твердо стоит на своем, он неуклонно идет своей дорогой, он возвышает до себя стоящее ниже, уделяет от своей мудрости, силы и богатства простецам, недужным

и бедным и через это как бы становится с ними вровень — и в то же время он не отрекается от своего божественного происхождения, дерзает равнять себя с богом и даже провозгласить себя богом. Поэтому он с юных лет поражает изумлением тех, кто живет с ним рядом, часть из них завоевывает на свою сторону, других восстанавливает против себя и показывает всем, кому не безразлично возвышенное в учениях и в жизни, чего они должны ждать от мира. Поэтому земной его путь для благородной части человечества поучительней и полезней, чем его смерть, ведь к испытаниям жизнью призван каждый, а к последнему испытанию — лишь немногие. А чтобы пространно не рассуждать о выводах, следующих из этого соображения, взгляните в трогательную сцену вечера. Здесь, как всегда, мудрец оставляет своих близких осиротелыми; при этом, позаботившись о верных, он дает пищу и предателю, который погубит и его, и лучших его учеников.

С этими словами старейший отворил дверь, и Вильгельм замер от изумления, вновь очутившись в первой от входа зале и теперь только заметив, что они успели обойти кругом весь двор.

— Я надеялся, — сказал он, — что вы дойдете со мной до конца, а вы опять привели меня к началу.

— На этот раз я не могу показать вам больше, — сказал старейший. — И нашим воспитанникам позволяют видеть ровно столько, сколько мы успели обойти, и объясняют им только это: внешнее, общемирское — каждому с самых ранних лет, внутреннее, сугубо духовное и душевное — только тем, кто растет рассудительней других, а остальное, то, что отворяют лишь раз в год, может быть поведано только тем, кого мы готовим к выпуску. Религию третьего рода, вырастающую из благоговения перед тем, что ниже нас, почитание всего отталкивающего, ненавидимого, избегаемого — это мы даем с собою только выходящим в мир, чтобы каждый из них знал, где все это найти, буде в нем появится такая потребность. Я приглашаю вас по истечении года вернуться к нам, присутствовать на нашем общем празднестве и поглядеть, каковы успехи вашего сына; тогда и вы войдете как посвященный в святилище страдания.

— Дозвольте мне еще один вопрос, — отозвался Вильгельм, — если жизнь богочеловека вы выставляете на обозрение как назидательный пример, то ставите ли вы в образец возвышенной терпеливости также его муку и смерть?

— Без сомнения, — сказал старейший. — Мы вовсе не держим их в тайне, однако набрасываем на его муки некий покров, именно потому, что так высоко чтим их. Но мы считаем предосудительной дерзостью выставить орудие мучения и страждущего на нем святого на обозрение солнцу, которое скрыло лицо свое, когда бессовестный мир принудил его видеть это преступление, а тем более играть или щеголять глубокими тайнами, прячущими божественную глубину страдания, и попусту забавляться ими, пока самое достойное не покажется пошлым и безвкусным. Я думаю, этого покамест достаточно, чтобы вы были спокойны за вашего мальчика и не сомневались, что он так или иначе получит образование в желательном духе и, во всяком случае, не будет сбит с пути, не потеряет почвы под ногами.

Вильгельм медлил, осматривая картины в первой зале и прося истолковать их смысл.

— Пусть и этот долг, — сказал старейший, — останется за нами еще на год. Мы оставляем недоступным для посторонних все, что преподаем детям от праздника до праздника; а в праздник приходите послушать, что сочтут полезным публично сказать об этих предметах наши лучшие ораторы.

Вскоре послышался стук в калитку. Явился давешний надзиратель, он привел Вильгельмова коня, и наш друг отклонялся Троицким, которые на прощание так отрекомендовали его надзирателю:

— Отныне он причислен к самым доверенным, так что ты знаешь, как надобно отвечать ему, — ведь он наверняка попросит объяснить многое, что увидит у нас и услышит; мера и цель тебе известны.

Вильгельма и в самом деле занимали некоторые вопросы, и он тотчас же их задал. Где бы они ни проезжали, дети становились в те же позы, что и вчера, однако сегодня он замечал, что кое-где, хотя и редко, попадались и мальчики, которые не приветствовали надзирателя, но, оставив его проезд без внимания, не поднимали головы от работы. Вильгельм спросил, в чем тут причина и что означает такое исключение. Надзиратель сказал в ответ:

— Значение его чрезвычайно: это самое тяжкое наказание, какое мы налагаем на воспитанников; их объявляют недостойными выказывать почтение и принуждают быть на вид грубыми и невоспитанными. Но они всеми силами ста-

раются вызволить себя и побыстрее вернуться к своим обязанностям, а кто из них заупрямится и не примет к этому никаких мер, тот отсылается к родителям с коротким, но ясным уведомлением. Кто не хочет приноравливаться к законам провинции, должен ее покинуть.

И сегодня, как вчера, у странника возбудило любопытство разнообразие покроя и цвета, отличавшее одежду воспитанников; казалось, тут нет никакой последовательности, потому что мальчики, приветствовавшие их по-разному, были одинаково одеты, а приветствовавшие одинаково — одеты весьма разнообразно. Вильгельм спросил, в чем причина этого кажущегося противоречия.

— Разгадка тут вот в чем, — отвечал надзиратель, — для нас это средство узнать характер каждого мальчика. Соблюдая во всем остальном строгость и порядок, здесь мы допускаем некоторую вольность. Из нашего запаса тканей и отделок воспитанники имеют право выбрать любой цвет, а также любой фасон и покрой из ограниченного их числа. За этим выбором мы пристально следим, так как любимый цвет позволяет судить о складе чувств, а покрой — об образе жизни человека. Правда, есть в человеческой природе черта, отчасти затрудняющая точное суждение: это дух подражания, склонность примыкать к большинству. Очень редко воспитаннику приходит в голову что-нибудь совсем новое, чаще выбирают знакомое, то, что перед глазами. Но и такое наблюдение бесполезно для нас: через такие внешние отличия ученик присоединяется к той или другой компании, и в этом обнаруживает себя его общее настроение; таким образом мы узнаем, к чему склонен каждый, кого он берет в пример.

Мы наблюдали случаи, когда всех одолевала одна склонность, когда мода распространяла свою власть над душами всех и всякая особенность стремилась затеряться в общей неразличимости. При таком повороте дела мы стараемся ненавязчиво обуздать моду: мы допускаем, чтобы наши запасы вышли, поэтому такой-то материи, таких-то украшений достать уже нельзя; мы же исподволь пускаем в оборот что-нибудь новое и заманчивое, соблазняя жизнерадостных — светлыми цветами и тесным, облегающим покроем, а более рассудительных — строгими оттенками и свободными, удобными фасонами, и так постепенно восстанавливаем равновесие.

Что до мундира, то его мы полностью отвергаем: он лучше любой личины прячет характер и скрывает от взгляда наставника особые черты каждого ребенка.

За такими разговорами Вильгельм добрался до границы провинции, именно до того пункта, где по указанию старого друга должен был покинуть ее, чтобы направиться к своей цели.

Прощаясь, надзиратель заметил Вильгельму, чтобы тот ждал теперь большого празднества, о котором участников извещают различными способами. На него приглашают всех родителей, и самые преуспевшие воспитанники выпускаются в привольный мир, навстречу всем превратностям. Тогда, обещали ему, он получит доступ в любую местность, где преподаются основы одной какой-нибудь науки и где все окружение способствует занятиям ею.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Стремясь угодить привычкам любезных читателей, которые давно уже находят удовольствие в том, чтобы все занимательное преподносилось им по кускам, мы вознамерились было разделить на части и нижеследующий рассказ. Но внутренняя связь как мыслей и чувств, так и событий потребовала последовательного изложения. Пусть же оно достигнет своей цели, тогда к концу станет ясно, что действующие лица этой истории, на первый взгляд стоящей особняком, тесно связаны с теми, кого мы успели узнать и полюбить.

Пятидесятилетний мужчина

Майор не успел еще въехать во двор усадьбы, а Гилария, племянница его, уже стояла в ожидании на ступеньках наружной лестницы, которая вела в барский дом. Майор едва узнавал племянницу, до того она выросла и похорошела. Гилария полетела ему навстречу, он прижал ее к груди с истинно отеческим чувством, и они вместе поспешили наверх, к матушке Гиларии.

Баронесса, сестра майора, также обрадовалась его приезду. Когда дочка ее поспешила прочь, чтобы накрыть к завтраку, майор радостно сообщил:

— На сей раз я могу сказать в двух словах, что дело наше окончено. Наш братец обер-маршал убедился, что иметь дело с арендаторами и с управляющими ему не под силу. Поэтому он при жизни передает поместья во владение нам и нашим детям; правда, он выговорил себе весьма высокое годовое содержание, но мы можем его выплачивать, причем и теперь нам останется немало, а в будущем — всё. С этим соглашением скоро все устроится. И я, хотя и жду в недалеком будущем отставки, вижу новую возможность жить деятельно, на пользу нам и нашим близким. Теперь нам остается спокойно смотреть, как растут наши дети, а ускорить их союз — это зависит от нас и от них.

— Все это было бы прекрасно, — сказала баронесса, — если бы не один секрет, который я должна открыть тебе и о котором сама только недавно узнала. Сердце Гиларии уже не свободно, так что с этой стороны твоему сыну, пожалуй, не на что надеяться.

— Что ты говоришь? — вскричал майор. — Как это возможно? Мы не жалеем труда, чтобы обеспечить себя экономически, а тут вдруг сердечная склонность ухитряется сыграть с нами такую шутку! Скажи, любезная сестрица, скажи сейчас же, кому это удалось приворожить сердце Гиларии. И так ли плохи наши дела? Быть может, это только мимолетное увлечение и есть надежда, что оно пройдет?

— Поразмысли сам и догадайся! — отвечала баронесса, лишь подогрев нетерпение брата. Оно достигло уже крайней точки, когда вошла Гилария в сопровождении слуг, подававших завтрак, и помешала получить скорый ответ на загадку.

Майору показалось, что он и сам вдруг стал смотреть на прелестное дитя другими глазами. Он чувствовал в себе чуть ли не ревность к тому счастливцу, чей образ мог запечатлеться в сердце прелестного создания. Завтрак пришелся ему не по вкусу, он даже не заметил, что все приготовлено точно так, как он любил и как обыкновенно желал и требовал.

Это молчание, этот прерывистый разговор почти что лишили Гиларию недавней веселости. Баронесса, чувствуя себя смущенной, усадила дочь за фортепиано, по и ее одушевленная, полная чувства игра едва удостоилась от майора одобрения. Он желал лишь, чтобы завтрак поскорей убрали, а прекрасное дитя удалилось, и баронесса поневоле

решилась наконец встать и предложить брату прогуляться по саду.

Едва они остались одни, майор настойчиво повторил свой вопрос, на который сестра его, повременив, ответила с улыбкой:

— Если ты хочешь найти счастливица, которого она полюбила, то тебе незачем далеко ходить, он тут, рядом: она любит тебя.

Майор застыл, пораженный, потом воскликнул:

— Вот шутка некстати — уговаривать меня в том, от чего, будь оно серьезно, для меня вышли бы только конфуз и несчастье! Хотя я и не могу оправиться от изумления, зато могу увидеть наперед, в какое расстройство придут от такой неожиданности все наши дела. Утешает меня только одно: я уверен, что склонности такого рода часто бывают мнимыми, что за ними прячется самообман и подлинно чистая душа способна скоро одуматься от заблуждения, либо сама, либо с помощью более рассудительных особ.

— Я с тобой не согласна, — сказала баронесса, — по всем симптомам это серьезное чувство, оно захватило Гиларию целиком.

— Никогда не поверю, чтобы с ней, такой естественной, могло приключиться нечто столь противоестественное.

— Ничего неестественного в этом нет, — сказала сестра. — Помню, в юности я питала настоящую страсть к человеку еще старше тебя. Тебе всего пятьдесят, это не так много для немца, который, не в пример другим, более темпераментным народам, старится позже.

— Но чем ты подкрепишь это предположение? — спросил майор.

— Это не предположение, а уверенность. Постепенно ты и сам узнаешь больше.

Гилария присоединилась к ним, и опять майор невольно ощутил в себе перемену. Ее присутствие казалось ему еще милей и желанней, чем прежде, ее поведение как будто говорило ему о любви, и он понемногу начинал верить словам сестры. Чувство, которое он сейчас испытывал, было весьма приятно, хотя он не желал ни признаваться себе в нем, ни дать ему волю. Гилария была и в самом деле прелестна: в ее обращении непринужденная вольность, позволительная с дядей, сочеталась с нежной робостью перед возлюбленным, ибо она любила его искренне и всей душой. Сад стоял в

пышном весеннем убранстве, и майор, видя, как покрываются листвою многие старые деревья, мог вновь поверить в возврат своей весны. Да и кто устоял бы от соблазна таких мыслей рядом с очаровательной девушкой!

Так бок о бок проводили они этот день, и каждая эпоха домашнего распорядка казалась им особенно радостной и уютной; после ужина Гилария опять села за фортепиано, и майор слушал музыку совсем иначе, нежели утром, одна мелодия переходила в другую, песня следовала за песней, и полночь едва смогла разлучить небольшое общество.

Взойдя в свою комнату, майор обнаружил там все давно привычные удобства, нарочно для него приготовленные; даже гравюры, которые он особенно любил рассматривать, были перевешены сюда из других комнат; а оглядевшись внимательно, он убедился, что в угоду ему позаботились обо всем, вплоть до самой мелочи.

На этот раз ему не нужен был многочасовой сон, жизненные силы рано пробудились в нем. Но поутру он неожиданно сознал, что новые обстоятельства влекут за собой некоторые затруднения. За много лет майору ни разу не приходилось выбрать своего старика-стремянного, который заодно отправлял должность лакея и камердинера: все шло обычным чередом, согласно строгому распорядку, лошади были ухожены, платье вычищено к нужному часу. Но сегодня барин встал раньше, и все разладилось.

Вдобавок еще одно обстоятельство увеличило нетерпение майора и напавшую на него злость. Раньше ему все казалось ладно и в себе самом, и в слуге, а нынче, когда он встал перед зеркалом, все было не по нем. И седины в волосах нельзя было не заметить, и морщины на лице обнаруживались вполне явственно. И хотя он растирался и пудрился дольше обычного, в конце концов все пришлось оставить, как есть. И платьем своим, и его чистотой майор остался недоволен: на мундире попадались волоски, на сапогах видна была пыль. Старый слуга не знал, что и сказать, и только удивлялся такой перемене.

Несмотря на все эти препоны, майор довольно рано вышел в сад и нашел там, как и рассчитывал, Гиларию. Она поднесла ему букет цветов, а ему не хватало мужества расцеловать ее, как бывало, и прижать к сердцу. Но смущение, которое он испытывал, было весьма приятно, и он дал волю чувствам, не думая о том, куда они его заведут.

Баронесса также не преминула вскорости появиться в саду и, показывая брату записку, только что доставленную ей посыльным, воскликнула:

— Ты ни за что не угадаешь, о ком извещает нас эта записка!

— Так скажи скорее сама! — отвечал майор и узнал от сестры, что его старинный театральный приятель должен проехать неподалеку от имения и намерен завернуть к ним на часок.

— Мне любопытно повидаться с ним, — сказал майор, — ведь он уже не молод, а все играет, как я слышал, молодые роли.

— Ему должно быть лет на десять больше, чем тебе, — отозвалась баронесса.

— Наверняка, если память меня не обманывает, — ответил ей майор.

В скором времени явился жизнерадостный, любезный господин стройного телосложения. В первый миг свидания все растерялись, потом приятели узнали друг друга, и начался разговор, оживляемый разнообразными воспоминаниями. Вслед за тем перешли к рассказам, к вопросам и ответам на них, каждый в свой черед поведал о своем нынешнем положении, и вскоре друзья чувствовали себя так, будто и не разлучались.

Рассказываемое по секрету предание гласит, что человек этот в давние времена, когда был еще красивым и приятным юношей, имел счастье или несчастье понравиться одной высокопоставленной даме, из-за чего попал в большие затруднения, но майор вызволил его из опасности, в нужный момент отвратив грозившую ему печальную участь. За это он навсегда сохранил благодарность и брату и сестре, чье своевременное предупреждение побудило его к осторожности.

Незадолго до завтрака мужчин оставили наедине. Майор рассматривал старого приятеля, дивясь и даже изумляясь его внешности и в целом, и в каждой черте. Казалось, он совсем не изменился, и не было ничего странного в том, что он может появляться на подмостках молодым любовником.

— Ты разглядываешь меня внимательней, чем позволяет вежливость, — сказал он наконец майору, — боюсь, ты находишь, что я сильно изменился по сравнению с прошлыми временами.

— Наоборот, — отвечал майор, — я восхищаюсь тобой, — насколько моложе и свежее меня ты выглядишь. А ведь я помню, ты был уже зрелым человеком, когда я с отчаянной смелостью желторотого птенца ринулся помогать тебе в известных затруднениях.

— Ты сам виноват, — отозвался собеседник, — так же как все люди твоего склада; и хотя упрекать вас не за что, однако подосадовать на вас можно. Вы думаете только о необходимом, о том, какими быть, а не какими выглядеть. Это неплохо, пока ты хоть кем-то остаешься. Но когда в конце концов внешность и сущность расходятся, причем внешность оказывается куда менее стойкой, чем сущность, тогда каждый замечает, что не пренебрегать телом ради души — грех небольшой.

— Ты прав, — отвечал майор и не мог подавить вздох.

— Может быть, и не совсем прав, — сказал пожилой юнец, — потому что при моем ремесле непростительно было бы не стараться поддержать свою внешность как можно дольше. А вам приходится больше глядеть на другое, более важное и существенное.

— Но бывают обстоятельства, — сказал майор, — когда чувствуешь себя в душе совсем свежим и очень хочется, чтобы и внешность опять стала так же свежа. — Приезжий не мог угадать истинное состояние духа у майора, а потому счел, что в нем говорит солдат, и стал распространяться о том, как важен для военного внешний облик и как надо было бы офицеру, который по обязанности уделяет столько внимания одежде, заботиться также о коже и о волосах.

— Например, непростительно, — продолжал он, — что виски у вас поседали, кожа сморщилась, а голова скоро станет плешивой. Полюбуйтесь-ка на меня, старика! Посмотрите, как я сохранился! И никакого колдовства, а забот и хлопот меньше, чем мы тратим каждый день себе во вред или, по крайней мере, без всякой пользы.

Майор находил для себя в этой случайной беседе слишком много проку, чтобы сразу ее оборвать, однако к делу он приступил медленно, соблюдая осторожность даже со старым приятелем.

— Увы, время упущено, — воскликнул он, — и наврестать ничего уже нельзя! Надобно смириться, а вы, я надеюсь, не станете из-за этого думать обо мне хуже.

— Ничего не упущено, — возразил приезжий. — Если бы только вы, степенные люди, не были так надуты и надменны

и не объявляли бы всякого, кто заботится о своей внешности, пустым малым! Ведь этим вы сами себе портите удовольствие быть приятными в приятном обществе.

— Ну, а вы-то,— улыбнулся майор,— вы поддерживаете молодость если и не колдовством, то каким-нибудь тайным средством или, по крайней мере, одним из тех неназываемых снадобий, что так расхваливают в газетах: вам на опыте удалось выбрать из них наилучшее.

— Не знаю, шутишь ты или нет,— ответил ему друг,— но попал ты в самую точку. Среди множества питательных вещей, испробованных для поддержания нашей внешности, куда менее стойкой, чем наша внутренняя сущность, есть неоценимые средства, и простые и составные; об одних я узнал от товарищей по искусству, о других мне сообщили за деньги или случайно, третьи я сам нашел по опыту. При них я и остаюсь, хотя не отказываюсь от дальнейших изысканий. Вот что я могу сказать тебе, не преувеличивая: туалетный ящичек всегда и во что бы то ни стало находится при мне, и я бы с удовольствием испробовал на тебе действие этого ящичка, если бы мы могли пробыть вместе хоть две недели.

Мысль о такой возможности, которая к тому же случайно представилась ему в самый нужный момент, до того обрадовала майора, что он уже от одного этого посвежел и ободрился на вид, а надежда привести наконец лицо и волосы в соответствие с сердцем и беспокойство по поводу скорого знакомства с потребными для этого средствами так оживили и взволновали его, что за обедом он казался другим человеком, без смущения принимал все милые знаки внимания, оказываемые ему Гиларией, и глядел на нее с уверенностью, которой еще нынче поутру у него не было.

Однако театральный приятель майора, который своими воспоминаниями, рассказами и удачными шутками умел поддерживать и даже усилить его хорошее настроение, вскоре поверг его в замешательство угрозой сразу же после обеда покинуть дом и продолжать путешествие. Майор изо всех сил добивался, чтобы приятель пробыл у него хотя бы еще одну ночь, и обещал наутро не только дать лошадей, но и выслать подставу. Одним словом, целительный ящичек не должен был исчезнуть до того, как станет известно и его содержимое, и применение оно.

Майор отлично видел, что терять времени нельзя, и постарался сразу же после обеда переговорить со старым своим любимцем с глазу на глаз. Правда, ему не хватило духу пря-

мо приступать к делу, и он начал издалека, с того, что, возвращаясь к давешнему разговору, стал уверять, будто с охотой начал бы заботиться о своей наружности больше, если бы люди не провозглашали каждого, в ком заметят такое стремление, тщеславцем и если бы их уважение к его нравственной сути не убывало настолько же, насколько возрастает в них невольное восхищение его внешним благообразием.

— Оставь эти выражения и не серди меня! — отвечал ему приятель. — Ведь такие речи повторяются в обществе по привычке, без смысла и толку, а если взглянуть строже, то в них выражается злобность и недоброжелательность людской природы. Разберись как следует, что чаще всего предаются анафеме как пустое тщеславие. Человек должен нравиться сам себе, и счастлив тот, кто этого достиг. А достигши, как может он не обнаружить этого приятного чувства? Как можно жить и прятать в себе радость жизни? Если бы еще в хорошем обществе, — а речь у нас о нем, — осуждали только чрезмерные изъявления этой радости, когда один довольный собой человек, радуясь, мешает другим делать то же и свою радость выказывать, то тут нечего было бы возразить, и я полагаю, что осуждение вообще началось из-за такой чрезмерности. Но к чему с таким своевольным упорством противиться неизбежному? Почему не счесть приемлемым и терпимым изъятие такого чувства, если время от времени каждый его себе позволяет? и если без него само общество не могло бы существовать? Ведь любой, когда он приятен сам себе и чувствует потребность, чтобы это его ощущение разделили другие, становится приятным в обществе, а кто чувствует собственную привлекательность, тот и становится привлекательным. Дай-то бог, чтобы все люди были тщеславны, но тщеславны разумно, с должным чувством меры, — тогда не было бы никого счастливее нас, живущих в цивилизованном мире! Про женщин говорят, что они тщеславны по природе, но ведь это их и украшает, этим они и нравятся нам еще больше. Как может образоваться молодой человек, если он не тщеславен? Пустой и никчемный по натуре сумеет приобрести хотя бы внешний лоск, а дельный человек быстро переходит от внешнего совершенствования к внутреннему. Что до меня, то я имею основание почитать себя счастливейшим из смертных еще и потому, что мое ремесло дает мне право быть тщеславным, и чем я буду тщеславнее, тем больше удовольствия доставлю людям.

Что на других навлечет хулу, то мне заслужит похвалу, и на этом именно пути я обрел счастливое право развлекать и увлекать зрителей, будучи в таком возрасте, когда другие или поневоле уходят с подмостков, или, себе на позор, медлят с них сойти.

Майору было не слишком приятно выслушать это рассуждение до конца. Произнесенное им словечко «тщеславие» должно было лишь дать повод половчее сообщить приятелю о своем желании, а теперь он опасался, что продолжение разговора уведет его еще дальше от цели, и потому поспешил перейти прямо к делу.

— Что до меня, — сказал он, — то я не прочь был бы присягнуть твоему знамени, коль скоро ты считаешь, что это не слишком поздно и упущенное можно наверстать. Удели мне немного от твоих микстур, помад и бальзамов, — и я сделаю попытку.

— Эта наука труднее, чем ты думаешь, — сказал приятель. — Ведь дело тут не только в том, чтобы отлить тебе понемногу из каждой склянки или оставить половину лучших смесей, что есть в моем ящичке, самое трудное — правильно применять их. Устный урок нельзя усвоить сразу; на что годится то или другое, при каких обстоятельствах и в каком порядке надо употреблять зелья, — без упражнения и размышления этого не поймешь, да и от них мало пользы, если у тебя нет врожденного таланта к тому, о чем мы говорим.

— По-моему, ты идешь на попятный, — отозвался майор. — Зачем тебе все эти сложности, если не для того, чтобы обезопасить твои баснословные утверждения? Ты просто не хочешь дать мне случай и возможность проверить твои слова на деле.

— Сколько бы ты надо мной ни подтрунивал, мой милый, — отвечал приятель, — тебе бы не заставить меня согласиться на твою просьбу, не будь я с самого начала расположен сделать по-твоему и не предложи я этого сам. К тому же подумай, мой милый, какое удовольствие для человека — вербовать себе прозелитов, добиваться, чтобы и в других обнаружилось все то, что он ценит в себе самом, чтобы и они находили вкус в том же, в чем он, и видеть в них свое подобие. Право, если это и род эгоизма, то самый отменный и почтенный, он сделал нас людьми и позволяет нам оставаться людьми. Ради него — помимо моей привязанности к тебе — я и возымел охоту взять тебя в учени-

ки и посвятить в искусство омоложения. Но от мастера нельзя ожидать, чтобы он заведомо готовил пачкуна, поэтому я теряюсь и не знаю, как нам взяться за дело. Я уже сказал, что одних только снадобий да устных наставлений мало, — в общих словах пользоваться ими не научишь. Но ради тебя и ради удовольствия распространить мое учение я готов на любую жертву. Поэтому я и предлагаю тебе самую большую, какая сейчас возможна: я оставлю здесь у тебя моего лакея. Он у меня вроде прислуги за все, и хотя не каждое зелье умеет сам готовить и не во всякий секрет посвящен, однако дело знает неплохо и на первых порах будет тебе весьма полезен, пока ты сам во все не вникнешь и я не смогу открыть тебе тайны высшего искусства.

— Как, — воскликнул майор, — и в искусстве омоложения есть чины и степени? Есть тайны для особо посвященных?

— Конечно, — отвечал наставник, — ведь плохо то искусство, которое можно постичь на лету, чьи последние тайны видны с порога.

Мешкать больше не стали, лакей был откомандирован к майору, который обещал хорошо его содержать, баронессе пришлось выдать для неведомых ей целей коробочки, банки и склянки. Раздел был произведен, веселая и остроумная беседа зашла за ночь. При позднем восходе луны гость удалился, пообещав в скором времени воротиться.

Майор ушел к себе в комнату изрядно усталым. Поднялся он рано, целый день не давал себе роздыха и сейчас не чаял добраться до постели. Но вместо одного слуги его встретили двое. Старик-стремянный по заведенному обычаю наспех раздел его; но тут выступил новый камердинер и объявил, что ночью самое время пустить в ход омолаживающие и прихорашивающие снадобья: они во время спокойного сна действуют всего вернее. И майору пришлось покорно терпеть, пока в волосы ему втирали одну мазь, в кожу лица — другую, по бровям водили кисточкой, а по губам — помадой. И помимо того потребовались разные церемонии; даже ночной колпақ требовалось надевать не сразу, а на какую-то сетку или тонкую кожаную камилавку.

Майор улегся в постель с неприятным ощущением, которое, однако, не успело определиться, так как скоро он заснул. Но если уж заглядывать ему в душу, то надо сказать, что ощущал он себя не то больным, не то набальзамированной мумией. Впрочем, сладостный образ Гиларии вкупе

с отрадными надеждами помог ему скоро погрузиться в житейный сон.

Наутро в должное время стреманный был уже на месте. Одежда барина была в обычном порядке разложена по стульям, и майор совсем было собрался встать с постели, как вошел новый камердинер и заявил решительный протест против такой поспешности. Если хочешь, чтобы принятые меры были успешны, а труды и хлопоты доставили радость, то следует лежать спокойно и не торопиться. Затем майор услышал, что встать он должен будет лишь спустя некоторое время, позавтракать легко, а вслед принять ванну, которая уже приготовлена. Распорядок этот нельзя было нарушать, пришлось следовать ему неукоснительно, и несколько часов было потрачено на все эти процедуры.

Майор сократил отдых после ванны и намерен был поскорее одеться, так как по природе был спор во всем, а сверх того хотел пораньше встретиться с Гиларией; но путь ему сейчас же преградил новый слуга и дал понять, что привычку быстро со всем расправляться надобно позабыть, а делать дело не спеша, в свое удовольствие, особливо же время одевания рассматривать как час приятной беседы с самим собой.

Образ действий камердинера полностью согласовался с его речами. Зато майор, когда встал перед зеркалом и увидел, как его вычистили и вырядили, счел себя одетым лучше, чем всегда. Камердинер без спроса перешил его мундир по современной моде, потратив на эту метаморфозу всю ночь. Столь быстрое и явное омоложение настроило майора на самый веселый лад, он чувствовал себя посвежевшим и душевно и телесно и с нетерпением поспешил навстречу родным.

Сестру он застал перед родословным деревом, которое она приказала повесить на стену, после того как вчера у них зашла речь о дальних родственниках, которые, частью оставшись холостыми, частью проживая в отдаленных краях, частью вообще пропав из виду, сулили брату и сестре либо их детям надежду на богатое наследство. Некоторое время они разговаривали о том же предмете, избегая упоминать лишь об одном: что до сих пор все заботы и труды в семействе предпринимались только ради детей. Конечно, склонность Гиларии вела к перемене такого взгляда, но сейчас ни майор, ни сестра его не желали думать о последствиях.

Баронесса удалилась, майор остался стоять в одиночестве перед лаконическим изображением семейства. Гилария подошла и, по-детски прильнув к нему, стала рассматривать таблицу и спрашивать, обо всех ли он знает и кто еще может быть жив.

Майор начал свой рассказ с самых старших, о которых у него осталось только смутное детское воспоминание, потом продолжил его описанием характера отцов и рассуждением о сходстве или несходстве с ними детей, причем заметил, что дед часто повторяется во внуке, и кстати заговорил о влиянии женщин, которые, через замужество переходя в другое семейство, часто меняют характер целых родов. Многих предков и дальних родственников он похвалил за их достоинства, но не умолчал и об их заблуждениях. Молчанием обошел он лишь тех, кого следовало стыдиться. Наконец майор добрался до нижних рядов таблицы, где находился он сам с братом — обер-маршалом и с сестрою, а еще ниже — его сын рядом с Гиларией.

— Ну, эти двое смотрят прямо друг на друга, — сказал майор и не добавил, что же он имел в виду.

Гилария, помолчав, робко ответила почти что шепотом:

— Но, по-моему, нельзя осудить и того, кто взглянет выше! — При этом она поглядела на майора снизу вверх такими глазами, что в них легко было прочесть ее склонность.

— Правильно ли я тебя понял? — спросил майор, обращившись к ней.

— Я не скажу вам ничего, — отвечала она с улыбкой, — о чем бы вы сами не знали.

— Ты делаешь меня счастливейшим из людей во всей подлунной! — вскричал майор и упал к ее ногам. — Хочешь быть моею?

— Ради бога, встаньте! Я твоя навеки.

Тут вошла баронесса и, хотя не была ошеломлена, замерла на месте.

— Если случилось несчастье, — сказал майор, — то вина твоя, сестрица! А счастьем мы навеки обязаны тебе.

Баронесса с юных лет так любила брата, что отдавала ему предпочтение перед всеми мужчинами, и, быть может, сама склонность Гиларии если и не произошла от материнского пристрастия, то, во всяком случае, им укреплялась. Теперь всех троих связали воедино одна любовь, одно блаженство, и дальнейшие часы протекли для них в полном

счастью. Но в конце концов им пришлось снова обратить взгляд на окружающий мир, а он редко пребывает в гармонии с такими чувствами.

Вспомнили о сыне майора. Гилария предназначалась ему в жены, и он отлично об этом знал. По заключении сделки с обер-маршалом майор должен был отправиться к сыну в гарнизон, обо всем с ним договориться и счастливо покончить дело. А теперь неожиданное событие перевернуло все вверх дном, отношения, которые раньше слаживались так дружелюбно, теперь грозили стать враждебными, и трудно было предугадать, какой оборот примут события и каково будет настроение духа в семье.

Между тем майору предстояло решиться и нанести сыну визит, о котором тот уже был извещен. После долгих промедлений майор нехотя пустился в дорогу, полный странных предчувствий, горюя, что пришлось хотя бы ненадолго покинуть Гиларию. Стремянный и лошади были оставлены у сестры, а майор в сопровождении камердинера, без чьих омолаживающих услуг он уже не мог обойтись, поехал в город, где стоял сын.

Отец и сын сердечно поздоровались и обнялись после долгой разлуки. Хотя обоим предстояло многое поведать друг другу, они не сразу высказали, что у них на сердце. Сын распространялся о надеждах на скорое повышение в чине, отец, в свою очередь, дал ему подробный отчет о переговорах между старшими членами семьи и о решениях насчет владений в целом и каждого поместья в отдельности.

Разговор начал было понемногу иссякать, когда сын собрался с духом и, улыбаясь, сказал отцу:

— Я благодарен вам, батюшка, за вашу деликатность: вы рассказываете мне о семейных владениях и состоянии, но не упоминаете об условии, под которым они должны, хотя бы частью, достаться мне: вы не произнесли имени Гиларии, вы ждете, пока я сам его назову и скажу, как мне не терпится поскорее соединиться с этим милым ребенком.

Майора такая речь привела в великое замешательство; но так как он, отчасти по природе, отчасти по привычке, склонен был раньше выznавать мысли тех, с кем имел дело, то и сейчас он промолчал и только глядел на сына с загадочной улыбкой.

— Вы ни за что не угадаете, батюшка, что я вам собираюсь поведать, — продолжал поручик, — а я хочу все высказать и покончить дело раз навсегда. Я могу положиться

на вашу доброту, которая во всем меня опекает и, без сомнения, имеет в виду мое истинное счастье. Раз уж это должно быть сказано, пусть будет сказано сейчас же: Гилария не может сделать меня счастливым. О ней я вспоминаю как о милой кузине, дружбу с которой хотел бы сохранить на всю жизнь; но другая пробудила во мне страсть и приковала мои чувства! Это влечение неодолимо, и вы не захотите сделать меня несчастным.

Майор с трудом скрыл радость, готовую выразиться у него на лице, и мягко, но серьезно осведомился, кто же та особа, которой удалось целиком завладеть его сердцем.

— Вы должны увидеть ее, батюшка, ибо описать ее так же невозможно, как и понять. Я только боюсь, что и вы увлечетесь ею, как все, кто к ней приближается. Боже мой, я уже сейчас чувствую ревность, видя в вас соперника собственного сына!

— Кто же она? — спросил майор. — Коль скоро ты не способен описать ее, так расскажи хоть о ее внешних обстоятельствах: их-то легче изобразить словами!

— Разумеется, батюшка, — отвечал сын, — хотя и эти внешние обстоятельства у другой были бы другими и по-другому подействовали бы на нее. Она — молодая вдова, наследница недавно скончавшегося мужа, старого богача; она независима и достойна быть независимой, вокруг нее множество людей, множество влюбленных и домогающихся ее руки, но, если я не обманываюсь, сердцем она предана мне.

Так как отец молчал и не выказывал неудовольствия, сын почувствовал себя вольно и стал расписывать отношение к нему прекрасной вдовицы, превознося ее прелесть и похваливаясь каждым знаком ее благосклонности, в которых отец, однако, мог усмотреть лишь мимолетные любезности привыкшей ко всеобщим домогательствам женщины, когда она, хотя и отдает известное предпочтение одному из многих, все же не решила окончательно в его пользу. При других обстоятельствах майор не преминул бы обратить внимание не только сына, но и приятеля на самообман, который скорей всего имел здесь место, однако сейчас ему самому слишком хотелось, чтобы сын не ошибался, чтобы вдова действительно его любила и приняла благоприятное для него решение, поэтому у отца либо и впрямь не возникло никаких опасений, либо же он отогнал сомнение, а может быть, и просто не высказал его. Помолчав немного, он начал так:

— Ты ставишь меня в большое затруднение. Договоренность между мною и остальными членами семейства основана на условии, что ты женишься на Гиларии. Выйди она замуж за чужого, все усилия, призванные искусно соединить в одно немалые богатства, окажутся напрасны, и ты больше всех рискуешь остаться в убытке. Правда, есть одно средство, но выглядит оно довольно странно, да и ты немного от этого выиграешь: я должен был бы на старости лет взять Гиларию в жены, что, по-моему, не доставило бы тебе особой радости.

— Нет, великую радость! — вскричал поручик. — Кто же, испытывая сердечную склонность, наслаждаясь или надеясь насладиться счастьем любви, не пожелает этого высшего счастья всем друзьям, всем, кто ему дорог! Вы, батюшка, совсем не стары, а Гилария так прелестна! Сама мимолетная мысль просить руки Гиларии свидетельствует о том, что вы молоды душой и бодры сердцем. Давайте поразмыслим и обдумаем это предложение, что так внезапно пришло вам в голову! Я буду по-настоящему счастлив, только зная, что и вы счастливы; я буду по-настоящему рад, только видя, что за вашу предусмотрительную заботу о моей судьбе вы сами получили такую прекрасную награду. Только теперь я смело, с полным доверием и открытым сердцем поведу вас к моей красавице. Вы одобрите мои чувства, ибо сами способны на такие же: вы не преградите сыну дорогу к счастью, ибо сами идете навстречу счастью.

Хотя майор и собирался высказать немалые сомнения, сын, настойчиво твердя свое, не дал ему вставить ни слова и поспешил с ним к прекрасной вдове, которую они застали в ее просторном, изысканно убранном жилище за веселой беседой с немногочисленными, но избранными гостями. Вдова была из тех женщин, от чар которых не уходит ни один мужчина. С небывалым искусством она сумела сделать майора героем нынешнего вечера. Казалось, из всех собравшихся один майор у нее в гостях, а остальные — только члены ее семейства. Она была неплохо осведомлена о его делах, но умела так расспрашивать о них, словно ей хотелось все узнать непременно от него самого, и поэтому каждый из присутствующих принужден был выказать интерес к новоприбывшему. Один знал его брата, другой — его владения, третий — еще что-нибудь, так что все время майор чувствовал себя средоточием оживленного разговора.

К тому же он сидел ближе всех к красавице; ее взгляд был устремлен к нему, ее улыбка предназначалась ему; одним словом, он чувствовал себя до того вольно, что почти позабыл о причине своего прихода. К тому же она ни словом не обмолвилась о его сыне, хотя молодой человек живо участвовал в беседе; казалось, что он, как и все прочие, нынче находится здесь только ради майора.

Рукоделье, которым дамы занимаются и среди гостей, продолжая его как будто бы машинально, у женщины умной и привлекательной может сказать о многом. Работая усердно и непринужденно, красotka делает вид, будто ей нет дела до окружающих, чем возбуждает в них молчаливое неудовольствие. Потом она словно пробуждается, и какое-нибудь слово, взгляд возвращают собравшимся отсутствующую как новую желанную гостью; а уж если она опустит работу на колени, выказывая сугубое внимание к рассказу или назидательному рассуждению, в которые так охотно пускаются мужчины, то удостоенный такой милости чувствует себя польщенным сверх меры.

Таким именно образом и наша прекрасная вдовушка занималась вышиванием бювара, пышно, но со вкусом украшенного и к тому же отличавшегося большими размерами. Бювар этот, став предметом обсуждения собравшихся, был взят у ней из рук ближайшим соседом и, пущенный по кругу, стяжал немалые похвалы, меж тем как сама мастерица была занята серьезной беседой с майором. Старый друг дома преувеличенно расхвалил почти готовую работу, когда же она дошла до майора, вдова, казалось, хотела отвлечь его от такой не заслуживающей внимания мелочи, но он, напротив того, сумел наилюбезнейшим образом воздать должное достоинствам бювара, между тем как друг дома усматривал в работе вдовицы медленность Пенелопина тканья.

Гости стали расхаживать по комнатам, объединяясь в случайные кружки. Поручик подошел к красавице и спросил:

— Что вы скажете об отце?

Она отвечала с улыбкой:

— Мне сдается, вы могли бы брать с него пример. Поглядите, как он одет! И держится он едва ли не лучше, чем его сынок! — Так она расхваливала и превозносила отца в ущерб сыну, вызвав в сердце юноши смешанное чувство Удовлетворения и ревности.

Спустя недолгое время сын подошел к отцу и во всех подробностях пересказал ему разговор. Это еще более рас-

положило отца ко вдовице, а она, оживленно с ним бесе­дуя, перешла на совсем уж доверительный тон. Короче, майор к моменту прощания стал, можно сказать, таким же ее присным, как и все прочие в кружке.

Неожиданный ливень помешал гостям воротиться домой, как они пришли. Явившиеся пешком уселись по несколько человек в проезжавшие мимо экипажи, и поручик под тем предлогом, что в них и так тесно, отправил отца, а сам остался.

Майор, как только вошел в свою комнату, почувствовал такую неуверенность в себе, что голова у него пошла кругом, как это бывает с людьми, резко переходящими из одного состояния в противоположное. Земля колеблется под ногами у сошедших с судна, свет мерцает перед глазами неожиданно вошедшего во мрак. Так и майор все еще ощущал рядом присутствие прелестной женщины. Ему хотелось видеть и слышать ее снова, видеть и слышать ее непрестанно; и по недолгом размышлении он простил сына и даже счел его счастливецом, коль скоро он вправе притязать, чтобы такие достоинства ему принадлежали.

От этих переживаний его отвлек сын, который влетел в дверь и в порыве восторга обнял отца.

— Я самый счастливый человек на свете! — вскричал он.

После еще нескольких восклицаний в том же роде они наконец объяснились. Отец заметил, что красавица в раз­говоре с ним ни словом не обмолвилась о сыне.

— Это обычная ее манера: деликатно молчать, о чем-то промолчать, на что-то намекнуть. Так можно узнать ее желания, но окончательно избавиться от сомнений нельзя. Она и со мной до сего дня так обращалась, но ваше присутствие, батюшка, совершило чудо. Не скрою, что я остался там, желая еще разок ее увидеть. Я застал ее расхаживающей по освещенным комнатам; мне известна эта ее привычка — не гасить свет, когда гости разойдутся. Она ходит одна по волшебным чертогам, когда отпускает духов, вызванных ее чарами. Предлог, под которым я вернулся, сошел мне с рук, заговорила она со мною приветливо, но о вещах безразличных. Двери не были затворены, и мы ходили взад и вперед по всей анфиладе комнат. Несколько раз добирались мы до крайней из них — тесного кабинета, освещенного только тусклой лампой. Как ни хороша была она, когда проходила в сиянии люстр, но в мягком свете лампы она казалась еще

прекрасней. Мы снова достигли кабинета и, прежде чем повернуть обратно, на миг остановились. Не знаю сам, что заставило меня отважиться, но знаю, как я мог посмечь посреди безразличного разговора вдруг схватить ее за руку, расцеловать эту нежную ручку и прижать ее к сердцу. И у меня ее не отняли. «Небесное создание,— воскликнул я,— не таись от меня больше! Если в твоём сердце есть склонность к счастливцу, что стоит сейчас перед тобой, то не скрывай ее больше, выскажись, признайся в ней! Сейчас самая пора, самое время! Прогони меня или прими в объятия!»

Не помню, как я все это вымолвил, не помню, что при этом делал. Она не отстранилась, не сопротивлялась, не отвечала. Я осмелился заключить ее в объятия и спросить, хочет ли она быть моею. Я стал неистово целовать ее, она меня оттолкнула, а сама, как будто в растерянности, повторяла: «Ну да, да»,— или что-то в этом роде. Я бросился прочь, восклицая: «Я пошлю к вам отца, пусть он просит за меня!» — «Ни слова ему об этом! — отвечала она, провожая меня. — Ступайте прочь и забудьте то, что произошло».

Мы не будем распространяться о том, что думал майор. Сыну же он сказал:

— Как по-твоему, что теперь делать? Я думаю, что начало, хотя и внезапное, положено удачно и теперь мы можем приступить к делу по всей форме. Приличней всего, верно, будет мне завтра отправиться туда с визитом и за тебя попросить ее руки.

— Ради бога, не надо, батюшка! — воскликнул поручик. — Ведь это значит погубить все дело. При таких отношениях, при таком тоне формальности невозможны — они только все осложнят и расстроят. Довольно и того, батюшка, что вы, не сказав ни слова, одним своим присутствием ускорили наш союз. Да, вам я обязан счастьем! Уважение к вам устранило из сердца моей возлюбленной все колебания, и никогда сын не дождал бы до столь счастливой минуты, если бы отец не подготовил почву.

Так беседовали они вплоть до глубокой ночи и обоюдно договорились о дальнейших планах. Майор намеревался лишь из вежливости нанести вдове прощальный визит и отправиться домой, чтобы вступить в брак с Гиларией, а сын должен был по возможности способствовать собственному скорейшему бракосочетанию.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Утром наш майор нанес визит прекрасной вдовушке, чтобы попрощаться с нею и по возможности искусно содействовать намерениям сына. Он застал ее в изящном утреннем туалете, в обществе дамы средних лет, чья благовоспитанная приветливость сразу же пленила его. Прелестная живость младшей из дам уравновешивалась степенностью старшей, и поведение обеих явственно говорило о взаимной преданности этой достойной четы.

Младшая, судя по всему, только что закончила виденный нами вчера бювар, над которым усердно трудилась, так как после обычных приветствий и вежливых слов о том, как рада она гостю, вдова обернулась к подруге, протянула ей свое искусное произведение и сказала, словно возобновляя прерванный разговор:

— Вот видите, я все-таки кончила, хотя так медлила и отлынивала от работы, что ей, казалось, конца не будет.

— Вы пришли кстати, господин майор,— сказала старшая,— и сможете решить наш спор или хотя бы встать на чью-либо сторону. Я утверждаю, что невозможно браться за такую многотрудную работу, не имея в мыслях определенное лицо, которому она предназначена: без этого ее ни за что не кончить. Взгляните сами на это произведение искусства, как я его по справедливости называю: можно ли взяться за такое, не имея определенной цели?

Наш майор не мог не отозваться с высочайшей похвалой о работе вдовицы. Частью вязаный, частью вышитый бювар вызывал не только восхищение, но и живейшее желание узнать, как он сделан. Преобладал разноцветный шелк, но и золото не было в пренебрежение, так что невозможно было решить, чем следует восхищаться больше — роскошью отделки или вкусом.

— Здесь нужно сделать еще кое-что,— сказала красавица, распустив охватывавшую бювар ленту и занявшись подкладкой.— Мне не хочется вступать в спор,— продолжала она,— но я готова рассказать, что испытываю за такой работой. Мы еще девочками приучаемся к тому, что пальцы наши ловко снуют, а мысли носятся далеко; и то и другое остается при нас, даже когда мы научаемся самым трудным и тонким работам, и я не отрицаю, что с каждой связываю

мысли о лицах и обстоятельствах, о радостях и горестях. Потому любая работа с самого начала становится мне дорога, а законченная, можно сказать, цены не имеет. По этой причине любой пустяк перестает быть для меня пустяком, самая легкая работа приобретает цену, а самая трудная ценится дороже только потому, что связанные с нею воспоминания богаче и полнее. Вот почему я считаю себя вправе преподносить мои изделия любящим и друзьям, почтенным и высокопоставленным лицам, и они признавали за мной это право, зная, что я одеваю их частицей меня самой, что приятный подарок вобрал в себя многое, невыразимое на словах, а потому его можно принять благосклонно, как самый сердечный привет.

Возражать на такое милое признание едва ли было возможно, но подруга вдовушки сумела присовокупить к сказанному несколько удачных слов. Со своей стороны, майор, привыкший ценить изящную мудрость римских поэтов и писателей и удерживать в памяти их блистательные изречения, вспомнил несколько подходящих к случаю строк, но, боясь показаться педантом, остерегся не только их прочесть, но и упомянуть о них; все же, чтобы не выглядеть немым тупицею, он попытался перефразировать их прозой, но экспромт не вполне ему удался, из-за чего разговор стал запи-
наться.

По этой причине старшая дама взяла отложенную из-за прихода друга книгу — сборник стихов, перед тем занимавший внимание подруг; это дало повод заговорить о поэзии вообще, но разговор об отвлеченных предметах был недолог, ибо обе дамы признались, что наслышаны о поэтическом даре майора. Сын, который сам не скрывал притязаний на почетный титул поэта, успел рассказать им об отцовых стихах и даже прочесть некоторые, — в сущности, только затем, чтобы похвалиться поэтическим происхождением и, как то свойственно молодым, скромно представить себя юношей, совершенствующим и умножающим таланты родителя. Но майор, желавший слыть лишь любителем словесности, старался ретироваться, а когда все пути ему были отрезаны, постарался уклониться и представить поэтический род, которым занимался, второстепенным и почти что чуждым искусству; он, мол, не может отрицать, что сделал несколько попыток, однако лишь в той области, которую именуют описательной или, в известном смысле слова, дидактической поэзией.

Но дамы, особенно младшая, не отвергали этого рода. Вдова сказала:

— Если хочешь жить разумно и спокойно,— а ведь таково в конечном счете желание каждого человека,— то к чему нам взволнованность, которая произвольно заражает нас, ничего нам не давая, и отнимает у нас покой, оставляя нас потом наедине с собою? Коль скоро я люблю поэзию и не могу обойтись без стихов, то все же мне приятнее такие, которые переносят меня в какую-нибудь красивую местность, где я вновь узнаю самое себя и поневоле вспоминаю цену сельской простоты, которые ведут меня через заросли кустарника в лес, незаметно выводят на вершину, откуда видно озеро на равнине, за ним — возделанные склоны холмов, увенчанные лесом хребты, а вдали — синие горы, что замыкают этот умиротворяющий ландшафт. Пусть мне изобразят все это в стройных ритмах и звучных рифмах, и я буду со своего дивана благодарить поэта, вызвавшего в моей фантазии эту картину, которой я могу наслаждаться спокойнее, чем если бы увидела ее воочию после утомительного странствия и, может быть, при менее благоприятных обстоятельствах.

Майор, который видел в завязавшемся разговоре только средство приблизиться к своей цели, попытался свернуть его на поэзию лирическую, в которой его сын поистине добился успехов. Прямо ему не противоречили, но старались сбить с избранного пути шутками, особенно когда он стал намекать на страстные стихи, в которых его сын — не без силы и умения — тщился поведать некоей несравненной даме о решительной склонности своего сердца.

— Терпеть не могу песни влюбленных,— сказала красавица,— ни когда их читают, ни когда поют. Счастливым любовникам начинаешь незаметно для себя завидовать, а несчастные нам надоедают.

Тут заговорила старшая из дам и сказала, обращаясь к прелестной своей подруге:

— Зачем мы тратим время на пустые разговоры, зачем все эти околичности с человеком, которого мы любим и уважаем? Почему нам не сказать ему прямо, что мы уже имели удовольствие отчасти познакомиться с его очаровательной поэмой, где он воспевает страсть к охоте и все подробности этой мужественной забавы, и просим не утаивать от нас всей вещи целиком? Ваш сын,— продолжала она,— прочел нам на память некоторые места с таким увле-

чением, что нам стало любопытно узнать все в общей связи.

Когда отец стал было снова превозносить таланты сына, дамы не пожелали его слушать и объявили его намерение неприкрытой попыткой косвенно уклониться от исполнения их желаний. Майор так ничего и не мог поделать, пока не пообещал прислать поэму; но и дальнейший разговор пошел так, что отец не имел случая замолвить слово в пользу сына, тем более что тот сам запретил ему быть настойчивым.

По всей видимости, нашему другу пора было откланяться, но как только он поднялся, красавица со смущением, от которого она казалась еще краше, произнесла, расправляя только что завязанную бантом ленту на бюваре:

— К сожалению, о поэтах и влюбленных молва гласит, что их обещаниям нельзя верить. Поэтому не посетуйте на мою дерзость, коль скоро я беру под сомнение слово честного человека и если не требую с него, то сама даю ему залог или задаток. Возьмите этот бювар, в нем есть сходство с вашей охотничьей поэмой, с ним связано много воспоминаний и много времени потрачено на работу, теперь он наконец готов,— так что пусть он послужит вестником и принесет нам ваш милый труд.

Столь неожиданно поднесенный дар поистине поразил гостя; изящная его роскошь никак не вязалась со всем тем, что окружало майора обычно и чем он всегда пользовался, поэтому он чувствовал себя не в силах принять протянутый ему бювар. Вскоре, однако, он собрался с духом, и так как память его всегда хранила наготове накопленный запас, то ему сейчас же пришла на ум классическая цитата. Хотя привести ее было бы педантством, она придала его мыслям веселый оборот и помогла вплести в остроумную парافразу сердечную благодарность и изящный комплимент, так что сцена эта завершилась к удовольствию всех собеседников.

Тут только майор не без смущения обнаружил, что попал в пути весьма приятных отношений: он обещал писать и отправить написанное, принял на себя обязательство, а если повод и был не вполне ему приятен, то все же он должен был почтить за счастье эту возможность поддержать непринужденные отношения с дамой великих достоинств, с которой ему предстояло близко породниться. Так что удался он с чувством внутреннего удовлетворения; да и как

может не воспрянуть духом стихотворец, чей усердный труд, долго покоившийся в безвестности, неожиданно удостоился такого любезного внимания!

Придя на квартиру, где стоял сын, майор незамедлительно сел писать сестре подробный отчет, и вполне естественно, что в изложении его сквозила некоторая экзальтация, действительно ощущаемая им и еще более подогреваемая словесными вторжениями сына, время от времени мешавшими отцу.

На баронессу это письмо произвело весьма двойственное впечатление: если обстоятельство, облегчавшее и ускорявшее союз ее брата с Гиларией, не могло не радовать ее, то к прекрасной вдовушке у ней не лежало сердце, хотя она и не в силах была дать себе отчет, почему это так. По этому поводу мы сделаем следующее замечание.

Никогда не следует верить женщине восторг, внушенный другою женщиной: они слишком хорошо знают друг друга, чтобы считать хоть одну достойной такого исключительного поклонения. Мужчины представляются им покупателями в лавке, где купец, знающий свой товар, всегда окажется в выгоде и сумеет найти случай показать его лицом, между тем как покупатель простодушен и, нуждаясь в товаре, желая его приобрести, редко может взглянуть на него с изнанки. Купец всегда знает, что продает, покупатель редко знает, что берет. Но в обиходе человеческой жизни этого не изменишь, это и похвально и необходимо, ибо составляет основу всякого домогательства и сватовства, всякой торговли и обмена.

То, что баронесса не могла остаться довольна ни страстью сына, ни благосклонным описанием отца, было скорее следствием подобного чувства, чем размышления; счастливый оборот дела ошеломил ее, но не заглушил тревожного предчувствия, вызванного разницей в возрасте у той и другой четы. Гилария слишком молода для брата, вдова — недостаточно молода для его сына; но дело пошло своим ходом, и его уже не остановишь. Смиренная мольба о том, чтобы все устроилось к лучшему, вознеслась к небу вместе с тихим вздохом. Чтобы облегчить душу, она взялась за перо и начала письмо к известной нам подруге, прославленной знанием людей. После излагающего ход событий вступления она писала:

«Мне знакомы соблазнительные повадки женщин вроде этой молодой вдовы; она, по всей видимости, избегает иметь дело со своим полом и терпит рядом с собой только одну даму, от которой ей нет вреда, так как та ей льстит и, если ее безмолвные достоинства проявляются недостаточно очевидно, умеет словами и уловками привлечь к ним внимание. Зрителями и участниками таких спектаклей предназначено быть мужчинам, оттого возникает необходимость привлечь их и удержать. Я не думаю об этой красивой даме ничего дурного, она кажется мне достаточно благопристойной и осмотрительной, но такое жадное тщеславие готово принести жертвы обстоятельствам; худшее же, по-моему, то, что не всегда она действует обдуманно и по плану,— ею руководит и оберегает ее некая счастливая естественность, а в прирожденной кокетке самое опасное — это безрассудство от простоты душевной».

Майор, воротившись в поместья, отдавал все дни и часы их осмотру и изучению. Теперь он имел случай заметить, что исполнение даже правильно задуманного плана встречает так много препятствий и преграждается столькими случайностями, что первоначальный замысел почти исчезает и порой кажется совсем рухнувшим, пока посреди сумятицы ум снова не различит возможность успеха и мы не увидим, как время, вернейший союзник упорства, протягивает нам руку.

Так и здесь печальный вид прекрасных и обширных, но запущенных владений мог бы привести в отчаяние, если бы опыт и внимание проницательного эконома не помогли предвидеть, что нескольких лет, использованных разумно и честно, довольно будет для того, чтобы оживить умершее, пустить в ход остановившееся и благодаря порядку и усердию достичь цели.

Туда же приехал обер-маршал, причем в сопровождении деловитого стряпчего, который, однако, досаждал майору меньше, чем этот любитель покоя, принадлежавший к породе людей, которые не имеют никакой цели, а если и видят ее, то отвергают все средства достичь ее. Главной потребностью его жизни было ежедневно и ежечасно наслаждаться покоем и удобствами. После долгих колебаний он наконец всерьез решился разделаться с займодавцами, избавиться от обременявших его поместий, наладить свое беспо-

рядочное домашнее хозяйство и беззаботно наслаждаться пристойным и верным доходом, не поступившись при этом даже пустяком, если тот входил в число его прежних привычек.

В целом он соглашался ввести брата и сестру в безраздельное владение всеми поместьями вплоть до господской усадьбы, однако не желал до конца уступать некий павильон по соседству, в который привык ежегодно приглашать к себе на день рождения старых друзей и новых знакомцев, и участок парка, лежавший между павильоном и усадебным домом. Все мебели в потешном домике, все развешенные по стенам гравюры должны были остаться на месте, плоды на шпалернике — по-прежнему принадлежать ему. Персики и клубника изысканных сортов, крупные вкусные груши и яблоки, но прежде всего мелкие сероватые яблоки особого сорта, которые он давно уже привык каждый год подносить вдовствующей государыне, — все следовало доставлять ему неукоснительно. К этому присоединялись и другие оговорки, мелкие, но необычайно обременительные для хозяина дома, для арендаторов, для управляющих и садовников.

Впрочем, обер-маршал пребывал в наилучшем расположении духа, поскольку не расставался с мыслью, что все в конце концов устроится по его желанию, как заранее рисовал ему будущее его легкомысленный характер, а потому заботился лишь о хорошем столе, двигался, сколько было необходимо, проводя несколько неутомительных часов на охоте, рассказывал один за другим анекдоты, выглядел веселым и довольным и таким же уехал, изящно поблагодарив майора за поистине братское отношение; потом он потребовал еще денег, велел тщательно уложить в запас мелкие сероватые яблоки, которые в этом году особенно уродились, и с этим сокровищем направился в резиденцию вдовствующей княгини, где намеревался поднести ей почтительнейший дар и где был принят милостиво и дружелюбно.

Что до майора, то он после расставания испытывал совсем противоположные чувства, ибо поставленные ему ограничения довели бы его до отчаяния, если бы на помощь не пришло ощущение, обычно ободряющее деятельного человека, когда он надеется распутать запутанное и насладиться его плодами.

К счастью, стряпчий оказался человеком справедливым, и других забот у него хватало, так что эту сделку он поспешил закончить. Столь же счастливо в дело вступил некий камердинер обер-маршала, за умеренную плату обещавший свое содействие, так что возможно стало надеяться на благополучный исход. Как ни была приятна эта надежда, майор как человек справедливый почувствовал по всем перипетиям этой сделки, что ради чистых целей часто нужны нечистые средства.

Едва только перерыв в делах подарил ему свободный час, как майор поспешил в свое поместье, где, памятуя про обещание, данное прекрасной вдовушке и отнюдь им не забытое, отыскал свои стихи, сохраняемые в отменном порядке; при этом в руки ему попались многие памятные и записные книжки, где содержались выписки, сделанные при чтении древних и новых писателей. При той любви, какую майор питал к Горацию и к римским поэтам, выдержки были преимущественно из них, и ему бросилось в глаза, что в большей части цитат выражается тоска по прежним временам, по минувшим событиям и чувствам. Вместо многих приведем здесь один-единственный образец:

Neu!

Quae mens est hodie, cur eadem non puero fuit?
Vel cur his animis incolumes non redeunt genae!

Почему виски седые,
А в душе покой и мир,
Между тем как в дни молодые
Был мой дух угрюм и сир?
Но хоть сердце и спокойно,
Чую возраста шипки.
Где ты, юность — лето знойно,
Где румянец в полщеки?

Быстро отыскав среди аккуратно сложенных бумаг охотничью поэму, майор порадовался приятному виду рукописи, тому, как тщательно он много лет назад переписал ее набело латинскими буквами на бумаге в одну восьмую листа. Сочинение отлично вместились в драгоценный бювар благодаря его немалому размеру, и редко какой автор устаивался видеть себя в таком переплете. Было необходимо присовокупить хоть несколько строк, причем проза вряд ли

была бы кстати. Ему вспомнилось все то же место у Овидия, и он вознамерился обойтись сейчас стихотворной его перифразой, как тогда обошелся прозаической. Место это гласило:

Nec factas solum vestes spectare juvabat,
Tum quoque dum fierent; tantus decor adfuit arti.

На нашем языке:

Его я зрел в руках проворных,—
Как мне запомнился тот миг,
Когда на краснах чудотворных
Узор невиданный возник!
Мне плод трудов теперь достался,
Но мысль одна с ума нейдет:
Когда б на краснах он остался!
Ведь труд прекрасней был, чем плод¹.

Однако переложение это скоро разодралось нашему другу: он досадовал, что пришлось заменить личную форму глагола «dum fierent» унылым отвлеченным существительным, и сердился, что, сколько ни ломает голову, не может улучшить это место. Сразу воскресла вся его любовь к древним языкам, и блеск немецкого Парнаса, на который и он украдкой стремился, померк в его глазах.

В конце концов, когда он счел, что без сравнения с оригиналом этот игривый комплимент звучит вполне изящно и дама должна принять его вполне благосклонно, у него родилось новое опасение: ведь в стихах нельзя быть галантным и не сойти за влюбленного, а для будущего свекра это странная роль. Но самая неприятная мысль пришла напоследок: в Овидиевых стихах говорится об Арахне, ткачихе, столь же искусной, сколь и миловидной. Но коль скоро Минерва из зависти превратила ее в паука, то не опасно ли даже отдаленно уподобить красивую женщину пауку и представить ее висящей в середине раскинутой сети? Ведь можно вообразить себе, что среди окружения нашей вдовицы найдется кто-нибудь достаточно начитанный, чтобы уловить смысл сравнения. Как наш друг вышел из такого затруднения, нам неизвестно и приходится причислить этот случай к тем, на который музы позволяют себе лукаво набросить

¹ Здесь и далее перевод стихов без указания переводчика принадлежит С. Ошерову.

покров. Довольно сказать, что охотничья поэма была отослана; но нам все же следует добавить о ней несколько слов.

Читателя в ней тешит как безраздельная страсть к охоте, так и все, что ей способствует; приятно описана смена времен года, каждое из которых по-своему зовет и манит охотника. Повадки каждой живой твари из тех, которых травят и мечтают уложить, разнообразные характеры охотников, преданных этой утомительной забаве, любые случайности, помогающие или препятствующие ей, особенно же все, что имеет касательство до пернатой дичи, было описано с живостью и трактовано с большим своеобразием.

От тетеревиных токов вплоть до второго перелета бекасов и от этого перелета вплоть до постройки охотничьего шалаша ничего не было упущено, но все увидено ясно, воспринято зорко, с увлечением изложено и описано легко и шуточно, порой даже иронически.

Однако сквозь все звучала знакомая нам элегическая тема; стихи написаны были скорее как прощание с одной из радостей жизни, что придавало им чувствительный оттенок, какой всегда имеет бывшее веселье, и помогало увлечь читателя, но под конец, в полном согласии с моральными прописями, у него оставалось чувство пустоты, обычное после испытанного наслаждения. То ли от перелистывания старых бумаг, то ли от другого неожиданного расстройств майор вдруг потерял всю веселость. На том перевале, где он сейчас находился, ощущалось особенно ясно, что годы, прежде приносившие один прекрасный дар за другим, потом постепенно отнимают их. Пропущенная поездка на воды, лето, лишенное всех удовольствий, отсутствие привычного постоянного движения вели к тому, что он испытывал телесные недомогания и, принимая их за настоящие недуги, сносил менее терпеливо, чем следовало бы.

Как для женщин поистине мучителен миг, когда их доселе неоспоримая красота становится сомнительной, так и мужчину в известном возрасте, как он ни крепок, тревожит и даже страшит ощущение убывающих сил.

Одно привходящее обстоятельство, которое вроде бы должно было его взволновать, помогло ему вернуть хорошее настроение. Косметический камердинер, не покидавший его и в деревне, с некоторого времени избрал, судя по всему, другой путь, к чему его принудили раннее вставание майора, его ежедневные разъезды верхом и пешие походы, а также наплыв народа, приходившего по делу, а во время

пребывания обер-маршала — и без всякого дела. С некоторых пор он больше не донимал майора мелочами, достойными занять внимание разве что мима, но тем строже настаивал на главных пунктах, которые прежде терялись за множеством тонких ухищрений. Все, что имело целью поддержать здоровье, а не видимость здоровья, было предписано с чрезвычайной строгостью: особенно надлежало соблюдать во всем меру, изменяя ее соответственно обстоятельствам, тщательно ухаживать за кожей и волосами, за бровями и зубами, за руками и ногтями, об изящной форме и должной длине которых камердинер давно уже озаботился с полным знанием дела. Затем, еще раз настоятельно порекомендовав майору быть сдержанным во всем, что обычно выводит человека из равновесия, туалетных дел мастер попросил отставки, так как уже ничем не мог быть полезен барину. Можно было думать, что ему не терпится вернуться к прежнему патрону, чтобы и далее наслаждаться всеми приятностями театральной жизни.

И вправду, майор, предоставленный самому себе, почувствовал себя намного лучше. Рассудительному человеку довольно соблюдать умеренность — и вот он уже счастлив. Теперь майор волен был ездить верхом, охотиться, одним словом, воротиться к привычной подвижности; в такие минуты одиночества образ Гиларии снова радостно вставал перед ним, и он все более входил в роль жениха, — а это, быть может, самое приятное состояние, какое доступно нам в жизни, подчиненной законам нравственности.

Уже несколько месяцев все члены семейства жили розно и почти не подавали друг другу вестей; майор был занят в столице переговорами, окончательно устраивая и улаживая свое дело, баронесса и Гилария посвящали радостные заботы богатому приданому, сын, со страстью служа своей красавице, казался, позабыл обо всем. Настала зима, и сельские обиталища скрылись в потоках наводящих тоску ливней и рано сгушавшейся тьме.

В эту ненастную ноябрьскую ночь всякий, кто, блуждая неподалеку от барской усадьбы, различал бы при смутном свете отуманенной луны темные поля, луга, купы деревьев, холмы и кустарники, а потом, быстро свернув за угол, заметил бы яркий свет во всех окнах длинного здания, — конечно, решил бы, что встретит там празднично разодетое общество. И как бы он удивился, когда кто-нибудь из немногочисленной челяди ввел бы его по освещенной лестнице в

залитые светом, уютно обставленные и жарко натопленные покои — и в них он застал бы только трех женщин, то есть баронессу и Гиларию с горничной.

Но поскольку мы полагаем, будто застигли баронессу в некий торжественный миг, то необходимо пояснить следующее: не надо думать, будто такое ослепительное освещение было здесь чем-то необычайным, — то была одна из причуд, вынесенных хозяйкой дома из ее прежней жизни. Дочь обергофмейстерины, она воспитывалась при дворе и поэтому привыкла предпочитать всем временам года зиму, праздничное же освещение было для нее необходимой стихией всех зимних удовольствий. В восковых свечах никогда не ощущалось недостатка, и к тому же один из слуг питал страсть ко всяческим искусным устройствам, так что не было такой новоизобретенной лампы, которую бы он не попытался приспособить где-нибудь в барском доме, отчего яркость освещения выигрывала, но порой одна из комнат на время погружалась во тьму.

Баронесса, по сердечной склонности и вполне все обдумав, отказалась от положения придворной дамы, выйдя замуж за крупного землевладельца и убежденного сельского жителя, а так как вначале сельская жизнь не пришлась ей по душе, то осмотрительный супруг по соглашению с соседями, а отчасти следуя правительственным распоряжениям, привел дороги на много миль вокруг в столь образцовый порядок, что нигде соседственные связи не были столь легки и удобны; однако это похвальное устройство имело в виду одну главную цель: чтобы баронесса, предпочтительно в благоприятное время года, могла раскатывать туда и сюда, а зато зимою с охотой оставалась бы дома вблизи супруга, который яркостью освещения умел превращать день в ночь. После смерти мужа баронессу заняли страстные заботы о дочери, сердечной утехой стали для нее частые наезды брата, привычно яркое освещение поддерживало уют, и все вместе создавало подобие истинного довольства жизнью.

Но нынче такое освещение весьма кстати, так как в комнате мы видим подобие рождественской выставки подарков, привлекающих взор своим блеском. Сметливая горничная заставила камердинера осветить комнату еще ярче и сама собрала и разложила все заготовленное до сего дня приданое Гиларии с хитрым умыслом не столько показать сделанное, сколько получить повод заговорить о недостающем. Все необходимое — причем самой лучшей работы и из самых красивых тканей — было налицо; предметов прихоти тоже

было вдоволь, и все же Ананнета ухитрилась указать очевидные изъяны там, где с равным успехом можно было усмотреть безукоризненную последовательность. Если красиво разложенное белье ослепляло глаза, если свет казался ярче от белизны льняного полотна, муслина и прочих, как они еще там называются, тонких тканей, то явно не хватало пестрых шелков, с покупкой которых мудро не торопились, ибо, имея в виду изменчивость моды, хотели завершить и увенчать приданое новейшими образцами.

После этого радующего душу осмотра они перешли к обычным, хотя и разнообразным, вечерним развлечениям. Баронесса отлично знала, какие внутренние достоинства должны украшать даму даже при самой привлекательной внешности, чтобы везде, куда бы ни привела ее судьба, ее присутствие стало бы желанным, а потому умела разнообразить сельскую жизнь многими поучительными развлечениями, так что Гилария, как ни была она молода, успела со многим освоиться и ни один предмет разговора не был ей чужд, хотя повадки ее всегда соответствовали ее возрасту. Чересчур пространно было бы объяснять, как этого достигли; довольно сказать, что нынешний вечер отразил в себе, как в зеркале, всю их прежнюю жизнь. Одушевленное чтение вслух, приятное музицирование за фортепиано, дивное пение должной чередой сменяли друг друга, как всегда скрашивая долгие часы, но обретая сегодня больше значения; ибо в мыслях у всех был некто третий, кого любили и почитали и ради кого, желая принять его как можно сердечней, разучивали и то и это.

Не одна Гилария чувствовала себя невестой, нет, тонкие чувства матери позволяли и ей вкусить толику этого отрадного ощущения, и даже Ананнета, в другое время всего лишь сметливая и неугомная, сейчас предавался отдаленным надеждам, которые рисовали ей некоего отсутствующего друга поспешающим назад и уже вернувшимся к ней. Так чувства трех женщин, каждая из которых была мила по-своему, гармонически сливались с ярким светом, с благодатным теплом и окружающим их уютом.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Внезапно громкий стук и крики у ворот, переговоры настоячивых, угрожающих голосов, свет факелов во дворе прервали нежное пение. Правда, шум заглох еще до того,

как выяснилась его причина, однако и тихо не стало: с лестницы доносился топот поднимавшихся по ней и оживленный разговор. Дверь резко распахнулась, но с докладом никто не вошел. Дамы переполошились. В комнату ворвался Флавио; вид его был ужасен: всклокоченные волосы, намокшие под дождем, частью топорщились, частью свисали вниз, одежда была разорвана в клочья, словно он шел напролом через терновые дебри, и перепачкана грязью, словно он вброд перебирался через болота и топи.

— Батюшка! — вскричал он. — Где батюшка?

Ошеломленные женщины застыли на месте. Старый егерь, первый слуга и любящий пестун Флавио, вошедший вместе с ним, крикнул ему:

— Батюшки здесь нет. Успокойтесь! Поглядите, вот тетушка, вот племянница...

— Его нет здесь? Тогда отпустите меня, я найду его, он один должен меня выслушать, чтобы я мог умереть. Отпустите меня отсюда, этот свет, этот день слепит мне глаза, убивает меня!

Вошел домашний врач и, схвативши его за руку, стал осторожно щупать пульс; вокруг толпились перепуганные слуги.

— Как я могу ступать по этим коврам? Я их испорчу, я их погублю! Это мое несчастье стекает на них каплями, это моя судьба отверженца пятнает их грязью!

Он кинулся к двери; этим порывом воспользовались, чтобы отвести его в дальнюю комнату для гостей, где обыкновенно жил его отец. Мать и дочь оцепенели; их глазам предстал преследуемый фуриями Орест, не облагороженный искусством, но в подлинном своем облике, жутком и отталкивающим, еще более страшном по контрасту с уютной роскошью комнат и ярким сиянием свеч. Женщины в оцепенении глядели друг на друга, и каждой казалось, будто она видит в глазах другой пугающий образ, который так неизгладимо запечатлелся в ее собственных зрачках.

Еще не до конца опомнившись, баронесса стала одного за другим посылать слуг, чтобы осведомиться о больном. К своему успокоению они узнали, что о нем позаботились, его раздели и вытерли насухо; будучи в полубессознательном состоянии, он позволял делать с собою все. При повторных запросах им велели набраться терпения.

Наконец оробевшие женщины узнали, что ему отворили жилу и, пустив в ход всевозможные успокаивающие средства, утихомирили его; теперь можно надеяться, что он заснет.

Наступила полночь; баронесса потребовала, чтобы ее допустили взглянуть на Флавио, если он уснул; врач воспротивился, врач уступил, Гилария вторглась к больному вместе с матерью. В комнате было темно, только тусклая свеча горела за зеленым экраном; они мало что видели и ничего не слышали. Мать подошла ближе к кровати, Гилария в волнении схватила подсвечник и осветила спящего. Он лежал отвернувшись, но изящное ухо и округлая побледневшая щека красиво выглядывали из-под снова завившихся прядей, а неподвижная рука с длинными и тонкими, но сильными пальцами приковывала к себе блуждающий взгляд Гиларии. Она затаила дыхание, а потом, уловив чуть слышное дыхание юноши, приблизила к нему свечу, рискуя, как Психея, нарушить целительный сон. Врач отнял у ней свечу и осветил дамам по пути в их комнаты.

Как эти достойные всяческого участия особы провели ночные часы, осталось для нас тайной; но на другое утро обе проявляли крайнее нетерпение. Расспросам не было конца, желание видеть больного высказывалось скромно, но настоятельно, однако лишь около полудня врач разрешил короткое посещение.

Баронесса подошла к Флавио, он протянул ей навстречу руки.

— Простите, любезная тетушка, и потерпите,— я думаю, недолго.

Подошла Гилария, он и ей подал руку.

— Здравствуй, сестрица!

Слова эти пронзили ей сердце, он все не отпускал ее, они глядели друг на друга — чета несхожая, хотя и равно прекрасная. Черные сверкающие глаза юноши гармонировали с темными перепутанными прядями волос; она же, напротив, была ангельски спокойна на вид, хотя к потрясшему ее событию и присоединились пробужденные этим мгновением предчувствия. «Сестра» — это обращение взволновало ее до глубины души. Баронесса спросила:

— Как ты себя чувствуешь, племянник?

— Довольно сносно, хотя обращаются со мною скверно.

— Как так?

— Они отворили мне кровь, а это жестоко; они выпустили ее, а это бессовестно: ведь кровь принадлежит не мне, а ей, только ей.— При этих словах лицо его исказилось, и он спрятал слезы в подушку.

Мать заметила, что Гилария страшно изменилась в лице,

как будто перед ее глазами раскрылись ворота ада и милое дитя впервые, но навеки обратилось взором к его ужасам. Стремительно пробежала она через залу в самый дальний кабинет и бросилась на диван; мать поспешила за нею и стала расспрашивать о том, что, увы, уже поняла сама.

Гилария, подняв на нее растерянный взгляд, воскликнула:

— Кровь! Кровь его принадлежит ей, только ей! А она этого не стоит! Бедный! Несчастный!

При этих словах горькие слезы хлынули потоком и облегчили ей сердце.

Кто возьмет на себя смелость предать гласности события, проистекшие из описанного выше, и душевные невзгоды обеих женщин, явившиеся следствием этой первой встречи? Она оказалась весьма вредной и для больного,— по крайней мере, так утверждал врач, который, хотя и приходил довольно часто с известиями и утешениями, однако считал своим долгом воспрепятствовать дальнейшим свиданиям. В этом ему добровольно повиновались, ибо дочь не решалась требовать того, на что мать не дала бы согласия, так что разумный запрет не нарушался. В награду врач принес успокоительную весть о том, что Флавио потребовал письменные принадлежности и что-то набросал на листке, но тотчас же спрятал его в постели. Теперь беспокойство и нетерпение усугубились любопытством; наступили мучительные часы. Но спустя некоторое время врач принес бумагу, исписанную торопливым, но красивым размашистым почерком и содержащую следующие строки:

Лишь чудом бедный человек рождается,
Чтоб меж чудес бесследно заблудиться.
К каким вратам неведомого града
Бредем мы без дорог ненастной ночью?
Я поднял взоры к небу, к средоточью
Сиянья — и увидел пропасть ада.

Благородное искусство поэзии вновь явило здесь свою врачующую силу. Тесно слитое с музыкой, оно до конца исцеляет все душевные страдания тем, что обостряет их, вызывает из глубины и улетучивает в затихающей боли. Врач был убежден, что юноша скоро поправится, а окрепнув телесно, вновь почувствует радость жизни, если только воз-

можно будет снять с его души либо облегчить бремя страсти. Гилария думала, как ему ответить; она сидела за роялем и старалась подобрать мелодию к стихам больного. Это ей не удалось, столь глубокие страдания не находили в ее чувствах отзвука, но благодаря этой попытке и рифмы и ритм до того вкрались ей в душу, что, потратив некоторое время на отделку и обработку, она ответила на стихотворение Флавио следующей строфой, полной целительной радости:

Во мраке бед успел ты заблудиться,
Но должен вновь для счастья возродиться.
Приходит утро вслед за темной ночью,
В объятьях дружбы ждет тебя награда.
Скорей вернись к благому средоточью,
Где жизнь, и свет, и верность, и отрада!

Преданный медик взял у ней послание, оно оказало действие, так как отвечал юноша уже спокойней; Гилария продолжала в том же смягчающем духе, и стало казаться, что мало-помалу тучи рассеиваются и день проясняется. Быть может, когда-нибудь нам представится счастливая возможность сделать достоянием читателя весь ход этого дивного лечения. Довольно сказать, что в таких занятиях приятно протекло некоторое время и подготавливалось уже спокойное свидание, которое врач не намерен был откладывать дольше, чем необходимо.

Между тем баронесса принялась разбирать и приводить в порядок старые бумаги, и это столь подходящее к нынешним обстоятельствам занятие чудесным образом подействовало на ее взбудораженный дух. Она окинула взглядом минувшие годы своей жизни: позади остались тяжкие страдания и опасные беды, созерцание их укрепляло мужество среди нынешних невзгод; более всего тронуло ее воспоминание о дружбе с Макарией, особенно в трудные времена. Ее внутреннему взору вновь явилось величие неповторимой женщины, и она тотчас же решила обратиться к ней и на этот раз — ибо кому еще могла она доверить свои нынешние чувства? — откровенно признаться в своих страхах и надеждах.

Разбирая бумаги, она нашла среди них миниатюрный портрет брата и не могла удержать улыбки и вздоха, увидев, как похож на него сын. В этот миг ее застала врасплох Гилария, завладела портретом — и фамильное сходство странно поразило ее.

Прошло еще немного времени, и Флавио явился с соизволения врача и под его охраной к завтраку. Обе женщины боялись первого его появления. Но нередко случается, что в решительные и даже страшные мгновения вдруг происходит что-нибудь веселое и даже смешное; то же, к счастью, вышло и тут. Сын был с головы до ног одет в отцовское платье; его собственное для употребления не годилось, поэтому прибегли к домашнему и охотничьему гардеробу майора, хранившемуся удобства ради у сестры. Баронесса улыбнулась, но тотчас же сдержалась, Гилария была задета и сама не знала чем; она отвернулась, а молодой человек не мог в этот миг ни вымолвить приветливое слово, ни составить какую-нибудь фразу. Чтобы выручить их из затруднения, врач стал сравнивать наружность отца и сына. Отец, по его словам, был выше, а потому сюртук оказался на сыне длинен, зато сын шире в плечах, и потому сюртук ему узок. По двум этим причинам маскарад выглядел несколько комически.

Но благодаря этим пустякам тягость первого мгновения прошла. Только Гиларию смущало и даже угнетало сходство между портретом отца в юности и сыном, сидевшим перед нею во плоти.

Мы бы хотели, чтобы последовавшее затем время было в подробностях описано нежною женскою рукой, ибо наша манера позволяет касаться только самого общего. Вот почему здесь надобно снова повести речь о влиянии поэтического искусства.

У нашего Флавио нельзя было отрицать известного дарования, но создать что-нибудь изрядное он мог лишь под действием страсти; вот почему почти все стихи, посвященные неотразимой вдовушке, были так превосходны и проникновенны; теперь, будучи с энтузиазмом прочитаны другою, находившеюся рядом красавице, они не могли не произвести сильнейшего впечатления.

Женщина, когда видит, как страстно любима другая, охотно смиряется с ролью наперсницы; она лелеет тайное, едва осознанное чувство, что, верно, было бы неплохо самой исподтишка возвыситься и занять место обожаемого кумира. В их беседах каждое слово получало все больше смысла и значения. Влюбленные любят сочинять диалоги в стихах, ибо в них хоть как-то могут, не нарушая скромности, заставить свою красавицу ответить то, что им хочется и чего они не ждут услышать из прекрасных уст. Такие

диалоги Флавио читал с Гиларией в лицах, и так как рукопись была одна, а чтобы вовремя начать реплику, заглядывать в нее и держать тетрадку приходилось двоим, то и выходило, что и сами они, сидя рядом, все больше приближались друг к другу, и руки их сходились, и колени естественным образом украдкой соприкасались.

Но как бы ни были прекрасны эти отношения и какие бы приятности из них ни проистекали, Флавио испытывал мучительную тревогу, которую плохо умел скрывать, и, с тоскою ожидая отцовского приезда, давал понять, что лишь отцу поведаст он самое главное. Между тем эту тайну по некотором размышлении нетрудно было разгадать. Должно быть, пленительная вдова в минуту решающего объяснения, вызванного настойчивостью юноши, наотрез отказала несчастному, уничтожив и разрушив все до тех пор упрямо питаемые им надежды. Как это происходило, мы не отважимся описать из опасения, что для такой сцены у нас не хватит юношеского пыла. Довольно сказать, Флавио был до того не в себе, что второпях покинул гарнизон, даже не испросив отпуска, и в поисках за отцом отчаянно стремился сквозь ночь, бурю и дождь в тетушкино имение, куда и явился, как мы видели недавно. Последствия такого шага он живо представил себе, только когда к нему вернулся трезвый рассудок, и поскольку отца — единственного возможного посредника — не было так долго, юноша не мог ни взять себя в руки, ни найти выхода.

Сколь же велико было поразившее его изумление, когда ему вручили письмо от полковника, чью знакомую печать он вскрыл не сразу и со страхом. В письме после самых приветливых слов было сказано, что предоставленный ему отпуск продлевается еще на месяц.

При том, что милость эта была для Флавио необъяснима, она сняла с души его груз, с некоторых пор тяготивший его большим страхом, нежели с презрением отвергнутая любовь. Только теперь он вполне почувствовал, какое счастье обрести надежный приют среди милых родственников, он мог наслаждаться присутствием Гиларии, и вскоре к нему вернулись все те приятные в обществе качества, ради которых ни прекрасная вдова, ни ее присные прежде не могли без него обходиться и которые померкли только из-за чрезмерно настойчивых домогательств ее руки.

С таким настроением уже нетрудно было дожидаться отца, тем более что стихийные события заставили их вести

весьма деятельную жизнь. Упорные дожди, не дававшие им до тех пор выйти из барского дома, вызвали повсюду, такое половодье, что реки одна за другой стали выходить из берегов; дамбы были прорваны, и вся окрестность ниже их усадьбы превратилась в сплошное озеро, из которого островами поднимались те селения, хутора и большие и малые поместья, что были расположены по холмам.

К таким происшествиям, хоть и редким, но вполне мыслимым, в доме были подготовлены; хозяйка распоряжалась, челядь исполняла приказы. Сперва было сделано самое необходимое, потом стали выпекать хлеб, забивать быков и на рыбацких лодках развозить во все концы припасы, везде оказывая помощь. Все отлично ладилось, раздаваемое от всего сердца принималось с радостью и благодарностью, только в одной общине старостам не захотели доверить распределения; Флавио взял дело на себя и в тяжело нагруженной барке благополучно и быстро добрался до места. Наш юноша просто повел это простое дело, отлично с ним справился и даже, проехав немного дальше, выполнил поручение, на прощанье данное ему Гиларией. Как раз в те дни, когда случилось бедствие, должна была разрешиться от бремени одна женщина, к которой Гилария проявляла особенное участие. Флавио разыскал роженицу и вместе с ее благодарностью и благодарностью всех окрестных жителей привез домой множество рассказов. Никто не погиб, зато было много разговоров о чудесных спасениях, о всяческих странных, забавных и даже смешных происшествиях, а описание бедственных обстоятельств оказалось весьма занимательным. Короче говоря, Гиларии вдруг неодолимо захотелось самой совершить плавание, побывать у роженицы с подарками и интересно провести несколько часов.

Веселая жажда приключений, овладевшая дочерью, в конце концов одолела сопротивление матери. Мы должны признаться, что, знакомясь с обстоятельствами поездки, испытывали некоторое волнение: хоть бы появилась какая опасность, хоть бы барка села на мель либо опрокинулась, красавица оказалась бы в смертельной опасности, юноша отважно спас бы ее и тем укрепил непрочные еще узы. Но ни о чем таком упомянуто не было, поездка прошла благополучно, роженицу нашли и одарили, присутствие врача оказало свое благое действие, а если где встречались небольшие препятствия или видимость опасности на миг смущала гребцов, то все кончалось только шутивным взаимным под-

дразливанием: каждый, мол, успел подметить, как другой смутился, изменился в лице от страха, невольным движением выдал испуг. Между тем взаимная близость возрастала, привычка все время видеться и быть рядом при любых обстоятельствах упрочивалась, а рискованное положение, когда родство и склонность как бы оправдывают сближение и постоянное пребывание вместе, становилось все более опасным.

И все, что случилось потом, завлекало их дальше и дальше по отрадному пути любви. Небо прояснилось, ударила обычная для этого времени года стужа, воды, не успев войти в берега, замерзли. Мир во мгновение изменился на глазах у всех; что было разделено хлябями, то соединила твердая почва, и тотчас же посредником общения стало прекрасное искусство, изобретенное на дальнем Севере затем, чтобы оно скрашивало первые быстролетные зимние дни и вносило новую жизнь в оцепенение природы. Кладовая была отперта, каждый стал искать коньки со своей отметкой, желая даже ценою опасности быть первым, кто ступит на ледяную равнину. Среди домочадцев было немало таких, чья сноровка доходила до чрезвычайной резвости, ибо они почти ежегодно могли предаваться этому удовольствию на соседних озерах и каналах; но в этом году поверхность катка расширилась необычайно.

Только теперь Флавио почувствовал себя выздоровевшим окончательно, а Гилария, с ранних лет упражнявшаяся под руководством дяди, показала себя на новом льду столь же изящной, сколь и выносливой; им было все веселей и веселей кататься то рядом, то поодаль, то взявшись за руки, то порознь. Разлука, от которой обычно так тяжело на сердце, становится здесь шуткой и озорством: пара разбегается лишь с тем, чтобы через миг оказаться вместе.

Но за этими весельем и радостью жил своей жизнью целый мир насущных забот; до сих пор некоторые местности были не вполне обеспечены необходимейшими товарами, их спешно развозили туда и сюда на отлично запрятанных санях, причем округа выгадала еще и в том, что продукты земледелия и сельского хозяйства можно было теперь быстро доставлять на склады в ближайшие города и селения даже из мест, расположенных вдали от прежних проезжих дорог, и столь же быстро отвозить туда всевозможные товары. Местность, сразу же избавленная от угнетавшей ее горькой

нужды, была опять всем снабжена, опять связана воедино твердой гладью, проходимой для всех ловких и смелых.

Юная чета, хотя и думала больше об удовольствиях, не забывала и о долге любви к ближнему. Они посещали роже-ницу, оделяя ее всем необходимым, навещали также и других: стариков, за чье здоровье опасались, духовных лиц, к чьим назидательным беседам привыкли издавна и чей авторитет еще больше возрос в эти дни испытаний, мелких землевладельцев, которые много лет назад смело поставили усадьбы в опасных низменных местах, а сейчас уцелели благодаря удачному расположению дамб и после перенесенного страха вдвойне радовались, что остались живы. У каждого двора, у каждого дома, у каждого семейства и даже у каждого из его членов была своя история, каждый стал для себя и для других важной персоной, и потому один рассказчик, не задумываясь, перебивал другого. Но дела и разговоры, приходы и уходы — все было в спешке, так как постоянно оставалась опасность, что внезапная оттепель разрушит счастливый круг взаимной помощи, угрожая бедствиями хозяевам, а гостей отрезав от дома.

Если день проходил в быстром движении и в увлекающих занятиях, то вечер нес с собой удовольствия другого рода; потому что катание на коньках выгодно отличается от прочих телесных упражнений тем, что тут от напряжения не разгорячаешься, а от долгого бега не устаешь. Все члены становятся гибче, силы, чем больше тратишь их, тем больше прибывают, так что в конце концов на нас нисходит некий блаженный покой в движении и манит нас без конца ему предаваться.

И наша юная пара сегодня никак не могла уйти с гладкого льда; каждая пробежка в сторону освещенного барского дома, куда собралось уже много гостей, заканчивалась неожиданным поворотом и радостным возвращением на простор; разъехаться они опасались из страха потерять партнера, а чтобы чувствовать его присутствие, приходилось держаться за руки. Но всего чудеснее было кататься, положив руку на плечо другому и машинально перебирая пальцами пряди волос.

Полная луна взошла в горящем звездами небе и окончательно зачаровала все вокруг. Они снова ясно видели друг друга, каждый привычно искал ответа в утопавших в тени глазах другого, но ответ этот казался не таким, как всегда: из бездонности сиял свет, открывая то, о чем благоразумно

молчали уста, и оба чувствовали себя привольно и торжественно.

Теперь можно было разглядеть все высокоствольные ветлы и ольхи вдоль каналов, все низкорослые кустарники по холмам и пригоркам; звезды горели, стужа крепчала, они ее не чувствовали и катились прямо по лунной дорожке на льду навстречу небесному светилу. Подняв глаза, они заметили в мерцанье отраженного света колеблющийся силуэт, темный среди сияния; словно догоняя свою тень, человек приближался к ним, им было бы неприятно с кем-нибудь повстречаться, и оба незаметно свернули в сторону, пытаясь разминуться с неизвестным, который, судя по всему, их не заметил и продолжал катиться прямой дорогой к усадьбе. Но вдруг он изменил направление и несколько раз объехал вокруг испуганной четы. Молодые люди благоразумно старались держаться спиной к свету, путник, ярко освещенный луною, ехал прямо на них и остановился так близко, что невозможно было не признать в нем отца.

Гилария, резко задержав ход, потеряла равновесие и упала наземь, Флавио в тот же миг опустился на колени и прижал к груди ее голову; она спрятала лицо, не понимая, что с ней происходит.

— Я приведу сани, там внизу как раз кто-то едет; надеюсь, она ничего себе не сломала. Здесь я и найду вас, возле этих трех ольх.— Так сказал отец и тотчас покатиł прочь.

Гилария вскочила, все еще держась за Флавио.

— Бежим,— крикнула она,— я этого не вынесу!

Она кинулась в обратную от дома сторону так быстро, что юноша не без усилий догнал ее; а догнав, стал ласково ее уговаривать.

Нельзя описать, каково было сейчас на душе у всех троих, блуждавших по залитой лунным светом ледяной равнине. Довольно сказать, что вернулись они в дом довольно поздно, молодая чета — порознь, не осмеливаясь не только что коснуться, но и приблизиться друг к другу, а отец — с пустыми санями, которые он, желая подать помощь, понапрасну гонял взад-вперед. Музыка и танцы уже начались; Гилария, выставив предлогом болезненные последствия неудачного падения, заперлась у себя в комнате, Флавио с охотой отказался от роли распорядителя танцев, представив ее молодым людям, уже исполнявшим ее в его отсутствие. Майор не показался гостям; для него было стран-

но, хотя и не совсем неожиданно, обнаружить, что в его комнате как будто живут, а его платье, белье и все принадлежности туалета разложены не так аккуратно, как он привык. Повинуясь требованиям приличия, хозяйка дома исполняла свои обязанности, но как была она рада, когда наконец разместила гостей по комнатам и получила возможность объясниться с братом. Объяснение было кратким, но нельзя было так же скоро опомниться от неожиданности, понять непредвиденное, избавиться от сомнений и утишить тревогу; нечего было и думать, что в ближайшее время узел развяжется и на душе у всех станет легко.

Читатели убедятся сами, что с этого места нашей истории нам невозможно будет наглядно изображать события, а придется лишь рассказывать и рассуждать, коль скоро мы хотим проникнуть в душу героев,— а это теперь и требуется,— и ясно представить себе их состояние.

Прежде всего мы должны сообщить, что майор с той поры, как мы потеряли его из виду, посвящал большую часть своего времени семейному соглашению и при этом, сколь ни казалось оно простым, встречал во многих случаях непредвиденные препятствия. Это и всегда нелегко — распутать застарелую путаницу и смотать из переплетенных обрывков ниток один клубок. Так как хлопотать ему приходилось во многих инстанциях перед разными лицами и ради этого часто переезжать с места на место, письма от сестры поступали к нему медленно и нерегулярно. Сперва он узнал о припадке безумия и болезни сына, потом с недоумением услышал об отпуске. Что склонность Гиларии приняла другое направление, осталось для него тайной, ибо как могла сестра сообщить ему об этом?

Получив известие о наводнении, майор ускорил поездку, однако прибыл лишь после наступления морозов, а оказавшись вблизи ледяной равнины, раздобыл коньки, кружным путем отправил в усадьбу слуг и лошадей, сам же быстро покати туда, чтобы, уже видя издали освещенные окна, увидеть светлой ночью нерадостное зрелище и впасть в тяжкий разлад с самим собой.

Если внешняя действительность противоречит нашему внутреннему убеждению, то переход к ней всегда мучителен. Почему у разлуки должно быть больше прав, чем у любви к тому, кто рядом? Но когда убеждение и действительность расходятся, образуется пропасть, погубившая уже не одно сердце. Ведь и пустая греза, покуда не рассеялась, облада-

ет неодолимой убедительностью, и только мужественные и трезвые умы возвышаются и укрепляются, обнаружив заблуждение. Такое открытие возносит их над ними самими, а вознесшись, они озирают все сверху и взамен старой, запертой для них дороги ищут новой, чтобы сейчас же бодро и мужественно пуститься по ней.

Бесчисленны облики сердечной смуты, в которую повергают нас такие мгновения, но бесчисленны и средства, которые изобретательная человеческая природа благосклонно открывает в себе самой или, если ее сил не хватает, то и за своими пределами.

К великому счастью, майор, хотя и полубезотчетно и не прилагая стараний, успел подготовить себя в глубине души к такому обороту дела. С тех пор как он распрощался с косметическим камердинером и зажил привычною жизнью, отказавшись от притязаний выглядеть молодым, он ощущал, что телесных сил и здоровья у него поубавилось. Он чувствовал, как неприятно сходить с ампула первого любовника на роль благородного отца, которую обстоятельства все больше ему навязывали. Забота о судьбе Гиларии и прочей родни всегда занимала в его помыслах первое место, и только позже развилось чувство любви, привязанности, потребность ее присутствия и близости. И, представляя себе Гиларию в своих объятиях, он думал более о счастье, которое может дать ей, чем о блаженстве обладать ею. А чтобы испытать при мысли о ней самое чистое наслаждение, он должен был вспомнить тот миг небесного блаженства, когда она призналась ему в своей склонности и так неожиданно посвятила себя ему.

Но этой светлой ночью, когда он увидел перед собой слитую воедино чету, когда любимая упала, а потом прильнула к груди юноши, когда они, пренебрегши его обещанием вернуться им на помощь, не дождались его в условленном месте и исчезли в ночи, покинув его мрачным и одиноким, — кто, испытав такое, не отчаялся бы в душе?

И вот в семействе, привыкшем жить в тесной близости и уповавшем сблизиться еще теснее, все разбрелись, огорченные и приунывшие: Гилария упрямо не выходила из своей комнаты, майор же собрался с духом и разузнал у сына все, что произошло перед тем. Причиной всех зол была коварная женская прихоть прекрасной вдовушки. Не желая уступать Флавио, бывшего дотоле страстным ее поклонником, другой красотке, имевшей на него виды, она стала вы-

казывать ему больше мнимого расположения, чем следовало. Из-за этого он, раззадорившись и осмелев, в решительных попытках достичь своей цели вышел за пределы приличия, чем вызвал пререкания и ссору, а потом и решительный разрыв, положивший конец всем отношениям.

Кротким отцам остается только сожалеть о сыновних промахах и, если они имели печальные последствия, пытаться поправить дело, а если сошли глаже, чем можно было думать, — прощать и забывать. Подумали и посоветовались немного, и Флавио тотчас же отправился в недавно приобретенные имения заместителем отца, чтобы присмотреть за ними до конца своего отпуска, а потом вернуться в полк, тем временем расквартированный в другом гарнизоне.

Несколько дней все время майора занимали письма и пакеты, накопившиеся у сестры за долгий срок его отсутствия. Вскрывая их, он обнаружил послание своего косметического приятеля, вечно молодого актера, который, узнав от вернувшегося к нему камердинера о состоянии майора и о его намерении жениться, благодушно перечислял опасности, которые следует иметь в виду при таком случае; он трактовал дело на свой лад и давал понять, что в определенном возрасте лучшее косметическое средство для мужчины — воздерживаться от прекрасного пола и наслаждаться похвальной и удобной вольностью. Майор показал листок сестре, хотя и с улыбкой и с шуткой, но все же серьезно обратив ее внимание на важность сказанного в нем. Одновременно в голове его сложилось стихотворение, которого размер и форму мы не можем припомнить, содержание же его было примечательно благодаря изяществу сравнений и прелести оборотов речи:

«Поздняя луна, чей свет пристоев ночью, бледнеет пред восходящим солнцем; любовное наваждение старости рассеивается рядом со страстной младостью; ель среди зимы кажется свежей и крепкой, а весной ее цвет темен и некрасив рядом со светлой листвою зеленеющей березы».

Однако мы не намерены восхвалять философию либо поэзию за то, что они будто бы преимущественно и помогают прийти к окончательному решению; нет, мелкое событие, подобно тому как оно имеет порой серьезнейшие последствия, может все решить, и если чаша весов колеблется, склонить их в ту или другую сторону. У майора незадолго перед тем выпал передний зуб, и была опасность потерять также второй. При нынешнем умонастроении майора нельзя

было и думать о том, чтобы прикрыть изъян искусственными зубами, а свататься с таким изъяном к молодой возлюбленной было, на его взгляд, совсем уж унижительно, особенно теперь, когда она находилась с ним под одним кровом. Немного раньше или позже такое происшествие не оказало бы никакого влияния, но сейчас наступил как раз такой момент, который всегда крайне неприятен любому человеку, привыкшему постоянно быть здоровым. Он чувствует себя так, словно его организм — это свод, из которого вынут ключевой камень и который должен постепенно обрушиться.

Как бы то ни было, уже очень скоро майор разумно и трезво беседовал с сестрой обо всей этой кажущейся путанице, и оба не могли не признать, что окольным путем пришли к цели, то есть приблизились к тому, от чего неосмотрительно отошли, введенные в соблазн случаем, внешним поводом и заблуждением неискушенного ребенка; потому они сочли наиболее естественным не уклоняться впредь с этого пути, связать детей узами брака и затем с верностью и постоянством посвящать им всю родительскую заботу, благо средства для этого уже сумели добыть. Придя к полному согласию с братом, баронесса отправилась в комнату к Гиларии. Она сидела за роялем и пела, сама себе аккомпанируя, а на приветствие вошедшей ответила веселым взглядом и кивком головы пригласила ее слушать. В красивой, умиротворяющей песне выражалось настроение певицы, лучше которого нельзя было и желать. Окончив петь, она встала и, прежде чем старшая и более разумная успела начать, заговорила сама:

— Милая матушка! Как хорошо, что мы так долго молчали о столь важных делах! Спасибо вам за то, что вы покуда не задевали этой струны. А теперь самое время объяснить-ся, если вам будет угодно. Что вы обо всем этом думаете?

Баронесса, радуясь спокойному и кроткому настроению дочери, тотчас же стала вразумительно объяснять минувшие события: описав характер брата и его заслуги, она согласилась, что на никем не занятом сердце девушки не мог не произвести впечатления единственный знакомый ей мужчина таких достоинств и что отсюда вместо детского почтения и доверия могла развиться склонность, которую легко было принять за любовь и страсть. Гилария слушала мать внимательно, знаками и выражением лица давая понять, что вполне согласна с нею; та заговорила о сыне, и дочь опустила длинные ресницы; хотя баронессе не хватило краснореч-

чия привести столь же хвалебные доводы в пользу сына, как в пользу отца, она указывала прежде всего на сходство обоих, на преимущества, которые дает сыну молодость, и на то, что, избранный супругом и спутником жизни, он со временем обещает стать совершенным воплощением отцовского образа. Судя по всему, Гилария и об этом мыслила одинаково с матерью, хотя омрачившийся и много раз потупляемый взгляд выдавал естественное в этом случае внутреннее волнение. Далее речь пошла о внешних обстоятельствах, весьма благоприятных, но налагающих известные обязательства. Завершенный раздел имущества, немалая выгода в настоящем и еще большая в будущем — все было представлено Гиларии в полном соответствии с истиной; не обошлось без намека на то, что и сама Гилария должна была помнить, — ведь она, пусть даже в шутку, с детства была помолвлена с подрастающим рядом кузенком. Из всего вышесказанного мать сделала сам собой разумеющийся вывод, что с согласия ее и дядюшки брак между молодыми людьми должен быть заключен безотлагательно.

Гилария, с полным спокойствием во взоре и в речах, возразила, что она не может тотчас же признать правильным такое заключение, и с присущим ей очарованием стала приводить противные доводы; а поскольку все нежные души, без сомнения, способны на такие же чувства, мы не возьмемся облечь эти чувства в слова.

Люди рассудительные, когда придумают разумное средство устранить затруднение либо достигнуть цели и в должном порядке изложат все мыслимые аргументы в его пользу, чувствуют себя прямо-таки оскорбленными, если те, чьему счастью они хотят содействовать, вдруг оказываются совсем другого мнения и по причинам, кроющимся в глубине их сердца, противятся столь же необходимым, сколь и похвальным советам. Речи, произнесенные каждой, не убедили другую; та, что руководствовалась разумом, не желала вникать в чувства собеседницы, та, что руководствовалась чувством, не желала покоряться соображениям пользы и необходимости. Разговор стал горяч, острый разум вонзился в сердце, и без того раненное, и оно, отбросив сдержанность, со всей страстью обнаружило свои горести, так что мать в конце концов удалилась, изумленная высотой духа и достоинством девушки столь юной, но с такой убедительной энергией настаивавшей на неуместности и даже преступности предлагаемого брака.

Читатель легко представит себе, в каком замешательстве баронесса воротилась к брату, а быть может, и почувствует, хотя бы отчасти, то же, что испытал с глазу на глаз с сестрой майор, который был в глубине души польщен и утешен столь решительным отказом и хотя не питал надежд, но ощущал себя избавленным от унижения и получившим возмещение в деле, успевшем стать для него деликатнейшим вопросом чести. Однако покамест он спрятал эти чувства от сестры, скрыв свое горестное удовлетворение словами, вполне естественными при таком случае: не следует, дескать, торопить события, надо дать милой девочке срок самой вступить на путь, который теперь самоочевидно перед нею открылся.

Нам трудно потребовать от читателя, чтобы от таких захватывающих внутренних переживаний он перешел ко внешним обстоятельствам, которые между тем приобрели важнейшее значение. Той порой как баронесса предоставила дочери свободу целыми днями с приятностью заниматься музыкой и пением, вышиванием и рисованием, а также проводить время в одиночестве или с матерью, за чтением про себя или вслух, майор озаботился тем, чтобы к наступлению весны привести семейные дела в порядок. Его сын, в будущем видевший себя богатым землевладельцем и, в чем он не сомневался, счастливым супругом Гиларии, впервые преисполнился воинским пылом и жадной славой и чинов,— на тот случай, если грозившая разразиться война действительно начнется. И среди этого наступившего покамест успокоения все с уверенностью предвидели, что необъяснимое затруднение, вызванное, судя по всему, лишь прихотью, скоро разъяснится и разрешится.

Но этот видимый покой, увы, не дал найти успокоения. Баронесса ждала со дня на день, что чувства дочери изменятся, но ждала напрасно, ибо Гилария хотя и сдержанно и редко, но решительно давала по всякому поводу понять, что твердо стоит на своем, как человек, пришедший к незыблемому внутреннему убеждению, стоит на нем независимо от того, находится ли оно в согласии с внешним миром или нет. Майор пребывал в разладе с собой: он чувствовал бы себя оскорбленным, если бы Гилария решила в пользу его сына, но не сомневался, что, буде она решит в его пользу, он должен отказаться от ее руки.

Нельзя не посочувствовать этому достойному человеку, перед которым, словно клубящийся туман, постоянно витали

эти заботы и муки и то становились фоном всех происшествий и неотложных занятий, дня, то заволакивали все находившееся рядом. Такая колеблющаяся и зыблущаяся пелена застила его духовный взор, и если настойчивый день требовал от него быть деятельным и не мешкать, то ночью, стоило ему пробудиться, все неприятное, обретая образ и ежеминутно его меняя, проносилось через его душу в безрадостном кругообороте. Неотвратимость этого вечного возврата приводила его, можно сказать, в отчаяние, так как дела и труды, обычно служащие лучшим лекарством для таких состояний, не могли не то что умиротворить его, но даже смягчить страдание.

В таком состоянии был наш друг, когда получил написанное незнакомым почерком приглашение прибыть в соседний городок на почтовую станцию, где будет спешно проезжать некто, настоятельно желающий с ним поговорить. Майор, при своих многочисленных деловых и светских знакомствах привыкший к подобным вещам, не преминул последовать приглашению, тем более что размашистый беглый почерк показался ему знакомым. Спокойный и сдержанный, как всегда, он прибыл в указанное место, и в знакомой ему, почти по-деревенски убранной горнице его встретила прекрасная вдовушка, еще красивей и милее, чем тогда, когда он с нею расстался. Потому ли, что наше воображение не способно удержать и во всех чертах воспроизвести самое прекрасное, или потому, что волнение придало ей особую прелесть, но только майору понадобилось вдвое больше самообладания, чтобы скрыть удивление и замешательство видимостью обычной вежливости; поздоровался он учтиво, но со смущением и холодностью.

— Не надо так, милый друг! — воскликнула она. — Я не для того зазвала вас сюда. В этих беленых стенах, среди этого дешевого домашнего скарба не место для светских бесед. Я сброшу с груди тяжелое бремя, если скажу, как на духу: в вашем доме я наделала много бед. — Майор отступил, оторопев, а она продолжала: — Я знаю все, нам незачем объясняться. Мне жалко вас всех: вас и Гиларию, Гиларию и Флавио, вашу любезную сестру... — Слова застряли у нее в горле, прекрасные ресницы не преграждали более путь заструившимся слезам, щеки зарумянились, она была хороша, как никогда.

В крайнем замешательстве стоял перед нею благородный майор, его сердце прониклось не изведанным прежде умилением.

— Сядем,— сказала красавица, утирая глаза.— Простите меня, пожалейте меня, вы видите, как я наказана.— Она снова поднесла вышитый платок к глазам, чтобы спрятать в нем горькие слезы.

— Объясните же наконец, милостивая государыня,— поспешил сказать майор.

— Не называйте меня милостивой государыней,— отвечала она с ангельской улыбкой,— зовите меня своим другом, ведь у вас нет друга вернее. Так вот, друг мой, я знаю все, мне в точности известно, как обстоят дела у вас в семье, я посвящена во все настроения, во все печали.

— Кто же мог сообщить вам такие подробности?

— Некие подлинные признания. Я думаю, этот почерк вам знаком.— Она показала ему пачку распечатанных писем.

— Это рука сестры! Сколько писем! И, судя по небрежности почерка, интимных. Разве между вами были отношения?

— Прямых — никогда, а косвенно мы связаны с недавнего времени. Вот адрес: к ***.

— Еще одна загадка! Письма адресованы Макарии, а кто из женщин лучше умеет молчать!

— Потому-то она и стала наперсницей и исповедницей всех, кто пал духом, кто потерял себя и хочет найти вновь, но не знает, где искать.

— Слава богу,— воскликнул майор,— что нашлась такая посредница! Мне не подобало прибегать к ней с мольбою, и я благословляю сестру за то, что она это сделала; ведь и мне известны случаи, когда эта необыкновенная женщина, как бы держа перед нравственным взором несчастного волшебное зеркало, помогала ему сквозь искаженную внешность увидеть внутреннюю красоту и впервые примириться с собой и возродиться к новой жизни.

— Она и мне оказала это благодеяние,— отозвалась прекрасная вдова.

И в тот же миг у нашего друга возникло еще не вполне отчетливое, но неодолимое ощущение, что из-под облика замечательной, но отъединенной от всех своей необычайностью женщины проступают черты другого существа, редкой нравственной красоты, участливого и щедрого на участие.

— Я не была несчастна, но не знала покоя,— продолжала она,— и, по сути, не принадлежала более сама себе, а ведь это и значит быть несчастной. Я перестала нравиться

сама себе, я могла как угодно вертеться перед зеркалом — мне все равно казалось, будто я наряжаюсь в маскарад; но она поднесла мне к глазам свое зеркало, я узнала, как можно украсить себя изнутри, — и с той минуты вновь стала казаться себе красивой.

Все это она говорила, улыбаясь и плача, и была, надо признаться, необыкновенно хороша. Казалось, она заслуживает и уважения, и неизменной преданности навеки.

— А теперь, друг мой, будем кратки. Вот письма; чтобы прочесть и перечесть их, а потом подумать и принять решение, вам наверняка понадобится час, даже больше, если вы захотите. Потом мы поговорим о наших обстоятельствах и быстро все решим.

Она оставила его и спустилась пройтись по саду, он развернул письма баронессы и ответы Макарии. Содержание переписки мы изложим лишь в общих чертах. Баронесса жалуется на прекрасную вдовушку. С очевидностью явствует, как смотрит одна женщина на другую и как резко о ней судит. Речь идет, собственно, только о внешнем — о поступках и словах, о внутреннем даже не задается вопроса.

В ответах Макарии суждение более мягко. Описание другого существа, исходящее из его внутренней сути. Внешнее представлено следствием случайностей, оно не заслуживает укоризны, быть может, заслуживает прощения. Но вот баронесса сообщает о неистовстве и умоисступлении сына, о растущей симпатии юной четы, о прибытии отца, о решительном отказе Гиларии. Отклики Макарии исполнены непредвзятой справедливости, которая коренится в убеждении, что и здесь результатом может быть нравственное совершенствование. Наконец она пересылает всю переписку красавице вдове, чья внутренняя красота теперь обнаруживается вполне, отчего и внешность ее кажется еще блистательней. Все в целом заканчивается ответным письмом к Макарии с изъявлениями благодарности.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Вильгельм — Ленардо

Наконец, любезный мой друг, я могу сказать Вам, что она найдена, и для Вашего спокойствия добавить, что нашел ее в таком положении, когда невозможно пожелать ей ничего

больше. Позвольте мне говорить в общих словах; я пишу Вам с места, здесь у меня перед глазами все, о чем я должен дать Вам отчет.

Домашний уклад, зиждущийся на благочестии, оживляемый усердием и поддерживаемый порядком; ни излишнего стеснения, ни излишнего простора, а главное — счастливое соответствие между ее обязанностями и ее силами и способностями. Вокруг нее — коловращение людей, занятых ручной работой в самом чистом, изначальном смысле слова; во всем — узость границ и широта влияния; предусмотрительность и воздержность, невинная простота и деятельное усердие. Мне редко приходилось бывать в столь приятном окружении, где виды и на ближайшее, и на отдаленное будущее так радостны. Всего этого вместе довольно, чтобы успокоить любого небезучастного наблюдателя.

Но в память обо всем, что было между нами говорено, я смею настоятельно просить вот о чем: пусть мой друг довольствуется этим общим изображением, пусть в мыслях разукрашивает его сколько угодно, но откажется от дальнейших разысканий, отдаст все силы тому жизненной важности предприятию, в которое его уже, вероятно, полностью посвятили.

Это письмо я отсылаю Герсилии, копию с него — аббату, который, я полагаю, наверняка знает, где Вы обретаетесь. Ему, испытанному другу, на которого можно равно положиться в делах тайных и явных, я напишу еще несколько строк, содержание которых он Вам сообщит; я прошу особенно внимательно отнестись к тому, что касается меня самого, и скромными, но неотступными просьбами способствовать моим планам.

Вильгельм — аббату

Если я не во всем обманываюсь, то человек столь высоких достоинств, как Ленардо, принят в вашу среду, почему я и посылаю Вам копию письма к нему, чтобы оно было наверняка ему доставлено. Как я желал бы, чтобы этот превосходный молодой человек в вашем кругу погрузился в непрестанную и весьма важную работу, — ибо я надеюсь, что душа его успокоилась.

Что до меня, то я за долгий срок успел испытать себя на деле и могу настоятельнее повторить просьбу, ранее пе-

реданную через Монтана; желание провести годы странствий с меньшим рассеянием и большим постоянством становится во мне все настойчивее. Твердо надеясь на то, что ходатайство мое удовлетворят, я ко всему подготовился и обо всем распорядился. По завершении дела, предпринятого ради моего благородного друга, я при указанном выше условии впредь смогу со спокойной душой продолжать свой жизненный путь. Совершив еще одно благочестивое паломничество, я намерен прибыть в***. Надеюсь застать там Ваши письма и, как того требует мое внутреннее влечение, начать все заново.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Отправив приведенные выше письма, наш друг пустился в дорогу и, переваливая хребет за хребтом, шел все далее, пока перед его взором не простерлась роскошная равнина, где он намерен был, прежде чем начать новую жизнь, подвести итог многому из своего прошлого. Здесь он неожиданно встретил жизнерадостного молодого попутчика, которому предстояло много способствовать и его стремлениям, и приятности путешествия.

Итак, Вильгельм оказывается в обществе живописца, одного из тех, каких немало встречается на белом свете, а еще больше бродит призраками по страницам романов и драм, но на сей раз он являл собой тип замечательного художника. Они сходятся очень быстро и поверяют друг другу свои пристрастия, намерения и замыслы; при этом обнаруживается, что художник, отличавшийся в искусстве оживлять акварельные ландшафты превосходно придуманным и великолепно нарисованным стаффажем, страстно увлечен судьбою Миньоны, ее обликом и характером. Он и прежде многократно изображал ее и сейчас пустился в путешествие затем, чтобы с натуры писать край, где она жила, нарисовать милое дитя и в отрадном, и в безотрадном окружении, в счастье и в горе, и зримо явить очам ее образ, живущий во всех нежных сердцах.

Вскоре друзья прибывают на берег большого озера, где Вильгельм намерен отыскать одно за другим все указанные ему места. Загородные дворцы и обширные монастыри, переправы и заливы, песчаные косы и причалы — всё они посещают, не пропуская ни хижин смелых и добродушных

рыбаков, ни радующих взгляд городков на берегах, ни маленьких замков на ближних высотах. И все это художник умеет схватить и с помощью освещения и колорита подчинить тому настроению, которое навеяно сюжетом, так что Вильгельм всякий день и час испытывает глубокое умиление.

На переднем плане многих листов Миньона была изображена как живая — во многом благодаря Вильгельму, чьи точные описания были подспорьем щедрому воображению художника и вводили то, что он представлял себе в общих чертах, в узкие границы индивидуального облика.

Благодаря этому изображения девочки-мальчика были весьма разнообразны и по композиции, и по содержанию. То Миньона стояла под высокими колоннами портала и задумчиво рассматривала статуи в преддверье роскошной виллы, то с плеском раскачивалась в причаленной лодке, то взбиралась на мачту, показывая себя смелым матросом.

Среди остальных выделялась одна картина, все характеристические детали которой художник успел наблюсти еще по пути к озеру, до встречи с Вильгельмом. Среди суровых гор блещет прелестью мнимый мальчик; его обступают крутые скалы, его обдают брызгами водопады, он окружен не поддающейся описанию ордой. Быть может, никогда мрачная теснина среди отвесных древних гор не оживлялась такими прелестными и полными значения фигурами: пестрый сброд, вроде цыган, вместе грубый и фантастический, странный и пошлый, слишком беспутный, чтобы испугать, слишком причудливый, чтобы внушить доверие. Крепкие вьючные лошади тащат то по высланным жердями тропам, то по выбитым в склоне ступеням тюки пестрого хлама и болтающиеся поверх них инструменты, потребные для оглушительной музыки и от времени до времени терзающие слух грубым ревом; и среди всего этого — миловидный ребенок, погруженный в себя, но не замкнувшийся упрямо, уводимый против воли, но не влекомый насильно. Кому не понравилась бы столь замечательная по исполнению картина? С какой характеристической силой была передана угрюмость тесно стоящих скал, чернота прорезающих горы теснин, которые грозили бы закрыть всякий выход, если бы смело переброшенный мост не указывал на возможность сообщаться с остальным миром. Чувство правды — лучший творец мудрых вымыслов — побудило художника показать и пещеру, которую можно было бы признать и природной мастерской мощных

кристаллов, и убежищем страшного выводка сказочных драконов.

С трепетом благоговения заглянули друзья во дворец маркиза; старец еще не вернулся из путешествия, но и в этой округе их приняли радушно и обращались с ними хорошо, так как они умели ладить с духовными и светскими властями.

Отсутствие хозяина дома обрадовало Вильгельма, который хотя и с охотой повидал бы достойного человека и от всей души приветствовал бы его, тем не менее опасался, как бы его щедрая благодарность не навязала вознаграждения за верность и любовь, уже оплаченные самой нежною платой.

Так друзья плавали в стройном челне от берега к берегу, бороздя озеро по всем направлениям. В прекраснейшее время года они не пропустили ни единого восхода и заката, ни единого из бесчисленных оттенков, которыми солнце щедро одаряет небесную твердь, а через ее посредство — озеро и берег и лишь в этом отблеске до конца являет свое величие.

Пышная растительность, насажденная природой, ухоженная и взлелеянная искусством, окружала их. Раньше их приветливо манили первые встреченные ими рощи каштанов, теперь, расположившись под кипарисами, они не могли без грустной улыбки смотреть на побеги лавра, на алеющие гранаты, на распутившийся цвет померанцев и лимонов и одновременно пылающие в их темной листве плоды.

Благодаря новому товарищу для Вильгельма открылось еще одно наслаждение. Наш старый друг не был от природы наделен глазом живописца. Восприимчивый к видимой красоте, лишь когда она воплощалась в человеческом облике, он вдруг заметил, что одинаково с ним чувствующий, но воспитанный для других трудов и наслаждений друг открыл ему внешний мир.

В каждом разговоре Вильгельму указывали на непрестанно сменяющиеся красоты здешних мест, он видел их концентрированное воспроизведение, — и глаза у него раскрылись, упрямо питаемые сомнения рассеялись. Изображения итальянских красот всегда были ему подозрительны: небо казалось слишком синим, сиреневый оттенок чарующих далей — хотя и приятным, но неправдоподобным, свежее разнообразие зелени — слишком пестрым; теперь, слившись душой с новым другом, Вильгельм со свойственной ему восприимчивостью научился видеть мир его глазами, и, между

тем как природа раскрывала зримую тайну своей красоты, нельзя было не испытывать неодолимого стремления к искусству — достойнейшему ее истолкователю.

Неожиданно у друга-живописца обнаружилось еще одно свойство, приятное Вильгельму: нередко и раньше он запевал веселую песню, оживляя этим задушевным сопровождением тихие часы разездов по озеру. Но вот случилось так, что в одном из дворцов ему попался необычайный струнный инструмент — лютня малого размера, с сильным и полным звуком, удобная и легкая для ношения; художник сумел тотчас же ее настроить, с успехом ею овладеть и доставить всем присутствующим такое удовольствие, что ему, словно новому Орфею, удалось смягчить всегда сухого и угрюмого кастиеляна, который вынужден был уступить ему лютню во временное пользование, с условием, чтобы певец перед отъездом непременно возвратил ее, а до того заглядывал во дворец по воскресным и праздничным дням порадовать семейство музыкой.

Теперь и озеро и берег словно ожили для них: лодки и челноки ластились и льнули к ним, даже грузовые и купеческие суда задерживали рядом с ними ход, люди рядами выстраивались на берегу и веселой толпой окружали их, едва они причаливали, а при отплытии все благословляли их, довольные, но уже тоскуя по отъезжающим.

В конце концов любой сторонний наблюдатель мог бы заметить, что миссия обоих друзей выполнена: все напоминавшие о Миньоне места и ландшафты были зарисованы, частью, как принято, в красках, со светотенью, частью, как они подлинно выглядели в жаркие полуденные часы. Ради этого им пришлось особым образом передвигаться с места на место, так как весьма часто помехой им становился Вильгельмов обет, который, впрочем, они сумели обойти, истолковав его таким образом, что он, мол, действителен на суше, а на воде неприменим.

Вильгельм и сам чувствовал, что главная их цель достигнута, но не мог скрыть от себя и другое: чтобы со спокойной душой уехать из этих мест, надо увидеть Гиларию с прекрасной вдовой, и тогда все желания будут удовлетворены. Его другу, которому он поведал их историю, было так же любопытно поглядеть на столь привлекательных особ, он радовался тому, что на одном из его рисунков лучшее место оставлено пустым и может быть искусно украшено их фигурами.

И вот они вновь стали развезжать по озеру, наблюдая за теми местами, которые непременно посещаются заезжими гостями этих райских краев. Лодочникам они сообщили о том, что надеются повстречаться с друзьями, а недолго спустя увидели скользящий по воде роскошно убранный корабль, за которым принялись охотиться и, не сдержав нетерпеливого желания, взяли его на abordаж. Дамы, несколько задетые, сразу же пришли в себя, едва Вильгельм предъявил им листок и они без колебаний узнали нарисованную ими же стрелу. Друзья тотчас же были приглашены взойти к ним на корабль и исполнили это без промедлений.

Пусть читатель представит себе теперь, как они вчетвером сидят друг против друга в изысканно убранной каюте, как мир вокруг них полон блаженства, как мягкие ветерки овеивают, а блистающие волны покачивают их. Пусть вообразит себе обеих женщин такими, какими мы их недавно нарисовали, и обоих мужчин, с которыми мы уже делим их странническую жизнь несколько недель, и после недолгого размышления поймет, что положение их весьма приятно, хотя и опасно.

Для тех троих, что вольно или невольно примкнули к числу Отрекающихся, не приходится опасаться самого тяжело; но и четвертому предстояло вскоре увидеть себя вступившим в тот же орден.

Еще несколько раз объехав озеро и показав дамам самые примечательные местности как на берегу, так и на островах, друзья остановили корабль против того пункта, где предстояло провести ночь и где нанятый на это путешествие проводник сумел обеспечить все желательные удобства. Здесь Вильгельмов обет распорядился как благопристойный, но назойливый церемониймейстер, ибо как раз здесь друзья недавно провели три дня и исчерпали все достопримечательности в окрестностях. Художник, не связанный обетом, хотел испросить разрешения проводить дам на берег, но они отклонили просьбу, и все четверо расстались в некотором отдалении от пристани.

Певец, едва спрыгнул в свою лодку, поспешно отплывавшую прочь от берега, взялся за лютню и нежно затянул тот дивно-печальный напев, которым венецианские лодочники с моря оглашают сушу и с суши — море. По мере того как расстояние росло, художник все усиливал звук, так что стоявшим на берегу казалось, будто они слышат отплываю-

шего все так же близко; и если он и раньше понаторел в такой манере пения, то сейчас оно звучало особенно нежно и трогательно. Потом он отложил лютню, полагаясь лишь на свой голос, и с удовольствием увидел, что дамы, вместо того чтобы уйти в дом, предпочли задержаться на берегу. Он так воодушевился, что не мог кончить даже тогда, когда ночь и расстояние скрыли от глаз все предметы,— покуда не столь взволнованный друг не указал ему, что хотя темнота и благоприятствует звукам, но лодка давно уже покинула тот круг, в пределах которого можно их услышать.

Как и было условлено, на следующий день встретились также посреди озера. На лету влюблялись они в те ландшафты, которые здесь то простираются прекрасной чередой, обозримые одним взглядом, то оттесняют друг друга и, удвоенные отражениями в воде, услаждают разнообразием всех плывущих вдоль берегов. При этом их искусные произведения на бумаге позволяли воображать и угадывать то, чего в сегодняшней поездке нельзя было увидеть воочию. И ко всему этому тихая Гилария обнаруживала тонкое чутье и непредвзятый вкус.

Но около полудня опять начались чудеса: дамы высадились на берег одни, мужчины крейсировали в виду пристани. И тут певец постарался избрать манеру пения, наиболее подходящую при таком малом расстоянии, на котором, как можно было надеяться, произведут впечатление не одни только мягкие и выразительные переливы голоса, но и его веселая всепокоряющая прелесть. Сами собой просились у него на уста и на струны те песни, которыми мы обязаны любимым персонажам «Годов учения», но он сдерживался из благородной деликатности, в которой и сам нуждался; его мечты уносились прочь, к другим образам и чувствам, отчего весьма выиграло исполнение, так как песня еще вкрадчивее заставляла слушать себя. Друзья, таким образом взяв пристань в блокаду, не вспомнили бы о еде и питье, если бы предусмотрительные приятельницы не отправили им всяких лакомств, с которыми особенно вкусно было пить присланные заодно отборные вина.

Всякая разлука, всякое ограничение, преграждая путь нашей зарождающейся страсти, не заглушает ее, но усиливает; так и сейчас можно было предполагать, что короткое разобщение вызовет с обеих сторон одинаковую взаимную тягу. И на самом деле! Скоро дамы подъехали к друзьям в своей ослепительно яркой гондоле,

Слово «гондола» здесь не следует понимать в погребальном венецианском смысле, — так называли мы удобное, приятно-жизнерадостное судно, которое было бы достаточно просторно, даже если бы маленький кружок удвоился.

Так странно, среди встреч и прощаний, то вместе, то в разлуке, провели они несколько дней; наслаждаясь радостью общения, взволнованная душа каждого видела маячившую впереди необходимость расстаться и тосковать друг без друга. В присутствии новых друзей они воскрешали образы старых, а когда и новых не было рядом, то приходилось признать, что они тоже сумели приобрести немалые права на память о себе. Только такая испытанная, владеющая собой душа, как у нашей прекрасной вдовы, могла не утрачивать равновесия в подобные часы.

Сердце Гиларии было ранено слишком недавно и не способно воспринять чистое новое впечатление; но если нас окружает исцеляющая прелесть дивных мест, если на нас действует ласковость чувствительных друзей, то с нашим духом и чувствами происходит странная метаморфоза: минувшее и далекое воскресает в нас, подобно сновидению, а настоящее, словно наважденье, призрачно отдалается. Так, попеременно колеблемые между влечением и отталкиванием, между свиданием и разлукой, день за днем носились они по волнам.

Хитрый, многоопытный проводник, хотя и не вдавался в оценку этих отношений, заметил, однако, что прежде спокойное поведение героинь этого рассказа изменилось, а когда ему наконец стала ясна причуда, вызывавшая такое положение вещей, он сумел и тут все устроить к общему удовольствию. Ибо когда дам собирались снова отвезти в то место, где для них накрывали стол, к ним навстречу приблизился пышно убранный корабль и, став борт к борту с их судном, заманчиво явил их взорам прекрасно сервированный стол со всеми прелестями праздничного угощения; так могли они несколько часов кряду провести вместе, и только ночь принудила их к обычной разлуке.

К счастью, мужчины во время прежних своих поездок, из капризного пристрастия к естественному, пренебрегли высадкой на самый разукрашенный из островов, да и теперь никак не собирались показывать приятельницам его искусственные красоты, бывшие к тому же не в лучшей сохранности, прежде чем полностью исчерпается великолепие природных декораций. Но тут вдруг их осенила новая мысль,

С проводником доверительно побеседовали, и он сумел тот же час ускорить поездку, которую они все почитали верхом блаженства. Ведь теперь они вправе были ждать и надеяться, что после стольких прерываемых радостей проведут целых три райских дня вместе на малом и замкнутом пространстве.

Здесь нам следует воздать особую хвалу проводнику; он принадлежал к числу подвижных и деятельно-ловких особ, которые, сопровождая множество господ, многократно повторили одни и те же маршруты, точно узнали все их удобства и неудобства и научились пользоваться первыми, а вторых избегать; не пренебрегая собственной выгодой, они умеют сделать путешествие своих патронов менее разорительным и более приятным, чем ежели бы те разъезжали самостоятельно.

В эту же пору прислуживавшая дамам женщина впервые показала все свое проворство и трудолюбие, и прекрасная вдовушка могла поставить условие, чтобы двое друзей остановились у нее и довольствовались ее пезатейливым гостеприимством. И здесь все сложилось самым благоприятным образом: умный посредник при нынешнем случае, как и раньше, сумел так умно использовать рекомендательные и кредитивные письма дам, что барский дом и сад, равно как и кухню, предоставили, ввиду отсутствия хозяев, в их полное распоряжение, были даже надежды воспользоваться погребом. Все так сходило одно к одному, что путешественники с первого мига должны были почувствовать себя как дома, словно прирожденные владельцы этого райского уголка.

На остров немедленно доставили поклажу всех четверых, благодаря чему общество выиграло в удобствах, наибольшая же выгода состояла в том, что все папки превосходного художника были собраны наконец вместе, а это давало ему возможность воочию показать красавицам весь пройденный им путь. Работа его была принята с восхищением. Не в пример тому, как обыкновенно превозносят друг друга художник и любитель, здесь замечательному человеку воздали прочувствованную и проникательную хвалу. Но, не желая навлечь подозрения, будто мы подсовываем доверчивому читателю общие фразы взамен того, чего не можем показать наглядно, приведем здесь суждение знатока, несколько лет снустя с восхищением рассматривавшего как упомянутые, так и подобные им работы.

«Хорошо удается ему радостный покой тихих озерных ландшафтов, где приветливые прибрежные домики, отражаясь в светлой влаге, словно бы окунаются в нее; берега, окруженные зелеными холмами, за которыми высятся лесистые нагорья и льдистые вечные снега. Колорит этих видов приятно-светлый, жизнерадостный; дали как будто залиты смягчающей дымкой, туманно-серая пелена которой поднимается из прорытых потоками ущелий и долин и указывает все их извивы. Не менее достохвально искусство мастера в изображении долин у подножий хребта, где ввысь поднимаются густо заросшие горные склоны, а среди скал потоки быстро несут свои свежие струи.

Рисуя на переднем плане широко-тенистые деревья, он превосходно умеет передать отличительные признаки различных пород как во всем облике дерева, так и в расположении ветвей, и в листве, чья свежая зелень написана с таким многообразием оттенков, что так и кажется, будто ее колеблет нежное дыхание тихих ветерков, отчего зыблются и блики света.

На среднем плане живой зеленый тон постепенно тускнеет и на дальних вершинах гор, смешиваясь с синевой небес, становится чуть фиолетовым. Но лучше всего нашему художнику удаются изображения альпийских нагорий, — их простого и молчаливого величия, шири лугов по склонам, покрытых травяным ковром, из которого вырастают разрозненные темные ели, пенящихся ручьев, ниспадающих со скалистой кручи. Когда же он рисует пасущихся на лугах коров либо навьюченных лошадей или мулов на выющихся вокруг скал тропах — все это написано и хорошо и умно, ибо стаффаж расположен к месту и не слишком обилен, так что, украшая и оживляя картину, он не нарушает и даже не умаляет впечатления тишины и пустынности. Все исполнено легко, немногими уверенными ударами кисти, и вместе с тем законченно, что свидетельствует о смелой руке мастера. Так как он писал английскими стойкими красками по бумаге, то благодаря их блеску преобладающий колорит — светлый, жизнерадостный, но при этом насыщенный и сочный.

Изображения скалистых теснин, где кругом — только голый камень, а в бездонной глубине под смело переброшенным мостом бушует бешеный поток, не радуют глаз, как предыдущие, зато захватывают правдивостью, и мы восхищаемся тем, как велико воздействие целого и какими

малыми средствами оно достигнуто, ибо все, что есть там, — это немногие основные линии и цветовые поля.

С такой же характеристической достоверностью умеет он изображать высокогорные местности, где не встретишь уже ни дерева, ни куста, где только залитые солнцем поляны между скалистыми зубцами и снегами вершин покрыты нежной травкой. Сколь ни красив и ни заманчив свежий зеленый цвет полян, художник рассудительно избегает оживлять их пасущимися стадами, ибо эти места дают пропитание только горным козлам да опасный заработок — вольным косцам».

Мы не уклонимся от нашего намерения как можно ближе познакомить читателя с этими необжитыми местами, если кратко объясним вышеприведенное выражение — «вольные косцы». Так называют беднейших горцев, которые на свой страх заготавливают сено на тех лугах, что совершенно недоступны для скота. Для этого они, надевши обувь с крючьями, карабкаются на самые крутые, опасные утесы или же, в случае необходимости, спускаются на вышесказанные луга по веревке с высоких обрывов. Накосив травы и насушив сена, они сбрасывают его сверху на дно долин, там снова его собирают и продают скотовладельцам, которые охотно покупают такое сено ради его отменных свойств.

Картины нашего художника всякого увлекли бы и всем пришлось по душе, но с особым вниманием всматривалась в них Гилария, и из ее замечаний явствовало, что и ей не чуждо искусство живописи; менее всего это могло укрыться от самого их создателя, который ни с чьей стороны так не желал признания, как со стороны прелестнейшей из женщин. Поэтому и старшая из подруг не смолчала и упрекнула Гиларию за то, что она и сейчас, как всегда, медлит показать свое умение: ведь дело не в том, похвалят ее или нет, а в том, чтобы поучиться, к чему лучшей возможности может не представиться.

Только теперь, когда Гиларию заставили показать ее листы, выяснилось, какое дарование таит в себе это тихое, хрупкое существо, чьи врожденные способности развило прилежное упражнение. У нее был верный глаз и аккуратная рука — то свойство, что позволяет женщинам даже в их шитье и вышиванье подниматься до вершин искусства, Прав-

да, заметна была неуверенность линий и от этого — недостаточная характерность отдельных предметов, но нельзя было не восхититься тщательностью проработки рисунка; целое же не всегда было схвачено с самой выгодной точки зрения и искусно скомпоновано. Кажется, она боится, что, изобразив предмет хоть чуть-чуть неточно, совершит святотатство, а потому робеет перед ним и теряется в деталях.

Но сейчас она чувствует, что большой и свободный талант художника вливает в нее силы, пробуждает еще не до конца проснувшиеся в ней чувство и вкус; ей становится ясно, что нужно только быть смелее, нужно неуклонно и решительно следовать немногим правилам, которые с дружеской настойчивостью часто внушает ей художник. Постепенно линия становится уверенней, Гилария научается жертвовать частностями ради целого, и вот неожиданно прекрасные способности раскрываются и обнаруживают себя в высоком совершенстве: так бутон розы, мимо которого мы только вчера вечером прошли, не взглянув, сегодня с восходом распускается у нас на глазах, и нам кажется, будто мы воочию видим живой трепет, которым великолепный цветок приветствует новый день.

Это эстетическое совершенствование не замедлило оказать и нравственное влияние, ибо на чистую душу магически действует глубокая благодарность тому, кому она обязана важными уроками. То было первое радостное чувство, за долгое время возникшее в сердце Гиларии. Целыми днями видеть перед собой великолепие мира — и вдруг почувствовать, что тебе дали в дар искусство изображать его во всем совершенстве! Какое блаженство — благодаря линиям и краскам приблизиться к невыразимому! Она чувствовала себя ошеломленной новым приливом молодости и не могла отказать в особой симпатии тому, кому была обязана таким счастьем.

Так они сидели рядом, и нельзя было определить, кто из двоих ревностней: он ли — в стремлении обучить ее всем совершенствам живописи, она ли — в стремлении постичь и применить к делу его уроки. Возникло счастливое соперничество, какое редко бывает между наставником и учеником. Часто казалось, что друг готов вмешаться в ее рисунок, добавив решающую черту, но она мягко отстраняла его и спешила сама сделать желаемое и необходимое, — причем всегда ему на удивление.

Наступил последний вечер, полная луна светила так ярко, что переход от дня к ночи остался незаметен. Общество

расположилось на одной из верхних террас, откуда хотя и не во всю длину, но во всю ширину было видно озеро, озаренное луной и всей гладью отражавшее ее свет.

О чем бы ни говорилось при этих обстоятельствах, беседа все же не могла миновать того, что тысячу раз было уже сказано о достоинствах здешнего неба, здешних вод и земли, на которую солнце действует с большей силой, а луна — с большей мягкостью. И весь разговор превращался в лирическое их восхваление.

Но ни один из них не признался бы другим и едва сознавался себе в той глубокой грусти, которая волновала все сердца, сильнее или слабее, но одинаково искренне и нежно. Предчувствие разлуки овладевало всеми, постепенно воцарившееся молчание грозило стать тягостным.

Но тут преисполнился мужества и решимости певец, он взял на лютне несколько громких вступительных аккордов, забыв о прежней благоразумной деликатности. Перед ним витал прекрасный образ Миньоны, ему слышалась ее первая песня. В страстном порыве преступая все пределы, он извлек из полнозвучных струн еще один тоскливый аккорд и начал петь:

Ты знаешь край лимонных рощ в цвету,
Где пурпур королька...

Потрясенная Гилария встала и удалилась, опустив на чело покрывало; прекрасная вдова протянула к певцу руку, чтобы остановить его, а другой схватила руку Вильгельма. До глубины души смущенный юноша последовал за Гиларией, Вильгельм повлек за ними более благоразумную подругу. И вот они стояли все четвером, и охватившего всех волнения уже нельзя было скрыть. Женщины бросились друг другу в объятия, мужчины обхватили друг друга за плечи, и Диана стала свидетельницей самых благородных и чистых слез. Опомнились друзья не скоро, они разомкнули объятия, молчаливые, обуреваемые странными чувствами и желаниями, среди которых уже не было места надежде. Под этим светлым небом, в этот торжественный и прекрасный час наш художник, которого друг уводил с собой прочь, почувствовал себя посвященным во все горести первой ступени Отречения, испытание коими остальные уже выдержали, но теперь чувствовали себя в опасности вновь ему подвергнуться.

Лишь поздней ночью молодые люди отправились на покой, а в должное время проснувшись рано поутру, собра-

лись с духом и почувствовали в себе довольно сил, чтобы расстаться с этим раем, хотя оба строили всяческие планы, как бы, не нарушая долга, исхитриться побыть еще в приятной близости от подруг.

Но только лишь они вознамерились приступить к своим предложениям к дамам, как их ошеломили известием, что те отплыли еще на рассвете. Письмо, написанное рукою нашей повелительницы сердец, сообщило им подробности. Нельзя было решить, чего в нем больше: здравого смысла или доброты, сердечной склонности или дружбы, признания заслуг или невысказанного, стыдливого предубеждения. К сожалению, в конце письма было высказано строжайшее требование не гнаться за подругами и не искать их, а при случайной встрече неукоснительно от нее уклоняться.

И тут, словно от прикосновения волшебного жезла, рай мгновенно превратился для наших друзей в пустыню; они сами бы наверняка улыбнулись, если бы в этот миг им стала ясна их собственная несправедливость и неблагодарность по отношению к дивным красотам этих мест. Самый злостный эгоист и ипохондрик не стал бы так едко и угрюмо бранить и обличать ветшание построек, запущенность стен, выветривание башен, траву, проросшую по всем переходам, засыхающие деревья, мох и плесень в искусственных гротах и другие признаки запустения. Потом они, насколько удалось, овладели собой. Художник тщательно уложил свои работы, оба сели в лодку, Вильгельм проводил друга до высокого берега, откуда тот по предварительному уговору должен был направить путь к Наталии, чтобы его прекрасные пейзажи перенесли ее в те места, куда ей, быть может, не суждено было так скоро попасть. Притом Вильгельм разрешил ему откровенно рассказать обо всем, что с ним неожиданно произошло, а это давало ему возможность встретить в среде Отрекающихся самый радушный прием и быть если не исцеленным, то утешенным их дружелюбием.

Ленардо — Вильгельму

Ваше письмо, любезный друг, застало меня до того занятым, что я бы мог назвать мою деятельность суматошной, не будь её цель так величава, а успех обеспечен. То, что я вошел в связь с Вашими сотоварищами, оказалось для обеих сторон важнее, чем они могли предполагать. Об этом я не берусь писать, потому что тут незамедлительно выясняется,

сколь необозримо целое и неизъяснимо сцепление частей. Отныне пусть будет нашим девизом: «Дело, а не слова». Большое Вам спасибо за известие, хотя бы издали и отчасти приоткрывающее пленительную тайну; я радуюсь простому счастью доброй девушки, тем более что меня несет вихрь сложнейших дел; правда, путеводная звезда все же светит мне. Аббат берет на себя труд известить Вас подробнее, я же должен помнить только о том, что помогает делу, а оно уже рассеет томления и тоску. Я с Вами — и ни слова более. Если работы много, рассуждать некогда.

Аббат — Вильгельму

Еще немного — и Ваше отправленное с лучшими намерениями письмо вопреки им принесло бы нам величайший вред. Ваше описание найденной девушки полно такого задушевного очарования, что ради ее немедленных поисков наш сумасбродный друг, верно, забросил бы все и вся, если бы наши, отныне общие, планы не были столь большими и далеко идущими. Однако он выдержал испытание, подтвердив, что полностью проникся важностью нашего дела, которое его и увлекло, и отвлекло от всего постороннего.

Эти завязавшиеся недавно и лишь благодаря Вам отношения оказались, при ближайшем рассмотрении, столь выгодны обеим сторонам, что мы на такое и не рассчитывали.

Дело в том, что совсем недавно появился проект провести канал через ту обделенную природой местность, где находится часть владений, которую дядюшка уступает ему; канал проходит и через принадлежащие нам земли, благодаря чему, если мы войдем в союз, цена их неизмеримо возрастет.

При этом получает простор главная его страсть — начинать все сначала. По обе стороны названного водного пути найдется вдоволь невозделанных и необитаемых земель, где можно поселиться пряхам и ткачихам, а каменщикам, плотникам и кузнецам — построить для них и для себя небольшие мастерские; все может быть создано и оборудовано ими самими, мы же возьмем на себя решение более сложных задач и сумеем способствовать росту производительной деятельности.

Ближайшая задача, предстоящая нашему другу, такова. С гор до нас доходят бесконечные жалобы на растущую не-

хватку продовольствия; должно быть, те края изрядно перенаселены. Там следует присмотреться к людям и обстоятельствам и по здравой оценке увлечь в наш поход самых деятельных, способных принести пользу и себе и другим.

Далее могу сообщить вам о Лотарио, что у него уже дело подходит к концу. Он съездил к педагогам, чтобы попросить у них способных художников, хотя и в небольшом числе. Искусства суть соль земли, ибо для ремесла они то же самое, что соль для пищи. Мы берем от искусства не больше того, сколько нужно, чтобы ремесло не выродилось и не стало пошлым.

Вообще постоянная связь с этим воспитательным заведением будет для нас впредь весьма полезна и необходима. Наш долг — действовать, думать об образовании нам некогда; но первейшая наша обязанность — привлекать к делу людей образованных.

По этому поводу напрашивается тысяча всяческих сообщений. Позвольте же мне, по нашему старому обычаю, сделать общее замечание в связи с одним местом из Вашего письма к Ленардо. Мы не хотим лишать домашнее благочестие подобающей хвалы: ведь на нем зиждется добропорядочность каждого, и в конечном счете оно может быть основой прочности и достоинства целого; но теперь его одного мало, мы должны выработать для себя понятие всемирного благочестия, распространить на всю практическую сферу наши истинно человеческие воззрения и не только содействовать нашим ближним, но и объять все человечество.

Что до Вашего ходатайства, то сообщаю Вам следующее: Монтан своевременно передал его нам. Этот чудак ни за что не желал объяснить, в чем состоит Ваше намерение, однако дал слово друга, что оно вполне разумно и в случае успеха Вы принесете большую пользу товариществу. Поэтому и Вам прощается, что Вы делаете из него в письме тайну. Одним словом, Вы освобождаетесь от всех ограничений; это известие давно пришло бы к Вам, знай мы, где Вы находитесь. От имени всех повторяю Вам: Ваша цель, хотя Вы и умалчиваете о ней, одобрена ради нашего доверия к Монтану и к Вам. Путешествуйте, останавливайтесь, меняйте места или оставайтесь на месте! Что Вам удастся, то и хорошо; желаем только, чтобы Вы стали необходимейшим звеном нашей цепи.

В заключение прилагаю табличку, из которой Вам станет известен передвижной центр наших взаимных сообщений.

Из нее Вы с очевидностью поймете, куда Вам следует посылать письма в то или другое время года; лучше для нас, если Вы сделаете это через курьеров, которых мы укажем Вам в разных местах и в достаточном числе. Точно так же особые пометы покажут, где Вам искать того или иного из наших сочленов.

ОТСТУПЛЕНИЕ

Здесь мы вынуждены предупредить читателя о том, что пропускаем несколько лет и, буде у нас оказалась бы возможность увязать это с типографическим исполнением книги, предпочли бы закончить на этом месте том.

Однако и пробела между двумя главами будет довольно, чтобы перенестись через этот восбращаемый промежуток времени; ведь привыкли же мы издавна к тому, что такая же вещь происходит между спуском и подъемом занавеса, куда мы сидим в креслах.

В этой второй книге мы видели, как сильно возросли связи наших старых друзей, и приобрели новые знакомства; виды на будущее таковы, что каждый, можно надеяться, получит то, чего желает, если только не заблудится в жизни. Итак, повременим немного — и мы снова встретим их одного за другим на проторенных и непроторенных дорогах жизни, где их пути сплетаются и вновь расходятся.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Если мы задумаем вновь отыскать нашего друга, с некоторого времени предоставленного самому себе, то застанем его входящим со стороны равнины в Педагогическую провинцию. Он идет через луга и нивы, через сухие пастбища в обход небольших озер, он видит поросшие больше кустарником, чем лесом, пригорки и свободно может обозреть почти не всхолмленную местность. Оказавшись на этих тропах, он более не сомневался, что находится в краю коневодства, и вскоре увидел там и сям благородных кобылиц и жеребцов разного возраста, собранных в большие и малые табуны.

Но тут внезапно горизонт заволакивается страшным облаком пыли; надвигаясь ближе и ближе, оно застит пространство, пока наконец, разогнанное сильным боковым ветром, не обнаруживает, какое бурное движение скрыто в нем.

Сплошной массой несутся благородные животные, верховые пастухи не дают им разбежаться врассыпную, направляют летящий размашистым галопом табун; чудовищный вал, теснясь, пронесется мимо странника, один из сопровождающих, красивый мальчик, с удивлением на него смотрит, осаживает скакуна, спешивается и обнимает отца.

Начинаются расспросы и рассказы; сын повествует о том, что в начале испытательного срока немало натерпелся и, скитаясь по полям и лугам пешком, жалел о своем коне, что тихая и многотрудная жизнь земледельца, как он и объявлял заранее, оказалась не по нему; правда, праздник жатвы понравился ему очень, пахота и сев — меньше, а перепашка, скапывание и ожидание совсем не понравились; за необходимым и полезным скотом он хотя и ходил, но не слишком усердно и без всякого удовольствия, пока наконец его не произвели в кавалеристы, — а это дело более живое. Правда, стеречь кобыл и жеребят бывает порою скучновато, зато когда видишь какого-нибудь игривого конька, которого года через три-четыре можно будет, пожалуй, отлично взять под седло, — это совсем не то, что возиться с телятами да поросятами, у которых смысл жизни — откормиться, разжиреть, а потом быть сбытыми с рук.

Отец мог быть доволен здоровым видом сына, выросшего и ставшего уже почти юношей, и его вольной и веселой, если не сказать остроумной, беседой. Они теперь ехали ескачъ вслед за бегущим табуном, мимо разрозненных просторных хуторов, к тому городку или селению, где на праздник имела быть большая ярмарка. Там кишела невообразимая сумятица, и нельзя было понять, кто поднимает больше пыли — покупщики или товар. Сюда сходятся со всех сторон, чтобы обзавестись заботливо выращенными конями хороших кровей. Здесь услышишь, кажется, все наречия земли. Тут же раздается оглушительный рев самых громких духовых инструментов, и все полно движения, силы и жизни.

И вот наш странник снова встречается с давешним, уже знакомым ему, надзирателем, который вместе с дельными сотоварищами тихо и незаметно, но умело поддерживает порядок и послушание. Вильгельм, усмотрев еще один пример сосредоточения на одном роде занятий и подумав, что такое жизненное направление, при всей его широте, весьма ограничено, хочет узнать, в чем еще упражняют воспитанников, чтобы юноша, занимаясь таким диким, грубым делом, как выкармливание и выращивание скота, сам не одичал до

скотского состояния. И ему особенно приятно услышать, что с этим требующим силы и на вид грубым предназначением сочетается другое, самое тонкое на свете: изучение языков ради живого овладения ими.

В этот миг Вильгельм, хватившись, не обнаружил рядом сына; через просветы в толпе он увидел, что Феликс азартно торгуется и рядится из-за какой-то мелочи с молодым лоточником. Через некоторое время он совсем потерял мальчика из виду. Надзиратель осведомился о причине его тревоги и рассеянности, а когда узнал, что он волнуется о сыне, сказал, успокаивая отца:

— Не тревожьтесь, он не может потеряться; а теперь посмотрите, каким способом мы не даем ученикам разбредиться.— Он пронзительно свистнул в свистулку, которая висела у него на груди; в тот же миг ему ответила со всех сторон дюжина таких же свистков. Надзиратель продолжал: — Покуда довольно; это только знак, что надзиратель рядом и хочет примерно знать, сколько человек его слышат. На второй свисток они не откликаются, но должны изготовиться, по третьему бросаются ко мне, перед этим откликнувшись. Впрочем, таких сигналов есть множество, и польза от них немалая.

Внезапно вокруг стало просторнее,— теперь можно было прогуляться в сторону ближних гор и поговорить на свободе.

— Ввести изучение языков,— продолжал надзирающий,— нас побудило то обстоятельство, что у нас собирается молодежь из всех стран мира. Чтобы оберечься от частого на чужбине явления, когда земляки объединяются и, обособившись от других племен, образуют свою факцию, мы стараемся, чтобы воспитанники свободно общались на многих языках и через это взаимно сближались.

Но еще необходимее всеобщее упражнение в языках ради ярмарок вроде этой, где каждый пришелец хочет найти собеседника, понимающего его выговор и выражения, чтобы с удобством торговаться и заключать сделки. А чтобы не получилось вавилонского столпотворения и все не пошло бы прахом, у нас по месяцу в год говорят на каком-нибудь одном языке, в соответствии с правилом, что нельзя ничему выучиться вне той стихии, которую надобно одолеть. Ведь мы видим в каждом из учеников пловца, который с удивлением ощущает, как стихия, грозившая его поглотить, сама выталкивает наверх и несет полегчавшее тело; и так обстоит дело со всем, за что бы человек ни взялся.

Если же кто из воспитанников выкажет особую склонность к одному языку, то мы находим средства преподать его основательнее даже среди той сумятицы, какой представляется на вид наша жизнь,— впрочем, оставляющая много часов для покоя, одинокого досуга и даже скуки. Вам нелегко будет среди этих бородатых и безбородых кентавров разглядеть грамматиков и даже педантов в седле. Ваш Феликс отдает предпочтение итальянскому, а так как мелодическое пение пронизывает у нас все, то послушали бы вы, как он умеет скрасить скуку пастушеской жизни песнями, как красиво и с каким чувством исполняет их! Вообще полноценное обучение лучше совместимо с практической деятельностью и полезной работой, чем принято думать.

Поскольку каждая область празднует свой праздник, гости отвели в округ инструментальной музыки. Округ этот, расположенный у границ равнины, разнообразили приветливые, красивые поляны, стройные рощи, тихие речки, по берегам которых там и сям скромно высились в траве замшелые скалы. На холмах виднелись разрозненные, окруженные кустами жилища, домики в тихих долинах жались друг к другу теснее. Красиво разбросанные хижины располагались в таком отдалении, что от одной до другой не долетали ни чистые, ни фальшивые звуки.

Прежде всего они подошли к просторной, обнесенной оградой площадке в тени деревьев; там было тесно от людей, судя по всему, напряженно ждавших чего-то. Когда гость приблизился, раздался мощный созвучный аккорд всех инструментов, восхищавший своей могучей полнотой и нежностью. Насупротив обширных подмостков для оркестра располагались другие, меньшие, они-то и привлекали сугубое внимание, так как на них находилось много учеников, старших и младших, из которых каждый держал инструмент наготове, но не играл. Это были те, кто еще не мог или не отважился музицировать сообща со всеми. Присутствующие с интересом смотрели, как подобрался и напрягся каждый; редко случалось, чтобы на таком празднике вдруг не проявился чей-нибудь талант.

Поскольку к инструментам присоединялись и поющие голоса, не приходилось сомневаться, что и это искусство здесь в чести. На вопрос, что еще преподается здесь в дружественном сочетании с музыкой, странник услышал в ответ, что это поэтическое искусство, причем именно лирическая его часть. Упор делается на то, чтобы оба искусства

поначалу изучались порознь, в самостоятельном развитии, затем в сравнении и, наконец, во взаимосвязи. Ученики узнают поэзию и музыку сообразно внутренним законам каждой из них, потом они постигают, как обе взаимно обуславливают друг друга и, в конце концов, друг от друга освобождаются.

Поэтическим стопам музыкант противопоставляет деление на такты и чередование тактов. Но тут очень скоро обнаруживается преимущество музыки перед поэзией, ибо если эта последняя по справедливости и по необходимости старается как можно чище соблюдать все долготы и краткости, то для музыканта имеет значение протяженность лишь немногих слогов, он по произволу разрушает самое продуманное построение ритмика, превращает в напев даже и прозу, выявляя при этом удивительные возможности, и поэт очень скоро почувствовал бы себя уничтоженным, когда бы, со своей стороны, не внушал музыканту почтения лирической нежностью и дерзостью и не вызывал в нем небывалые прежде чувства то плавностью постепенных переходов, то быстротою смен.

Находящиеся здесь певцы в большинстве своем сами поэты. Преподают также и основы танцевального искусства, чтобы все эти умения можно было равномерно распространить по всем областям.

Когда гостя перевели через ближайшую границу, он сразу заметил, как изменился вид построек. Дома не были больше разрознены и не походили на хижины, они располагались в правильном порядке и были пышно разукрашены снаружи, просторны, удобны и изящно убраны внутри. Все в целом являло взору широко и красиво построенный город, наилучшим образом приспособленный к местности. Здесь обиталище изобразительных искусств и родственных им ремесел, поэтому на всем пространстве царит совсем особая тишина.

Кто предался изобразительному искусству, тот не мыслит себя вне связи со всем, что вершится и творится среди людей, так что труд его, всегда одинокий, по странному противоречию более всякого другого нуждается в том, чтобы вокруг все было полно жизни. Ведь здесь каждый в тишине создает то, на что всегда будут устремлены людские взоры; праздничное безмолвие царит во всем городе, и если бы порой не раздавались постукивание каменотесов и мирные

удары плотников, усердно спешивших закончить новое великолепное здание, то ни один звук не колебал бы воздуха.

Наш странник обратил внимание на ту степенность и удивительную строгость, с какою здесь обращались и с начинающими, и с более преуспевшими; казалось, никто ничего не делает по своему почину и произволу, но всех словно бы животворит и ведет к единой большой цели один таинственный дух. Нигде не видно было ни наброска, ни эскиза, зато и ни одной черты не проводили, не обдумавши. А когда странник попросил провожатого объяснить ему всю методу, тот заявил, что воображение — способность зыбкая и нестойкая и вся заслуга ваятеля и живописца состоит в том, чтобы научиться придавать воображаемому больше определенности, удерживать его и, наконец, возвышать до совершенной наглядности.

Вспомнили и о необходимости твердых оснований в других искусствах. «Разве музыкант позволил бы ученику как попало перебирать струны или по своей прихоти брать любые интервалы? Здесь сразу видно, что на произвол учащегося не оставлено ничего: ему раз навсегда дана стихия, в которой он обязан действовать, дано орудие, которым ему предстоит овладеть, и даже предписан способ, как он должен им пользоваться (я имею в виду аппликатуру, указывающую, чтобы каждый палец вовремя уступал дорогу другому и подготавливал правильный путь следующему за ним, благодаря каковому законопослушному сотрудничеству только и становится возможным невозможное).

И вот в чем мы более всего находим оправдание нашим строгим требованиям и непреложным законам: именно гений, наделенный врожденным даром, первым понимает их и добровольно им подчиняется. Только полуумение хочет подменить одному ему присущей ограниченностью целое и безусловное и прикрыть свои фальшивые ноты красивыми именами оригинальности и самостоятельности. Этого мы не допускаем и стараемся уберечь учеников от заблуждений, которые могут надолго, а то и на всю жизнь запутать их и раздробить их силы.

Больше всего мы любим иметь дело с гениально одаренными натурами, ибо гений — это прекрасная способность духа сразу распознавать то, что ему на пользу. Он понимает: искусство потому и называется искусством, что оно не есть природа. Ему не в тягость почтение даже к тому, что можно назвать условностью, ибо разве эта условность не

есть то, что превосходнейшие мастера единодушно признали необходимым и непременным залогом совершенства? И разве не приводит оно всегда и во всем к удаче?

Чтобы облегчить дело учителям, и здесь, как повсюду у нас, ученикам привиты все три формы благоговейного страха и введены соответствующие знаки, только с некоторыми изменениями, сообразно труду, которым здесь больше всего занимаются».

Когда странника повели дальше, он не мог не подивиться, что город, по-видимому, все разрастается, от каждой улицы ответвляются новые, открывая взору разнообразнейшие перспективы. Внешний вид домов, внушительных и стройных, скорее красивых, чем роскошных, недвусмысленно свидетельствовал об их назначении. Посреди города здания были благороднее и строже, к ним примыкали более веселые и приветливые, дальше, вплоть до полей, тянулись уютные предместья, где постройки в самом изящном вкусе постепенно сменялись редко стоящими садовыми домиками.

Тут странник не преминул заметить, что жилища музыкантов в только что пройденном округе ни по красоте, ни по просторности не идут в сравнение со здешними, где селятся живописцы, ваятели и строители. Ему возразили, что это вполне естественно: ведь музыканту нужно постоянное самоуглубление, ибо вовне он может показать лишь то, что сумел развить внутри. «Ублажать себе зрение ему незачем. Ведь оно легко берет верх над слухом и отвлекает дух от внутреннего к внешнему. Тем же, кто занят изобразительными искусствами, необходимо, напротив того, жить во внешнем мире, обнаруживать свою внутреннюю сущность во внешнем и в соответствии с ним. Художники должны жить в чертогах, как цари или боги, а иначе как они смогут создавать и украшать чертоги для царей и богов? Они должны быть поставлены над общим уровнем настолько высоко, чтобы вся община, весь народ чувствовал себя облагороженным их созданиями и в их созданиях».

Потом наш друг попросил объяснить ему еще один парадокс: почему в эти праздничные дни, когда во всех прочих округах такое оживление и такая суматоха, здесь царит ненарушимая тишина, а работа не прекращается?

Ответ гласил, что ни зодчему, ни живописцу, ни скульптору празднества не нужны, для них весь год праздник. Если они сделали что-нибудь изрядное, оно постоянно находится перед глазами у них и у всего света. Поэтому им и не надоб-

ны ни повторение, ни новые усилия, ни новая удача, то есть все, над чем постоянно бьется музыкант и ради чего следует устраивать ему блистательнейшие и многолюднейшие празднества.

— Но все же, — отозвался Вильгельм, — хорошо было бы открывать на эти дни выставку, чтобы можно было с удовольствием увидеть и судить, каковы успехи лучших воспитанников за три года.

— В других местах, — отвечали ему, — выставки, быть может, и необходимы, но только не у нас. Ведь вся наша жизнь по сути своей есть выставка. Вы видите, эти разнообразные здания возведены воспитанниками, правда, по заранее обдуманному и многократно обсужденному чертежу, ибо строитель не имеет права пытаться на ощупь: что останется стоять, то должно стоять прочно и служить если не вечно, то очень долго. Ошибаться можно во всем, но нельзя ошибаться, когда строишь.

Больше воли даем мы ваятелям, еще больше — живописцам: они имеют право на пробы, каждый в своем искусстве. Они свободны выбрать любое место, какое хотят украсить: во внутренних комнатах дома или в наружных пристройках, на площади или на улице. Нам сообщают замысел, и если он заслуживает одобрения, то работу разрешают выполнить, оговорив одно из двух: художнику либо дается позволение рано или поздно убрать свою вещь, если она разонравится ему, либо ставится условие, чтобы, однажды водруженная на место, она там и осталась. Большинство художников выбирают первое, то есть заручаются таким позволением, поступая тем самым наиболее разумно. Второй случай реже, и было замечено, что тут уж художники бывают не так уверены в себе, подолгу совещаются с товарищами и знатоками, благодаря этому им удается создать поистине драгоценные, достойные остаться навечно работы.

Выслушав все это, Вильгельм не преминул осведомиться, что еще здесь преподается, и в ответ ему признались, что это поэзия, причем поэзия эпическая.

Но наш друг не мог не удивиться, когда к этому присоветовали, что ученикам не дозволяют читать про себя или во всеуслышание готовые поэмы древних и новых стихотворцев, а только лаконически излагают мифы, предания и легенды. И по тому, как воплощают их в картине или в стихах, удается очень быстро распознать творческую способность ученика, посвятившего свой талант одному из двух искусств.

И поэты и художники трудятся у одного источника, каждый старается отвести из него воду в свою сторону, к своей выгоде, чтобы сообразно потребности достичь своей цели; и это удается лучше, чем если бы стали заново перерабатывать однажды обработанное.

Путешественник сам имел случай увидеть, как все происходит. Несколько художников, собравшись в одной комнате, занимались своим делом, а жизнерадостный молодой человек весьма подробно излагал им какую-то простую историю, и для того, чтобы повествование выглядело законченным и завершенным, ему понадобилось не меньше слов, чем им — ударов кисти.

Вильгельма заверили, что, работая рядом, сотоварищи очень мило беседуют и благодаря этому появилось немало импровизаторов, умевших вызвать общий восторг двояким воплощением одного сюжета.

Наш друг снова стал расспрашивать об изобразительных искусствах.

— Если у вас нет выставок, — говорил он, — то нет и работ на премию?

— В прямом смысле слова нет, — отвечал собеседник, — но здесь неподалеку я могу показать вам то, что считается у нас более полезным.

Они вошли в просторную залу, удачно освещенную сверху, где прежде всего заметили работающих художников, а посреди их широкого круга — благоприятнейшим образом установленную колоссальную группу. Могучие мужские и женские фигуры в напряженных позах воскрешали воспоминания о той прекрасной битве между юными героями и амазонками, когда вражда и ненависть разрешались во взаимное дружелюбие. Несмотря на удивительное переплетение тел, скульптура одинаково хорошо смотрелась с любой точки. Вокруг нее широким кольцом сидели и стояли художники, занимаясь каждый своим делом: живописцы — с мольбертами, рисовальщики — с чертежными досками, одни лепили в полный объем, другие — барельефом, даже зодчие делали наброски постамента, на который можно было бы впредь поставить такое произведение. Каждый участник воспроизводил по-своему: живописцы и рисовальщики разворачивали группу на плоскости, стараясь при этом не только ее не разрушить, но и по возможности сохранить расположение фигур. Так же действовали и лепщики барельефов. Только один повторил всю группу в уменьшенных разме-

рах, и казалось, что он воистину превзошел модель в изображении некоторых жестов и в пропорциях.

Выяснилось, что это и есть создатель модели, который перед тем, как перевести ее в мрамор, подверг ее здесь не обсуждению, а практической проверке и мог точно заметить и при вторичном обдумывании использовать себе впрок все, что каждый из его сотрудников увидел, сохранил или изменил в ней соответственно своим взглядам и образу мысли,— таким образом, воздвигнутое наконец в мраморе высокое творение, хотя оно задумано, разработано и выполнено одним человеком, по видимости будет принадлежать всем.

И в этой зале царила полная тишина, но надзиратель поднял голос и крикнул:

— А ну, кто возьмется в виду этого неподвижного творения найти точные слова и подстегнуть ими наше воображение, чтобы увиденное нами неподвижным вновь ожило и затрепетало, не потеряв своего характера, и мы убедились бы, что схваченное художником и есть самое достойное?

Все стали выкликать одно имя, и красивый юноша, оставив работу, вышел на середину и начал неторопливое повествование, в котором, казалось, всего лишь описывал стоящую перед ним скульптуру; но потом он смело бросился в область поэзии в истинном смысле, нырнул в самую гущу действия и на диво удачно подчинил себе эту стихию; сила его описания, благодаря величавой декламации, возрастала и возрастала, пока не стало казаться, будто неподвижная группа движется вокруг своей оси, а число фигур на ней удваивается и утраивается. Вильгельм стоял замороженный и в конце воскликнул:

— Как тут удержаться и не запеть, если настоящая ритмическая песня просится сама собой!

— Это я бы предпочел запретить,— отозвался надзиратель,— ибо если наш превосходный ваятель будет откровенен, он признается, что наш поэт был ему в тягость — по той причине, что искусства их наиболее далеки друг от друга. И наоборот, я готов побиться об заклад, что кое-кто из живописцев позаимствовал у него не одну живую черту.

И все-таки я хочу, чтобы наш друг послушал ту душевную песню, которую вы поете так истово и красиво. В ней поется обо всей целокупности искусств, и мне самому, когда я ее слушаю, она служит к назиданию.

После недолгой паузы, во время которой собравшиеся переговаривались кивками и знаками, со всех сторон грянули возвышающую сердце и дух песню:

Чтоб творить, в уединенье,
О художник, уходи!
Довершить свое творенье
В круг других людей иди!
Только там найдешь познание
Жизни собственной своей.
Многих лет воспоминанья
Оживут в кругу друзей.

Размысленье, созерцанье,
Сотни лиц, их жизнь и связь,—
Все в могучее созданье,
Все ты вложишь, вдохновясь!
Мыслью, силой вдохновенья,
Формы дивной красотой
Мир приводит в изумленье
Дар художника святой.

Как в природе бесконечной
Бог единый нам открыт,
Так в искусстве с силой вечной
Вечно мысль одна царит:
Это истина святая,
Что, в союзе с красотой,
К солнцу, глаз не прикрывая,
Взор возводит светлый свой.

Как оратору дар прозы,
Рифмы дар тебе, поэт,—
Розы жизни, юной розы
Живописцу нужен цвет,
Пусть стоит она, сверкая
Несравненной красотой,
Мысль о жизни возбуждая
Свежей прелестью живой!

Форм красою упивайся,
Созидай их без конца,
Человеком восхищайся:
Он — подобие Творца.

Долг велит соединиться
Всем, жрецы искусства, вам:
Дружно к небу пусть курится
Ваш союзный фимиам¹;

Все это Вильгельм, пожалуй, готов был признать, хотя оно и представлялось ему парадоксальным и, не убедись он воочию, даже невозможным. Но после того, как вся прекрасная череда была показана и растолкована ему вольно и без утайки, гостю уже не нужно было задавать вопросы, чтобы узнать остальное; и все же он не удержался и обратился к провожатому с такой речью:

— Я вижу, здесь разумно предусмотрено все, чего следует желать в жизни; но поведайте мне еще одно: в каком округе можно видеть такое же попечение о поэзии драматической и где я мог бы получить об этом сведения. Я осматривал у вас одно здание за другим и не обнаружил ни единого, которое было бы предназначено для этой цели.

— На ваш вопрос отвечаю откровенно, что по всей нашей провинции вы ничего подобного не найдете; ведь драма предполагает наличие праздной толпы, может быть даже черни, а у нас ее нет, ибо сброд этот если сам не уходит от нас из недовольства, то выпроваживается за наши пределы силою. Не сомневайтесь, при том что наше заведение универсально, мы хорошо обдумали этот важный пункт, но никак нельзя было подыскать ни одного округа, всюду возникали серьезные опасения. Кто из наших воспитанников мог бы с легкостью решиться на то, чтобы поддельным весельем и притворным горем будить у толпы неискреннее, не оправданное минутой чувство и тем доставлять ей иногда сомнительное удовольствие? Мы признали такое фиглярство слишком опасным и несовместимым с серьезностью наших целей.

— Но ведь говорят, — отозвался Вильгельм, — что это почти всеобъемлющее искусство способствует успехам всех остальных.

— Это неверно, — возразили ему, — оно пользуется ими, но при этом губит их. Я не виню актера, когда он сходится с живописцем, но в его обществе живописец гибнет.

Актер без зазрения совести использует для своих мимолетных целей — и с немалым барышом — все то, что пре-

¹ Перевод Н. Холодковского.

подносят ему искусство и жизнь; а вот живописец, который хотел бы извлечь прибыль из театрального искусства, всегда останется в накладе, и то же самое музыкант. Все искусства представляются мне детьми одного семейства, где почти все братья и сестры склонны к рачительному хозяйствованию и только один по легкомыслию хотел бы присвоить и промотать достояние братьев и сестер. Я имею в виду театр; происхождение его сомнительно, а отречься от него он не может — ни как искусство и ремесло, ни как забава любителей.

Вильгельм потупился с глубоким вздохом, ибо вся радость и все горе, пережитые им на подмостках и подле них, воскресли в его памяти, и благословил смиренномудрых мужей за то, что они сумели избавить воспитанников от такой муки и по непреложному убеждению изгнали из их круга такого рода опасность.

Однако провожатый не дал ему времени углубиться в эти размышления и продолжал:

— Но поскольку среди основных правил для нас выше и непреложней других одно: не преграждать пути никакому таланту, никаким задаткам, — мы не закрываем глаз на то, что у кого-нибудь из множества учеников может решительным образом проявиться и природное мимическое дарование; оно обнаруживает себя в неодолимой охоте подражать чужому нраву, обличью, осанке, манере говорить. Мы этого не поощряем, но пристально наблюдаем за таким учеником, и если он остается верен своей природе, то мы, стоя в связи с крупными театрами всех стран, немедленно посылаем к ним доказавшего свои способности юношу, чтобы он, как утка, выпущенная в пруд, поскорей оказался бы в своей будущей стихии и обучился ковылять по подмосткам и крикать.

Вильгельм слушал все это терпеливо, но до конца не соглашался и даже немного досадовал, — ибо такова странность человеческих чувств: можно быть убежденным в ничемности прежде любимого предмета, отвернуться от него и даже проклясть его, но не терпеть, чтобы и другие относились к нему так же, и, быть может, никогда дух противоречия, живущий в каждом, не проявляется живее и настойчивее, нежели в этом случае.

Ведь и сам издатель настоящих заметок должен признаться, что лишь скрепя сердце пропускает в печать этот странный пассаж. Разве и он не отдал театру, трудясь в нем

на многих поприщах, более, чем следовало бы, времени и сил? И неужто можно убедить его, будто он непростительно заблуждался, старался понапрасну?

Но у нас нет времени предаваться воспоминаниям и запоздалой досаде: сейчас наш друг радостно изумлен тем, что вновь видит рядом одного из Трех, причем наиболее ему приятного, чья ласковая предупредительность — признак ненарушимого душевного покоя — ободряла всех вокруг. Наш странник доверчиво приблизился к нему, чувствуя, что ему ответят таким же доверием.

Он узнал, что Главный находится при святынях и там наставляет, вразумляет и благословляет, а Трое тем временем разделились, чтобы посетить все области и повсюду, глубоко во все вникнув и переговорив с подчиненными им надзирателями, способствовать дальнейшему развитию введенного ранее и создавать основы для учреждаемого вновь, тем самым неукоснительно исполняя свой высокий долг.

Благодаря этому замечательному человеку Вильгельм получил возможность шире обозреть внутреннее состояние и внешние связи провинции, а также ясно понять, как влияют друг на друга различные округа и как ученик в свой срок, раньше или позже, переводится из одного округа в другой. Все вновь узнанное вполне согласовалось с услышанным ранее. Вдобавок и то, как описали ему нрав сына, было весьма приятно Вильгельму и он не мог не одобрить целиком тот план, по которому предполагалось направлять развитие мальчика.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

После этого надзиратель с помощником пригласили Вильгельма на имеющий состояться вскоре праздник горнорабочих. Не без труда начали они подъем в горы. Вильгельму показалось, будто его провожатый к вечеру зашагал медленнее, как будто темнота не должна была вскоре еще больше задержать их восхождение. Но когда ночь совсем сгустилась вокруг, загадка разрешилась: Вильгельм увидел колеблющиеся огоньки, которые замерцали из всех долин и ущелий, а потом, вытянувшись в цепочки, стали переваливать через хребты. Явление это выглядело куда более мирно, чем извержение вулкана, чей искрометный грохот грозит гибелью целым областям, однако сияние становилось все ярче и шире, огоньки, сошедшись теснее, полились звездной

рекой, сиявшей тихо и ласково, но смело затоплявшей всю окрестность.

Спутник Вильгельма, потешившись некоторое время изумлением гостя,— ибо их лица и фигуры, как и дорога под ними, были ясно видны при дальнем свете огней,— заговорил так:

— Конечно, то, что вы видите,— зрелище необычайное: эти светильники, которые круглый год горят и трудятся под землей день и ночь, помогая добывать почти недоступные земные сокровища, сейчас хлынули наружу из своих пропастей и весело освещают ночь под открытым небом. Вряд ли где можно увидеть такой радующий сердце парад, когда во всей полноте предстает взору всегда скрытая от него, порознь совершаемая под землей полезнейшая работа и показывает, какое множество людей она тайно объединяет.

За такими разговорами и рассуждениями добрались они до места, где огненные ручьи вливались в огненное озеро вокруг ярко освещенного острова. Странник встал в ослепительный круг, где тысячи мерцающих светильников многозначительным контрастом выделялись на фоне темной стены пришедших с ними людей. Тотчас же раздалась веселая музыка, зазвучало искусное пение. Полые изнутри глыбы скал, раздвинутые механизмами, открыли взгляду восхищенных зрителей залитые светом недра. Мимическое представление сопровождалось всем прочим, что может в такой миг доставить радость множеству людей, и не только раззадорить, но и удовлетворить их веселый интерес.

Каково же было удивление нашего друга, когда он, будучи представлен начальникам, увидал среди них в строгом торжественном одеянье своего друга Ярно!

— Недаром,— воскликнул тот,— я сменил свое прежнее имя на другое, полное смысла имя Монтан: вот ты и заставишь меня здесь, посвященного в служители этих гор и ущелий и живущего в тесных границах на земле и под землей более счастливо, чем я сам мог подумать.

— Теперь, верно,— отозвался Вильгельм,— при твоём опыте и знаниях ты не так скупись делиться ими и обучать других, как тогда, среди скал и утесов.

— Ничуть не бывало,— возразил Монтан.— Горы — немые наставники и делают своих учеников молчаливыми.

После празднества уселись за столы и начался пир. Все гости, званые и незваные, были товарищами по ремеслу, поэтому и за столом, куда сели Монтан с другом, завязалась подходящая к месту беседа: подробно говорили о горах,

о рудных залежах и жилах, о жильных породах и о здешних металлах. Потом пустились рассуждать об общих предметах, речь пошла не больше не меньше как о создании и возникновении мира; тут уж разговор недолго оставался мирным, гости схватились в горячем споре,

Многие утверждали, что своим обликом земля обязана покрывавшим ее, но постепенно схлынувшим водам, и упоминали как аргумент в свою пользу остатки обитавших в море организмов, находимые и на самых высоких вершинах, и на пологих холмах. Другие, вопреки им, со страстью раскаляли и расплавляли все и вся и приписывали всю власть огню, который, наделав довольно дел на поверхности, скрылся в глубину, но продолжал свою работу через посредство неистово свирепствующих в море и на суше вулканов, а именно: последовательными извержениями и наслоениями лавы создавал самые высокие горы; несогласным всячески внушали, что без огня ничего нельзя раскалить, а деятельный огонь предполагает наличие очага. Хотя на взгляд все сказанное отлично согласовалось с опытом, многие этим не удовлетворились, но утверждали так: мощные, вполне сложившиеся в лоне земли формации, выталкиваемые вверх неодолимыми эластическими силами, прорывали земную кору, дробя ее, а осколки разлетались в этой буре не только на близкое, но и на дальнее расстояние; при этом ссылались на многие явления, которые без такой предпосылки нельзя было бы объяснить.

Четвертая, не столь многочисленная, партия посмеивалась над этими напрасными стараниями и клятвенно заверяла: на земной поверхности мало что удастся объяснить, пока не согласишься, что большие и малые хребты упали из атмосферы и покрыли огромные пространства суши. Они ссылались на глыбы камня, какие находят разбросанными по земле во многих странах и собирают, считая их упавшими с неба.

Наконец, двое-трое гостей потише призывали на помощь века жестокого холода; они видели внутренним взором, как с высочайших хребтов по спустившимся глубоко в долину ледникам, словно по готовым санным дорогам, тяжелые глыбы камня скользят все дальше и дальше. Когда же наступила пора оттаивания, они опустились на чужую почву и навеки остались лежать в ней. А благодаря плавучим ледникам становилась возможной переправа гигантских валунов прямо с севера. Но этим добрым людям не удавалось про-

бить дорогу своей чересчур студеной тесрии. Несравненно более естественной казалась мысль, что мир создавался, обрушиваясь и вздымаясь с невероятным грохотом и огненными извержениями. А так как жару поддавало еще и крепкое вино, то великолепное празднество чуть было не закончилось смертоубийственной потасовкой.

В голове у нашего друга все перепуталось, а на душе стало тоскливо: ведь он издавна тихо лелеял в мыслях образ духа, носившегося над водами, и картину потопа, когда влага стояла на пятнадцать локтей выше высочайших гор, а от этих странных речей благоупорядоченный мир — обитель растительной и животной жизни — в его воображении рушился в хаос.

На следующее утро он не преминул расспросить об этом премудрого Монтана, воскликнув:

— Вчера я не мог понять тебя. Среди всех этих странных речей я надеялся услышать наконец твое решающее суждение, а ты вместо этого примыкал то к одной, то к другой стороне и старался подкрепить мнение всякого, кто в тот миг говорил. Но теперь скажи мне без шуток, что ты об этом думаешь и что знаешь.

На это Монтан ответил:

— Я знаю столько же, сколько они, а думать об этих вещах не желаю.

— Но ведь тут столько противоречивых мнений, — отзывался Вильгельм, — а говорят, что истина всегда посередине.

— Ничуть не бывало, — возразил Монтан, — посередине по-прежнему находится проблема, быть может, не поддающаяся исследованию, а может быть, и разрешимая, если за нее взяться.

Такого рода препирательство продолжалось еще некоторое время, потом Монтан сказал доверительно:

— Ты сердисься, что я помогал каждому отстаивать свое мнение, но ведь еще один довод можно найти в пользу любого из них; этим я действительно еще больше запутал дело, но не могу же я принимать его всерьез, когда вокруг такой народ. Я совершенно убежден, что самое дорогое — то есть наши убеждения — каждый должен таить в себе, истово и глубоко: пусть он знает про себя то, что знает, и держит свое знание в тайне, ибо стоит ему высказаться, как тут же поднимает голову противоречие, а ввязавшись в спор, он теряет внутреннее равновесие, и лучшее в нем терпит урон, если не гибнет вовсе.

Побуждаемый возражениями Вильгельма, Монтан высказался еще яснее:

— Мы разговорчивы до тех пор, пока не знаем, что главное.

— А что же главное? — поспешно спросил Вильгельм.

— Это сказать нетрудно, — отвечал Монтан. — Думать и делать, делать и думать — вот итог всей мудрости: это искони признано, искони исполняется, но постигается не всяким. И то и другое в течение всей нашей жизни должно вершиться непременно, как вдох и выдох, и, как вопрос без ответа, одно не должно быть без другого. Кто ставит себе законом то, что шепчет на ухо каждому новорожденному его гений — человеческий разум: испытывай мысль делом, а дело мыслью, — тот не собьется с пути, а если и собьется, быстро отыщет верную дорогу.

Монтан водил своего друга по всему горному участку, подведомственному ему; их всюду приветствовали задорным возгласом «Удачи вам!» — на который они так же весело отвечали.

— Иногда мне хочется, — сказал Монтан, — крикнуть им: «Разума вам!» Ведь разум выше удачи; впрочем, толпа всегда достаточно разумна, коль скоро наделены разумом начальники. Поскольку я призван сюда не столько приказывать, сколько советовать, я стараюсь изучить свойства здешних гор. Здесь рьяно стремятся добыть залегающие в них металлы. Я постарался выяснить, где они могут залегать, и мне это удалось. Дело тут не в одной удаче: разум призвал ее и направил. Как возник этот хребет, я не знаю и знать не хочу, но стараюсь ежедневно выпытать у него какое-нибудь из его свойств. Все падки до свинца и серебра, которые скрыты в его недрах, я умею их обнаруживать; способ я таю про себя, но даю возможность найти желанное. По моим указаниям начинают пробные разработки, они удаются, и все говорят, что я удачлив. Что я понимаю, то понимаю про себя, а что мне удастся, то удастся для других, и никто не предполагает, что на этом пути и его бы ждала удача. Они подозревают, что у меня есть рудознатская лоза, но не замечают, как противоречат всякому моему разумному утверждению и тем отрезают себе дорогу к дереву познания, с которого и надобно ломать эти пророческие ветки.

Разговор этот ободрил Вильгельма, ибо он убедился, что и ему доселе во всех делах и мыслях, пусть и посвященных совсем другому ремеслу, удалось в самом главном стать вро-

вень с требованиями друга; поэтому он отчитался в том, на что употребил свое время с тех пор, как получил послабление и мог распределять срок возложенного на него странствия не по часам и дням, а соответственно истинной его цели — довершить свое развитие.

Случай сделал так, что долгих речей для этого не понадобилось, ибо тяжкое происшествие дало нашему другу возможность умно и удачно применить свой новоприобретенный талант и доказать свою истинную полезность человеческому обществу.

Какого рода было это происшествие, мы покамест не можем открыть, хотя читатель получит об этом сведения еще прежде, чем отложит этот том в сторону.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Герсилия — Вильгельму

Уже долгие годы я слышу от всего света упреки в том, что я девица своенравная и сумасбродная. Пусть так, но моей вины в том нет. Людям приходится быть со мной терпеливее, а теперь и мне надобно больше терпения, чтобы сносить самое себя с моей несносной фантазией, которая то и дело приводит ко мне отца и сына, то вместе, то порознь. Я кажусь себе невинною Алкменой, которую посещали все время два существа в одной роли.

Мне многое нужно Вам сказать, и все же пишу я Вам, по всей видимости, только тогда, когда должна поведать о каком-нибудь приключении; конечно, и сверх того приключается много разного, но не все можно назвать приключением. Вот вам сегодняшнее:

Сию я под высокими липами и заканчиваю бювар, очень красивый, хотя я сама еще не знаю, кто его получит — отец или сын, но непременно один из них. И вдруг ко мне подходит молоденький разносчик с корзинками и коробками и прежде всего удостоверяет свое право торговать в наших имениях бумагой, выданной одним из служащих. Я пересматриваю все до последней мелочи: обычные пустяки, никому не нужные, но всеми покупаемые ради ребячливой охоты приобретать и тратить деньги. Мальчишка внимательно меня разглядывает. Глаза у него черные, плутоватые, брови хорошо очерченные, кудри пышные, зубы ослепительно-белые, — словом, вы меня поймете, что-то восточное.

Он задает мне вопросы о разных лицах из нашего семейства, которым он мог бы что-нибудь предложить, и всякими уловками добивается того, что я называю мое имя. «Герсилия, — говорит он скромно, — Герсилия простит меня, если я передам ей послание?» Я в удивлении гляжу на него, он достает крохотную аспидную доску в белой рамке, какие делают в наших горах, чтобы дети учились писать; я беру ее в руки, вижу, что она исписана, и читаю тщательно надарпанную острым грифелем надпись:

«Феликс
любит
Герсилию.
Шталмейстер
скоро явится».

Я ошеломлена, я с изумлением гляжу на то, что сама держу в руках и вижу своими глазами, но еще больше удивляюсь тому, что судьба — причудница почище меня. «Что все это значит?» — говорю я себе, и маленький плут предстает передо мной как никогда явственно, словно его портрет запечатлен в моих глазах.

Я пускаюсь в расспросы, но получаю странные, неудовлетворительные ответы; я учиняю допрос — и ничего не узнаю; я думаю о происшедшем и не могу связать мысли. Наконец из всех наших толков и перетолков я заключаю, что юный разносчик проходил через Педагогическую провинцию, сошелся там с моим столь же юным поклонником, каковой и написал на купленной у него дощечке надпись и обещал ему за одно словечко от меня щедрые подарки. Мальчишка немедля протянул мне такую же дощечку, показав, какой большой запас их лежит у него в коробе, и вместе с нею грифель; при этом он так ласково настаивал и просил, что я взяла то и другое, думала-думала и, ничего не придумавши, написала:

«Феликсу
привет
от Герсилии.
Шталмейстер,
веди себя хорошо!»

Потом я поглядела, что написала, и рассердилась на себя за неловкость выражения. И не ласково, и не умно, и не остро — одно только замешательство, а из-за чего? Передо

мною стоял мальчишка, такому же мальчишке я писала, — неужели этого довольно, чтобы меня смутить? По-моему, я вздохнула и собралась стереть написанное, но он осторожно забрал у меня дощечку, попросил что-нибудь, чтобы тщательнее завернуть ее, и тут я, сама не знаю как, вложила ее в бювар, перевязала лентой и протянула мальчишке, который с милой улыбкой взял упакованную дощечку, низко поклонился мне и еще немного помедлил — ровно столько, что я успела сунуть ему в руку мой кошелечек, а потом корила себя, что мало ему заплатила. Он поспешил прочь, и когда я поглядела ему вслед, он уже непонятным образом исчез.

Теперь все позади, я снова спустилась на плоскую почву будней и едва смею верить, что это было. Но разве нет у меня в руках дощечки? Она такая изящная, буквы на ней такие красивые и аккуратные; я расцеловала бы ее, когда бы не боялась их стереть.

Написав все это, я на время отложила перо, но что бы я об этом ни думала, толку нет никакого. В этом мальчишке было что-то таинственное; теперь без таких фигур не обходится ни один роман, но неужели нам суждено встречать их и в жизни? Подозрительный на вид, он чем-то нравится; чужак, он внушает доверие; почему он ушел раньше, чем рассеялось мое замешательство? Почему мне не хватило ума задержать его под благовидным предлогом?

После перерыва я вновь берусь за перо, чтобы продолжить мою исповедь. Столь решительная и стойкая склонность мальчика на пороге юности могла бы мне льстить, но мне пришло в голову, что это не в диковину, когда в таком возрасте заглядываются на женщин, старших годами. Ведь в самом деле, самых молодых мужчин загадочным образом тянет к женщинам старше них. Прежде, когда меня это не касалось, я только зло посмеивалась, считая, что обнаружила причину такой склонности: они просто не успели позабыть, как ласкали их во младенчестве кормилицы, и отвыкнуть от этих ласк. Но думать то же самое на свой счет мне досадно, — ведь так я унижаю милого Феликса, считая его совсем уже дитятей, и сама оказываюсь в весьма невыгодном положении. Вот как по-разному мы судим о себе и о других!

Уже несколько дней я хожу вокруг да около и все не решаюсь взяться за перо: сказать нужно многое, в разговоре все шло бы одно за другим, одно цеплялось бы за другое, но в разлуке позволь мне начать с самых общих слов, они сами собой приведут меня к тем чудесам, о которых я должен сообщить тебе.

Ты слышала о том, как некий юноша, гуляя по берегу моря, нашел уключину, и она так раздражила его любопытство, что он раздобыл весло, без которого уключина ни к чему. Но и весло было бесполезно; тогда он рьяно взялся добывать лодку — и это ему удалось. Но и от лодки, весла и уключины было мало проку; тогда он достал мачты, паруса, а следом, одно за другим, и все, что потребно для быстрого и удобного плаванья. Благодаря своей целеустремленности, он достигает немалой ловкости и сноровки, удача ему сопутствует, и в конце концов он оказывается хозяином и капитаном судна много больше первого; успехи его возрастают, он богатеет и приобретает почет и славу среди мореходов.

Хотя я и заставил тебя перечитать эту занятную историю, но должен сознаться, что она имеет весьма отдаленное отношение к делу и только облегчает мне путь, помогая выразить то, что я должен тебе сообщить. А покамест мне придется опять начинать издалека.

Заложенные в людях способности могут быть разделены на общие и частные; под общими следует разуметь пребывающие в покое и в безразличии способности, которые те или иные обстоятельства пробуждают, а случай направляет к какой-нибудь цели. К общим способностям принадлежит дар подражания: человек стремится повторять, воспроизводить то, что видит, не имея к тому ни внешних, ни внутренних возможностей. Поэтому естественно, что он хочет делать то, что делают у него на глазах, и самым естественным было бы, если бы сын перенимал ремесло отца. Здесь сочетается все: частная способность, быть может, отроду присущая нам и направляемая самим нашим происхождением, затем постепенно приобретаемая и совершенствуемая в упражнении сноровка и развитый талант, который заставляет нас и

тогда следовать по начатому пути, когда в нас просыпаются другие влечения и свобода выбора, по-видимому, могла бы толкнуть нас к делу, для которого природа не наделила нас ни задатками, ни упорством. Потому, если брать на круг, счастливее всех те люди, которые у себя дома совершенствуют врожденный, наследственный талант. Мы видели такие династии живописцев: среди них были и слабые таланты, но даже они создавали вполне сносные вещи, быть может, лучше тех, что они, при их ничтожных природных силах, сделали бы, когда бы занимались другим, выбранным по своему почину, ремеслом.

Это опять не то, что я хотел сказать, придется сделать еще одну попытку и подойти к моим новостям с другой стороны.

Вот что самое печальное в разлуке с друзьями: если в их присутствии мы мгновенно обмениваемся с ними теми мыслями, которые суть промежуточные, связующие звенья, то вдаль от них мы не можем высказывать эти мысли в их сиюминутной связи и сцеплении. Итак, начну с одной истории, случившейся со мною в самом раннем детстве.

Мы, выросшие в почтенном старом городе дети, имели понятие об улицах и площадях внутри городских стен, о валах и гласисах и о соседних, обнесенных стенами садах. Что-бы хоть однажды вывезти нас, а скорее самих себя, на вольный воздух, родители давно уже договорились с деревенскими друзьями о визите к ним, но все время его откладывали. Наконец более настоятельное приглашение приехать на троицу было принято, но при условии устроить все так, чтобы до ночи быть дома: лечь спать иначе как в свою привычную постель казалось делом невыполнимым. Уместить столько удовольствий в один день было нелегко: следовало навестить два дружественных семейства, удовлетворив притязания обоих принять редких гостей,—однако взрослые надеялись выполнить все с величайшей точностью.

На третий день праздника все встали спозаранок, готовые в путь, повозку подали к назначенному часу, и скоро все стеснявшие нас в городе улицы, ворота, мосты и рвы остались позади, вольный мир широко раскинулся перед глазами новичков. Только что освеженная ночным дождем зелень лугов и нив, и более светлая зелень недавно лопнувших на деревьях и кустах почек, и разливавшаяся во все стороны

белизна плодовых деревьев в цвету — все сулило нам часы райского блаженства.

В назначенный час прибыли мы к первому нашему пристанищу у одного почтенного пастора. Принятые весьма радушно, мы вскоре убедились, что и пропустив церковный праздник, ищущие покоя и воли души праздника не лишаются. Я с радостным любопытством созерцал впервые в жизни утварь и убранство деревенского дома; плуг и борона, повозки и телеги свидетельствовали о том, что не стоят без дела, и даже отвратительный на вид навоз казался необходимым предметом в этом обиходе, — так тщательно он был собран и так красиво уложен. Однако вскоре этот свежий взгляд, охватывавший столько новых и все-таки понятных предметов, жадно остановился на угощенье и уже не мог оторваться от аппетитных пирогов, свежего молока и прочих сельских лакомств. Потом дети покинули садик при доме и уютную беседку и поспешили в прилегающую рощу, чтобы выполнить поручение предусмотрительной старой тетушки: нарвать и бережно доставить в город как можно больше первоцвета, из которого домовитая матрона имела обыкновение готовить полезное питье.

Покуда мы, занятые сбором, бегали по лугам, по опушкам и вдоль изгородей, к нам примкнули деревенские дети, и приятный запах собранных вешних цветов становился, казалось, все живительней и благоуханнее.

Мы нарвали столько стеблей с цветами, что уже не знали, куда их девать, и стали отщипывать желтоватые трубчатые венчики, в которых, собственно, и было все дело; каждый старался набрать их столько, сколько помещалось в его шапочке или шляпе.

Однако старший из этих мальчиков, сын рыбака, годами не намного меня обогнавший и с первого своего появления больше всех мне нравившийся, не находя удовольствия в возне с цветами, позвал меня на речку, что протекала неподалеку и была в ту пору довольно полноводной. Мы сели с удочками в тенистом месте, где в глубокой, тихой и прозрачной воде сновали рыбки. Он по-дружески показал мне, что надобно делать, как наживлять крючок, и я спроворился несколько раз подряд вытащить на воздух самых маленьких из этих нежных тварей, вовсе того не желавших. Когда мы посидели некоторое время неподвижно, прислонясь друг к другу, приятель мой, как видно, заскучал и указал мне на покрытую галькой косу, врезающуюся в реку с нашего берега:

здесь, мол, лучше всего можно искупаться. Потом он вскопчил, воскликнув, что не может удержаться от соблазна, и не успел я оглянуться, как он сбежал вниз, разделся и нырнул.

Превосходно плавая, он скоро покинул заводь, отдался силе течения и доплыл до меня по глубокой воде; а мне стало в тот миг как-то не по себе. Вокруг меня прыгали кузнечики, ползали муравьи, пестрые жуки висели на ветках, у моих ног, как духи, парили и порхали «бабки» (так он называл стрекоз), а сам он, вытащив из-под коряги большого рака, весело показал мне его и опять ловко засунул на место, чтобы потом изловить. Воздух был горячий и влажный, с солнцепека манило в тень, из прохладной тени — в еще более прохладную воду. Ему не так трудно было соблазнить меня: приглашение, даже не столь настойчиво повторяемое, было для меня неотразимо, но мне мешал страх перед родителями и боязнь незнакомой стихии, отчего я и пришел в странное волнение. Однако вскоре, сложив на косе одежду, я отважился осторожно войти в воду, но не дальше, чем шло отлогое дно. Здесь мой приятель оставил меня, отплыл, относимый поддерживающей его стихией, воротился, а когда он вышел из воды и выпрямился, чтобы обсушиться на солнце, мне показалось, что в глаза мне ударил втрое сильнейший солнечный свет: так прекрасно было человеческое тело, о котором я не имел ни малейшего понятия. Меня он, казалось, рассматривал с таким же вниманием. Даже поспешно одевшись, мы все еще как бы стояли друг перед другом нагие, наши души тянулись друг к другу, и, жарко облобызавшись, мы поклялись в вечной дружбе.

Потом мы быстро-быстро побежали домой и успели как раз вовремя: общество уже отправилось пешком к обиталищу судьи, до которого было часа полтора ходу приятной дорогой через лес и кустарники. Мой друг провожал меня, казалось, мы уже стали неразлучны; но когда я на полдороге попросил разрешения взять его с нами к судье, пасторская жена воспротивилась, шепотом заметив, что это неудобно, а ему дала срочное поручение: сказать отцу, когда вернется, чтобы к ее возврату он непременно припас хороших раков, — их предполагалось дать с собой гостям в город как великую редкость. Мальчик ушел, но перед тем клятвенно мне обещал нынче вечером ждать меня на опушке леса,

Общество прибыло к судье: в доме у него все было так же по-деревенски, разве что чуть побогаче. Из-за чрезмерного усердия хозяйки обед запаздывал, но я ждал без нетер-

пения,— так интересно мне было гулять по отлично возделанному цветнику с дочкой судьи, девочкой немного младше меня. Разнообразные весенние цветы уже взошли, сплошь покрывая красиво очерченные куртины или окаймляя их по краям. Моя спутница была белокура, хороша собой и ласкова, мы, как близкие друзья, гуляли с нею, потом взялись за руки, и, кажется, нам не надобно было больше ничего на свете. Мы шли мимо тюльпанных гряд, мимо высаженных рядами нарциссов и жонкилей, она показывала мне клумбы, где недавно отцвели великолепные гиацинты. Зато в других местах вперед позаботились о наступающем лете и об осени: уже зеленели кусты, на которых предстояло расцвести анемонам и пионам, тщательность, с какой высажены были бесчисленные стебли гвоздик, была залогом пышного их цветения, более близкую надежду сулили многочисленные бутоны на побегах лилий, со вкусом рассаженных между розами. А сколько жимолости, сколько кустов жасмина, сколько вьющихся лоз и ползучих стеблей обещало распуститься и дать тень беседкам!

Когда я смотрю сейчас, спустя много лет, на тогдашнее свое состояние, оно представляется мне поистине завидным. Неожиданно и одновременно испытал я предчувствие дружбы и любви. Ибо когда я неохотно прощался с маленькой красавицей, меня утешала мысль о том, как я открою и поведаю мои чувства новому другу и заодно с этими неведомыми прежде ощущениями мне доставит радость его участие.

Если добавить еще одно общее соображение, то должен признаться, что всю мою жизнь этот впервые увиденный мир в цвету представляется мне истинной живой натурой, а все последующие чувственные впечатления были лишь копиями с нее, в которых, при всей их близости к природе, не хватало изначального духа и смысла.

В какое отчаянье привела бы нас холодная безжизненность внешнего мира, если бы нечто возникающее в нас самих не придавало природе особую красоту, даруя нам творческую силу самим становиться краше вместе с нею!

Уже смеркалось, когда мы подошли к тому месту на опушке, где мой новый друг обещал ждать меня. Я изо всех сил напрягал зрение, чтобы обнаружить, на месте ли он; когда это мне не удалось, я бегом опередил медленно шествовавшее общество и стал рыскать по кустам. Я звал, я был по-

лон боязни; его нигде не было видно, он не откликался, я впервые испытал двойную и тройную муку обманутого чувства.

Возникшая во мне потребность в дружеской симпатии уже не знала границ, мне во что бы то ни стало нужно было поговорить о белокурой девочке и тем изгнать ее образ из моих мыслей, избавить сердце от пробужденных ею чувств. Оно было переполнено, и губы мои что-то бормотали, давая выход преизбытку; я вслух бранил ни в чем не повинного мальчика за то, что он оскорбил нашу дружбу, что нарушил обещание.

Но мне назначено было пройти и более тяжкое испытание. Из домиков на околице с криком выбегали женщины, за ними с ревом неслись дети, толком никто ничего не отвечал. Но тут мы сами увидели, как из-за угла крайнего дома появилось печальное шествие, медленно тянувшееся вдоль длинной улицы; казалось, то были похороны, но не одни, а несколько сразу, ибо покойников несли одного за другим без конца. Вопли не прекращались, множились, сбежалась толпа. «Они потонули, все, все потонули! Вот он! Кто? Который?» Матери, если видели рядом всех своих чад, успокаивались. Вперед вышел сурового вида человек и обратился к пасторше: «По несчастью, я задержался слишком долго. Мой Адольф утонул сам-пят, хотел выполнить обещание и за себя, и за меня». Мужчина — это и был рыбак — нагнал шествие, а мы стояли, оцепенев от ужаса. Тут к нам подошел маленький мальчик, протянул мешок и со словами: «Вот раки, госпожа пасторша», — поднял вверх улику. Все отдернули руки, словно боясь невесть какого вреда, потом стали расспрашивать и узнали вот что: малыш один оставался на берегу и собирал раков, которых бросали снизу остальные. После новых расспросов узнали еще, что Адольф, спустившись, ходил вдоль реки и заходил в воду еще с двумя мальчиками, такими же умелыми ловцами; к ним пристали другие двое, помладше, их никто не звал, но удержать их нельзя было ни бранью, ни угрозами. Первые уже почти миновали опасное каменистое место, но двое отставших, скользя на камнях и цепляясь друг за друга, повалили один другого, а потом потянули и шедшего впереди, и так все попадали в воду на глубоком месте. Адольф, будучи хорошим пловцом, спасся бы, но все в ужасе хваталось за него и потянули на дно. Тогда малыш с криком помчался в деревню, не выпуская из рук полного раков мешка. Среди созванных им людей к реке поспешил и случайно замешкавшийся с возвра-

том рыбак; детей одного за другим выловили, но они были уже мертвы, и сейчас их несли в деревню.

Пастор в горести направился вместе с моим отцом в сельскую управу. Взошла полная луна и осветила тропы смерти. Я порывался следом за ними, но меня не впускали, и состояние мое было ужасно. Тогда я стал безостановочно ходить вокруг дома, пока не понял, что может мне помочь, и не залез в открытое окно.

В большой зале, предназначенной для всякого рода собраний, были уложены на соломе злосчастные дети, нагие, вытянувшиеся и такие бледные, что белизна тел выделялась даже в тусклом свете лампы. Я упал на грудь старшего, на широкую грудь моего друга; не помню, что со мною творилось, я горько плакал, заливая труп слезами. Я что-то слышал о растирании, которое может помочь в таких случаях, и вот я стал втирать в тело мои слезы, обманывая себя вызванной трением теплотой. В растерянности я задумал вдуть ему в уста воздух и оживить дыхание, но его жемчужные зубы были стиснуты, губы, еще хранившие, казалось, след нашего прощального поцелуя, не подавали в ответ ни малейшего признака жизни. Отчаявшись в человеческой помощи, я обратился к молитве; я плакал, я молился, мне мерещилось, что в эту минуту я непременно сотворю чудо, заставлю его душу очнуться, если она не покинула тела, или вернуться, если она витает поблизости.

Меня оторвали от тела силой; в повозке я плакал и рыдал и едва слышал, что говорят родители; между тем матушка твердила то, что я потом слышал постоянно: во всем надо положиться на волю божью. Постепенно я заснул, а наутро проснулся поздно, и на душе у меня было мрачно и смутно.

Спустившись к завтраку, я застал матушку за важным совещанием с теткой и кухаркой. Раков нельзя было ни варить, ни подавать на стол, так как отец не желал видеть столь непосредственного напоминания о недавнем несчастье. Тетка, судя по всему, страстно хотела заполучить этих редких тварей, но одновременно обрушилась на меня за то, что мы не привезли ей первоцвета; впрочем, она успокоилась, как только ей отдали в полное распоряжение кишачих маленьких чудовищ, о дальнейшем предназначении которых она и стала совещаться с кухаркой.

Чтобы стал ясен смысл этой сцены, мне придется подробнее написать о характере и нраве этой особы; преобладавшие в ней свойства никак не заслуживали похвалы с точки

зрения нравственной, но если смотреть на них со стороны гражданской и политической, они оказывались весьма полезны. Она была в полном смысле слова скрягой, ей жаль было расстаться с каждым грошом, и все свои потребности она старалась удовлетворить заменителями, которые можно добыть задаром, или в обмен, или еще как-нибудь. Так первоцвету предназначалось служить вместо чая, и этот чай считался у нее полезнее китайского. Дескать, бог дал каждой стране все необходимое, будь то пища, пряности либо лекарства, а поэтому нет нужды прибегать к помощи чужих стран. В своем садике она разводила все, что, на ее взгляд, могло придать вкус кушаньям и принести помощь больным, и не бывало случая, чтобы она, посетив чужой сад, не принесла оттуда чего-нибудь в этом роде.

И такой взгляд на вещи, и его последствия ей еще можно было бы простить, тем более что ее ревностно накапливаемая наличность в конце концов должна была достаться семье, и действительно, мои мать с отцом не перечили и даже помогали ей в этом.

Но у нее имелась еще одна страсть, деятельная и обнаруживавшая себя в неустанных хлопотах; это была спесивая потребность слыть особой значительной и пользующейся влиянием. И она на самом деле заслужила и заработала себе такую славу, ибо умела использовать к своей выгоде обычно никому не нужные, а чаще вредные женские пересуды. Ей было точно известно все, что творилось в городе, а значит, и подноготная многих семейств, и едва ли случалось хоть одно недоразумение, в которое она бы не вмешалась, — а это удавалось ей тем легче, что она всегда старалась быть полезной, умея, однако, через это повысить свою репутацию и приобрести новую славу. Она состряпала немало свадеб, причем, по крайней мере, одна из сторон всегда бывала довольна. Но главным ее занятием была опека и покровительство тем особам, которые добивались места либо искали службы, и этим она и в самом деле приобрела множество клиентов, а потом умело пользовалась их влиянием.

Будучи вдовой крупного чиновника, человека строгих правил, она научилась тому, как можно мелочами завоевать благосклонность лиц, к которым с крупными подношениями не подступишься.

Чтобы не писать и дальше столь пространно, но и не уклоняться в сторону, замечу напоследок, что она добилась немалого влияния у одного облеченного высокой должно-

стью господина. Скупед не хуже нее, он, как на грех, был к тому же лакомкой и обжорой. Первой заботой тетушки было под благовидным предлогом доставить ему к столу какое-нибудь блюдо повкуснее. Человек то был не самый совестливый, но в сомнительных случаях, когда он должен был преодолевать сопротивление своих сослуживцев и заглушать голос долга, на который они ссылались, всегда можно было рассчитывать на его смелость и наглость.

Как раз в ту пору она опекала человека недостойного, делая все возможное, чтобы пристроить его к месту; дело уже принимало благоприятный для нее оборот, а тут еще кстати подвернулась такая редкость, как эти раки. Их надлежало как следует откормить и понемножку подавать к столу высокого покровителя, обычно обедавшего в одиночку и крайне скудно.

Несчастное происшествие дало обществу повод ко многим разговорам и волнениям. В то время мой отец был одним из первых, кого дух универсального доброжелательства побудил заботливо взглянуть за пределы родной семьи и родного города. Он старался заодно с чинами полиции и с опытными врачами побороть те препятствия, которые вначале встретило оспопрививание. Более тщательный уход в госпиталях, более человеческое обращение в тюрьмах и все остальное, что с этим связано, составляло если не дело его жизни, то предмет его чтения и раздумий, а так как он повсеместно высказывал свои убеждения, то и сделал этим немало добра.

Гражданское общество было для него, независимо от формы правления, явлением естественным, в котором есть и добро и зло и которое проходит свой обычный жизненный круг, зная попеременно годы изобилия и годы скудости, иногда, неожиданно и случайно, терпя градобития, наводнения и пожары; всем хорошим надо воспользоваться, все плохое предотвращать или терпеливо сносить; но самым желательным он считал распространение всеобщей доброй воли, независимо от прочих условий.

Такой образ мыслей не мог не побудить его вновь заговорить об одном благодетельном начинании, о котором говорилось и прежде, а именно — о возвращении к жизни тех, кого сочли умершими, независимо от того, насколько утрачены внешние признаки жизни. Из этих разговоров я услышал, что с утонувшими детьми следовало делать как раз противоположное тому, что делалось и предпринималось и в известной мере стало причиной их смерти; считали даже, что всем им можно было помочь простым кровопусканием. С го-

рчностью юности я про себя вознамерился не упускать ни единой возможности и выучиться всему, что в таких случаях необходимо, особенно же кровопусканию и тому подобным приемам.

Но как скоро отвлекли меня будни! Потребность в дружбе и любви была пробуждена, я озирался в поисках ее удовлетворения. Тем временем театр чрезмерно поглотил мою чувственность, мой ум и мое воображение, а как далеко он увлек и в какой соблазн завлек меня, нет нужды повторять.

Но что мне сказать, как оправдать себя, если и после этого обстоятельного рассказа приходится признаться в том, что я все еще не достиг цели и надеюсь достичь ее впредь только окольным путем! Во всяком случае, я хотел бы отметить вот что: если юмористу дозволено перескакивать с пятого на десятое, если он дерзко предоставляет читателю отыскивать среди недосказанного, что вообще можно оттуда извлечь, то почему не разрешить человеку рассудительному и разумному прибегнуть к странной на первый взгляд методе и рассредоточить действие, но с тем, чтобы потом увидели его собранным и отраженным в одной точке и узнали, как под разнообразнейшими воздействиями человек поневоле приходит к решению, которого не принял бы ни по внутреннему влечению, ни по внешнему поводу?

Как ни много остается мне еще сказать, я могу выбрать, что предпочесть для начала; но и это все равно, тебе надобно набраться терпения и читать дальше и дальше, и тогда вдруг вполне естественно выговорится то, что показалось бы тебе, будь оно высказано одним словом, весьма странным, так что ты не захотела бы потом даже заглянуть в это предназначенное все разъяснить введение.

Ну вот, чтобы хоть как-то войти в колею, я опять оглянись на ту уключину и припомню один разговор с нашим испытанным другом Ярно, коего я встретил в горах под именем Монтана; разговор этот вызвал во мне совсем особые чувства, хотя завел я его случайно. Ход нашей жизни таинствен, его нельзя рассчитать заранее. Ты, конечно, помнишь сумку с инструментом, которую извлек ваш превосходный хирург в тот миг, когда ты приблизилась и спасла меня, лежавшего замертво в лесу? Она сразу привлекла мой взгляд и произвела такое глубокое впечатление, что я был в восторге, увидев ее спустя несколько лет в руках молодого врача.

Тот не особенно ее ценил; все инструменты стали за последнее время совершеннее и целесообразнее, и мне тем проще было приобрести сумку, что продажа облегчала ему покупке нового набора. С тех пор я всегда носил ее с собой, не ради нужды, а ради отрадных воспоминаний,— ведь она была свидетелем того мига, когда началось мое счастье, достичь которого мне предстояло лишь долгим кружным путем.

Ярно случайно увидел ее, когда мы ночевали у угольщика, сразу узнал и в ответ на мои объяснения возразил: «Я не имею ничего против таких фетишей, напоминающих о неожиданном благе, о важных последствиях ничего не значащего происшествия; они возносят нас ввысь, как все, что указывает на непостижимое, ободряют в минуты смущения и помогают ожить надеждам; но было бы еще лучше, если бы эти орудия побудили тебя узнать, как их применяют, как делают то, чего они молча от тебя требуют».

«Скажу тебе откровенно,— отвечал я,— что мне много раз приходило в голову то же самое, и внутренний голос, пробуждавшийся во мне, требовал признать, что это и есть мое настоящее призвание». Я рассказал ему историю об утонувших мальчиках, о том, что их, как я слышал, спасли бы, если бы отворили им жилу; тогда я вознамерился этому обучиться, но каждый час все больше стирал у меня из памяти это намерение.

«Так вернись к нему теперь! — отозвался Ярно.— Ты уже столько лет у меня на глазах занимаешься только теми вещами, что относятся или касаются до человеческого сердца, ума, души и как бишь их там еще называют, а много ли от этого проку и тебе и другим? Что бы ни было причиной душевных страданий — несчастье или наш собственный промах, но излечить от них здравый смысл не может, разум почти не может, время может, но не до конца, и только неустанная деятельность излечивает совсем. Тут пусть каждый трудится сам на себя и сам за себя; ты мог убедиться в этом и на собственном, и на чужом примере».

По своему обыкновению, он прибавил немало суровых, горьких слов и сказал немало резкостей, которые мне не хочется повторять. «Если что и стоит труда,— заключил он,— так это научиться оказывать помощь здоровому, если он пострадал от какого-нибудь случая: при разумном лечении природа быстро берет свое, так что больных следует предоставить врачам, а хирург больше всего нужен здоровым. В сельской ли тиши, в семейном ли кругу он гость

не менее желанный, чем в суматохе боя или после него; в самые отрадные мгновения — не менее, чем в самые горькие и страшные; потому что злосчастье бесчинствует более свирепо, чем смерть, и столь же беспощадно, как она, постыднейшим образом калеча и жизнь, и радость».

Ты знаешь его и без труда можешь себе представить, что он не щадил ни меня, ни мир. Особый упор делал он на один довод, обращая его против меня от имени нашего великого содружества. «Какая чушь,— говорил он,— и само ваше общее образование, и устроенные ради него заведения! Самое главное, чтобы человек до конца знал что-нибудь одно и делал это дело так, как никто в его ближайшем окружении, и нигде так не ясна важность этого, как в нашем Обществе. А ты как раз в том возрасте, когда планы строят разумно, судят проникательно о том, что перед глазами, за дело берутся с нужного конца и способности свои совершенствуют ради правильной цели».

Зачем мне продолжать и словами высказывать то, что понятно само собой! Он недвусмысленно дал мне понять, что с меня могут снять странный запрет, обрекающий меня на странничество, но добиться этого ему будет нелегко. «Ты из той породы людей,— говорил он,— которые легко привыкают к месту и нелегко — к определенному предназначению. Всем таким людям предписывается постоянно менять свою жизнь, чтобы прийти к неизменному ее распорядку. Если ты и в самом деле хочешь посвятить себя божественнейшему из всех призваний — исцелять без чудес и творить чудеса без слов,— то я за тебя походатайствую». Так поспешил он сказать, присовокупив все мощные доводы, на которые оказалось способно его красноречие.

Тут я склонен поставить точку; но прежде ты должна узнать, как я использовал разрешение дольше оставаться на одном месте, как сумел приноровиться к делу, к которому давно питал склонность, и как приобрел в нем навык. Но довольно! Когда наступит срок великого предприятия, которое предстоит вам, я покажу себя полезным и необходимым членом товарищества и с уверенностью пойду одной с вами дорогой, пойду не без гордости, ибо похвально гордиться тем, что я достоин вас.



РАЗМЫШЛЕНИЯ В ДУХЕ СТРАННИКОВ

Искусство, нравственность, природа

Всякая разумная мысль уже приходила кому-нибудь в голову, нужно только постараться еще раз к ней прийти.

Как можно познать самого себя? Только в действии, но никак не в созерцании. Старайся выполнять свой долг, и ты сразу узнаешь, что у тебя за душой.

Но что есть твой долг? То, чего требует насущный день.

Разумный мир следует рассматривать как огромный бессмертный индивидуум; непрестанно действуя ради необходимого, он подчиняет себе также и случайное.

Чем дольше я живу, тем досаднее мне видеть человека, который затем и поставлен так высоко, чтобы повелевать природой и избавлять себя и близких от гнета необходимости, — видеть, как он из предрассуждения делает противное тому, чего хочет, а потом, погубив дело в самой основе, жалким образом бьется над частностями, не умея сладить и с ними.

Умный, усердный работник, старайся делом добиться
от великих — милости,
от могущественных — благосклонности,
от добрых и усердных — содействия,
от толпы — приязни,
от каждого в отдельности — любви!

Дилетанты, сделав все, что в их силах, обыкновенно горюют себе в оправдание, что работа еще не готова. Но она и не может быть готова, потому что за нее с самого начала взялись неверно. Мастеру довольно нескольких ударов кисти — и его творение готово: отделанное или нет, оно совершенно. Самый умелый дилетант пробует на ощупь, наугад, и чем тщательней он все отделявает, тем заметней становится шаткость основного замысла. Этот изъян обнаруживается только под самый конец, его уже не поправишь, и произведение никогда не будет готово.

В подлинном искусстве нет предварительного обучения, есть только подготовка, и самая лучшая подготовка — участие самого ничтожного ученика в работе мастера. Из мальчишек, растиравших краски, получались превосходные живописцы.

Совсем другое дело — подражание, в которое порой превращается естественная повседневная деятельность человека, увлеченного примером большого художника, с легкостью преодолевающего трудности.

В общем, мы убеждены, что этюды с натуры необходимы для живописца и скульптора и достаточно ценны; но не будем отрицать, что подчас, когда мы видим, как таким похвальным стремлением злоупотребляют, это огорчает нас.

По нашему убеждению, молодой художник не должен приниматься за этюд с натуры, не думая при этом, как бы сделать любой лист законченным целым, как преподнести на радость любителю и знатоку любой отдельный предмет, претворив его в приятную картину и заключив в раму.

Прекрасное в природе часто разрознено, и дело человеческого духа — открыть связи и благодаря им создать произведение искусства. Цветок становится прелестен, только если к нему прильнет насекомое, если его увлажнит капля росы, если есть ваза, дающая ему последнюю пищу. Нет куста или дерева, которых нельзя было бы сделать более внушительными, поместив рядом скалу или родник, и более очаровательными — поставив их на фоне не слишком широких и ярких далей. Так же нужно обходиться и с человеческими фигурами, и с различными животными.

Преимущества, которых достигает таким образом молодой художник, весьма многочисленны. Он научается думать, гармонически сочетать подходящие предметы, и, если у него довольно изобретательности, чтобы компоновать таким образом, то не будет недостатка и в том, что называют творческой фантазией, то есть в способности достигать разнообразия, разрабатывая единичный мотив.

Если его работа удовлетворяет школьным правилам искусства, то он получает еще немалую, отнюдь не заслуживающую пренебрежения выгоду, а именно, научается создавать годные на продажу, нравящиеся любителю листы.

Подобная работа не должна быть выписана до последнего предела законченности; если она хорошо увидена, продумана и завершена, то для любителя в ней нередко больше прелести, чем в крупном и тщательно выписанном произведении.

Так пусть каждый молодой художник просмотрит этюды у себя в альбоме или в папке и подумает, сколько бы он мог сделать таким образом листов, доставляющих удовольствие и желанных для любителя!

Речь здесь идет не о высшем, хотя и о нем можно было бы сказать немало,— все это говорится лишь в предостережение, чтобы окликнуть пошедших ложным путем и указать им дорогу к высшему.

Так пусть художник хотя бы полгода не делает других опытов, кроме практических, и не берет в руки ни угля, ни кисти, не имея намеренья претворить находящийся перед ним предмет в законченную картину! Если у него есть природный талант, то очень скоро обнаружится, что мы про себя имели в виду, когда давали такие указания.

Скажи мне, кто твой друг, и я тебе скажу, кто ты; скажи мне, чем ты занимаешься, и я скажу тебе, что из тебя может получиться.

Каждый человек должен думать по-своему, ибо, идя своим путем, он находит помощницу в жизни — истину или хотя бы подобье истины. Но он не вправе давать себе волю и должен проверять себя: жить голым инстинктом человеку не пристало.

В любом роде деятельности, если она ничем не ограничена, мы в конце концов терпим крах.

В созданных рук человеческих, как и в творениях природы, заслуживает внимания прежде всего цель.

Люди заблуждаются в себе и в других, потому что принимают средства за цель, между тем как деятельность без цели бесплодна, а порой и пагубна.

Все, что мы придумываем или предпринимаем, изначально должно быть столь чисто и совершенно, что действительность может только погубить эти свойства; однако за нами все-таки остается преимущество: мы можем поставить на место сдвинутое, восстановить разрушенное.

Заблуждения, полузаблуждения, заблуждения на одну четверть — все их можно исправить только ценой больших трудов, отвевя все ложное, а истинное поставив на подобающее место.

Далеко не всегда необходимо, чтобы истина воплощалась: довольно и того, если она, как дух, витает вокруг нас и порождает общее согласие, если она истово и благостно разносится по воздуху, словно колокольный звон.

Немецкие художники младшего поколения, даже те, что прожили некоторое время в Италии, на мой вопрос, почему они, особенно в пейзажах, являют глазу столь резкие, неприятные тона, избегая малейшей гармонии,— дерзко и спокойно отвечают, что именно так, а не иначе видят природу.

Кант обратил наше внимание на то, что существует критика разума, что эта высочайшая способность, какой только обладает человек, имеет причины быть бдительной по отношению к самой себе. Пусть каждый испытает на своем опыте, как много преимуществ дает нам такое высказывание. А я хотел бы поставить другую задачу в том же духе: нам необходима критика чувств, если мы хотим, чтобы искусство вообще, и особенно немецкое, выздоровело и на радость всем зашагало вперед об руку с жизнью.

Разумный от рождения человек нуждается в долгом образовании, каким бы путем он его ни получил: благодаря ли заботливости родителей и воспитателей, благодаря ли крот-

кому примеру или суровому опыту. Точно так же человек рождается лишь *начинающим*, а не *законченным* художником; пусть он изначально смотрит на мир свежим взглядом, пусть у него есть глаз к внешнему облику, пропорциям, движению, — все равно в нем может не быть природных способностей к сложной компоновке, к изображению позы, света, тени, к колориту, хотя он сам этого не видит.

А если он не склонен учиться у достигших большего совершенства художников прошлого и современности тому, чего в нем нет, и через это стать настоящим художником, — тогда ложно понятое стремление сохранить самобытность не даст ему дорасти до самого себя. Ведь не только то, что мы получили от рождения, но и то, что сумели приобрести, принадлежит нам; мы состоим и из того, и из другого.

Общие понятия и большое самомнение в любой миг могут стать причиной великого несчастья.

«Играть на трубе — не в дудку дудеть: надобно шевелить пальцами».

У ботаников есть класс растений, которые они называют «incompletae»¹. Можно сказать, что и среди людей есть «неполные», незавершенные. Это те, у кого мечты и стремления несоразмерны делу и его плодам.

Самый ничтожный человек может быть «полным», если действует в пределах своих способностей и умений; но если это необходимое равновесие исчезает, тогда затмеваются, идут прахом и пропадают самые великие достоинства. В последнее время такая беда случается еще чаще: ибо кому под силу удовлетворить требованиям столь высоко стоящей современности, и к тому же движущейся с такой огромной быстротой?

Только разумно-деятельные люди, которые знают свои силы и пользуются ими рассудительно и в меру, много достигнут в мире.

Вот величайшая ошибка: мнить о себе больше, чем ты есть, и ценить себя меньше, чем ты заслуживаешь.

¹ Неполными (лат.).

Время от времени мне попадается какой-нибудь юноша, в котором мне не хотелось бы видеть никаких перемен, даже к лучшему; но меня огорчает, что многие готовы плыть по течению, куда несет их поток времени, и тут у меня возникает желание напоминать снова и снова: человеку в его утлом челноке для того и дано в руки весло, чтобы он повиновался не прихоти волн, а своей прозорливой воле.

Откуда молодому человеку самому научиться считать предосудительным и вредным то, что все делают, одобряют и поощряют? Как ему не пойти туда же, не дать своим природным свойствам развиваться в ту же сторону?

Величайшую беду нашего времени, которое ничему не дает созреть, я вижу вот в чем: оно каждый миг проедает предыдущий миг и все, что сегодня имеет, сегодня и спускает; у него что в руках было, то по пальцам сплыло, — а плодов никаких. Ведь есть же у нас газеты на каждое время дня! Да и среди них умная голова найдет место добавить и то и се. Вот и получается, что все наши дела, наши занятия, наши создания, даже наши намерения вытаскиваются на публику. Никто не вправе радоваться и страдать иначе как для забавы остальных, и все с курьерской скоростью переносится из дома в дом, из города в город, из страны в страну, из одной части света в другую.

Нельзя удержать безудержное умножение паровых машин. То же самое — в нравственной сфере: оживление в торговле, шелест банкнот, разбухание долгов, имеющих покрыть прежние долги, — вот те чудовищные стихии, во власть которым отдан теперь молодой человек. Благо ему, если природа наделит его умом воздержным и спокойным и он не будет предъявлять чрезмерных требований к миру, но и не допустит, чтобы мир определял его сущность.

Но дух времени грозит ему в любом кругу, и нет ничего нужнее, как заблаговременно указать ему направление, куда должна повернуть руль его воля.

Значение самых невинных слов и поступков растет с годами, и всякому, кого я долго вижу рядом, я постоянно указываю, в чем состоит различие между доверительной искрен-

ностью и нескромностью; вернее, нет даже различия, а есть незаметный переход от самого безобидного к самому вредоносному, который и необходимо видеть, вернее, ощущать.

В этом мы и должны упражнять наш такт, не то мы рискуем утратить людское расположение на том самом пути, на котором нам удалось его приобрести. С течением жизни это постигается само собой, но сперва надобно дорого заплатить за науку, и платы этой не сбережешь для потомков.

Отношение искусств и наук к жизни бывает весьма различно в зависимости от взаимоотношения ступеней, на которых они стоят, от особенностей эпохи и от тысячи случайных причин; поэтому никто не может с легкостью постигнуть его в целом.

Поэзия оказывает наибольшее воздействие, когда некое состояние, будь оно первобытным или полупросвещенным, только начинается, либо когда одна культура сменяется другой, либо когда знакомятся с чуждой культурой, так что, можно сказать, воздействует прежде всего новизна.

Музыка, в лучшем смысле этого слова, меньше нуждается в новизне, скорее наоборот: чем она старше и привычнее, тем сильнее действует.

Достоинство искусства, быть может, всего очевиднее в музыке, так как в ней нет предмета изображения, на который надобно делать скидку. Вся она — только форма и содержание, и потому все, что она выражает, возвышается и облагораживается ею.

Музыка бывает духовной или светской. По своему достоинству музыка вправе быть духовной, и тут-то она сильнее всего воздействует на жизнь, причем воздействие это остается неизменным во все века и эпохи. Светская музыка непременно должна быть веселой.

Музыка, в которой духовное перемешано со светским, — безбожна; музыка межеумочная, выражающая душевную слабость, тоскливые, горестные чувства и в том находящая удовольствие, — отвратительна. Она недостаточно серьезна, чтобы быть духовной, и вместе с тем лишена главной характеристической черты светской музыки — веселости.

Возвышенная духовность церковной музыки, веселый задор народных мелодий — вот те дверные петли, на которых вращается настоящая музыка. И есть две сферы ее постоянного и неперемennого воздействия: молитвенное благоговение или танец. Смешение сбивает с толку, расслабление пресно и пошло, а если музыка уподобляется дидактическим, описательным или иным подобным стихам, она становится холодной.

Пластика действует в полную меру, лишь достигнув величайших высот. Посредственное может импонировать нам по многим причинам, но все же посредственное произведение искусства больше сбивает с толку, чем радует. Поэтому ваяние поневоле старается стать интересней благодаря предмету изображения, что удается ему в портретах выдающихся личностей. Но и в них оно должно подняться как можно выше, если желает быть правдивым и достойным.

Живопись среди всех искусств дает больше всего воли и удобства. Дело в том, что она много выигрывает и доставляет удовольствие благодаря сюжету и предмету изображения, даже если остается всего лишь ремеслом или едва приближается к искусству, а отчасти и в том, что техническое исполнение, пусть даже лишенное духовного смысла, восхищает и необразованных и образованных зрителей, почему живописи, чтобы нравиться, довольно хотя бы в малой мере возвыситься до искусства. Приятно само правдоподобие красок, внешнего облика видимых предметов и их взаимоотношений, а так как глаз и в жизни привык видеть всякое, то искаженный предмет и даже искаженность всей картины не претит ему так, как слуху — фальшивый звук. Можно стерпеть самое скверное изображение, потому что мы привыкли видеть предметы и похуже. Живописцу достаточно быть хоть немного художником — и он найдет больше публики, чем музыкант, стоящий на той же ступени совершенства; по крайней мере, самый ничтожный художник может работать сам по себе, между тем как маленький музыкант должен объединяться с другими, чтобы совместными усилиями произвести некоторый эффект.

На вопрос о том, надо ли при созерцании произведений искусства сравнивать или не надо, мы хотели бы ответить так: образованный знаток должен сравнивать, потому что

перед ним маячит идея, у него есть понятие о том, что можно было и следовало сделать; для любителя — на полпути к образованию — больше всего пользы будет не сравнивать, а рассматривать каждое достижение художника по отдельности: так его чутье и ум постепенно разовьются до общих суждений. Невежда сравнивает лишь ради собственного удобства, чтобы избавиться от обязанности выносить суждение.

Правдолюбие обнаруживается в умении повсюду находить хорошее и ценить его.

Историческим чутьем называется чувство человека, образованного настолько, что при оценке современных достижений и достоинств он принимает в расчет также и прошлое.

Лучшее, что дает нам история,— это вызываемый ею энтузиазм.

Своеобразие вызывает к жизни своеобразие.

Надо помнить, что среди людей есть немало таких, которые, будучи лишены творческой способности, хотят сказать нечто значительное; тогда и появляются на свет самые странные вещи.

Когда человек мыслит глубоко и серьезно, ему плохо приходится среди широкой публики.

Если уж я должен выслушать чужое мнение, то пусть оно будет высказано окончательно: мне хватит и своих проблем.

Суеверие неотъемлемо присуще человеку, и если кто полагает совсем от него избавиться, оно прячется в самых причудливых уголках и закоулках, а потом, едва почувствовав себя в безопасности, немедленно выходит из них.

Многое мы знали бы лучше, если бы не стремились узнать столь точно. Предмет становится постижимым для нас только под углом в сорок пять градусов.

Микроскопы и подзорные трубы, по сути дела, замутняют ясность человеческого разума.

Обо многом я молчу, потому что не хочу сбивать людей с толку, и бываю доволен, если они радуются там, где меня берет досада.

Все, что освобождает наш дух, но не дает нам власти над самими собой, пагубно.

В произведении искусства людей интересует более «что», нежели «как», потому что первое они могут постичь в подробностях, а второе недоступно им и в целом. Отсюда — извлечение отдельных мест; впрочем, при должном внимании в конце концов почувствуют и воздействие целого, но только безотчетно.

Вопрос: «Откуда поэт это взял?» — также относится только к «что»; о том, «как», задавший его ничего не узнает,

Только искусство, особенно поэзия, упорядочивает воображение. Нет ничего хуже, чем сильное воображение при отсутствии вкуса.

Манерное — это неудавшееся идеальное, субъективно переданное идеальное; поэтому ему не обойтись без остроловия.

Филолог живет связностью дошедшего в рукописи. В основе рукописного предания лежит манускрипт, в нем встречаются и настоящие лакуны, и описки, создающие лакуны смысла, и все прочие изъяны, какие только могут быть в манускрипте. Но вот находится второй, третий список, их сличение помогает все лучше разглядеть в рукописном предании разумный смысл. Но филолог идет дальше, он добивается, чтобы его внутреннее чутье без внешних вспомогательных средств научилось все глубже постигать и наглядно представлять связный смысл разбираемого текста. Так как для этого необходимо обладать сугубым тактом и сугубо углубиться в творения давно усопшего автора, а также иметь хотя бы некоторую долю творческой фантазии, то нельзя упрекать филолога, если он возьмет на себя смелость судить и в вопросах вкуса, — что, впрочем, далеко не всегда ему удастся.

Поэт живет изображением. Самое совершенное изображение — то, которое спорит с действительностью; такое бывает, когда дух столь живо ее описывает, что эти описания

могут стать для каждого насущно-зримыми. Поэзия, когда она достигает высочайшей вершины, кажется внешней — и только; чем больше она сосредоточивается на внутреннем, тем дальше заходит по пути упадка. Та поэзия, которая изображает одно только внутреннее, не воплощая его во внешнем или не давая возможности ощутить внешнее сквозь внутреннее, опускается до последних ступеней, с которых переходит уже в обыденную жизнь.

Искусство красноречия живет всеми привилегиями поэзии, всеми ее правами; завладев ими, оно ими злоупотребляет, чтобы достигнуть внешних, нравственных или безнравственных, сиюминутных выгод в гражданской жизни.

Литература есть только фрагмент фрагмента; записывается ничтожная доля того, что произошло и было сказано, сохраняется ничтожная доля записанного.

Талант, развивавшийся во всей своей природной подлинности и величии, хотя и необузданный и угрюмый, — таков лорд Байрон; поэтому едва ли кто-нибудь может с ним сравниться.

Истинная ценность так называемых народных песен — в том, что мотивы их заимствованы непосредственно у природы. Но и образованный поэт мог бы воспользоваться той же выгодой, если бы понимал ее.

Впрочем, народные песни всегда имеют то преимущество, что естественный человек, не в пример образованному, умеет быть лаконичным.

Зреющим талантам опасно читать Шекспира: он заставляет их подражать ему, а они только учатся выражать самих себя.

Об истории может судить только тот, кто испытал действие истории на себе. Так же бывает и с целыми народами. Немцы могут судить о литературе только с тех пор, как у них самих появилась литература.

Человек по-настоящему жив, только если пользуется добрым расположением ближних.

Благочестие — не цель, а только средство достичь безмятежного душевного покоя и через него прийти к высшей просвещенности.

Поэтому можно заметить, что те, для кого нет иной цели, кроме благочестия, по большей части становятся ханжами.

«Состарившись, человек должен делать больше, чем в юности».

Исполнивший долг всегда чувствует себя должником, потому что быть вполне довольным собой невозможно.

Недостатки видны только тому, кто не любит; поэтому, чтобы разглядеть их, нужно подавить в себе любовь, но лишь настолько, насколько необходимо для такой цели.

Величайшее счастье — то, которое избавляет нас от недостатков и исправляет наши промахи.

Если ты умеешь читать, то должен и понимать; если ты умеешь писать, то должен что-нибудь знать; если ты можешь верить, то должен и постигать разумом; если ты желаешь, то почувствуешь на себе долг; если ты требуешь, то ничего не добьешься, а если опытен, то должен приносить пользу.

Люди признают только того, кто им полезен. Государя мы признаем, только если видим, что под его вывеской мы спокойны за свое добро. Мы ждем от него защиты от враждебных обстоятельств, грозящих изнутри и извне.

Ручей дружен с мельником, которому приносит пользу, и охотно низвергается на колеса; и разве больше проку было бы ручью бесцельно бежать через долину?

Кто довольствуется чистым опытом и действует в соответствии с ним, тот достаточно постиг истину. В этом смысле растущее дитя мудро.

От теории как таковой может быть только один прок: она заставляет нас поверить во взаимосвязь явлений.

Все отвлеченное становится ближе человеческому разуму благодаря практическому приложению; таким образом, человеческий разум через деянье и наблюденье поднимается к отвлеченному.

Кто требует многого и находит удовольствие в сложном, тот более других подвержен заблуждениям.

Нельзя упрекать того, кто мыслит аналогиями; у аналогии то преимущество, что она ничего не завершает и не притязает на окончательность; напротив того, индукция пагубна, ибо она имеет в виду предустановленную цель и, стремясь к ней во что бы то ни стало, увлекает за собой и истинное и ложное.

Обычное созерцание — правильный взгляд на земные обстоятельства — достается человеческому здравому смыслу по наследству; *чистое* созерцание внешнего и внутреннего встречается очень редко.

Обычное созерцание выражается в практическом чутье, в непосредственной деятельности; *чистое* — в символах, более всего математических, в числах и формулах, а в словах — изначально, иносказательно, в поэтических созданиях гения или в пословицах, созданных человеческим рассудком.

Далекое воздействует на нас через посредство предания. Обычное предание следует назвать историческим; более высокое, родственное фантазии, есть предание мифическое. Если за ним ищут нечто третье, какое-то значение, то оно превращается в мистику. Кроме того, оно легко становится сентиментальным, почему мы и усваиваем только радующее душу.

Если мы хотим, чтобы дело у нас поистине спорилось, надобно не упускать из виду действий.

подготовительных,
сопровождающих,
содействующих,
вспомогательных,
способствующих,
усиливающих,
препятствующих,
последующих.

Созерцая, как и действуя, следует различать доступное и недоступное, иначе и в жизни, и в познание немногого достигнешь.

«Le sens commun est le génie de l'humanité»¹.

Этот здравый смысл, который следует признать гениальностью человечества, должен быть прежде всего рассмотрен в своих проявлениях. Исследовав, для чего использует его человечество, мы обнаружим следующее:

Жизнь человечества определяется потребностями. Если они не удовлетворены, человечество выказывает нетерпение; если удовлетворены, оно делается равнодушным. Следовательно, человек колеблется между этими двумя состояниями; свой рассудок — так называемый человеческий разум — он применяет к делу ради удовлетворения потребностей, а когда это достигнуто, перед ним возникает задача заполнить промежутки равнодушия. Ограничив себя ближайшими и необходимейшими пределами, человек и здесь достигает успеха. Но если потребности, возвысившись, выйдут из круга обыденности, то тут здравого смысла уже не хватит, он перестает быть гениальностью, и перед человечеством открывается область заблуждения.

Как бы ни было происшедшее неразумно, его могут исправить разум или случай; как бы ни было оно разумно, его могут извратить неразумие и случай.

Всякая великая идея, едва явившись взорам, действует тиранически, поэтому все выгоды, которые она несет с собой, скоро превращаются в протори. Следовательно, можно защищать и прославлять любой институт, если вспомнить его начало и ухитриться показать, что он не изменился против того, чем считался вначале.

Лессинг, тяжело переносивший множество ограничений, вкладывает в уста одного из действующих лиц такие слова: «Никто не должен быть должен». Некий остроумный и жизнерадостный человек сказал: «Кто хочет, тот должен». Третий, без сомнения, человек образованный, добавил: «Кто глубоко видит, тот и хочет». И считалось, будто этим весь круг познания, воли и долга замкнул. Однако в общем и це-

¹ Здравый смысл — вот гениальность человечества (*франц.*).

дом поступки человека определяет его познание, какого бы оно ни было рода; поэтому нет ничего страшнее, чем деятельное невежество.

Есть два рода мирного насилия: право и приличие.

Право требует того, что должно, политическая власть — того, что пристойно. Право взвешивает и решает, политическая власть смотрит мельком и приказывает. Право имеет в виду отдельное лицо, политическая власть — общество.

История науки есть огромная фуга, в которой голоса народов один за другим звучат слышнее остальных.

Обо многих проблемах естественных наук нельзя говорить должным образом, не призвав на помощь метафизику, — но не пресловутую школьную, словесную мудрость, а ту, что была, есть и будет — перед физикой, рядом с нею и после нее.

Ссылка на авторитет — на то, что однажды это уже случилось, было сказано или решено, — весьма ценна, но только педант во всем требует авторитетов.

Всякое основание почтенно, но нельзя отказываться от права самому заложить где-нибудь основание.

Упорно стой, где стоишь! — Этот афоризм сейчас особенно необходим: ведь, с одной стороны, все человечество расколото на большие клики, с другой — и каждый в отдельности хочет утвердиться в своих особых воззрениях и возможностях.

Всегда лучше высказывать прямо, что думаешь, и не заботиться о множестве доказательств: сколько мы их ни приведем, они будут лишь вариациями наших мнений, а противники не слушают ни мнений, ни доказательств.

Чем больше я знакомлюсь с естествознанием, с его каждодневным прогрессом, тем чаще сами собой напрашиваются мысли о том, что движение вперед и движение вспять происходят в нем одновременно. Здесь я выскажу лишь одну из них: *мы не выбрасываем вон из науки даже заведомые заблуждения.* Причина этому есть очевидная тайна,

Если какое-нибудь событие неправильно излагают, ставят в неверную связь или выводят из ложных причин, я называю это заблуждением. Но вот развитие опыта и мышления приводит к тому, что явление ставится в правильную связь и выводится из истинных причин. Этому бывают рады, однако особого значения не придают и рядом с истиной оставляют на месте заблуждение; мне самому известен небольшой склад тщательно сохраняемых заблуждений.

Поскольку человека интересует только собственное мнение, то каждый, кто его излагает, озирается направо и налево в поисках вспомогательных средств, способных подкрепить это мнение и для него самого, и для других. К истине прибегают лишь постольку, поскольку она для этого пригодна, зато в риторическом пылу хватаются за ложь, если только видят от нее мгновенную пользу, могут выставить ее как ослепляющий полудовод или кое-как заполнить ею пустоты и мнимо связать разрозненное. Когда я понял это, сперва меня взяла досада, потом я огорчился, а теперь испытываю злорадство; и я дал себе слово никогда впредь не разоблачать такого способа доказывать.

Каждый существующий предмет есть аналог всего существующего, потому наличное бытие одновременно представляется нам раздробленным и связным. Если слишком присматриваться к аналогиям, все отождествится со всем; если закрывать на них глаза, все рассыплется в бесконечное множество. В обоих случаях мысль впадает в застой: в одном — от избытка жизни, в другом — оттого, что она умерщвлена.

Удел разума — то, что находится в становлении, удел рассудка — то, что уже возникло. Разуму нет дела до того, зачем; рассудок не спрашивает, откуда. Разум находит радость в самом развитии; рассудок желает все остановить, чтобы использовать.

Человеку мало познавать ближайшее — таково его врожденное, неотъемлемо присущее его натуре свойство; но ведь каждое явление, которое наблюдали мы сами, в этот миг нам ближе всего, и мы, если будем настойчивы, можем добиться, чтобы оно само себя объяснило.

Однако люди никогда этого не усвоят, так как оно противно их природе; потому-то любой образованный человек, если он здесь и сейчас постиг нечто истинное, неизбежно захочет связать его не только с ближайшим, но и с самым отдаленным и обширным, из-за чего возникает одно заблуждение за другим. Между тем находящийся рядом феномен связан с далеким лишь постольку, поскольку все подчиняется немногим великим законам, которые проявляются везде.

Что есть всеобщее?
Единичный случай.
Что есть особое?
Миллионы случаев.

Аналогии грозят два ложных пути: подчиниться остроумию и тем уничтожить себя либо окутаться иносказаниями и притчами, что все же менее пагубно.

Нельзя терпеть в науке ни мифологии, ни легенд. Оставим их поэтам — они к тому и призваны, чтобы обрабатывать все это на радость людям. А человек науки пусть ограничится ближайшей насущной очевидностью. Однако, если он иногда пожелает выступить в роли риторы, ему не возбраняется воспользоваться и этой материей.

Чтобы спасти себя, я рассматриваю все явления так, будто они независимы друг от друга, стремлюсь насильно их изолировать; потом я рассматриваю их как соотносимые друг с другом, и они связываются в живое единство. Так я поступаю преимущественно по отношению к природе, но такой способ рассмотрения плодотворен и по отношению к новейшей, бурлящей вокруг нас истории мира.

Все, что мы называем изобретением, открытием в высшем смысле слова, есть существеннейшее деятельное проявление изначального чувства истины, которое вырабатывается исподволь и долго, а потом внезапно, с быстротой молнии ведет к плодотворному акту познания. Это — откровение, развивающееся изнутри и направленное вовне, оно дает человеку случай провидеть свою богоподобность. Это — синтез мира и духа, который дает блаженнейшее подтверждение вечной гармонии сущего.

Человек должен непоколебимо верить, что непостижимое постижимо, иначе он ничего не сможет исследовать.

Постижимо все особое, так или иначе применимое. Таким же образом может стать полезным и непостижимое.

Есть столь тонкое эмпирическое познание, что оно глубочайшим образом отождествляется с предметом и через это поднимается до теории. Но такое возрастание духовной мощи присуще только эпохам высокого просвещения.

Омерзительней всего брюзгливые наблюдатели и своеправные теоретики; все их опыты мелочны и переусложнены, их гипотезы невняты и причудливы.

Есть педанты и вместе с тем мошенники; хуже них нет ничего.

Незачем путешествовать вокруг света, чтобы убедиться, что небо везде голубое.

Всеобщее и единичное тождественны: единичное есть всеобщее, проявляющееся при различных условиях.

Нет нужды самому все увидеть и испытать на себе, но если ты хочешь поверить чужому описанию, то не забудь, что тут приходится иметь дело с тремя: с самим предметом и с двумя субъектами.

Основное свойство живой целокупности — в том, что она делится и соединяется, подвижна как всеобщее и неподвижна в единичных проявлениях, терпит превращения и дробится на разновидности, а так как живое может обнаружить себя при самых разных условиях, то оно становится явным и исчезает, отвердевает и плавится, застывает и течет, расширяется и сокращается. Поскольку же все эти действия происходят в один и тот же момент, то все и вся может наступить одновременно. Возникновение и гибель, созидание и уничтожение, рождение и смерть, радость и скорбь — все происходит нераздельно, в одинаковом смысле и в одинаковой мере; поэтому и самый частный случай всегда выступает как образ и символ всеобщего.

Если все природное бытие есть непрестанное разделение и соединёние, то из этого следует, что и люди, мысленно сощущая эту огромность, будут то разделять, то соединять.

Непреренно разделенными представляются нам физика и математика. Первая должна существовать совершенно независимо, сосредоточить всю силу любви, почтения и смирения на попытках проникнуть в природу, в святую ее жизнь, и не заботиться о том, что делает и каких результатов достигает математика. Вторая, напротив того, должна провозгласить свою независимость от всего внешнего, величаво идти своим собственным, духовным путём и прийти к большей чистоте, чем это могло быть до сих пор, откуда она занималась наличным и стремилась добиться от него плодов или приспособить к нему свои выводы.

В исследовании природы категорический императив так же необходим, как и в нравственности, следует только помнить, что тут к нему не приходят в конце, но с него начинают.

Высшим достижением было бы понять, что все фактическое есть уже теория. Синева неба открывает нам основной закон хроматики. Только не нужно ничего искать за феноменами: они сами по себе — учение.

В науках есть много несомненного — если только не давать исключениям сбить нас с пути и научиться уважать проблемы.

Если я наконец успокаиваюсь, обнаружив прафеномен, то это тоже резиньяция; однако есть большая разница, смиряюсь ли я, достигнув границ человечества или же не выходя за гипотетические пределы моей сжатой в тесных рамках индивидуальности.

Если посмотреть те проблемы, которыми занимался Аристотель, нельзя не удивиться дару наблюдения, вообще всему тому, что греки смогли заметить. Но при этом они грешили чрезмерной поспешностью, непосредственно переходя от феномена к его объяснению, из-за чего и возникают необоснованные теоретические высказывания. Но это — всеобщий грех, его можно встретить и сегодня,

Гипотезы — это колебательные, которыми учитель убаюкивает учеников; мыслящий, добросовестный наблюдатель все больше познает свою ограниченность, он видит: чем шире становится знание, тем больше возникает проблем.

Наша ошибка в том, что мы сомневаемся в несомненном и хотим окончательно установить то, что наверное неизвестно. Мой девиз в исследовании природы: устанавливать несомненное, быть внимательным к неизвестному.

Допустимой я называю такую гипотезу, которую выдвигают из хитрости, чтобы дать себя опровергнуть не любящей шутить природе.

Как он может прослыть мастером своего дела — ведь он не учит ничему бесполезному!

Каждый, полагая, будто что-нибудь узнал, полагает своим долгом передать свое знание, — и это глупее всего,

Поскольку от лекции педагога требуется полная безапелляционность, — из-за нежелания учеников получать сомнительные сведения, — то учитель не вправе ничего оставлять под вопросом и должен держаться подальше от проблем. Вместе с тем кое-что должно быть и определено («verraalt», как сказал голландец), — и вот на время можно возомнить, будто мы овладели неведомым пространством, пока другой не вырвет наши межевые столбы и не вобьет их снова, ближе или дальше.

Слишком живо спрашивая о причинах, путая причины и следствия, успокаиваясь на ложной теории, мы так вредим себе, что потом уже не можем выпутаться.

Если бы многие не чувствовали себя обязанными повторять неправду только потому, что однажды она была уже ими сказана, то люди были бы другими.

У ложного то преимущество, что о нем можно болтать без конца; истинное необходимо сразу же использовать, иначе оно вообще не существует.

Кто не видит, какое практическое облегчение приносит истина, будет охотно над нею издеваться и измываться, лишь бы хоть как-то скрасить свои бессмысленные и тягостные труды.

Немцы — да и не только они — наделены даром делать науки недоступными.

Англичанин мастерски умеет использовать всякое открытие, пока оно не приведет к новому открытию или к новой практике. Вот и спрашивайте, почему они опередили нас во всем.

У мыслящего человека бывает странное свойство: там, где есть неразрешенная проблема, он любит присочинить нечто фантастическое, а потом не может от него избавиться, даже когда проблема разрешена и истина стала очевидна.

Нужен особый склад ума для того, чтобы воспринимать не имеющую образа действительность такой, как она есть, и отличать ее от порожденных нашим мозгом призраков, которые, будучи тоже в какой-то мере действительными, настойчиво навязываются нам.

Испытывая природу, я постоянно задавал вопрос: «Кто высказывается здесь — твой предмет или ты сам?» В том же смысле я испытывал своих предшественников и сотрудников.

Каждый человек смотрит на упорядоченный, имеющий законченную форму, совершенный мир только как на первичную материю, из которой он старается создать особый мир по своей мерке. Дельные люди постигают мир, не мучась сомнениями, и стараются действовать, как выйдет, некоторые в нерешительности кружат около, а иные даже сомневаются в его существовании.

Тот, кто почувствовал бы, что до конца проникся этой истиной, не стал бы ни с кем спорить, а рассматривал бы и свое и чужое представление лишь как феномены. Ведь мы ежедневно убеждаемся на опыте, что один с легкостью думает о том, о чем другой и помыслить не может, — и это не только о вещах, способных радовать или огорчать, но и о вещах, совершенно для нас безразличных.

Каждый знает то, что знает, только для себя. Если я заговорю с другим о том, что, как мне кажется, я знаю, ему сразу же покажется, что он знает лучше, и мне придется вернуться с моим знанием к самому себе.

Истина помогает; заблуждение никуда не ведет, только заставляет нас блуждать.

Человек живет среди следствий, а поэтому не может удержаться и не спрашивать о причинах; однако, будучи существом ленивым, он хватается за первую попавшуюся причину и на том успокаивается; в особенности такова привычка здравого смысла.

Заметив зло, за него и берутся, то есть лечат так, чтобы избавиться от симптома.

Разуму подвластно только живое; до конца сложившийся мир, которым занимается геогнозия, мертв. Поэтому не может быть никакой геологии: разуму здесь нечего делать.

Если я найду разбросанные кости, то смогу составить из них костяк, ибо здесь вечный разум внятно вещает мне через посредство аналогии,— будь то даже остов гигантского ленивца.

Нельзя представить себе возникновение того, что сейчас уже не возникает; а возникшего и сложившегося мы не понимаем.

Весь новейший вулканизм есть, собственно, только смелая попытка связать нынешнее состояние мира, непонятное нам, с прошлым состоянием, нам неизвестным.

Силы природы, действуя различным образом, вызывают одинаковые или, по крайней мере, сходные следствия.

Нет ничего отвратительнее большинства: ведь оно состоит из немногих сильных, идущих впереди, из подлаживающихся хитрецов, из слабых, которые стараются не выделяться, и из толпы, которая семенит следом, не зная сама, чего она хочет.

Математика, как и диалектика, есть орудие высшего, внутреннего разума; практическое занятие ею — такое же искусство, как красноречие. Для обоих важна только форма; считает ли математика гроши или гинеи, защищает ли красноречие правое или неправое дело, — им это совершенно безразлично.

Но тут приобретает значение натура человека, занятого этим трудом, этим искусством. Проникновенный адвокат, защищающий справедливость, проникновенный математик, наблюдающий звездное небо, равно богоподобны.

Что в математике точно, кроме самой точности? А сама точность — не есть ли она порождение внутреннего чувства правды?

Математика не способна устранить предрассудок, она не может умерить себялюбие, смягчить приверженность клике; в области нравственной она бессильна.

Математик совершенен лишь настолько, насколько он совершенен как человек, насколько ощущает красоту правды; только тогда в его работе будут основательность, пронизательность, осмотрительность, опрятность, ясность и даже изящество и прелесть. Без всего этого нельзя уподобиться Лагранжу.

Не язык сам по себе правилен, точен, изыскан, но дух, обретающий плоть в языке. И дело не в том, желает ли человек придать эти похвальные качества своим вычислениям, речам или стихам, — весь вопрос в том, дала ли природа ему самому потребные для этого нравственные качества и свойства ума. Свойство ума: способность созерцать и пронизать взглядом; нравственное качество: способность отгонять злых демонов, мешающих воздавать должную честь истине.

Стремление объяснять простое через сложное, легкое через трудное — вот недуг, охвативший все тело науки; кто прозорливее, тот признает это, но не везде в этом сознаются.

Вглядитесь в физику пристальней — и вы обнаружите, сколь неравноценны явления и опыты, на которых она зиждется.

Все зависит от первичных, исходных опытов, тот раздел науки, который на них зиждется, прочен и нерушим. Но есть опыты вторичные, третичные и так далее; если считать их столь же полноправными, они только запутают все, что первые опыты прояснили.

Беда наук (да и повсюду это беда) — в том, что люди, не имеющие никаких идей в запасе, осмеливаются теоретизировать, так как не понимают, что и самые обширные знания еще не дают на это права. К делу они приступают с похвальной рассудительностью, но рассудок ограничен, а переступая свои границы, он рискует впасть в бессмыслицу. Наследственный удел, предназначенный рассудку, — это сфера практической деятельности. Действуя, рассудок заблуждается редко; высшие области мысли, заключение и суждение — не его дело.

Запас наблюдений приносит науке сначала пользу, потом вред, так как благодаря множеству наблюдений замечают не только правило, но также исключения, а истину как среднее между ними не выведешь.

Говорят, истина лежит между двумя противоположными мнениями. Неверно! Между ними лежит проблема — то, что не очевидно, вечно деятельная жизнь, постигаемая спокойной мыслью,



Кто жил, в ничто не обратится!
Повсюду вечность шевелится,
Причастный бытию блажен!
Оно извечно; и законы
Хранят, тверды и благосклонны,
Залоги дивных перемен.

Издревле правда нам открылась,
В сердцах высоких утвердилась;
Старинной правды не забудь!
Воздай хваленья, земнородный,
Тому, кто звездам кругоходный
Торжественно наметил путь.

Теперь всмотришь в родные недра!
Отроешь в них источник щедрый,
Залог второго бытия.
В душевную вчитайся повесть,
Поймешь: взыскательная совесть —
Светило нравственного дня.

Тогда доверься чувствам: ведай —
Обманы сменятся победой,
Коль разум бодростью дарит.
Пусть свежий мир вкушают взоры,
Пусть легкий шаг пройдет просторы,
В которых жизнь росой горит,

Но трезво приступайте к чуду!
Да указывает разум всюду,
Где жизнь благотворит живых.
В ничто прошедшее не канет,
Грядущее досрочно манит,
И вечностью заполнен миг.

Когда ж, на гребне дня земного,
Дознанием чувств постигнешь слово:
«Лишь плодотворное цени!» —
Не уставай пытливым оком
Следить за зиждущим потоком,
К земным избранникам примкни.

Как создает, толпе незримый,
Своею волей мир родимый
И созерцатель и поэт,
Так ты, причастный богатиям,
Высокий дар доверишь братьям.
А лучшей доли смертным — нет!

¹ Перевод Н. Вильмонта.



КНИГА ТРЕТЬЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

После этих и других событий, явившихся их следствием, Вильгельм решил первым делом вновь теснее связаться с Обществом, отыскав одно из его отделений. Ради этого он извлек табличку и, справившись по ней, отправился той дорогой, которая обещала скорее прочих привести его к цели. Но так как, чтобы добраться до места, идти нужно было напрямик, он оказался вынужден проделать весь путь пешком, с носильщиком, который нес следом за ним поклажу. И каждый шаг его путешествия был щедро награжден, ибо Вильгельм неожиданно попал в прелестнейшую местность, из тех, где последние перед равниной отроги гор поднимаются заросшими кустарником холмами и пологими склонами, рачительно возделанными; где каждая полоска на равнине зелена и не видно ни круч, ни бесплодных невспаханных земель. Он дошел до главной долины, в которую с обеих сторон стекали горные потоки; она также была тщательно обработана, уютно-обозрима, ряды стройных деревьев отмечали все излучки реки и впадавших в нее ручьев; вынув карту, по которой он шел, Вильгельм с удивлением увидел, что прочерченная им линия идет как раз через эту долину, а значит, он покамест не сбился с дороги.

На поросшем кустами холме виднелся старинный замок, хорошо сохранившийся и многократно подновлявшийся, у подножья холма раскинулся приятного вида городок, где первой бросалась в глаза гостиница, к которой Вильгельм

и направился и где хозяин хотя встретил его радушно, но сказал извиняющимся голосом, что никого не может принять без разрешения некоего товарищества, на какой-то срок снявшего все комнаты, и вынужден отправлять всех постояльцев на старое подворье, — оно находится дальше в гору. Однако после недолгих переговоров он как будто передумал и сказал:

— Сейчас в доме пусто, но сегодня суббота, так что управителя долго ждать не придется, он тут каждую неделю проверяет счета и дает заказы на следующую. Что и говорить, порядок у них образцовый, и иметь с ними дело — одно удовольствие, хоть они и точны в расчетах; барыш от них не велик, зато верен.

После этого он позвал гостя в верхнюю залу и просил потерпеть и обождать дальнейших событий.

Войдя, Вильгельм увидел просторную чистую комнату, где стояли только столы да скамьи; тем больше удивился он, заметив над дверью доску и на ней надпись золотыми буквами: «*Ubi homines sunt, modi sunt*», — что на нашем языке можно истолковать так: везде, где люди объединяются в общество, тотчас же возникает свой порядок и свой обычай, без которого им вместе не прожить. Наш странник задумался над этим изречением, принявши его за доброе предзнаменование, ибо оно подтверждало то, что и сам он по собственному опыту признавал разумным и полезным. Вскорости появился управитель, который, будучи предупрежден хозяином, без долгих разговоров и без особых расспросов согласился принять Вильгельма на следующих условиях: оставаться не дольше трех дней, спокойно участвовать во всем, что бы ни происходило, но не спрашивать о причинах и не просить при отъезде счета. Со всем этим путешественнику пришлось смириться, так как управитель не был уполномочен уступить ни по одной статье.

Он как раз собирался уходить, когда на лестнице послышалось пение; громко распевая, вошли двое красивых молодых, которым управитель знаком показал, что гость допущен в дом. Не прерывая песни, они приветливо ему поклонились; дуэт их звучал весьма приятно, из чего можно было с легкостью заключить, что в своем искусстве это истинные мастера. Заметив со стороны гостя внимание и интерес, они, закончив петь, спросили, не случалось ли и ему во время пещих странствий сложить песню, чтобы напевать ее самому себе,

— Природа не дала мне голоса,— отвечал Вильгельм,— но мне порой кажется, будто внутри у меня некий гений ритмически нашептывает что-то, так что, странствуя, я всякий раз начинаю шагать в такт и при этом словно бы слышу тихие звуки, сопровождающие песню, которая на тот или иной напев послушно слагается во мне.

— Если вы вспомните одну из них, запишите ее для нас,— сказали молодые люди,— посмотрим, не сможем ли мы вторить вашему певчому демону.

Тогда Вильгельм вырвал из записной книжки листок и вручил им вот что:

Над горами, над долами,
Над вершинами дерев
Что-то звучно бьет крылами
И взмывает, как напев;
За безудержным порывом
Радость, мудрость вслед идут;
Будь влюбленным, будь счастливым,
Но основа жизни — труд.

Юноши немного подумали — и раздалась веселая, звучащая в такт шагам пешехода песня на два голоса; колена повторялись и сплетались, песня лилась и лилась, увлекая за собою слушателя, и Вильгельм не мог уже понять, его ли это мелодия, его ли первоначальный мотив или он только сейчас так слился со словами, что никакой другой и немислим. Певцы тешились такими вариациями, покуда не вошло еще двое молодцов, в которых по их орудиям сразу можно было узнать каменщиков, а за ними еще двое, наверняка плотники. Все четверо, тихо сложив свой инструмент, некоторое время прислушивались к песне, а потом уверенно и чисто вступили сами,— и теперь как будто бы целая гурьба странников шагала вдаль через горы и доли. Вильгельму казалось, что он не слышал ничего столь отрадного, столь возвышающего сердце и ум,— и, однако, наслаждению его предстояло возрасти и достигнуть высочайшей степени. Огромный детина поднимался по лестнице таким тяжелым и твердым шагом, что при всем желании ему не удавалось ступать тише. Войдя, он тотчас же сбросил в углу с плеч крючья с тяжелой поклажей, а сам уселся на скамью, затрещавшую под ним; остальные при этом засмеялись, но с тона не сбились. Каково же было удивление Вильгельма, когда раздался

оглушительный бас и этот сын Енака вступил в общий хор! Большая комната сотрясалась, а главное, что в своей партии он сейчас же изменил припев и пел так:

В жизни быть нельзя ленивым!
Ведь основа жизни — труд.

К тому же скоро можно было заметить, что он, прилаживаясь к своей медлительной походке, замедлил темп и принудил остальных следовать за собой. Вдоволь натешившись пением, все стали его упрекать за то, что он якобы старался сбить их.

— Вот уж нет! — закричал он. — Это вы рассчитывали сбить меня, заставляли ускорить шаг, а мне, когда я с тяжелой ношей иду вверх и вниз по горам да еще должен поспеть к назначенному часу и угодить вам, надобно шагать размеренно и твердо.

Потом все стали по одному заходить к управителю, и Вильгельму нетрудно было усмотреть, что дело идет о каких-то расчетах, но расспрашивать подробнее он не имел права. Тем временем вошло несколько красивых, проворных подростков, которые в два счета накрыли на стол, подав совсем немного кушаний и вина; вышел управитель и пригласил всех сесть вместе с ним за трапезу. Подростки прислуживали, но о себе не забывали и стоя ели наравне со всеми. Вильгельм вспомнил сходные сцены из времен своего пребывания среди актеров, но только сегодняшнее собрание казалось ему куда степеннее, ибо здесь каждый жил ради важной цели, а не ради забавы и напоказ.

Яснее всего гость постиг это из разговора, который собравшийся ремесленный люд вел с управителем. Четверо молодых работали поблизости, где недавно грозный пожар дотла спалил город, прежде самый красивый в округе. Из услышанного можно было также понять, что честный управитель занимается доставкой леса и других строительных припасов, и это представлялось гостю особенно загадочным, так как все прочее показывало, что эти люди — не здешние уроженцы, а сплошь приезжие. В заключение ужина Святой Христофор (так все называли великана) принес по стакану доброго вина, припасенного нарочно, чтобы выпить на сон грядущий, и новая веселая песня некоторое время внушала слуху, будто ушедшие с глаз долой сотрапезники еще сидят все вместе. Вильгельма отвели в комнату с приятнейшим видом из окна. Полная луна взошла, ее свет заливал пышные

луга и будил в сердце нашего странника сходные картины из прошлого. Перед его взором витали призраки друзей, среди них так живо представлялся ему образ Ленардо, что казалось, он здесь, рядом. От всего этого ему стало особенно уютно и захотелось на покой, но тут он услышал непонятный шум, почти что испугавший его. Звук доносился издалека, и вместе с тем казалось, будто он раздается в самом доме, потому что всякий раз, как звук достигал наибольшей силы, дом содрогался и трещали балки. Вильгельм, чей тонкий слух обычно различал все звуки, никак не мог его распознать и сравнивал лишь с хрипением самой большой органной трубы, чей звук так громок, что не имеет определенной высоты. Трудно решить, ночной ли морок рассеялся под утро или Вильгельм, привыкнув, стал невосприимчив, но он заснул и с восходом солнца проснулся в наилучшем настроении.

Не успел один из прислуживающих подростков подать ему завтрак, как в комнату вошел некто; Вильгельм видел его вчера за столом, но так и не разобрался, кто он и что. Вошедший был хорошо сложен, широкоплеч и проворен в движениях; приготавливаясь к делу, он выложил свою снасть — и оказался цирюльником. Он явно собирался сослужить Вильгельму столь необходимую ему службу, но продолжал молчать, да и потом, работая легко и быстро, не проронил ни слова. Вот почему Вильгельм начал первым и сказал:

— Вы настоящий мастер своего дела, я не помню, чтобы когда-нибудь бритва касалась моих щек так деликатно; но вы, судя по всему, строги в соблюдении законов товарищества.

Молчальник с плутовским видом улыбнулся, приложил палец к губам и выскользнул за дверь.

— Честное слово, — крикнул Вильгельм вслед, — вы и есть Алый Плащ или, по крайней мере, от него происходите. Но ваше счастье, что вы не потребовали от меня той же услуги, не то вам плохо пришлось бы.

Едва этот необыкновенный человек удалился, как вошел управитель и передал приглашение на обед, также звучащее довольно странно:

— Связующее Звено, — он так и выразился, — от души приветствует пришельца, приглашает его к обеду и с радостью надеется завязать с ним более тесные отношения. — Затем были заданы вопросы о самочувствии гостя, о том, доволен ли он приемом, и Вильгельм с высочайшей похвалой отозвался обо всем, что он здесь встретил. Правда, ему хотелось спросить управителя, как прежде молчаливого цирюльника,

о том жутком звуке, который ночью если не испугал, то потревожил его; однако, памятуя о данном обете, он удержался от вопроса, тем более что надеялся получить желаемые сведения, не проявив назойливости,— то ли благодаря расположению к нему членов товарищества, то ли по счастливому случаю.

Оставшись один, друг наш стал ломать голову, что это за странная особа прислала ему приглашение и что делать дальше. Употребить слово среднего рода, чтобы назвать одного или нескольких начальствующих лиц,— это казалось ему весьма странно. Между тем вокруг царила такая тишина, что, кажется, не было в его жизни воскресенья тише. Вильгельм вышел из дому и, услышав колокольный звон, направился в сторону городка. Обедня только что закончилась, и среди тесной толпы выходивших из церкви горожан он заметил троих своих давешних знакомцев: плотничьего подмастерья, каменщика и одного из подростков. Потом среди шедших на службу протестантов он увидел еще троих. Неизвестно было, где и как молятся остальные, но Вильгельм заключил, что в товариществе установлена полная свобода вероисповедания.

В полдень управитель встретил его у ворот замка и через множество просторных комнат проводил в аванзал, где и предложил посидеть. Множество людей проходило мимо Вильгельма в смежную залу. Среди них попадались и знакомые лица: так, мимо протопал Святой Христофор — и все кланялись управителю и пришельцу. Более всего наш друг обратил внимание на то, что перед ним проходили, судя по всему, одни только ремесленники, одетые каждый соответственно своему промыслу, но весьма опрятно; лишь немногих он мог бы принять за конторщиков.

Когда перестали тесниться в дверях новые гости, управитель провел нашего друга через красивый вход в просторную залу, где стоял накрытый стол необозримой длины, мимо нижнего конца которого он был препровожден к верхнему концу. Там, на поперечной стороне, расположились трое возглавлявших застолье, и каково же было удивление Вильгельма, когда при его приближении Ленардо, которого он едва успел узнать, бросился ему на шею. Не оправившись от потрясения, Вильгельм попал в столь же пылкие объятия второго из председательствующих, в котором узнал Фридриха, сумасбродного брата Наталии. Восторг друзей передался всем присутствующим, стол огласился криками радости и приветов. Потом, когда все сели, вдруг водарилась тишина,

подано было угощение, и началась не лишенная торжественности трапеза.

К концу ее Ленардо подал знак, встали двое певцов, и Вильгельм с удивлением снова услышал давешнюю свою песню, которую мы, ради связи с последующим, считаем необходимым привести еще раз:

Над горами, над долами,
Над вершинами дерев
Что-то звучно бьет крылами
И взмывает, как напев;
За безудержным порывом
Радость, мудрость вслед идут;
Будь влюбленным, будь счастливым,
Но основа жизни — труд.

Едва этот дуэт, сопровождаемый приятно-приглушенным пением хора, подошел к концу, как по другую сторону стола порывисто вскочили еще двое певцов, которые с суровой силой не столько продолжили песню, сколько вложили в нее противоположный смысл. К удивлению пришельца, исполняли они вот что:

Рвется дружба, сердце рая:
Прочность уз — не мой удел;
Как могу я знать заране,
Где скитаться мне велел
Жребий горький, жребий сирый,
С кем я завтра разлучусь
И куда пустыней мира
Я все дальше, дальше мчусь?

Хор, подхвативший эту строфу, становился все многочисленней, все громче, но и в нем нетрудно было расслышать доносившийся с нижнего конца стола голос Святого Христофора. Почти пугающей сделалась звучащая в песне скорбь; благодаря сноровке певцов, их невеселое веселье излилось в подобье нескончаемой фуги, и от этого нашему другу стало совсем жутко. Казалось, все преисполнены единым чувством и перед самым отбытием оплакивают свою судьбу. Причудливые повторения и новые подхваты совсем было затихшего напева наконец показались опасны и Связующему Звену; Ленардо встал, и все остальные тотчас же сели, прервав гимн. Начал Ленардо дружелюбно:

— Конечно, я не вправе упрекнуть вас за то, что вы всякий раз стараетесь представить себе ожидающую всех нас

участь, чтобы в любой час быть к ней готовыми. Но если старики, усталые от жизни, кричали своим сверстникам при встрече: «Помни о смерти!» — то нам, молодым и жизнерадостным, следует ободрять и поддерживать друг друга веселыми словами: «Помни о странствиях!» И тут ко благу будет вспомнить, но с умеренностью и весельем, о том, что предпринимается нами либо по собственной воле, либо вынужденно. Вам отлично известно, что у нас установлено непреложно и что может быть изменено; облеките же и это в радостный, ободряющий душу напев и дайте нам насладиться тем, за что я поднимаю эту прощальную чашу!

Он осушил свой кубок и поставил его на стол. Тотчас встали все четверо певцов и запели так, что один тон естественно и плавно переходил в другой:

В землю ты не врос корнями!
В путь-дорогу! В добрый час!
Если ум и сила с нами,
Будет всюду кров для нас.
Лишь бы только солнце грело,
А о прочем нет тревог.
Мы кочуем без предела,—
Для того и мир широк!

Когда песню подхватил хор, Ленардо поднялся, а за ним и все остальные, и по его знаку застолье превратилось в хоровое шествие: сидевшие на нижнем конце стола, предводительствуемые Святым Христофором, парами двинулись вон из залы, причем странническая песнь звучала все радостней и вольнее, и особенно прекрасно — тогда, когда все собрались в спускавшийся террасами сад при замке, откуда открывался широкий вид на долину, среди пышной красоты которой было любо блуждать взглядом. Когда толпа разбрелась кто куда, Вильгельма познакомили с третьим из председательствовавших за столом. Это был служащий графа, владевшего замком и многими поместьями вокруг; служащий этот предоставил господский дом товариществу на весь срок, какой оно сочтет за благо оставаться на месте, и дал ему много льгот, но сумел обратить присутствие таких редких гостей себе на пользу. Задешево открыв для них кладовые и снабжая их всем потребным для пропитания и обихода, он за это получил возможность переложить стропила давно обветшавшей крыши, подвести под них новые опоры, а под стены — фундамент, перестлать полы и устранить все прочие

изъяны до такой степени, что обветшалое, полуразрушенное владение угасшего семейства вновь обрело приятный вид живого, незаброшенного обиталища, свидетельствуя о том, что жизнь творит жизнь и умеющий быть полезным для людей непременно заставит их быть ему полезными.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Герсилия — Вильгельму

Мое положение напоминает мне трагедии Альфьери: так как в них нет наперсников, обо всем говорится в монологах; моя же переписка с Вами поистине подобна монологу, ибо Ваши письма все равно что эхо, подхватывают наугад куски слов, чтобы они скорей отзвучали. Разве Вы хоть раз прислали мне такой ответ, чтобы на него можно было ответить? Ваши письма только то и делают, что отталкивают да отклоняют! Я встаю Вам навстречу, а Вы сразу же велите мне снова сесть в кресло.

Эти строки были написаны несколько дней назад, а сейчас появилась надобность и случай переправить их Ленардо; там Вы их найдете, либо уж Вас сумеют найти. Но где бы мое письмо Вас ни застало, вот к чему я веду речь: если Вы по его прочтении не вскочите с места и спешно не явитесь ко мне как истый странник, то я объявлю Вас мужчиной из мужчин, то есть человеком, начисто лишенным прелестнейшего из присущих нам, женщинам, свойств: я разумею любопытство, которое сейчас больше всего и мучит меня.

Короче говоря, к Вашему ларчику нашелся ключик; но знать об этом должны только Вы и я. А теперь послушайте, как он попал ко мне.

Несколько дней назад наш судья получает от властей другого округа составленный по всей форме запрос о том, не околачивался ли поблизости от нас тогда-то и тогда-то некий мальчишка, устраивавший всяческие проделки, и не заплатился ли он за какое-нибудь из дерзких предприятий своей курткой.

Описание мошенника не оставляло сомнений в том, что это и есть Фид, о котором так много рассказывал Феликс, желая вновь заполучить его в товарищи.

Теперь это ведомство запрашивало названную одежду, коль скоро она наличествует, так как мальчишка находится

под следствием и ссылается на это вещественное доказательство. Судья случайно упоминает при нас о запросе и показывает нам подлежащий отсылке кафтанчик.

Какой-то добрый или злой демон толкает меня залезть в нагрудный карман, и мне в руку попадает что-то очень маленькое и колючее, и я, такая робкая, щекотливая и пугливая, сжимаю руку, сжимаю и помалкиваю, а куртку между тем отсылают прочь. Более странного ощущения я в жизни своей не испытывала. Едва взглянув украдкой, я вижу, я угадываю, что это ключ к Вашему ларчику. Тут меня стала одолевать совесть, начались угрызения. Сказать о находке и отдать ее было выше моих сил: что там суд, если это может быть полезно моему другу! Потом снова всплыли всякие мысли о законе и долге, но так и не переубедили меня.

Вот до чего довела меня верность дружбе; пресловутый орган сразу у меня появился, и все ради Вас! Право, удивительная история! Хоть бы чувство, перевесившее на чашах весов совесть, оказалось всего только дружбой! Я в странном беспокойстве, я мечусь между ощущением вины и любопытством. В голове тысячи фантазий, тысячи сказок о том, что из этого может выйти: ведь с законом и судом шутки плохи! Герсилия, лишенная предрассудков, а подчас и высокомерная Герсилия — и вдруг впутана в уголовное дело! А ведь к тому идет! И что мне остается, как не вспоминать о друге, ради которого я терплю эту муку? Я и прежде о Вас вспоминала, но с перерывами, а теперь вспоминаю постоянно. Теперь, если у меня забьется сердце и я подумаю о седьмой заповеди, мне приходится прибегать к Вам как к святому, который толкнул меня на преступление и один вправе отпустить мне грех. А успокоюсь я, только, когда мы откроем ларчик. Любопытство разбирает меня с удвоенной силой! Так что приезжайте поскорей и привезите ларчик. Какой судебной палате надлежит разбираться в этой тайне, мы договоримся между собой, а покамест пусть все между нами и остается, пусть никто об этом не знает, а там будь что будет.



Ну, что Вы скажете, друг мой, насчет этого изображения нашей загадки? Не напоминает ли оно стрелу с зазубренным жалом? Помилуй нас бог! Но сначала надобно, чтобы ларчик стоял между мною и Вами неотпертым, а потом, когда мы его отопрем, он сам нам укажет, что делать. Мне бы хотелось, чтобы внутри ничего не было, а чего мне хочется еще и что я могла бы Вам еще порассказать, — нет, это я от вас скрою, чтобы вы скорее пустились в путь.

Ну вот, как водится у девиц, еще и постскрипtum! Нам-то с Вами что за дело до ларчика? Он принадлежит Феликсу, Феликс его нашел, присвоил, так что Феликса нужно привести сюда, а без него мы не должны открывать крышку!

И что это еще за новые помехи! Опять все откладывается да откладывается!

Что Вы все колесите по свету? Приезжайте и привозите Вашего красавчика, мне так хочется еще раз поглядеть на него!

Ну вот, все начинается сначала, отец и сын! Делайте, что хотите, — только приезжайте вдвоем!

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Приведенное странное письмо было написано давно, но его долгое время переправляли туда и сюда и лишь теперь могли наконец вручить согласно надписи на конверте. Вильгельм намерен был с первым же курьером отправить ответ с отказом, хотя и в самой дружелюбной форме. Герсилия, по всей видимости, не принимает в расчет дальности пути, а он слишком занят серьезными делами, чтобы поддаваться любопытству, торопившему узнать, что находится в ларчике.

К тому же кое с кем из самых дюжих участников рабочего товарищества приключились несчастья и дали Вильгельму случай явить свою сноровку в искусстве, которым он недавно овладел. И как одно слово влечет за собой другое, так и поступки, к вящему счастью, вытекают один из другого, а если они, в свой черед, дают повод к словам, то слова эти особенно плодотворны, ибо возвышают душу. Поэтому так поучительны и занимательны бывали беседы друзей, отдававших друг другу отчет обо всем, что они до сих пор делали и чему учились, приобретя в итоге такое образование,

что теперь поневоле дивились один другому и как бы заново между собою знакомились.

Однажды вечером Вильгельм начал рассказывать:

— Занятия хирургией я постарался начать в крупном учебном заведении, в большом городе, где только и можно было преуспеть в них; с особенным рвением я взялся за анатомию, видя в ней основу основ.

Станным образом — а каким, вам не угадать, — я успел приобрести немалые познания относительно строения человеческого тела, причем еще во времена моей театральной карьеры. Ведь если приглядеться, так главную роль там играет не человек, а его тело, красота мужчины, красота женщины. Если директору повезет и он наберет красивых актеров, тогда сочинитель комедий или трагедий может быть спокоен! Вольный образ жизни всякой труппы позволяет сотоварищам по сцене лучше узнать красоту обнаженного тела, чем любой другой род человеческих отношений; да и театральные костюмы часто вынуждают выставлять на обозрение то, что принято прикрывать. Я мог бы многое сказать об этом, как и о телесных изъянах, ибо умный актер должен хорошо знать и свои и чужие, чтобы если не исправить, то хотя бы умело скрыть их. Таким образом, я был достаточно подготовлен, чтобы ничего не упустить в лекциях, ближе знакомивших с внешними органами; да и внутренние органы не были мне вовсе неизвестны, так как многое я безотчетно угадывал и прежде. Досадным образом нашим занятиям мешали бесконечные сетования на отсутствие предметов изучения, то есть на недостаток трупов, имеющих лечь под нож ради высокой цели. Чтобы добыть их, пусть и не в достаточном, но в возможно большем количестве, были изданы строгие законы, разрешавшие притязать не только на преступников, которые сами себя лишили всех прав личности, но и на любого умершего, если о его теле и душе некому было позаботиться.

Вместе с ростом потребности росла и строгость законов, а с нею — недовольство народа, чьи нравственные и религиозные воззрения не позволяют пренебречь ни собственной личностью, ни личностью близких.

Дело шло чем дальше, тем хуже, потому что души стала смущать тревога и страх за мирные могилы дорогих усопших. Ни возраст, ни сословие, будь оно высоким или низким, не могли оберечь обители вечного покоя: доходный разбой не сдерживали ни холмики, убранные цветами, ни надписи,

увековечивающие память о погребенном; и без того горестное прощание жестоко омрачалось, родные, едва отвернувшись от могилы, поневоле начинали бояться, как бы завтра им не пришлось узнать, что убранный ими и мирно преданное земле тело любимого человека будет разъято, растащено, опозорено.

Обо всем этом говорили и твердили каждый день, но никто не придумал и не мог придумать, как помочь делу; и всеобщее затруднение все росло, по мере того как у молодежи, внимательно прослушавшей лекции, рождалось желанье воочию и на ощупь удостовериться в том, что они до сих пор видели и слышали, то есть живо и глубоко запечатлеть в зрительной памяти столь необходимые им сведения.

В такие мгновения возникает род противоестественного научного голода, который требует утоления даже гнусной пищей и побуждает смотреть на нее как на лакомую и необходимую.

Все эти задержки и промедленья уже некоторое время занимали и волновали каждого, в ком была жажда знаний и дела, когда однажды произошел случай, который привел в волнение весь город и на несколько часов ожесточил споры. Красивая девушка, помешавшись от несчастной любви, искала смерти в воде и нашла ее; тело тотчас же попало во власть анатомии; напрасны были все хлопоты отца и матери, родственников и даже возлюбленного, заподозренного лишь из недоверия: высшие власти, только что издав еще более суровый закон, не могли сделать исключения, и добычу поспешили как можно скорее использовать и распределить для рассечения.

Вильгельм был приглашен как один из первоочередных притязателей и нашел перед указанным ему сиденьем чистую доску, а на ней нечто тщательно накрытое тканью: это и было сомнительного свойства задание. Сняв полотно, он обнаружил женскую руку, самую прекрасную из всех, которые обвивали когда-либо шею юноши. Вильгельм держал в руке футляр с инструментами — и не решался начать вскрытие, стоял — и не решался сесть. Ему претило калечить и дальше великолепное создание природы, но чувство это вступало в противоречие с требованьем, которое ставит себе всякий стремящийся к знанию человек и в соответствии с которым действовали все сидевшие вокруг.

В этот миг к нему подошел солидного вида человек,

которого он и раньше заметил как нечастого, но всегда внимательного слушателя и зрителя и о котором уже расспрашивал, но ни от кого не мог получить подробных сведений; все сходилось на том, что он ваятель, но считали его также алхимиком, так как в большом доме, где он жил, посетители и даже его подручные допускались только в первый этаж, а остальные помещения были на запоре. Этот человек несколько раз подходил к Вильгельму и вместе с ним шел с урока, но сближения и объяснения избегал.

На этот раз он заговорил с большей откровенностью:

— Я вижу, вы медлите, вы дивитесь прекрасному творению природы и не можете его разрушить. Так встаньте выше цеховых предрассудков и пойдете со мной.

Он снова накрыл руку, кивнул служителю и вместе с Вильгельмом покинул залу. Они шли рядом молча, куда новый знакомец, остановившись перед воротами, не отворил калитку и Вильгельм не вступил вскорости на дощатый настил, какие можно видеть в старых торговых домах и куда сгружают сразу по прибытии ящики и тюки. Здесь стояли гипсовые отливки статуй и бюстов, а также ящики из толстых досок, заколоченные и пустые.

— Здесь все, как у купца, — сказал хозяин. — Для меня крайне важно, что я могу отправлять грузы водой прямо отсюда.

Все это куда ничуть не противоречило ремеслу ваятеля; ничего противоречащего ему не нашел Вильгельм и тогда, когда хозяин радушно проводил его вверх по ступенькам в просторную комнату, украшенную высокими и низкими рельефами, фигурами разных размеров, бюстами и даже слепками отдельных членов самых прекрасных статуй. Наш друг с удовольствием все это рассматривал и слушал объясняющие речи хозяина, хотя не мог не заметить, какая пропасть легла между трудами художника здесь и устремлениями ученого там, откуда они пришли. Наконец хозяин дома сказал с некоторой торжественностью:

— Вам нетрудно будет понять, зачем я вас сюда привел. Эти двери, — продолжал он, показывая в сторону, — ближе ко входу в ту залу, из которой мы пришли, чем вам может показаться.

Вильгельм вошел и поневоле удивился, увидев на стенах, вместо изображений живого тела, как в первой зале, исключительно анатомические сечения; вылепленные, как видно, из воска или подобного ему материала, они, благодаря све-

жей окраске, ничуть не отличались от только что изготовленных препаратов.

— Здесь, мой друг, — сказал художник, — здесь вы видите драгоценные заменители всему тому, что мы, ко всеобщему неудовольствию, а порой и сами испытывая отвращение, старательно готовим, — затем только, чтобы оно или истлело, или, сохраняясь, было мерзко. Этим делом я принужден заниматься втайне, — ведь вы и сами наверняка слышали, с каким пренебрежением о нем говорят прозекторы по ремеслу. Я не даю сбить себя с пути и изготавливаю то, что со временем получит огромное значение. Прежде всего хирург, если он возвысится до понимания пластики тела, сможет наилучшим образом прийти на помощь вечно творящей природе при всяком повреждении, да и любому врачу такое понимание поможет усовершенствоваться в своем деле. Впрочем, не будем тратить слов. Вы сами скоро убедитесь, что большему можно научиться, строя, нежели расчлняя, соединяя, нежели разъединяя, оживляя умершее, нежели дальше его умерщвляя. Короче говоря, не хотите ли вы стать моим учеником?

Когда Вильгельм ответил согласием, искушенный наставник положил перед ним костяк женской руки в том же повороте, в каком он недавно видел подобную руку.

— Я заметил, — продолжал учитель, — какое внимание уделили вы учению о связках — и были правы, так как именно благодаря им и начинают оживать для нас стучащие кости. Должно быть, в видении Иезекииля кости, усыпавшие поле, именно так и начали собираться и соединяться друг с другом, прежде чем конечности не стали двигаться, руки — осязать, а ноги — вставать прямо. Вот вам пластическая масса, вот палочки и все, что может понадобиться. Попробуйте же счастья!

Новый ученик собрался с мыслями; присмотревшись поближе, он увидел, что все кости остова искусно вырезаны из дерева.

— У меня работает умелый резчик, — сказал наставник, — он едва мог прокормиться своим искусством, потому что святые и мученики, которых он обычно выделывал, уже не находили сбыта. У меня он досконально узнал строение скелета и научился изготавливать любую кость в натуральную и в уменьшенную величину.

И вот наш друг, постаравшись изо всех сил, снискал одобрение руководителя. При этом ему было приятно испы-

тать свою память, а тем более неожиданно обнаружить, что работа вновь воскресила в ней прежние знания; тут уж он стал трудиться со страстью и попросил мастера дать ему пристанище в доме. С этой минуты он работал, не покладая рук, и в скором времени все кости и косточки руки были искусно соединены. Теперь надо было приступить к сухожилиям и мускулам, но так, чтобы они соответствовали костям. Вильгельму представлялось невозможным воспроизвести таким образом человеческое тело во всей соразмерности его частей, но учитель утешил его, показав, как можно изготовить множество экземпляров простой формовкой, хотя и тут последующая чистовая обработка требовала кропотливого труда и внимания.

Все, за что бы человек ни взялся всерьез, оказывается бесконечным, и помочь тут может только ревностный труд. Вскоре и Вильгельм вышел из того отчаяния, в какое повергает нас чувство собственной беспомощности, и стал работать с удовольствием.

— Я рад,— сказал ему мастер,— что вы сумели приноровиться к делу: для меня это отличное свидетельство плодотворности моей методы, пусть она и не признана анатомами. Им нужна школа, а школу создает преемственность: что делалось прежде, то должно делаться и впредь, так оно и ладно, тому и следует быть. Но нужно заметить и понять, где и в чем школа зашла в тупик; нужно подхватить и продолжить делом все живое в ней, но без шума, а не то помещаешь и себе и другим. Вы сами живо почувствовали и своим трудом показали, что соединять значит больше, чем расчленять, а воспроизводить — больше, чем смотреть.

Вильгельм узнал, что такие модели в тайне от всех получили уже широкое распространение; удивительнее всего было услышать, что изготовленный их запас должен быть упакован и отправлен за море. Превосходный художник уже вступил в сношения с Лотарио и другими членами содружества, они сочли, что будет весьма уместно и даже необходимо основать подобную школу во вновь создаваемых провинциях, тем более что жить там будут люди благомыслящие, с естественными нравственными воззрениями, а для таких людей в рассечении трупов всегда есть что-то от каннибализма.

— Согласитесь, ведь большинство врачей и хирургов хранят в памяти только самое общее представление о расчлененном человеческом теле и на это представление опи-

раются, между тем как наши модели наверняка смогут освежить в их уме год от года тускнеющие образы, чтобы все необходимое всегда оставалось живым и ярким. А когда этим делом займутся по сердечной склонности любители, можно будет воспроизвести самые тонкие анатомические сечения. Ведь доступно же это перу и кисти рисовальщика и резцу гравера.— Тут он открыл один из боковых шкафчиков и показал удивительное по своей точности воспроизведение лицевых нервов.— К сожалению,— продолжал он,— это последняя работа моего рано умершего помощника, благодаря которому я надеялся осуществить мои замыслы и к общей пользе расширить границы моих устремлений.

Учитель и ученик многократно и всесторонне обсуждали возможное влияние новой методы; ее отношение к изобразительным искусствам также стало однажды предметом примечательной беседы. Благодаря ей Вильгельм получил отличный наглядный пример того, как можно в работе идти не только от скелета к целому, но и наоборот. Художник сделал отливку с прекрасного обломка античной статуи, изображавшей юношу, и старался умело снять с идеальной человеческой фигуры кожный покров, чтобы превратить живую красоту в подлинный мышечный препарат.

— Здесь тоже цель и средства тесно связаны, и я не боюсь признаться, что ради средств позабыл о цели, но не только по своей вине: ведь обнаженный человек и есть человек в полном смысле слова, ваятель стоит рядом с элехимамн в тот миг, когда они сумели претворить лишенную образа, неподатливую глину в совершенную красоту; такие божественные замыслы и должен питать каждый ваятель. Для чистого все чисто, как же может быть нечист воплощенный в природе замысел творца? Но в наш век этого невозможно и требовать, дело не пойдет без фиговых листков и звериных шкур,— впрочем, даже их мало. Едва я выучился, с меня стали требовать, чтобы я лепил достопочтенных мужей в шлафроках с широкими рукавами и бессчетными складками; тогда я обратился вспять и, не имея возможности применить свое умение для создания прекрасного, предпочел приносить пользу: ведь и это немаловажно. Если мое желание исполнится, если будет признано, что и здесь, как во многом другом, и само дело воспроизведения, и его плоды могут помочь воображению и памяти в ту пору, когда эти духовные способности человека уже слабеют, то многие художники возьмут с меня пример и предпочтут работать на вас, неже-

ли наперекор своим убеждениям и чувствам заниматься постылым ремеслом.

К сказанному он присовокупил рассуждение о том, что ни искусство, ни ремесло никогда не склоняют весы в свою сторону, наоборот, в силу близкого родства оба тянутся друг к другу, так что искусство, опустившись, не может не перейти в славное ремесло, а ремесло, поднявшись, непременно приобщится к искусству.

Учитель и ученик так хорошо поладили и привыкли друг к другу, что расставались, да и то с неохотой, лишь по необходимости, когда нужно было постараться ради их высокой цели.

— Чтобы не думали,— говорил мастер,— будто мы замыкаемся и отрекаемся от природы, мы и открываем новые возможности на будущее. Там, за морем, где человечность взглядов будет все время возрастать, в конце концов отменят смертную казнь и должны будут строить обширные крепости, обносить стенами целые округа, дабы охранить мирных граждан от преступлений и не давать преступникам действовать безнаказанно. Там, в этих скорбных округах, пусть нам позволят сохранить за собой маленький храм, посвященный Эскулапу; там, в таком же отдалении от мира, как сама кара, мы и будем обновлять наши знания, имея для расчленения такие объекты, что оно не будет оскорблять в нас человеческих чувств, такие, что при виде их рука, держащая нож, не замрет, как было с вами при одном взгляде на ту прекрасную, невинную руку, и человечность не заглушит в нас жажды знания.

— То были последние наши беседы,— сказал Вильгельм,— я увидел, как прочно упакованные ящики плывут вниз по реке, и пожелал им счастливого плавания, а нам — радостной встречи в тот час, когда их будут распаковывать.

Наш друг и вел и закончил этот рассказ с воодушевлением и энтузиазмом, и в голове, и в словах его была живость, в последнее время для него необычная. Но к концу своей речи ему показалось, что Ленардо, рассеявшись и отвлекшись, не следит более за рассказом, а Фридрих, напротив того, усмехается и покачивает головой. Нашему тонкому физиогномисту до того запало в душу это малое сочувствие делу, имевшему для него великую важность, что он не преминул прямо призвать друзей к ответу.

Фридрих объяснился просто и прямо: хотя он хвалит и одобряет затеянное ими дело, но не считает его столь важ-

ным или, по крайней мере, выполнимым. Свое мнение он попытался обосновать доводами из числа тех, какие для людей, принявших за дело и желающих довести его до конца, кажутся более оскорбительными, чем можно предположить. Потому и наш пластический анатом, некоторое время терпеливо слушавший друга, в конце концов живо возразил ему:

— У тебя, дорогой мой Фридрих, есть достоинства, которых никто не станет отрицать, и меньше всех я, но сейчас ты говоришь, как человек заурядный, который во всем новом видит лишь диковинное: ведь сразу разглядеть важность того, что нам в диковину, под силу далеко не всем. Для вас все должно стать свершившимся фактом, дабы вы воочию увидели, что оно и возможно, и действительно существует, — тогда вы примиряетесь с ним. Все, что ты говоришь, я наперед слышу и от ученых, и от профанов: первые твердят это из предвзятости и ради собственного удобства, вторые — из равнодушия. Намеренье вроде названного мною осуществимо, быть может, только в новом мире, где ум человеческий должен отважиться на то, чтобы, за недостатком исстари известных средств, отыскивать новые для удовлетворения постоянных потребностей. Тогда и пробуждается изобретательность, тогда необходимость находит помощь у смелости и упорства.

Врач, чем бы он ни лечил — лекарствами или приложением рук, — пустое место, если досконально не знает внешних и внутренних органов человека; ему никак не достаточно того поверхностного понятия об устройстве, расположении и взаимосвязи разнообразнейших частей непостижимого до конца организма, какое могут дать беглые сведения, почерпнутые на уроках. Преданный делу врач должен ежедневно упражняться в этом, повторяя известное и наблюдая новое, должен искать любой возможности восстановить в уме и в зрительной памяти все связи этого живого чуда. Знай он, в чем его выгода, он бы, за недостатком времени для таких работ, нанял себе анатома, который по его указаниям тихо занимался бы своим делом и, как бы имея перед глазами всю сложность жизненных переплетений, мог бы сразу же ответить врачу на самые трудные вопросы.

Чем глубже это поймут, тем больше пыла и страсти будут вкладывать в занятия анатомией. Но чем больше возрастет это стремление, тем меньше станет средств его удовлетворить; мертвых тел, на вскрытии которых зиждется обучение,

не будет, они сделаются дорогостоящей редкостью, и начнется истинный раздор между живыми и мертвыми.

В Старом Свете нет конца волоките, за новое здесь берутся по-старому, за растущее — с привычной косностью. Предсказанный мною раздор между живыми и мертвыми пойдет не на жизнь, а на смерть, люди испугаются, примутся выслеживать, будут издавать законы — и ничего не добьются. Ни предосторожности, ни запреты в таких случаях не помогают, все нужно начинать сначала. Этого-то мы с учителем и хотим достичь в новых условиях, хотя само дело не ново и уже существует в жизни; нужно только, чтобы сегодняшнее искусство завтра стало ремеслом, а исключение — всеобщим правилом; но получить распространение может только то, что признано. Сделанное нами необходимо признать единственным средством против великого бедствия, в особенности угрожающего большим городам. Я хочу привести слова учителя, запомните их! Однажды, в минуту полного доверия, он сказал мне:

«Читателям газет кажется занимательной и даже забавной статья, в которой рассказывается о «воскресителях». Сначала они тайком крали трупы, тогда к могилам приставили сторожей, и «воскресители» стали приходить вооруженными бандами, чтобы насильно завладеть добычей. Зло всегда тянет за собой худшее зло; о нем я не могу говорить вслух, не то и меня впутают в дело — если не как сообщника, то как случайного свидетеля — и после расследования наверняка накажут за то, что я, раскрыв преступление, не донес о нем немедленно в суд. Но вам, мой друг, я признаюсь: в этом городе совершилось убийство ради того, чтобы доставить материал настойчивым и щедро платившим анатомам. Перед нами лежало бездыханное тело. Мне не хватает красок изобразить эту сцену. Он не таил преступления, и для меня оно не было тайной, мы смотрели друг на друга и молчали, потом взглянули на то, что было перед нами, и молча принялись за дело. Вот это, мой друг, и толкнуло меня взяться за воск и гипс, и это же не даст вам бросить искусство, которое рано или поздно будут восхвалять со всех сторон».

Фридрих вскочил, захлопал в ладоши и не переставал орать «браво» до тех пор, пока Вильгельм не рассердился не на шутку.

— Bravo! — кричал Фридрих. — Наконец-то я снова тебя узнаю! В первый раз за столько лет ты хоть о чем-то заговорил с истинным увлечением! В первый раз поток слов

подхватил и понес тебя, ты доказал, что способен и делать дело, и расхваливать его!

Тут заговорил Ленардо, и его посредничество полностью разрешило это небольшое недоразумение.

— У меня был отсутствующий вид,— сказал он,— но только потому, что мыслями я все время был с тобою. Я вспомнил, как во время путешествия посетил кабинет такого рода и как смотритель, желая скорее отделаться, начал было отбарабанивать заученную наизусть присказку, а потом, увидев мой интерес и будучи сам художником, все это создавшим, вышел из привычной роли и показал себя сведущим демонстратором.

Какой это был контраст! Среди лета, в прохладных комнатах, когда за окном стояла душная жара, я видел перед собою предметы, к которым и в зимнюю стужу подходишь с опаской. Здесь к услугам любознательного зрителя было все. С величайшей непринужденностью он показал мне в должном порядке все чудеса человеческого тела и радовался, когда убедил меня в том, что такого кабинета вполне довольно для первого знакомства и для дальнейшего напоминания, а в промежутке каждый волен обратиться к природе и, если представится случай, ближе познакомиться с тем или другим органом. Он просил меня повсюду его рекомендовать, потому что до сих пор изготовил только одно такое собрание — для большого музея за границей, а университеты такому начинанию противились, поскольку преподаватели этой науки умели готовить прозекторов, а не лепщиков.

Я тогда считал этого умельца единственным в мире, и вот мы слышим, что и еще один бьется над тем же; кто знает, может быть, скоро обнаружит себя и третий, и четвертый? Мы, со своей стороны, готовы всячески поощрить это дело. Пусть только нам порекомендуют его извне, а уж мы, при наших новых обстоятельствах, наверняка поддержим такое полезное начинанье.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

На следующее утро Фридрих спозаранок явился в комнату Вильгельма, держа в руках тетрадку, и сказал, протягивая ее:

— Вчера вы так обстоятельно повествовали о ваших добродетелях, что мне невозможно было и слово вставить о

моих достоинствах, коими я вправе похвалиться, ибо благодаря им сделался достойным участником этого огромного каравана. Взгляните на эту тетрадь и признайте, что ею я доказал свое уменье.

Вильгельм наскоро пробежал взглядом страницы и увидел на них свой вчерашний отчет об анатомических штуках, занесенный разборчивой и красивой скорописью и переданный почти слово в слово, так что наш друг не мог скрыть свое восхищение.

— Мне известен, — ответил Фридрих, — основной закон нашего содружества: кто притязает стать его сочленом, должен в совершенстве владеть каким-нибудь делом. Я ломаю себе голову, в чем бы и я мог преуспеть, хотя далеко ходить за ответом вовсе не надо было: ведь никто не сравнится со мной ни памятью, ни быстротой и разборчивостью письма. Вы, верно, помните эти мои достоинства еще со времени нашей театральной карьеры, когда мы стреляли из пушек по воробьям, не помышляя о том, что разумнее было бы тратить порох на охоту за зайцами для кухни. Как часто я суфлировал без книги, как часто за два-три часа по памяти переписывал роль! Вам это было кстати, вы считали, что все в порядке вещей, и я тоже так считал, не догадываясь, как такая способность может мне пригодиться. Аббат первым открыл мне глаза, он счел, что тут вода на его мельницу, и попробовал натаскать меня. Мне это дело понравилось, потому что и мне оно давалось легко, и почтенный человек был доволен. Теперь я, если нужно, один работаю за целую контору, и еще мы возим с собой счетный механизм на двух ногах, так что никакой князь не получает от всего своего штата того, что имеют наши начальники.

Веселый разговор о всяческих видах деятельности заставил их вспомнить и о других членах товарищества.

— Могли бы вы подумать, — сказал Фридрих, — что такое никчемное создание, как моя Филина, — ведь, казалось, никчемней ее на свете нет, — станет тоже полезным звеном великой цепи? Положите перед нею кусок ткани, поставьте перед ее глазами хоть мужчину, хоть женщину, — и она, не снимая мерки и не прикладывая выкройки, раскроит весь кусок, да еще и выгадает, пристроив к делу каждый лоскуток и обрезок. И такое уменье у нее — от счастливой способности видеть в уме: она взглянет на человека — и начинает кроить; он может идти на все четыре стороны — а она себе кроит дальше, и готовый сюртук будет точно по нем. Впро-

чем, ей бы это не удалось, не будь при ней швеи: это Монтанова Лидия, которая как умолкла, так и осталась молчаливой, но шьет, как бисер нишет, — стежок к стежку. Вот что может стать с человеком! Право, наша никчемность — как доскутный плащ на плечах, сметанный из привычек, пристрастий, праздномыслия и прихотей. Потому-то мы и не можем ни найти, ни развить делом то лучшее, что вложила в нас природа, и стать тем, чем она хотела нас создать.

Общие рассуждения о выгодах содружества, когда товарищи удачно подобрались один к одному, сулили самые отрадные виды на будущее.

Когда к ним присоединился Ленардо, Вильгельм попросил его по-дружески рассказать о себе, о том, какую жизнь вел он до сих пор и как помог себе и другим.

— Вы, конечно, помните, любезный друг, — отвечал Ленардо, — в каком странном, возбужденном состоянии был я в тот миг, когда мы впервые познакомились. Меня захватило и поглотило необъяснимое влечение, неодолимая жажда: речь тогда могла идти только о сиюминутном, о тяжелых страданиях, которые я изо всех сил сам старался усугубить. Куда мне было рассказать вам обо всех обстоятельствах моей юности, но теперь я должен это сделать, чтобы вы узнали, каким путем я пришел сюда.

Среди моих способностей, раньше всего проявившихся и постепенно развивавшихся под воздействием обстоятельств, была тяга к ручной работе; она находила ежедневную пищу в том нетерпении, какое всегда испытывают в деревне, когда затеют большую стройку и особенно когда явится прихоть переменить или устроить какую-нибудь мелочь — и не оказывается то одного, то другого ремесленника, а хозяева предпочитают сделать кое-как, да поскорее, чем как следует, да спустя год. К счастью, по нашей округе бродил один мастер на все руки, который помогал мне охотнее, чем любому из соседей, видя во мне самого выгодного заказчика. Он соорудил для меня токарный станок, на котором, останавливаясь у нас, работал больше для себя, чем ради моего обучения. Через него же я раздобыл и столярный инструмент; мою склонность укрепляло и поддерживало громко провозглашаемое тогда убеждение, что никто не может смело вступить в жизнь, если в случае нужды не сумеет прокормиться каким-нибудь ручным трудом. Правила, которых придерживались мои воспитатели, побуждали их одобрять мое рвение; я не помню себя с игрушкой, каждый сво-

бодный час я тратил на то, чтобы делать и мастерить что-нибудь. Да, могу похвастаться, что еще мальчиком своими непрерывными требованиями заставил умелого кузнеца сделаться еще и слесарем, напилочным мастером и часовщиком.

Для моих работ нужно было прежде всего раздобыть инструмент, и мы в немалой мере страдали недугом тех мастеров, которые, перепутав цель и средства, тратят больше времени на подготовку и приспособления для работы, чем на саму работу. Но в чем мы действительно могли показать свое практическое умение, так это в украшении парков, без которых не обходился уже ни один помещик; и множество крытых мохом или берестой хижин, множество мостиков и скамей из жердей остались свидетельством того усердия, с каким мы, жители цивилизованного мира, старались подражать первобытному зодчеству во всей его безыскусности.

Эта тяга заставила меня с годами стать серьезней и внимательней ко всему, что полезно для людей и без чего не обойтись при нынешнем их состоянии, а также придала особый интерес моим многолетним путешествиям.

Но так как человек обыкновенно старается и дальше идти тою же дорогою, что привела его к месту, то и мне бы, ли по сердцу не столько машины, сколько ручной труд, в котором сила нераздельна с чувством: потому я с особой охотой подолгу оставался в отрезанных от мира краях, которые по разным обстоятельствам оказываются родиной того или иного промысла. Он-то и придает каждой общине своеобразие, а каждой семье или состоящему из множества семей роду неповторимость характера: там живут, сохраняя чувство живой целостности.

При этом я взял себе в привычку все записывать и сопровождать записи рисунками, не без задней мысли о будущем их применении, и так проводить время приятно и с пользой.

Эта склонность, этот усовершенствованный мною дар пригодился мне недавно, когда я получил от товарищества важное задание: изучить положение дел у обитателей здешних гор и выбрать среди них охотников до странствий, которые могли бы пригодиться в нашем походе. Не угодно ли будет вам потратить вечерок на чтение моего дневника, коль скоро у меня самого так много неотложных дел? Не стану утверждать, что это столь уж приятное чтение, но мне оно кажется занимательным и даже в известной мере поучительным. Впрочем, мы отражаемся во всем, что выходит у нас из рук.

ГЛАВА ПЯТАЯ
Дневник Ленардо

Понедельник, 15.

Глубокой ночью, с трудом взобравшись в гору до середины склона, я нашел сносный постоянный двор, однако, к великой досаде, мой живительный сон еще до рассвета был прерван долгим брэнчанием бубенчиков и колокольцев. Прежде чем я успел одеться и обогнать их, мимо прошла длинная вереница вьючных лошадей. Путившись в путь, я узнал, как неприятно и докучно путешествовать в таком сопровождении. Однозвучное позвякивание оглушает уши, огромные тюки, навьюченные на лошадей и торчащие в обе стороны (на этот раз то были кипы хлопка), очень скоро начинают справа тереться о скалы, а когда животное, желая избежать этого, отступает влево, груз парит над пропастью, вызывая у зрителя тревогу и головокружение; а самое неприятное то, что в обоих случаях дорога загорожена и нет возможности миновать караван и обогнать его.

Наконец мне удалось сторонкой проскользнуть до широкого выступа скалы, где Святой Христофор, который, не уставая, нес мою поклажу, поздоровался с каким-то человеком; тот стоял сбоку и, казалось, производил смотр проходившей мимо веренице лошадей. И в самом деле, он оказался начальником каравана, то есть не только владельцем большей части животных и нанимателем остальных вместе с погонщиками, но и хозяином небольшой доли груза; однако главным его промыслом было обеспечивать крупным торговцам перевозку их товара. Из разговора я узнал, что хлопок этот поступает из Македонии и с Кипра через Триест, а потом его на вьючных мулах и лошадях доставляют от подножья сюда, в горы, и дальше, за перевал, где бесчисленное множество прядильщиков и ткачей по долинам и ущельям производят отборного сорта товар для оптового вывоза за границу. Ради удобства погрузки каждый тюк весил либо полтора, либо три центнера, так как три центнера — это полный груз вьючной лошади. Начальник похвалил качество подвозимого этим путем хлопка, сравнил его с ост-индским и вест-индским, особенно с самым знаменитым кайеннским; судя по всему, он знал свое дело, и так как я тоже не был в нем полным невеждой, разговор у нас получился приятный и поучительный. Тем временем вся цепочка прошла мимо

нас, и я с неприязнью поглядел на необозримую вереницу навьюченных тварей, которая тянулась вверх по вьющейся вокруг скалы тропе и следом за которой надобно было тащить-ся и нам, жарясь среди скал на солнцепеке. Покуда я жаловался на это моему проводнику, к нам подошел жизнерадостный коренастый крепыш с непомерно легкой поклажей на слишком больших для нее крючьях. По тому, как они со Святым Христофором, здороваясь, трясли друг другу руку, можно было заключить о давнем их знакомстве; и действительно, вот что узнал я о подошедшем. В глухих горных местностях, откуда каждому работнику было бы чересчур далеко ходить на рынок, орудуют своего рода торговые посредники или скупщики. Они обходят все закоулки ущелий, заглядывают в каждый дом, доставляют прядильщикам мелкие партии хлопка, выменивают его на готовую пряжу любого сорта или же ее скупают, а потом оптом сдают обосновавшимся у подножья гор фабрикантам, получая на этом небольшой барыш.

Когда разговор опять зашел о том, как тягостно плестись вслед за мулами, человек этот тут же предложил мне заодно с ним спуститься боковой долиной, которая как раз в этом месте ответвлялась от главной, направляя горные потоки в другую сторону света. Решение было принято немедленно, и вот, не без усилий перевалив через крутой гребень, мы очутились на противоположном склоне, поначалу довольно безотрадном на вид: каменная порода здесь изменилась и залегала пластами, на скалах и валунах не было растительности, и спуск грозил быть весьма крутым. Со всех сторон стекали воды горных источников, мы прошли даже мимо озерца, окруженного дикими скалами. Далее стали попадаться ели, лиственницы и березы, сперва поодиночке, потом собравшиеся в кружок, а среди них редкие жилища, правда, самого убогого вида, сложенные срубом из бревен руками самих обитателей, с черными кровлями из крупной дранки, пригнетенной камнями, чтобы не снес ветер. Несмотря на такую унылую внешность, внутреннее помещение, хотя тесноватое, было не лишено уюта: теплое, сухое и чисто прибранное, оно как нельзя лучше подходило своим довольным на вид обитателям, среди которых сразу же начинаешь чувствовать себя по-деревенски просто.

Проводника нашего, судя по всему, уже ждали и даже заранее углядели из окошка; дело в том, что обычно он старается по возможности приходить в один и тот же день недели. Он купил пряжу, выдал новый хлопок и поспешил

вниз, где тесно стояло несколько домов. Едва нас заметили, как тотчас же сбежались жители селения и стали нам кланяться, тут же толпились дети, радуясь сдобным и даже простым булкам. Удовольствие, — и без того большое, еще возросло, когда обнаружилось, что такой же груз есть и у Святого Христофора, которому через это выпала радость также заслужить «спасибо» от детишек, тем более ему приятное, что он ничуть не хуже умел обходиться с маленьким народцем.

У стариков наготове было множество вопросов: каждый хотел знать о войне, которая, по счастью, велась далеко от здешних мест, да и не грозила бы им, даже будь она ближе. Тем не менее все радовались миру, хотя и не скрывали тревоги по поводу другой грозящей им опасности: машинное производство распространялось по стране все шире и угрожало вырвать работу из их трудолюбивых рук. Впрочем, нашлись и утешительные доводы.

У нашего спутника спрашивали совета по всем случаям жизни, причем ему приходилось быть не только другом дома, но и домашним врачом, — при нем всегда были знахарские капли, соли и бальзамы.

Заходя в дома, я имел возможность предаться старой моей страсти и собрать сведения о прядильном промысле. Я обратил внимание на детей, которые усердно и рьяно трепали хлопок на клочки, вынимая из него семена, осколки коробочек и прочий сор; эта работа называется у них *выборкой*. Я спросил, только ли дети занимаются ею, и получил ответ, что зимними вечерами в ней участвуют также мужья и братья.

Само собой, потом мое внимание заняли работающие прядильщицы. Подготовка такова: выбранный, то есть очищенный, хлопок равномерно насаживают на *карды*, которые тут называют *чесалками*, и кардят, отчего из него выходит пыль, а волокна принимают одно направление; потом его снимают, выют в пучки и готовят для самопрялки.

При этом мне показали разницу между пряжей, сученой влево или вправо, — первая обычно тоньше; достигают этого тем, что окручивают вращающую веретено струну вокруг кольца, как это ясно видно на приложенном рисунке (который мы, к сожалению, не можем воспроизвести, как и все прочие).

Пряха сидит перед колесом, не слишком высоко, многие поддерживают подножку самопрялки обеими ногами, скре-

стив их, другие — только правой ногой, а левую отставляют назад. Правой рукой пряха вращает колесо, вытягивая ее вдаль и вверх, насколько может; движения, которые она делает, красивы, благодаря изящному повороту тела выгодно обрисовываются стройность стана и округлая полнота рук; особенно при втором способе прядения поза являет в себе столько живописных контрастов, что прекраснейшим нашим дамам не было бы причин бояться, что их обаяния и прелести убудет, если они вдруг пожелают взяться вместо гитары за самопрялку.

Среди такой обстановки в душе моей теснились новые, странные чувства; жужжание колес красноречиво, девушки поют псалмы, реже светские песни.

В всяких клетках свистят и свиристят чижи и щеглята, — словом, трудно найти картину бьющей ключом жизни, сравнимую с видом комнаты, где работают несколько прях.

Однако описанной выше колесной пряже предпочитают пакетную, или ручную: для нее берут лучший хлопок с самыми длинными волокнами. Если он чисто выбран, то его не кардят, а насаживают на гребни, состоящие из торчащих в один ряд стальных зубьев, и прочесывают, потом самые длинные и тонкие пряди тупым ножом отделяются от остального хлопка; они имеют вид лент и у прях именуется *шниццами*; их свертывают и помещают в бумажные картузики, а те укрепляют на пряслицах. Из такого картузика тянут нить, суча ее пальцами и навивая на веретено; потому такая работа и называется пакетным пряденьем, а пряжа — пакетной.

Этой работой занимаются только женщины степенного, рассудительного нрава, за нею пряха являет вид более спокойный и уютный, нежели за самопрялкой, и если последняя больше пристала рослым и статным, то ручная пряжа красит тонких и неторопливых. Я видал таких разных по характеру прях, занятых разными работами, по несколько в одной комнате и не знал, что мне рассматривать внимательней — работу или работниц.

Кроме того, нельзя отрицать, что эти обитательницы гор, обрадованные присутствием необычных гостей, были на редкость приветливы и милы. Особенно приятны им были мои подробные расспросы обо всем, что они мне рассказывали, и старанье все приметить и зарисовать их снасть и простые механизмы, а иногда и набросать несколькими штрихами их

руки и стройные фигуры во всем их изяществе (все это следовало бы поместить здесь наглядности ради). Когда наступил вечер, мне показали выполненную работу, веретена с пряжей были сложены в особый ящичек и все сделанное за день тщательно собрано. Ко мне уже успели попривыкнуть, и работа шла своим чередом: теперь занялись перемоткой пряжи и без стеснения показывали мне и механические приспособления, и как обращаться с ними, а я тщательно все записывал.

Мотальная машина состоит из колеса и стрелки, так что при каждом обороте поднимается пружина, которая соскакивает, как только на колесе оказывается сто витков пряжи. Тысячу витков называют *гонок*, и по его весу высчитывают тонкость нити.

Сученной вправо пряжи идет на фунт гонков двадцать пять — тридцать, сученной влево — шестьдесят — восемьдесят, а иногда и девяносто. Колесо мотовила имеет по ободу примерно семь четвертей локтя или немного более, и одна проворная, усердная пряха утверждала, будто за день успевает выпрясть на самопрялке четыре, а то и пять гонков, что составляет пять тысяч витков, то есть восемь-девять тысяч локтей нити.

Другая пряха, тихая и скромная, работавшая вручную, не снесла похвальбы и стала уверять, что спрядет из фунта хлопка сто двадцать гонков, только за соответствующее время. (Пакетная пряжа гораздо медленней, но оплачивается лучше. На самопрялке можно наработать вдвое больше.) Она как раз намотала нужное количество витков и показала мне, как закрепляют конец нити, несколько раз обмотав его поперек, потом сняла гонок с колеса, закрутила его так, что он свился в жгут, и смогла с наивным самодовольством показать, как выглядит законченная работа споровистой прядильщицы.

Так как тут больше нечего было смотреть, мать встала и сказала, что раз уж молодой барин все хочет видеть, так она покажет ему и тканье. И вот, усевшись за станок, она объяснила мне с обычной доброжелательностью, как они с ним управляют; у них в ходу только сухое тканье, годное для грубой редины; при таком способе уток прокладывается сухим и прибивается не слишком плотно. Потом она показала мне готовое изделие: тканье гладкая, без полосок, клеток или другого рисунка и шириной всего в пять — пять с половиною четвертей локтя.

Луна ярко светила на небе, и наш скупщик настоял, чтобы мы отправились дальше, так как ему нужно везде поспеть вовремя, в привычный день и час; пешеходные тропы здесь хороши и видны ясно, особенно при таком фонаре. Мы, со своей стороны, скрасили прощанье шелковыми лентами и косынками, которых немалый запас нес с собою Святой Христофор; подарок был вручен матери, с тем чтобы она разделила его между дочерьми.

Вторник, 16, утром.

Странствование наше в такую прекрасную лунную ночь оказалось на редкость приятным; мы добрались до поселения, которое заслуживало название деревни, так как хижин здесь стояло побольше, а поодаль, на безлесном холме, высилась часовня, и вся местность выглядела более обжитой. Мы шли мимо оград, за которыми, правда, не было садов, но зато были тщательно ухоженные лужайки.

Мы попали в такое место, где наряду с прядением всерьез занимаются и ткацким промыслом.

Как ни были крепки наши молодые силы, затянувшееся до глубокой ночи путешествие их истощило; скупщик прятаясь на сеновал, я хотел было за ним последовать, но Святой Христофор препоручил мне свои крючья и вышел за дверь. Зная его доброе намеренье, я его не удерживал.

Наутро первым делом сбежалось все семейство, а детям строго-настрого запретили высываться за порог, так как в округе, наверно, появился медведь или другой страшный зверь: всю ночь от часовни доносились рев и урчанье, от которых чуть ли не тряслись дома и скалы, и нам советовали быть настороже, когда мы выйдем в долгий путь. Мы старались, как могли, успокоить добрых людей, но в такой глуши это оказалось нелегко.

Скупщик объявил, что собирается как можно скорей сделать все дела и потом зайти за нами: дорога нам предстоит сегодня дальняя и утомительная, так как придется не только гуляючи бродить по долине, но и с трудом перевалить через высившийся перед нами отрог хребта. Поэтому я решил не тратить времени и попросил радушных хозяев, чтобы они ввели меня хотя бы в преддверье ткацкого дела.

Это были пожилые люди, на склоне дней бог благословил их еще двумя или тремя детьми, и во всем, что их окружало, во всех их словах и поступках заметны были набожность и чутье к сверхъестественному. Я пришел как раз

к началу работы, составляющей переход от пряденья к тканью, и поскольку отвлекаться мне было больше не на что, то я и просил просто продиктовать мне в книжку все о том деле, которое делалось у меня на глазах.

Самая первая работа — проклейка пряжи. — была закончена еще вчера. Пряжу проваривают в жидкой смеси крахмала со столярным клеем, чтобы нить не так легко рвалась. К утру мотки высохли, и их собирались перематывать с колеса на трубчатые шпули. С этой легкой работой справлялся, сидя у печи, старый дед, а подле него стоял внук, которому, судя по всему, очень хотелось самому повертеть колесо. Той порой отец, готовясь набирать основу, насаживал шпули на разделенную поперечными прутьями раму, так что каждая свободно вращалась на отвесно торчащих железных стержнях и нить легко с нее сбегала. Шпули с пряжей грубее или тоньше насаживались на раму в том порядке, какого требовал узор или, правильнее сказать, полосы на ткани. Особое приспособление, устроенное на манер систра, имеет с обеих сторон отверстия, в которые протягиваются нити; ткач держит его в правой руке, левой хватает нити и натягивает их на раму сверху вниз и обратно. Одна протяжка взад и вперед называется *ходом*, а как много делается ходов, зависит от толщины и ширины ткани. Длина одной штуки либо шестьдесят четыре, либо всего тридцать два локтя. В начале каждого хода пальцами левой руки накладывают одну или две нити наверх и столько же подниз и называют это *провязкой*; перекрещенные так нити накладываются на два гвоздя, укрепленных наверху рамы. Все это делается, чтобы у ткача нити основы были всегда в одном и том же нужном порядке. Когда основа натянута, подвязывают *бёрдо*, которое отделяет ход от хода, чтобы они не перепутались; затем на каждом последнем ходе делают разведенной ярью-медяной *отметы*, чтобы ткач мог соблюдать нужную меру; потом все это снимается и свертывается в большой моток, называемой *основой*.

Среда, 17.

Мы вышли в путь задолго до рассвета и могли наслаждаться великолепием заходящей луны. Когда занялся день и взошло солнце, мы увидели перед собою места, более обжитые и тщательно возделанные. Если выше мы находили для переправы через ручей только камни или узенькие лавы с перилами по одну сторону, то здесь через речки, которые

становились чем ниже, тем полноводнее, были переброшены каменные мосты, к первоначальной дикости прибавлялось все больше уютных примет, радовавших взор странников.

Из-за горы, служившей водоразделом, нам навстречу шагал статный черноволосый человек, который, обнаружил чрезвычайно острую зрению и зычность голоса, уже издали закричал скупщику:

— Здравствуй, кум, как бог милует?

Скупщик, подождав, когда встречный подойдет поближе, тоже воскликнул с удивлением:

— Спаси господь, кум наладчик! Откуда путь держишь? Вот так встреча!

Приблизившись, прохожий ответил:

— Да я вот уже два месяца брожу по горам, чиню снасть и налаживаю станы добрым людям, чтоб они могли работать без помех.

Тогда скупщик обратился ко мне:

— Раз уж вы, молодой барин, по своей воле и охоте так стараетесь узнать все про здешний промысел, значит, мой кум попался нам кстати, я все эти дни про себя желал такой встречи; он так все объяснит вам, как девушки при всем желанье не смогут, — ведь он мастер своего дела и умеет не только рассказать обо всем, что относится до тканья и пряденья, но и все, что нужно, соорудить, починить и наладить, да так, что лучше и желать нельзя.

Я разговорился с новым знакомым, повторил ему, что успел узнать за последние дни, попросил разрешить кое-какие недоумения и понял, что это человек опытный, в известном смысле образованный и в своем деле настоящий дока. Я рассказал ему и о вчерашнем первом знакомстве с работой ткача. Он радостно воскликнул в ответ мне:

— Вот удача-то! Я пришел как раз кстати, чтобы растолковать барину, раз он так мил, все, что надобно знать о самом древнем и благородном искусстве, которое впервые отличило человека от зверя. Еще нынче мы придем к добрым людям и хорошим ткачам, и пусть меня не зовут больше наладчиком, если все у нас не пойдет ладно и вы не научитесь разбираться в деле не хуже меня.

Я ответил ему изъявлениями благодарности, мы еще поговорили о том, о сем и после недолгого привала и завтрака добрались до домов, хотя и лепившихся друг над другом по склопу, но лучше построенных. Наладчик указал нам на самый красивый дом. По уговору первым вошел скупщик со

мною и со Святым Христофором, а потом, едва мы обменялись первыми приветствиями и шутками, явился мастер, и нельзя было не заметить, какой радостной неожиданностью был его приход для всего семейства. Его сразу обступили отец, мать, дочери и малые дети, у одной девушки, сидевшей за ткацким станом, застыла в воздухе рука с челноком, который она собралась было прокинуть в зев основы; в тот же миг она остановила подножку и, медля от смущения, подошла пожать ему руку. Вскорости оба — и наладчик и скупщик — шуточками и рассказами вновь заслужили все права, подобающие друзьям дома; потешившись так некоторое время, умелец обратился ко мне и сказал:

— Это не дело, барин: мы от радости, что свиделись снова, совсем вас забросили и можем проболтать так целый день, а вам завтра надобно дальше. Покажите-ка барину все тайны нашего искусства. Как проклеивать пряжу и навивать основу, он уже знает, так покажем ему все остальное, пусть девушки помогут мне. Я вижу, на том станке уже начали навивать.

Это была работа младшей девушки, к которой они и подошли. Старшая меж тем села за свой станок и со спокойным, довольным видом принялась споро трудиться.

Я внимательно смотрел, как происходит *навойка*. Для этой цели ходы основы по порядку пропускаются между зубьями большого гребня, которого длина точно равняется ширине навоя, на который и навивается основа; в навое сделан паз, в него вкладывается круглый пруток, пропускаемый сквозь концы основы, а потом закрепляемый в пазу. Под ткацкий стан садится кто-нибудь из малышей — мальчик или девочка — и крепко натягивает нити основы, а ткачиха тем временем сильными движениями рычага поворачивает навой и при этом следит, чтобы порядок нитей не перепутался. Когда основа навита, сквозь провязку пропускают одну круглую и две плоских палки — *ремизные планки* — и начинается крепление.

На втором навое оставляется примерно четверть локтя старой ткани, а от нее еще примерно на три четверти локтя отходят нити, пропущенные через бёрдо *батана* и через крылья *ремиза*. С этими нитями ткачиха и ссучивает нити новой основы, тщательно прикрепляя их одну за другой, а когда это сделано, закрепленная основа вся вместе пропускается через стан, пока новые нити не дойдут до пустого переднего навоя, а которые из них оборвутся, те подвязыва-

ются снова. Уток наматывается на маленькую шпулю, которая умещается в челноке, и делается последнее приготовление к тканью — *шлихтовка*.

Основа во всю длину стана смачивается при помощи щетки, которую обмакивают в жидкий клей, сваренный из мездры, потом вышеупомянутые ремизные планки, которые держат ценовый крест, вынимаются, нити тщательнейшим образом укладывают в должном порядке и обмахивают привязанным к палке гусиным крылом, покуда они не просохнут; теперь можно начинать ткань и не прерывать его, пока не понадобится новое шлихтованье.

И шлихтовать и обмахивать обычно достается самым молодым, которые только приучаются к ткацкому ремеслу, либо же досужими зимними вечерами это делает, чтобы угодить хорошенькой ткачихе, ее брат или поклонник; они же готовят и маленькие шпули с утком.

Тонкая кисея ткется насыро, иначе говоря, мотки пряжи, идущей на уток, окунаются в жидкий клей, она наматывается на шпульки еще влажной и сейчас же идет в работу; благодаря этому ткань уколачивается ровнее и получается прозрачней на просвет.

Четверг, 18.

На мой взгляд, все в ткацкой мастерской являло картину живой деятельности и вместе мирной домовитости: работало сразу несколько станков, вертелись колеса самопрялок и мотвил, а у печки сидели старики, доверительно беседуя с зашедшими в гости соседями или знакомыми. При этом слышалось и пение: большей частью то были четырехголосные псалмы Амброзиуса Лобвассера, реже светские песни, — а иногда раздавался звонкий девичий смех, если братец Якоб отпускал шуточку.

Спорая в работе и вдобавок усердная ткачиха может, если у нее есть помощники, наткать за неделю штуку не слишком тонкой кисеи в тридцать два локтя; но это, при наличии других домашних дел, бывает редко, и на такую работу уходит обычно две недели.

Красота ткани зависит от того, ровный ли у ткацкого стана ход, равномерный ли прибор у батана, и еще от того, сухой или сырой берется уток. Много способствует ей ровное и вместе сильное натяжение нитей, и для этой цели ткачиха, изготавливающая тонкое бумажное полотно, вешает на гвоздь переднего навоя тяжелый камень (у мастеров это

именуется *оттяжкой*). Когда во время работы ткань сильно натянута, она заметно удлиняется, на тридцать два локтя набегает примерно еще три четверти, а на шестьдесят четыре — полтора локтя; этот избыток принадлежит ткачихе и оплачивается ей особо, или же она срезает его на косынки, передники и тому подобное.

Ясной и тихой лунною ночью, какие выдаются только в горах, семейство, сидя у крыльца, оживленно беседовало с гостями, а Ленардо глубоко задумался. Уже раньше, наблюдая и примечая, как работают станы и орудуют ткачи, он невольно вспоминал письмо, которое друг Вильгельм написал ему, чтобы успокоить его совесть. Слова, которые он так часто перечитывал, строки, на которые так часто смотрел, вновь предстали его внутреннему взору. И как любимый мотив начинает звучать у нас в ушах еще прежде, чем мы отдадим себе в том отчет, так и в душе его, едва она погрузилась в себя, стали сами собой твердиться слова ласкового послания:

«Домашний уклад, зиждущийся на благочестии, оживляемый усердием и поддерживаемый порядком; ни излишнего стеснения, ни излишнего простора, а главное — счастливое соответствие между ее обязанностями и ее силами и способностями. Вокруг нее — коловращение людей, занятых ручной работой в самом чистом и изначальном смысле слова; во всем — узость границ и широта влияния, предусмотрительность и воздержанность, невинная простота и деятельное усердие».

Но не так успокаивало, как будоражило его сейчас это воспоминание. «Как подходит, — говорил он себе, — это латиническое, данное в общих чертах описание ко всему, что я вижу вокруг! Разве и здесь не то же самое: покой, благочестие, непрестанное деятельное усердие? Только одно непонятно: широта влияния. Может быть, добрая девушка оживляет своим присутствием такой же круг, только более широкий и прекрасный, может быть, ей живется так же уютно, как живут здесь, и даже еще уютней, но видит мир она шире, веселей и вольнее?»

Тут разговор остальных, становясь все оживленней, пробудил Ленардо от дум, заставил прислушаться к тому, о чем шла речь, — и в уме его окончательно сложилась мысль, лелеемая весь этот день. «Не будет ли этот человек, что так мастерски обращается со станками и орудиями про-

мысла, полезнейшим членом нашего товарищества?» Лена́рдо стал думать об этом и обо всех достоинствах умелого работника, которые сразу бросились ему в глаза, а потом перевел разговор на этот предмет и как бы в шутку, но тем непри- нужденнее спросил наладчика, не хочет ли он вступить в мно- голюдное товарищество и попытаться вместе с ним пересе- литься за море.

Тот отказался, так же весело заверив, что ему и здесь хорошо, а будет еще лучше; в таких местах он родился, к та- ким привык, тут он всем известен и всюду радушно принят. Вообще в здешних долинах люди не склонны переселяться: нужда им не грозит, а горы не отпускают своих обитателей.

— Вот меня и удивляет,— сказал скупщик,— что о гос- поже Сусанне поговаривают, будто она выходит замуж за своего приказчика и продает имущество, чтобы с хорошими деньгами перебраться за море.

В ответ на свои вопросы наш друг узнал, что Сусанна — молодая вдова, которая, живя в достатке, широко промыш- ляет местными изделиями, в чем путешественник сам смо- жет завтра же убедиться, так как, идя тою же дорогой, они придут к ней еще с утра.

— Я уже не раз слышал ее имя,— отозвался Лена́рдо,— говорят, ее попечением живет и благоденствует вся долина, только я все забывал о ней спросить.

— Пора и на покой,— сказал скупщик,— надо не упу- стить утренних часов, благо день завтра обещает быть по- гожим».

На этом рукопись кончалась, а когда Вильгельм пожелал получить продолжение, ему было сказано, что сейчас у дру- зей его нет: оно отправлено Макарии, чтобы та с присущими ей умом и человеколюбием разобралась в упомянутых там сложностях и распутала опасные узлы. Наш друг принужден был смириться с перерывом в чтении и приготовился про- вести вечер в дружеском кругу, удовлетворяясь веселою беседой.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Наступил вечер, друзья сидели в беседке, из которой от- крывался широкий вид; вдруг на пороге появился степенно- го вида человек, в котором наш друг сейчас же признал

брившего его поутру цирюльника. В ответ на его безмолвный низкий поклон Ленардо сказал:

— Вы, как всегда, пришли к стати и не преминете порадовать нас вашими талантами. Я могу, — продолжал он, обращаясь к Вильгельму, — рассказать вам кое-что о товариществе, ибо имею честь быть его Связующим Звеном. В наш круг вступает только тот, кто сумеет выказать талант, полезный или приятный в любом обществе. Этот человек — отличный хирург, в опасных случаях, когда нужны решительность и сила рук, он будет превосходным помощником врачу. Какой он брадобрей, вы и сами можете засвидетельствовать. Благодаря этому он столь же необходимый, сколь и желанный гость. Но так как ремеслу этому обычно сопутствует чрезмерная и часто докучная болтливость, то он, ради собственного совершенствования, принял на себя условие, — ведь и всякий, кто хочет жить среди нас, должен в чем-то подчиниться строгому условию, чтобы во всем остальном быть свободным без всяких условий. Так вот, наш цирюльник отказался от человеческого языка, коль скоро в словах нужно выразить нечто обычное или случайное, зато развил в себе другой род красноречия, умно направленного к удовольствию всех, а именно дар рассказчика.

В жизни он испытал немало необычайного, но прежде разбазаривал свой опыт в болтовне некстати, а теперь, вынуждаемый молчанием, повторяет свои истории про себя и тем приводит их в порядок. К этому присоединяется фантазия, сна придает им жизнь и движение. Особенно искусно и ловко рассказывает он правдоподобные сказки и похожие на сказку были, которыми в подходящее время весьма забавляет нас, если я разрешаю его от обета молчания; это я сейчас и сделаю и прибавлю ему в похвалу, что за долгое время, с тех пор как я его знаю, он ни разу не повторился. Надеюсь, что сегодня в честь нашего дорогого гостя он особенно отличится.

Лицо Алого Плаща осветилось весельем и лукавством, и он без промедленья стал рассказывать вот что:

Новая Мелузина

— Достопочтенные господа! Мне известно, как вы не любите пространных речей и вступлений, и поэтому я хочу сразу же вас заверить, что сегодня надеюсь особенно отличиться перед вами. Сколько ни рассказал я правдивых исто-

рий, к величайшему удовольствию всех слушателей, но сегодняшня, осмелюсь сказать, должна далеко превзойти все прежние, ибо воспоминание о ней, хотя она и случилась несколько лет назад, до сих пор не дает мне покоя, и можно надеяться, что она получит продолжение. Едва ли найдется другая история, сравнимая с этой.

Для начала я должен признаться, что далеко не всегда мне удавалось устроить жизнь так, чтобы смотреть в будущее или даже встречать завтрашний день с уверенностью. В молодые годы я был не таким уж хорошим хозяином и частенько попадал в затруднения. Однажды я пустился в странствие, которое сулило немалую выгоду, но размахнулся так широко, что, отправившись в путь на курьерских, потом некоторое время ехал на почтовых, а под конец оказался вынужден идти к цели пешим порядком.

Я был парень не промах и потому издавна завел привычку сразу по приходе в гостиницу отыскать либо хозяйку, либо кухарку и подольститься к ней, что по большей части способствовало уменьшению счета.

Однажды вечером, когда я подходил к почтовой станции в каком-то маленьком городке и собирался начать обычные действия, мимо меня к дверям подкатила отличная двухместная карета, запряженная четверней. Я огляделся и увидел даму, ехавшую в одиночестве, без камеристки и без лакеев. Я тотчас же кинулся отворять ей дверцу и спросил, не угодно ли ей что-нибудь приказать. Когда дама выходила из кареты, стало видно, как она хороша собой, но милое лицо ее, если приглядеться, было отмечено печатью легкой грусти. Я спросил еще раз, не могу ли чем услужить ей.

— Да, конечно,— сказала она,— если вы соблаговолите взять с сиденья тот ларец и осторожно отнести его наверх; только прошу вас, держите его крепче и постарайтесь поменьше шатать и трясти.

Я взял ларец, она захлопнула дверцы, и мы вместе поднялись по лестнице. Челяди она сказала, что собирается заночевать здесь.

Мы остались в комнате одни, она велела мне поставить ларец на столик у стены; потом я по некоторым ее жестам понял, что она желает остаться одна, и распрощался, почтительно, но горячо поцеловав ей руку.

— Закажите нам ужин на двоих,— сказала она, и вы можете вообразить себе, с каким удовольствием я выполнил ее поручение, преисполнившее меня такой гордыни, что я едва удостоил хозяина, хозяйку и всю челядь взгляда через плечо. С нетерпением ждал я минуты, которая вновь сведет меня с нею. Ужин был подан, мы сели друг против друга, впервые за долгое время я наслаждался таким отличным столом и одновременно созерцанием такой красоты; мне казалось, что с каждым мигом дама становится еще краше.

Ее беседа была приятна, но от всего, что касается сердечной склонности и любви, она старалась уклониться. Стол убрали, я медлил, я пускал в ход всяческие уловки, ища сближения с ней, но напрасно: меня удерживало ее степенное достоинство, которого я не мог одолеть, и мне пришлось, хотя и с неохотой, довольно рано ее покинуть.

Проведя ночь без сна или в беспокойных сновидениях, я проснулся ни свет ни заря и осведомился, не требовала ли дама лошадей; узнав, что нет, я пошел в сад и, увидев ее у окна одетую, поспешил к ней наверх. Она встретила меня, такая же красивая и даже еще краше, чем вчера; в душе моей тотчас же пробудились влечение и озорная смелость, я кинулся к ней и схватил ее в объятия с возгласом:

— Неотразимое, небесное создание! Прости, но у меня нет больше сил!

Она с невероятной ловкостью выскользнула из моих объятий, я не успел даже запечатлеть у ней на щеке поцелуй.

— Постарайтесь удержаться от таких внезапных порывов страсти, если не хотите легкомысленно упустить свое счастье! Оно близко, но достанется вам только после испытаний.

— Требуй, чего хочешь, ангел мой! — воскликнул я. — Но только не доводи меня до отчаяния!

Она отвечала с улыбкой:

— Если вы хотите служить мне, то выслушайте мои условия. Я приехала сюда навестить подругу и рассчитываю пробыть у нее несколько дней; в то же время я желаю, чтобы моя карета и этот ларец ехали дальше. Хотите взять это на себя? Делать вам ничего не придется, только осторожно ставить в карету и брать из нее ларец, а когда он будет в карете, сидеть подле него и всячески его оберегать. По приезде же в гостиницу вы будете ставить его на стол в отдельной комнате, где не имеете права ни жить, ни ночевать. Комнату вы будете каждый раз закрывать этим ключом, который

запирает и отпирает любой замок, сообщая ему волшебное свойство: в промежутке его никто не может отомкнуть.

Я глядел на нее со странным чувством, я обещал ей выполнить все, если она даст мне надежду на скорое свидание и скрепит эту надежду печатью поцелуя. Она сделала это, и с той же минуты я стал ее невольником. А теперь, сказала она, я должен потребовать лошадей. Мы договорились о моем дальнейшем пути и о месте, где мне надлежало остановиться и ждать ее. Под конец она сунула мне в руку кошелек с золотом, а я прильнул губами к ее руке. При прощании она казалась растроганной, и я сам не знал, что я делаю и что надо делать.

Велев подать лошадей и возвратившись, я нашел дверь в комнату запертой. Я тотчас же вытащил свой ключ ко всем замкам, и он превосходно выдержал испытание. Дверь распахнулась, комната была пуста, только ларец стоял на том столе, куда я его поставил.

Подали карету, я аккуратно снес ларец вниз и поставил его подле себя. Хозяйка спросила:

— А где же дама?

Кто-то из детей ответил:

— Она пошла в город.

Я откланялся и торжественно покати́л прочь оттуда, куда вчера пришел с запыленными голенищами. Вы можете вообразить себе, что я думал на досуге обо всей этой истории, пересчитывая денежки, краем глаза поглядывая на ларец и строя всяческие прожекты. Между тем я все ехал да ехал, минуя одну станцию за другой и не делая остановок, пока не прибыл в назначенный ею большой город. Ее приказы были тщательнейшим образом исполнены, ларец помещен в отдельную комнату, рядом с ним поставлено несколько незажженных восковых свечей,— все как она распорядилась. Комнату я запер и, расположившись в своем номере, заказал себе ужин по вкусу.

На некоторый срок мне удалось занять себя воспоминапиями о ней, но вскоре время стало слишком уж тянуться. Я не привык быть в одиночестве и скоро стал находить себе компанию по вкусу за трактирным столиком или в других публичных местах. По этой причине деньги у меня начали таять, и в один прекрасный вечер, когда я с чрезмерным азартом предался игре, мой кошелек совсем опустел. Вне себя возвратился я в свою комнату. Сохраняя вид богача, я остался без денег, ожидал изрядного счета, ведать не ведал,

когда появится снова моя красавица и появится ли вообще,— словом, положение мое было весьма затруднительно. Тут я вдвое сильнее затосковал по ней, думая, что не могу больше жить без нее и без ее денег.

После ужина, который показался мне невкусен, так как мне пришлось съесть его в одиночестве, я стал метаться по комнате, разговаривая с самим собой и проклиная себя, потом бросился на пол, принялся рвать на себе волосы,— словом, вел себя крайне необузданно. Вдруг я услышал, что в соседней запертой комнате кто-то легонько зашевелился, а потом постучал в надежно охраняемую мною дверь. Я вскакиваю, хватаю ключ ко всем замкам, но створчатая дверь распаивается сама собой, и при свете зажженных восковых свеч передо мною появляется моя красавица. Я бросаюсь к ее ногам, целую ей край платья и руки, она поднимает меня, я не смею обнять ее, еле отваживаюсь на нее поглядеть, но честно и покаянно признаюсь в своих проступках.

— Простить вас можно,— говорит она,— но только миг вашего и моего счастья, увы, отсрочивается. Вам придется еще раз поехать вперед одному, прежде чем мы снова увидимся. Вот вам еще больше денег, их вам хватит, если вы будете хоть немного бережливы. Но если на этот раз вас довели до беды вино и карты, то впредь остерегайтесь вина и женщин и дайте мне надеяться на радостное свиданье с вами.

Она ушла за порог, створки двери захлопнулись, я стучал, просил — но так ничего и не услышал. Когда на следующее утро я потребовал счет, слуга сказал мне с улыбкой:

— Теперь мы знаем, почему вы запираете дверь каким-то непонятным способом, так что ее никаким ключом не отпрешь. Мы думали, у вас полно денег и драгоценностей, а нынче видели, какое сокровище спускается от вас по лестнице; право, оно стоит того, чтобы стеречь его лучше.

Я не стал возражать, заплатил по счету и спустился с дарцом в карету. В дальнейший путь я пустился с твердым решением не пренебрегать предостережениями моей таинственной подруги. Но едва я опять добрался до большого города, как вскоре познакомился с весьма милыми дамами — и уже не мог от них отойти. Судя по всему, они намерены были недешево взять за свои милости, потому что покамест держали меня на расстоянии, но то и дело заставляли раскошелиться, и я, думая только об их удовольствии, забывал о своей мощне и платил и тратил без конца. Каково же

было мое удивление и моя радость, когда через несколько недель я заметил, что из кошелька моего не убыло, — наоборот, он остается таким же тугим и круглым, как вначале. Желая удостовериться, что он подлинно обладает таким прекрасным свойством, я уселся за подсчеты, точно запомнил итог и снова весело зажил в прежней компании. Лодочные и загородные прогулки, танцы и пение — ни в одном из этих удовольствий мы себе не отказывали. Но теперь, даже не особенно присматриваясь, я мог заметить, что в кошельке сильно убыло, как будто мой проклятый подсчет и лишил его волшебного свойства давать деньги без счета. Между тем веселье шло полным ходом, отступать мне было некуда, а наличность моя скоро пришла к концу. Я проклинал себя, ругал мою подругу, которая ввела меня в такое искушение, сердился на нее за то, что она больше не показывается, в досаде объявлял себя свободным от всех обязательств перед нею и подумывал открыть ларец, надеясь найти в нем волшебное средство. Он был слишком легок для того, чтобы таить в себе золото, но в нем могли оказаться дорогие камни, которые мне тоже очень быгодились. Я совсем уже собрался осуществить этот замысел, однако отложил дело на ночь, чтобы без помех произвести операцию, а покуда поспешил на званый ужин, назначенный на тот вечер. Опять пошел пир горой, мы были взбудоражены вином и духовой музыкой, отчего со мною произошла пренеприятная история, когда за десертом появился только что воротившийся из путешествия старый дружок самой любимой моей красотки, подсел к ней и без всяких околичностей постарался восстановить свои прежние права. Мне это пришлось не по вкусу, начался спор, потом ссора, мы оба выхватили шпаги — и меня замертво унесли домой, покрытого множеством ран.

Медикус сделал мне перевязку и ушел, была глубокая ночь, ухаживавший за мной слуга уснул; дверь в смежную комнату отворилась, вошла моя таинственная подруга и присела ко мне на край кровати. Она спросила, как я себя чувствую; я не ответил ей, потому что был слаб и раздражен. Она продолжала говорить с большим участием, натерла мне виски каким-то бальзамом, от которого я почувствовал быстрый прилив сил, столь решительный, что смог рассердиться и осыпать ее упреками. В гневной речи я сваливал всю вину за мои несчастья на нее, на зажженную ею страсть, на ее появления и исчезновения, на скуку и неизбежную тоску по ней. Я говорил все горячее и горячее, словно в лихорад-

ке, и наконец поклялся, что если она сейчас же не станет моей, не будет мне принадлежать, отвергнет союз со мною, то жизнь мне больше не нужна; и я требовал от нее решительного ответа. Когда она заколебалась и не сказала ничего определенного, я вне себя сорвал с моих ран двух- и трехслойные повязки, окончательно решив истечь кровью. Какого же было мое удивление, когда я обнаружил, что раны затянулись, на теле нет ни следа от них, ни рубца, а красавица у меня в объятьях.

Отныне не было на свете пары счастливее нас. Мы просили друг у друга прощения, сами не ведая, за что. Она дала обещание путешествовать впредь вместе со мною, и скоро мы сидели рядышком в карете, а ларец стоял против нас, на месте третьего седока. При ней я ни разу о ларце не упомянул, да и сейчас мне не приходило в голову заговорить о нем, хоть он и стоял у нас перед глазами и мы оба, словно по молчаливому соглашению, всячески заботились о нем, как того требовали обстоятельства; впрочем, моим делом, как всегда, было снести его в карету или вынести из нее и потом запереть двери.

Пока в кошельке были деньги, я продолжал платить, а когда наличные пришли к концу, я сказал ей об этом.

— Тут помочь легко,— отвечала она и указала мне небольшие сумки, приделанные наверху, на боковых стенках кареты; я замечал их и прежде, но никогда ими не пользовался. Она залезла в одну и вытащила пригоршню золотых монет, а из второй достала серебра, указав мне возможность и дальше тратить, сколько нам заблагорассудится. Так мы кочевали из города в город, из страны в страну, нам было весело и вдвоем, и в компании, и я даже не помышлял о том, что она может снова меня покинуть, особенно с тех пор, как стало несомненно, что она в тягости и это обстоятельство еще усилило нашу любовь и радость. Но увы, однажды утром я не нашел ее, и так как оставаться на месте без нее мне было неприятно, я погрузил ларец в карету, испытал волшебное свойство обоих карманов и убедился, что оно не исчезло.

Путешествие продолжалось благополучно, но если до тех пор я не задумывался над моим приключением, ожидая, что чудеса и дальше пойдут своим чередом, то теперь появилось нечто такое, от чего я пришел в изумленье, встревожился и даже испугался. Желая скорее уехать подальше, я завел привычку путешествовать день и ночь и частенько ехал

теперь в темноте, а если в каретных фонарях выходило масло, внутри моего возка был полный мрак. Однажды темной ночью я заснул, а когда проснулся, то увидел на потолке полосу света. Присмотревшись внимательней, я обнаружил, что лучи пробивались из ларца, который, видимо, дал трещину, рассевшись от наступившего вместе с летней порой сухого зноя. Во мне снова проснулись мысли о самоцветах, я вообразил, что в ларце лежит карбункул и, решив удостовериться воочию, прилачился, как мог, и прижался глазом к щели. Каково же было мое удивление, когда я увидел внутри ярко освещенную комнату, обставленную изящной, дорогой мебелью,— как будто я сквозь отверстие в своде заглянул в королевский покой! Правда, видна мне была только часть комнаты, но по ней я мог судить и об остальном. В комнате горел камин, возле него стояло кресло. Я смотрел неотрывно, затаив дыхание. Из глубины комнаты к камину подошла дама с книгой в руках, я тотчас же узнал свою жену, хотя и до крайности уменьшившуюся в размерах. Красавица села в кресла, собираясь читать, поправила поленья красивыми каминными щипцами, и при этом я ясно увидел, что прелестное крошечное существо тоже в тягости. В этот миг, однако, мне пришлось изменить неудобную позу, а когда некоторое время спустя я опять заглянул в ларец, желая убедиться, что это не сон, свет в нем исчез, и я смотрел в темную пустоту.

Легко понять, как я был удивлен и даже испуган. В голову мне приходили тысячи разных мыслей по поводу моего открытия, но надумать я ничего не мог. С тем я и уснул, а когда проснулся, все показалось мне сонной грезой; однако к моей красавице я почувствовал некоторое отчуждение и, неся теперь ларец с особой осторожностью, не знал, желать мне или бояться ее появления в полный человеческий рост.

Спустя некоторое время моя красавица и на самом деле вошла ко мне вечером; на ней было белое платье, а так как в комнате смеркалось, она показалась мне выше ростом, чем прежде. Я тут же вспомнил слышанное мною где-то об ундилах и гномах, что с наступлением ночи вся их порода заметно прибавляет в росте. Она, как всегда, кинулась мне в объятья, но я не мог с такой же искренней радостью прижать ее к стесненной груди.

— Любимый мой,— сказала она,— по твоему приему я окончательно почувствовала то, что знала и раньше. Ты увидел меня во время нашей разлуки, тебе известно, какой я

иногда становлюсь, и это грозит помешать и твоему и моему счастью, а может быть, и совсем погубить его. Я должна тебя покинуть и не знаю, свидимся ли мы снова.

Ее близость, грация, с какой она все это говорила, тотчас же изгладили из моей памяти картину, и без того казавшуюся мне сном. Я порывисто обнял ее, стал уверять в страстной любви, отрицал свою вину, рассказал, что открыл все случайно, одним словом, я достиг того, что она как будто бы успокоилась и постаралась успокоить меня.

— Испытай себя хорошенько, — говорила она, — не повредило ли это открытие твоей любви, в силах ли ты забыть, что я бываю рядом с тобой в двух обличьях, не уменьшится ли твоя привязанность оттого, что я иногда уменьшаюсь.

Я глядел на нее, она была прекрасней прежнего, и я стал про себя думать: велико ли несчастье, если твоя жена время от времени превращается в карлицу, так что ее можно носить в ларце? Разве не хуже было бы, если бы она делалась великаншей и совала в ларец мужа? Ко мне вернулась обычная веселость. Ни за что на свете я не отпустил бы ее.

— Душа моя, — отвечал я ей, — пусть все у нас останется, как раньше. Ведь ничего лучше для нас обоих и быть не может. Если так тебе удобней, пользуйся этим, а я обещаю тебе носить ларец еще осторожнее. Да и могло ли это зрелище произвести дурное впечатление, если ничего прелестней я в жизни не видел? Как счастлив был бы всякий любовник иметь такой миниатюрный портрет возлюбленной! И в конце концов это была только картинка, только фокус! Ты испытываешь и дразнишь меня, но ты увидишь, как я умею держаться.

— Дело наше серьезней, чем ты думаешь, — сказала красавица, — хотя покамест я довольна, что ты смотришь на него так легко: благодаря этому оно может кончиться к нашей общей радости. Я хочу верить тебе и, со своей стороны, сделаю все, что в моих силах. Только обещай никогда не поминать об увиденном тобою в упрек мне. И к этому я прибавлю еще одну настоятельную просьбу: теперь больше, чем всегда, остерегайся вина и гнева.

Я обещал ей все, что она желала, я обещал бы еще больше, но она сама перевела разговор на другое, и все вошло в прежнюю колею. У нас не было причины менять место нашего жительства, — город был велик, общество в нем многолюдно, время года способствовало всяческим празднествам в лесу и в саду.

Моя жена была желанной гостьей всех этих увеселений, и мужчины и дамы постоянно приглашали ее. Ласковые, вкрадчивые манеры в сочетании с некоторым высокомерием внушали людям и любовь и почтение к ней. Кроме того, она превосходно играла на лютне и пела, и этот ее талант непременно венчал каждую проведенную в компании ночь.

Должен признаться, что музыка никогда не была мне по душе, скорее она оказывала на меня неприятное действие. Моя красавица скоро это заметила и, когда мы бывали одни, даже не пыталась развлекать меня музыкой; зато в компании она как будто бы искала возмещения и обыкновенно находила целую толпу поклонников.

К тому же — зачем скрывать? — при всей моей доброй воле нашего последнего разговора было мало, чтобы я мог навсегда разделаться со случившимся; наоборот, он настроил мои чувства на особый лад, хотя я сам до конца не сознавал этого. В один прекрасный вечер долго сдерживаемое недовольство прорвалось в присутствии многих гостей, отчего и произошли для меня величайшие неприятности.

Если память меня не обманывает, после того злосчастного открытия я любил мою красавицу гораздо меньше, но зато стал ревновать ее, чего раньше со мною не бывало. В тот вечер мы сидели по разные стороны стола, наискосок и довольно далеко друг от друга, и я отлично чувствовал себя в обществе обеих соседок, тем более что с некоторых пор эти дамы казались мне весьма привлекательны. Шутя и любезничая, мы не жалели вина, а между тем по ту сторону стола мою жену взяли в плен какие-то любители музыки, они сумели увлечь застолье, так что вся компания стала петь, то по очереди, то хором. От этого дела меня взяла злость; поклонники искусства казались мне назойливы, пенье бесило меня, и когда потребовали, чтобы я тоже пропел соло свой куплет, меня взорвало окончательно: я залпом осушил бокал и грохнул им об стол.

Правда, прелесть моих соседок быстро смягчила меня, но если уж злость накапливается в душе, тогда дело плохо. Меня она допекала по-прежнему, хотя, казалось бы, все должно было приводить меня в веселое, покладистое настроение. А когда принесли лютню и моя красавица, ко всеобщему восхищению, заиграла, готовясь себе аккомпанировать, мстительная злоба овладела мною окончательно. Тут, как на грех, всех нас призвали к молчанию, так что я не мог больше болтать, а от аккордов лютни у меня ломило зубы. Так уди-

вительное ли дело, если заряд взорвался от первой же искорки?

Едва певица кончила, заслужив общие рукоплескания, как ее взгляд, поистине полный любви, обратился на меня. Но увы, для взглядов я был недоступен. Она заметила, как я, залпом выпив кубок, снова его наполнил, и дружелюбно погрозила мне пальцем.

— Не забывайте, что это вино! — сказала она негромко, чтобы я один мог услышать.

— Нам — вино, вода — ундидам! — гаркнул я.

— Сударыни, — обратилась она к моим соседкам, — употребите все ваши чары на то, чтобы этот кубок не опорожнялся так часто.

Одна из них прошипела мне на ухо:

— Неужто вы позволите собой помыкать?

— Чего этой карлице от меня нужно? — крикнул я и, размахнувшись рукой, перевернул кубок.

— Тут слишком много пролито! — воскликнула красавица и ударила по струнам, как будто желая отвлечь внимание гостей от досадного происшествия. Ей вполне удалось приковать все взоры к себе, тем более что она, не прерывая вступления, встала на ноги, словно для того, чтобы удобнее было играть.

Увидев, как красное вино растеклось по скатерти, я опомнился. Я понял, какой страшный промах совершил сейчас, и горько сокрушался в душе. Впервые музыка стала мне внятна. В первом пропетом ею куплете заключалось ласковое прощание с обществом, которое покуда могло ощущать себя единым. Ибо второй куплет как бы расторг единство собравшихся, каждый почувствовал себя одиноким, непричастным ко всем остальным, словно бы и не присутствующим здесь. Что мне сказать о последнем куплете? Он был обращен ко мне одному, этот голос оскорбленной любви, говорившей «прощай» злости и спеси.

Я проводил ее домой, не проронив ни слова и не ожидая ничего хорошего. Но как только мы оказались у себя в комнате, она снова стала ласковой и прелестной, даже озорной, сделав меня опять счастливейшим из смертных.

Наутро я, позабыв всякую тревогу, сказал ей с любовью:

— Ты много раз соглашалась петь по просьбе наших славных сотрапезников, — взять, к примеру, хотя бы прощальную песню, что ты так трогательно исполнила вчера. А сегодня приветствуй ради меня этот утренний час нежной,

веселой песней, чтобы мы почувствовали себя так, будто впервые познакомились.

— Этого, мой друг, я сделать не могу,— отвечала она без улыбки.— Во вчерашней песне я имела в виду наш разрыв, который сейчас уже неизбежен: ибо скажу тебе, что обида, нанесенная вопреки клятвенному обещанию, чревата для нас обоих большими бедами. Ты по легкомыслию лишился великого счастья, да и мне придется отказаться от самых заветных моих желаний.

Когда я стал настаивать и просил ее объяснить, она отвечала:

— Это, увы, я могу сделать, потому что нашему совместному житию настал конец. Узнай же то, что мне хотелось бы скрывать от тебя как можно дольше. Облицье, в котором ты увидал меня в ларце, есть мое прирожденное, естественное обличье: ведь я происхожу из рода короля Эквальда, могучего повелителя карликов, о котором так много говорит правдивое преданье. Народ наш испокон веков трудолюбив и усерден, поэтому управлять им нетрудно. И не думай, пожалуйста, будто карлики хуже вас умеют работать. Когда-то знаменитейшими их изделиями были мечи, которые сами догоняли неприятеля, если бросить их вслед, невидимые несокрушимые цепи, непробиваемые щиты и прочее в этом роде. А теперь они занялись по большей части тем, что служит для удобства и украшения, и в этом деле обогнали все остальные народы на земле. Ты бы подивился, если бы тебе довелось пройтись по нашим мастерским и складам. Все было бы прекрасно, если бы не одно обстоятельство, затронувшее все племя и больше всего — королевскую семью.

Она остановилась на миг, я попросил у нее открыть до конца эти чудесные тайны, на что она сразу же согласилась.

— Общеизвестно,— сказала она,— что господь, как только сотворил мир и суша освободилась от вод, а горы вознеслись во всей своей мощи и величии,— господь сотворил прежде всего крошечного карлика, чтобы было разумное существо, которое бы дивилось чудесам его в земных недрах, в шахтах и в пропастях и чтило за них творца. Далее, известно, что народец этот стал заноситься и задумал подчинить себе всю землю, отчего господу пришлось сотворить драконов, чтобы загнать карличье племя обратно в горы. Поскольку драконы обыкновенно сами гнездятся и обитают в обширных пещерах и расселинах, а многие из них к тому

же изрыгают огонь и чинят иные опустошения, то карликам от этого вышло великое горе и бедствие, и они, не видя выхода, смиренно и слезно обратились к господину богу, взывая к нему в молитвах, дабы он соизволил истребить нечистое племя драконов. И хотя бог в премудрости своей не мог решиться уничтожить свое же творенье, однако постигшая карликий народец страшная беда настолько тронула его сердце, что он немедленно создал великанов, которые должны были сражаться с драконами и если не искоренить, то поубавить это зло.

Но когда великаны почти что расправились с драконами, у них у самих до того возросла наглость и спесь, что они начали творить нечестье за нечестьем, больше всего над славными карликами, которые в беде опять обратились к господину, и он после этого создал своей властью и могуществом рыцарей, дабы они сражались с великанами и драконами, а с карликами жили в добром согласии. На том и кончилось в этой части дело творения, и с той поры повелось, что как драконы с великанами, так и рыцари с карликами всегда держатся заодно. Из этого ты, мой друг, можешь усмотреть, что мы приходим от древнейшего на земле рода, и это, хотя и служит нам к вящей чести, влечет за собой немалые протори.

Так как ничто в мире не вечно и все некогда великое обречено убавиться и умалиться, то и мы со времен сотворения мира все умалеемся и убавляемся в росте, больше же всех прочих — королевская семья, первой подвергшаяся этой участи из-за чистоты своей крови. Потому-то наши мудрецы много лет назад и придумали выход: время от времени одну из принцесс королевского дома посылают странствовать по свету, чтобы она сочеталась браком с честным рыцарем и свежая кровь спасла род карликов от окончательного вырождения.

Покуда моя красавица с видом полной искренности говорила все это, я глядел на нее с сомнением: мне казалось, будто она хочет заставить меня верить небылицам. Правда, в ее высоком происхождении я несколько не сомневался, но вот что она вместо рыцаря связалась со мной, — это внушало мне недоверие, — ведь я слишком хорошо себя знал, чтобы поверить, будто моих предков сотворил своими руками господь бог.

Однако я скрыл удивление и сомнения и ласково спросил ее:

— Скажи мне, милая, откуда же берется у тебя такой рост и такая видная стать? Ведь я не много знаю женщин, которые могли бы сравниться с тобою телосложением.

— Ты об этом услышишь,— отвечала моя красавица.— В королевском совете у карликов исстари повелось как можно дольше воздерживаться от чрезвычайного шага, и я тоже считаю это вполне естественным и законным. Быть может, они не так скоро снова послали бы принцессу странствовать по свету, если бы мой младший брат не родился таким крошечным, что няньки потеряли его из пеленок и теперь неизвестно, куда он девался. По такому неслыханному в летописи карличьего королевства случаю мудрецы собрались, и в конце концов было решено отправить меня на поиски мужа.

— Решено! — воскликнул я.— Все это прекрасно. Можно решить, можно постановить,— но как вашим мудрецам удастся надеть карлицу такой небесной красотой?

— И это тоже,— сказала она,— было предусмотрено нашими предками. В королевской сокровищнице хранится огромное золотое кольцо. Я говорю о том, каким оно показалось мне в детстве, когда меня повели посмотреть его на месте; ведь это то самое кольцо, которое у меня на пальце. К делу приступили таким образом: мне рассказали обо всем, что мне предстояло, и научили, что можно делать и чего нельзя. По образцу любимой летней резиденции моих родителей был сооружен роскошный дворец с главным домом, боковыми флигелями и всем, чего только можно пожелать. Он украшал собою устье широкой расселины в скале. В назначенный день родители перебрались туда со мною и со всем двором. Войска шли церемониальным маршем, двадцать четыре священнослужителя из последних сил тащили на драгоценных носилках волшебное кольцо. Его положили во дворце у входа, как раз в том месте, где переступают порог. После многочисленных церемоний и сердечного прощания я приступила к делу. Подойдя к кольцу, я положила на него руку — и сейчас же заметно выросла. В несколько мгновений я достигла моего нынешнего роста, после чего надела кольцо на палец. Вмиг замкнулись окошки и двери, башни и флигели втянулись в главное здание,— и вот подле меня стоял уже не дворец, а ларец. Я немедленно подняла его и понесла прочь, причем мне приятно было чувствовать себя такой большой и сильной. Пусть я была прежней карлицей по сравнению с деревьями и горами, реками и равниной,— но я стала великаншей по сравнению с травой и цветами и

пржде всего с муравьями, с которыми у нас, карликов, от-
ношения далеко не всегда хорошие, почему мы нередко
и терпим от них страшные муки.

Повествовать обо всем, что случилось со мной во время
странствия, прежде чем я тебя встретила, было бы слишком
долго. Довольно сказать, что я испытывала многих, но толь-
ко тебя сочла достойным обновить и увековечить род вели-
колепного Эквальда.

От всех этих рассказов голова у меня шла кругом, хотя
я и сидел неподвижно. Задав еще несколько вопросов, я не
получил внятных ответов и только еще больше расстроился,
узнав, что после всего случившегося ей непременно следует
воротиться к родителям. Правда, она надеется вновь встре-
титься со мной, но покамест ей во что бы то ни стало надоб-
но явиться на место, иначе и для нее, и для меня все будет
потеряно. Кошельки скоро иссякнут, и к тому же нам грозит
множество других неприятностей.

Узнав, что деньги могут выйти, я не стал спрашивать о
других неприятностях. Пожав плечами, я смолк, и она, судя
по всему, поняла меня.

Мы уложили вещи и сели в карету, поставив напротив
ларец, в котором я ни за что не мог признать дворца. Так
проехали мы несколько станций, добывая деньги из карет-
ных сумок, без затруднения платя прогоны и раздавая на-
право и налево щедрые чаевые. Наконец мы прибыли в гор-
ную местность, и едва только сошли с подножки, как моя
красавица поспешила вперед, а я по ее зову понес следом за
нею ларец. По крутым тропам она привела меня на луг, по
которому протекал чистый ручей, то ускоряя бег, то тихо
извиваясь в траве. Там она показала мне площадку на воз-
вышении, велела поставить на нее ларец и сказала:

— Прощай! Ты легко найдешь обратную дорогу. Вспо-
минай меня, я надеюсь, что мы еще увидимся.

В этот миг я почувствовал, что не могу с ней расстаться.
Для нее выдался удачный день или, если угодно, час,— до
того она была хороша. Оказавшись вдвоем с таким прелест-
ным созданием на зеленом горном лугу среди трав и цветов,
среди обступающих со всех сторон скал, у журчащего ручья,
кто остался бы бессердечным и бесчувственным? Я хотел
схватить ее за руку, обнять ее, но она оттолкнула меня и
сказала, хотя и ласково, но с угрозой, что если я сейчас же
не удалюсь, меня ждет большая опасность.

— Неужели невозможно, — воскликнул я, — чтобы я остался с тобой, чтобы ты не отсылала меня? — Я говорил так жалобно и жестикулировал так отчаянно, что, как видно, сумел ее тронуть; подумав немного, она сказала, что наш союз можно бы и не разрывать. Никто не бывал так счастлив, как я в тот миг! Моя настойчивость, все более неотступная, заставила ее наконец выложить все: если я решусь сделать-ся таким же маленьким, как она, когда я увидал ее в ларце, то смогу и дальше остаться с нею и войти в ее жилище, в ее семейство, в ее царство. Такое предложение не слишком мне понравилось, но в тот миг у меня не было сил разлучиться с нею, и я, привыкнув за последнее время к чудесам и будучи по природе склонен решать все быстро, согласился и сказал, чтобы она делала со мной, что хочет.

Красавица тотчас же заставила меня вытянуть вперед мизинец правой руки, уперлась в него своим мизинцем и левой рукой тихонько стянула с него золотое кольцо, так что оно соскользнуло на мой палец. Тут же я ощутил в пальце страшную боль: кольцо сжалось и стянуло его, как на пытке. Я громко закричал и стал невольно озираться в поисках красавицы, но она исчезла. Нет слов рассказать, что творилось у меня на душе. Очень скоро я очутился в лесу травяных стеблей, рядом с моей красавицей, такой же маленький и низенький, как она, — вот все, что я могу сказать вам. Радость свидания после короткой, но такой странной разлуки, или, если угодно, воссоединения без разлуки, была выше всякой меры. Я обвил ее шею руками, она отвечала на мои ласки, и маленькая пара была не менее счастлива, чем большая.

Не без труда поднялись мы по склону: луг превратился для нас в едва проходимую лесную чащу. Наконец мы вышли на прогалину, я увидел на ней огромную глыбу правильной формы и скоро узнал в ней наш ларец: он так и стоял, как я его поставил.

— Ступай, мой друг, постучись в него кольцом, и ты увидишь чудеса, — сказала моя возлюбленная. Едва я подошел и постучал, как на самом деле начались чудеса. С обоих боков выдвинулись флигели, со стен стали отскакивать как будто чешуйки или стружки — и взгляду моему вмиг предстали двери, окна, портики и все, что положено иметь настоящему дворцу.

Кто видел, как у письменного стола искусной работы Рентгена одним движением приводится в действие множест-

во витых и гнутых пружин и сразу либо один за другим выдвигаются пюпитры, письменные приборы, ящички для бумаг и для денег, тот может представить себе, как раскрылся дворец, куда и увлекла меня очаровательная спутница. В срединной зале я тотчас же узнал камин, который видел тогда сверху, и кресло, в котором она сидела. А когда я взглянул вверх, мне показалось, будто я вижу в куполе след трещины, через которую я подсматривал. Я избавлю вас от долгих описаний; довольно сказать, что дворец был просторен и убран дорого и со вкусом. Едва я успел оправиться от изумления, как услышал издали военную музыку. Моя прекрасная половина запрыгала от радости и в восторге сообщила мне, что это приближается ее августейший родитель. Мы подошли ко входу и стали смотреть на блистательное шествие, выходявшее из внушительной расселины в скале. Солдаты, челядь, дворцовые служители и блестящая свита следовали друг за другом. Наконец среди особенно густой раззолоченной толпы показался сам король. Когда шествие остановилось и выстроилось перед дворцом, к крыльцу подошел король со своими ближайшими советниками. Любящая дочка бросилась ему навстречу, увлекая меня, мы упали к его ногам, он милостиво нас поднял, и я, как только встал с ним рядом, заметил, что и в этом крохотном мире отличаюсь внушительным ростом. Мы вместе пошли во дворец, где король в присутствии всех придворных приветствовал меня хорошо заученной речью, в коей выражал свое изумление тем, что застал нас здесь, признавал меня зятем и назначал брачную церемонию на завтра.

При одном упоминании о женитьбе я почувствовал неопишуемый ужас: ведь я боялся ее пуще музыки, которая была мне ненавистней всего на свете. «Когда люди музицируют,— говаривал я,— они, по крайней мере, воображают, будто действуют заодно и согласно: ведь потратив время на настройку и потерзав нам уши фальшивыми нотами, они потом непоколебимо уверены, что добились чистого звука и что инструменты больше не расходятся. Капельмейстер пребывает в том же счастливом заблуждении, все весело ударяют в смычки, а у нас по-прежнему звенит в ушах. В брачной жизни и этого нет: хотя тут дело идет только о дуэте, а два голоса или два инструмента, казалось бы, можно настроить в тон, но такое случается редко. Стоит мужу взять ноту, как жена берет октавой выше, муж еще выше, камерная музыка начинает звучать как целый хор, потом еще громче, и под

конец даже духовым инструментам за нею не угнаться», И коль скоро мне претит самая гармоническая музыка, то еще меньше можно пенять на меня за то, что какофония для меня невыносима.

Мне и не хочется, и не под силу рассказать обо всех праздничных церемониях того дня: меня они мало занимали. Лучшие яства и лучшие вина казались мне невкусны. Я думал и соображал, как же мне быть, но мало что мог придумать. Покамест я решил, как только наступит ночь, без долгих разговоров уйти и где-нибудь спрятаться. Мне удалось добраться до расселины в камне, я забился в нее и спрятался, как мог. Прежде всего я постарался снять с пальца злосчастное кольцо, но это не удалось мне, напротив того, я чувствовал, что оно стало еще теснее, как только я подумал от него избавиться, так что палец у меня болел ужасно; но чуть лишь я отказался от своего намеренья, как боль тотчас прекратилась.

Рано утром я пробудился — ибо мое маленькое высочество отлично почивало — и собрался было поглядеть, что дальше, как вдруг почувствовал над собою что-то вроде дождя. Сквозь траву, листья и цветы густо сыпался не то песок, не то сор; но до чего же я испугался, когда все вокруг ожило и на меня кинулись несметные полчища муравьев! Едва меня увидев, они со всех сторон напали на меня, и хотя защищался я неутомимо и храбро, под конец они сплошь меня облепили и так замучили укусами, что я был рад, когда меня окликнули и предложили сдаться. Я в самом деле немедленно сдался, тогда ко мне церемонно и почтительно подошел внушительного роста муравей и назвался моим покорным слугою. Я узнал, что муравьи заключили союз с моим тестем и по нынешнему случаю он призвал их и обязал доставить меня во дворец. Так я стал пленником существ еще меньших, чем я. Мне предстояло обвенчаться и благодарить бога, если тесть не разгневается, а моя красавица не будет дуться.

Не заставляйте меня рассказывать обо всех обрядах и празднествах, довольно сказать, что мы поженились. Жизнь пошла бодро-весело, но, несмотря на это, выпадали и одинокие часы, располагавшие к задумчивости, и к тому же со мной творилось такое, чего прежде никогда не бывало, а что именно, вы сейчас услышите.

Все вокруг меня в точности соответствовало моему нынешнему облику и моим потребностям: бутылки и кубки

были соразмерны крошечному росту пьющего и вымерены даже лучше, чем у нас. Деликатнейшие лакомства сами просились в мой маленький рот, крошечные губки моей супруги целовали крепко и сладко, и новизна, не стану скрывать, придала еще больше приятности нашим отношениям. Но при этом я, к сожалению, не забывал, каким был раньше. Я чувствовал в себе меру прежнего роста и от этого был беспокоен и несчастлив. Тут-то я впервые и понял, что имеют в виду философы, когда говорят об идеалах, которые мучат людей. У меня появился идеал самого себя, иногда я снился себе великаном. Одним словом, жена, кольцо, обличье карлика и множество других стеснительных обстоятельств делали меня до того несчастным, что я всерьез стал подумывать об освобождении.

Так как я был убежден, что чары скрыты в кольце, то решил подпилить его. Ради этого я стащил у придворного ювелира несколько напильничков. К счастью, я был левша и никогда в жизни ничего не делал как следует, то есть правой рукой. Я отважно взялся за работу — а ее оказалось немало: золотой перстенок, как ни казался он тонок, уплотнился настолько же, насколько убавился в размере. Все свободные часы я исподтишка тратил на этот труд. У меня хватило ума выйти за двери перед тем, как окончательно распилить кольцо. Это оказалось весьма предусмотрительно: едва только кольцо с силой соскочило с пальца, как тело мое с такой же стремительностью рванулось ввысь, и мне показалось, что я вот-вот ударюсь головой о небо; во всяком случае, я наверняка пробил бы свод нашего летнего дворца и мог бы, при моей внезапной неуклюжести, совсем разнести постройку.

И вот я снова стал намного больше, но, как мне казалось, настолько же глупей и беспомощней. Едва выйдя из оцепенения, я увидел подле себя шкатулку, которая показалась мне довольно тяжелой, когда я поднял ее и понес по тропе вниз к почтовой станции. Там я приказал поскорей запрягать и ехать прочь. По дороге я стал рыться в каретных сумках. Вместо денег, которые, судя по всему, вышли, я нашел ключик, он подходил к шкатулке, в которой я нашел некоторое возмещение утраченного. Покуда не было истрачено и это, я ездил в своем возке, потом продал его, чтобы отправиться дальше в почтовой карете. Шкатулку я сбыв в последнюю очередь, полагая, что она снова наполнится. Так, весьма кружным путем, я опять попал к той кухарке и к той плите, где вы со мною познакомились.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Герсилия — Вильгельму

Даже те знакомства, что не сулят хоть как-то нас затронуть, часто имеют весьма важные последствия, а уж тем более знакомство с Вами, так сильно затронувшее меня с самого начала. Я получила в руки редкостный залог — этот необыкновенный ключик, а теперь и ларчик попал ко мне. И ключик и ларчик! Что Вы на это скажете? Что можно об этом сказать? Послушайте, как все вышло.

К дядюшке является с визитом некий благовоспитанный молодой человек и рассказывает, что курьезный собиратель древностей, Ваш давний знакомец, незадолго перед тем скончался и отказал необычайное наследство ему, вменив, однако, в обязанность незамедлительно вернуть все, что принадлежало другим и было лишь оставлено на сохранение. Свое добро никого не тревожит, о его потере никто, кроме тебя, горевать не будет, а вот сберегать чужое — это он позволял себе только в особых случаях, а наследника хотел избавить от такой обузы и даже из любви в нему отеческой властью запретил браться за это дело. С такими словами он вытащил ларчик, от которого я, хотя и знала его по описаниям, уже не могла оторвать глаз.

Дядюшка, осмотрев ларчик со всех сторон, вернул его со словами, что поставил себе за правило действовать таким же образом и не обременять себя никакими антиками, сколь бы ни были они восхитительны и прекрасны, ежели ему неизвестно, кому они принадлежали прежде и какое примечательное историческое событие с ними связано. На ларчике же нет ни букв, ни цифр, ни обозначения года, вообще никаких примет, по которым можно было бы догадаться о его прежнем владельце либо о создателе, так что предмет этот ему не нужен и не интересен.

Молодой человек растерялся и, подумав немного, спросил, не разрешат ли ему сдать ларчик на хранение в один из подчиненных дядюшке судов. Дядюшка улыбнулся, обернулся ко мне и сказал: «Вот дело прямо для тебя, Герсилия! У тебя столько украшений и дорогих безделушек — так прибавь к ним еще одну. А я побьюсь об заклад, что друг, к которому ты не осталась равнодушна, когда-нибудь непременно за нею придет».

Мне приходится писать так подробно, чтобы рассказать все, как было, а еще я должна сознаться, что смотрела на

ларчик завистливым оком, испытывая в душе что-то вроде алчности. Мне претила мысль, что драгоценный ларец, самой судьбой посланный красавцу Феликсу, будет стоять вместе с другими закладами в ржавом железном сундуке в судебной палате. Моя рука потянулась к нему, как рудознатская лоза к металлу, но остатки разума заставили меня отдернуть ее; у меня был ключик, но я не имела права это обнаруживать. Что я должна была делать: оставить замочек закрытым и мучиться или же набраться непристойной дерзости и отпереть его? Но тут — не ведаю, что это было, желание или предчувствие — я представила себе, что Вы придете, придете очень скоро, что я вхожу к себе в комнату — а Вы уже там; словом, на душе у меня было так странно, так смутно, как бывает всегда, когда что-нибудь выведет меня из привычного равнодушно-веселого настроения. Больше я ничего не скажу, не напишу, не прошу; ларчик лежит передо мной в сундучке, ключик рядом с ним, и если у Вас есть хоть немного сердца и чувства, то подумайте, каково мне приходится, сколько во мне борется страстей, как я хочу Вас видеть, — и Феликса, конечно, тоже, — чтобы, по крайней мере, наступил конец, чтобы нашлась разгадка этому сцепленью находок, этому соединению разъединенного. И если уж мне не суждено быть избавленной от всего, что не дает мне покоя, то я всей душой желаю, чтобы хоть эта загадка разъяснилась и отпала, пусть даже, как я опасаясь, мне от этого будет еще хуже.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Среди находящихся у нас и подлежащих изданию бумаг имеется шуточный рассказ, который мы без всякого предупреждения включаем сюда, поскольку в дальнейшем обстоятельства, о которых мы повествуем, станут еще серьезнее и для такого рода вольностей места более не отыщется.

Читателю, верно, доставит удовольствие эта повесть в том виде, в каком Святой Христофор преподнес ее в один прекрасный вечер собравшимся вокруг него веселым приятелям.

Опасное пари

Всем известно, что люди, чуть только дела у них заладятся и все пойдет, как им хочется, становятся такими озорниками, что и сами не ведают, какую бы им штуку выки-

нуть. Потому-то и шалопаи-студенты завели привычку во время каникул компаниями шататься по стране и на свой лад устраивать всяческие проделки, далеко не всегда безобидные. Студенческая жизнь свела и связала людей самых разных по происхождению и состоянию, по образованию и уму, но, скитаясь и веселясь вместе, все обходились друг с другом по-товарищески. Часто избирали они в товарищи и меня: я тащил на себе больше груза, чем любой из них, и к тому же они не могли не наградить меня почетным титулом Магистра озорных наук, ибо штуки я выкидывал хоть редко, но метко, чему свидетельством может быть следующий случай.

Странствуя, мы попали в красивую горную деревню, которая привлекла нас тем, что при большой ее отдаленности там была почтовая станция, а при малочисленном населении — несколько хорошеньких девушек. Нам хотелось отдохнуть, убить время, завести шашни, пожить подешевле, а значит, растратить больше денег.

Дело было после обеда, когда одни пали, другие воспряли духом. Одни завалились, чтобы проспаться хмель, другим хотелось как-нибудь повеселей разгулять его. Мы занимали несколько больших комнат во флигеле, окнами во двор. И вот мимо них простучал отличный экипаж, запряженный четверкой. Мы кинулись смотреть. Лакеи спрыгнули с козел и помогли выйти солидному, статному господину, еще очень крепкому на вид, несмотря на годы. Прежде всего мне бросился в глаза его большой, красивой формы нос, и в тот же миг какой-то неведомый злой дух внушил мне сумасбродный замысел, который я, ни на минуту не задумавшись, стал сейчас же приводить в исполнение.

— Каков вам кажется этот господин? — спросил я у компаньонов.

— По всему видать, — отвечал один, — что шуток над собой он не потерпит.

— Да, конечно, — сказал другой, — вид у него эдакого великосветского недотроги.

— И при всем при том, — возразил я беззаботно, — на что мы поспорим, если я возьмусь дернуть его за нос, да так, что ничего мне за это не будет, — какое там, он передо мной еще расшаркается.

— За такое дело, — сказал Буйя, — с каждого из нас тебе причитается по луидору.

— Ну что ж, вам и собирать денежки,— воскликнул я,— возлагаю на вас должность кассира.

— Я бы лучше согласился вырвать волосок из морды у льва! — сказал Малыш.

— Нечего мне терять время,— отозвался я и бегом спустился по лестнице.

Я, как только взглянул на приезжего господина, заметил, что щетина у него изрядно отросла, и заключил, что никто из его лакеев брить не умеет. Встретив трактирного слугу, я спросил:

— Не спрашивал ли приезжий цирюльника?

— Давно уже,— отвечал слуга,— ну просто беда! Камердинер уже два дня, как отстал от барина, барин непременно хочет побриться, а у нас тут всего один цирюльник, да и он бог весть куда отлучился.

— Так доложите ему, что я брадобрей,— отвечал я,— отведите меня к господину, он вам за меня поклонится.

Я взял бритвенный прибор, какой нашелся в доме, и отправился вслед за слугой. Проезжий господин встретил меня с чрезвычайной важностью, оглядел с головы до ног, будто желая заранее определить мое умение физиогномической методой.

— Знаешь ли ты свое дело? — спросил он.

— Скажу, не хвастаясь,— ответил я,— что равного себе покуда не нашел.— Я знал, что говорю: благородным искусством цирюльника я занимался с юных лет и прославился тем, что брил левой рукой.

Комната, в которой проезжий господин занимался своим туалетом, выходила во двор и была расположена так, что приятелям моим легко было в нее заглянуть, особенно при открытых окнах. Все, что положено, было на месте. Мой патрон уселся и позволил повязать себя салфеткой. Я с робким видом приблизился к нему и сказал:

— Ваше превосходительство! Я не раз примечал, когда занимался своим искусством, что людей простых я брею лучше и могу им больше угодить, чем знатым господам. Об этой странности я много размышлял и везде искал причину и наконец обнаружил, что лучше делаю свое дело на вольном воздухе, чем в запертой комнате. Соблаговолите, ваше превосходительство, разрешить мне отворить окошки, результат скажется немедля и к вашему же удовольствию.

Он согласился, я отворил окна, кивнул приятелям и стал деликатно намыливать щетину. Так же легко и проворно

я снял густую поросль с подбородка и со щек, а когда дошел до верхней губы, не преминул ухватить моего покровителя за нос и дернуть в обе стороны, причем сам исхитрился стать таким образом, чтобы мои спорщики, к величайшему своему удовольствию, всё видели и признали, что их сторона проиграла.

Старый господин степенно подошел к зеркалу, видно было, что он созерцает себя не без удовольствия, да он и на самом деле был красавец-мужчина. Потом он взглянул на меня горящими черными глазами, но взглянул дружелюбно, и сказал:

— Ты, любезный, лучше многих твоих собратий, у тебя меньше дурных привычек, и за это я хвалю тебя. Ты не водишь бритвой два-три раза по одному месту, а справляешься за один раз, еще ты не вытираешь бритву о ладонь и не тычешь эту грязь клиенту в нос; а больше всего восхищает меня, как ты ловко орудуешь левой рукой. Вот тебе за труды,— продолжал он, протягивая мне гульден,— но только заметь себе на будущее вот что: людей благородных за нос не хватают. Если ты избавишься от этой мужицкой привычки, то можешь даже преуспеть в свете.

Я низко поклонился ему, наобещал с три короба, просил снова оказать мне честь, если он будет проезжать тут, и со всех ног бросился к приятелям, которые изрядно меня напугали. Дело в том, что они подняли хохот и крик, скакали по комнате как полоумные, хлопали в ладоши, орали, будили спящих и, рассказывая им о случившемся, снова хохотали и бушевали так, что я, едва вбежал в комнату, перво-наперво затворил окна и стал Христом-богом умолять их быть потише,— а потом и сам не удержался и стал хохотать над собственным дурачеством, которое проделал с такой серьезной миной.

Когда неистовый смех понемногу отбушевал, я счел себя счастливецом: золотые лежали у меня в кармане, и в придачу к ним честно заработанный гульден, поэтому я считал себя хорошо экипированным, что было для меня тем более кстати, что компания порешила завтра же разойтись. Однако нам не суждено было расстаться чинно и благопристойно. Сколько я ни просил и ни молил держать язык за зубами хоть до отъезда старого господина, история была слишком забавна, чтобы ее утаить. Один из наших, по кличке Шустрый, завел шашни с хозяйскою дочкой; они отправились гулять вдвоем, и он, как будто больше нечем было ее

позабавить, рассказал ей всю проделку, чтобы вместе с ней всласть посмеяться. На этом дело не кончилось, девица со смехом понесла побасенку дальше, и в конце концов она дошла до старого господина как раз перед тем, как все собрались спать.

Мы сидели тише обычного, так как довольно набесились за день, как вдруг вбежал мальчишка-прислужник, всей душой нам преданный, и заорал:

— Спасайтесь, вас хотят убить!

Мы повскакали с мест и хотели расспросить его подробнее, но он уже выскочил за двери. Я кинулся к ним и задвинул засов; мы уже слышали, как в двери стучат и колотят, нам даже послышалось, что их разносят топором. Машинально мы ретировались во вторую комнату, все потеряли дар речи.

— Нас предали,— закричал я,— теперь сам черт сватил нас за нос!

Буян выхватил шпагу, я еще раз показал свою силу, в одиночку придвинув тяжеленный комод к дверям, которые, по счастью, отворялись внутрь. Тем временем грохот раздавался уже в первой комнате, а в двери с силой колотили.

Буян, судя по всему, решил защищаться, но я снова крикнул и ему, и всем прочим:

— Спасайтесь! Не то нас не только поколотят, но еще и опозорят, а это для человека благородного хуже всего!

В комнату вбежала девушка, та самая, что нас выдала, а теперь была в отчаянье при мысли, что ее милый оказался в смертельной опасности.

— Бегите прочь! — кричала она и хваталась за него. — Бегите прочь! Я проведу вас по чердакам и сеновалам! Идите все, пусть последний уберет за собой лестницу!

Все кинулись через заднюю дверь из комнаты, а я взгромоздил на комод еще и сундук, чтобы подпереть и укрепить створки двери, уже поддававшейся натиску осаждающих. Но мое упорство и упрямство меня погубили.

Когда я кинулся вслед за остальными, лестницу уже подняли на чердак и отняли у меня всякую надежду на спасение. Так и стоял я, истинный виновник преступления, и уже не чаял унести ноги подобру-поздорову. И кто знает,— впрочем, если я сейчас здесь с вами и могу рассказать вам эту историю, то давайте и покинем меня там, стоящим в задумчивости. Послушайте только о том, какие скверные последствия имела эта дерзкая проделка.

Старый господин, глубоко оскорбленный безнаказанным издевательством, принял все так близко к сердцу, что утверждают, будто это происшествие явилось причиной его смерти — не единственной, но немаловажной. Его сын, стремясь напасть на след преступников, прознал, как на грех, что в деле участвовал Буян; удостоверившись в этом много лет спустя, он послал ему вызов, и рана, изуродовавшая этого красавца, потом всю жизнь ему досаждала. Его противнику поединок, из-за сцепления случайных обстоятельств, также испортил несколько лет жизни.

Но коль скоро любая басня должна быть назидательна, то насчет этой, я думаю, вам всем ясно и понятно, что она имеет в виду.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Наступил знаменательный день — срок первого шага ко всеобщему переселению, срок, когда должно было решиться, кто отправится в широкий мир и кто останется пытать счастье здесь, на суше старого континента.

Все улицы приветливого городка оглашались бодрими звуками песни, люди стекались плотными толпами, члены товарищества собирались по ремеслам и, распевая в унисон, входили в залу по порядку, определенному жребием.

Начальствующие — под этим словом мы разумеем Ленардо, Фридриха и управителя — уже собирались войти следом и занять положенное им место, когда неожиданно подошедший человек, чей вид сразу же располагал к нему, попросил у них разрешения присутствовать на собрании. Он держал себя столь вежливо, предупредительно и дружелюбно, а его импозантная внешность, обличавшая в нем либо военного, либо придворного, во всяком случае, человека светского, производила такое приятное впечатление, что разрешение ему было дано. Новоприбывший вошел вместе с остальными, занял предложенное ему почетное место, все уселись, кроме Ленардо, который начал такую речь:

— Друзья! Если мы окинем взглядом самые обжитые области и царства нашего материка, то увидим, что повсюду, где только попадается клочок годной для обитания почвы, она возделана, засеяна, вымерена, улучшена, на нее зарятся — и в той же мере ее обороняют и укрепляют те, кто захватил ее во владение. Это и заставляет нас верить в вы-

сочайшую ценность земельной собственности, вынуждает видеть в ней самое лучшее, что может достаться человеку. Всмотревшись глубже, мы обнаруживаем, что взаимная любовь детей и родителей, сплоченность односельчан и сограждан, вообще любое патриотическое чувство зиждется на ощущении родной почвы, и от этого присвоение земельных пространств, больших или малых, и утверждение нашей власти над ними представляется нам делом особенно важным и почетным. Да, такова воля природы! Привычка прикрепляет человека к тому клочку земли, на котором он родился, и так возникает прекраснейшая из всех связей. Кто осмелится посягнуть на эту основу земного существования, отрицать ценность и важность этого неповторимого дара небес?

И все же мы вправе сказать: как ни ценно то, чем владеет человек, но то, что он делает и создает, должно ценить еще выше. И если мы охватим взором все и вся, то владение землей окажется лишь малой частью дарованных нам благ, наибольшую же часть этих благ, и притом высших, составляет то, что именуется движимостью и приобретает как плод жизни подвижной.

Не упускать все это из виду должны более всех мы, молодые, ибо даже если бы мы унаследовали от отцов охоту жить неподвижно и оседло, все же тысячи разных обстоятельств требовали бы от нас не закрывать глаз и глядеть вдаль и вширь. Так поспешим на берег моря, чтобы воочию убедиться в безграничности просторов, открытых для нашей деятельности, и признаемся, что одна мысль о них будит в нас совсем особые чувства.

Но не будем блуждать взглядом в этой беспредельности, а пристальней устремим его на те страны, где сплошь простираются вдаль и вширь огромные пространства суши. Мы увидим, как по широким просторам бродят кочевники, чьи города подвижны и чье живое владенье и пропитанье — скот — можно гнать куда угодно. Мы увидим их на зеленющих среди пустыни пастбищах, где они лишь встают на якорь, словно суда в желанной гавани. Движение и странствие для них — привычка и потребность, в конце концов весь мир представляется им сплошной равниной, не перегородженной горами и не пересеченной реками. Ведь мы уже видели, как северо-восток двинулся на юго-запад, один народ гнал перед собою другой, явились новые владельцы царств и владельцы земли.

В долгом кругообороте мировой истории такое движение из перенаселенных краев произойдет еще не однажды. Трудно сказать, чего нам ждать от чужеземцев,— удивительно то, что внутри наших стран мы из-за их перенаселенности тесним друг друга и, не дожидаясь, пока нас изгонят другие, собственным приговором отправляем друг друга в изгнание.

Здесь и сейчас должны мы, позабыв недовольство и досаду, дать волю живущей в нас подвижности и не подавлять нетерпеливую охоту к перемене мест. Совершим же то, о чем мы мечтаем и что ставим себе целью, но не по принуждению и не под действием страсти, а по разумному убеждению.

Много раз говорили и твердили: «Где мне хорошо, там и родина». Но это утешительное изречение было бы еще лучше, ежели бы гласило так: «Где я принесу пользу, там и родина». Дома человек может быть бесполезен незаметно для себя и для всех, а выйдя в мир, он немедля обнаружит свою бесполезность. Если я говорю: «Пусть каждый стремится повсюду приносить пользу себе и другим»,— это не назидание и не совет, это правило, установленное жизнью.

Окинем же взглядом земной шар; оставим прежде всего без внимания моря, не дадим увлечь себя снующим по ним кораблям, приглядимся к суше и подивимся муравьиному племени, что в таком множестве снует и кишит по ней. Начало этому положил сам господь бог, помешав вавилонскому столпотворению и рассеяв по свету род людской. Восславим же его за то, что это благословение перешло и на новые поколенья.

Приметим с ликующим сердцем, как все, что молодо, немедля движется в путь. Хотя никому не заповедано учиться дома или по соседству, молодежь тотчас же устремляется в те города и страны, куда кличет ее зов знания и мудрости; наскоро получив хоть какое-то образование, она чувствует неодолимую тягу шире обозреть мир, поискать, нельзя ли ради своей цели набраться там или тут полезного опыта. Что же, пусть пытается счастья! А мы сейчас помянем людей зрелых и замечательных — тех благородных естествоиспытателей, которые заведомо идут навстречу трудностям и опасностям, чтобы открыть миру мир, чтобы проложить тропы через непроходимое бездорожье.

А теперь взглянем на большие дороги: какие облака пыли вздымаются на них, отмечая путь удобных перегруженных карет, в которых катят богачи, знать и прочие особы,

чьи думы и помыслы с такой тонкостью растолковал пам Йорик.

Пусть без досады смотрит им вслед бравый ремесленник, бредущий пешком: родина обязала его набраться сноровки на стороне и не возвращаться к родному очагу, покуда это ему не удастся. Но еще чаще мы встретим на дорогах купцов и торговцев; даже лавочник не преминет иногда покинуть тесноту своей лавки и отправиться на торг или ярмарку, чтобы уподобиться крупному купцу и урвать свою малую долю барыша из беспредельного оборота. Но еще беспокойней толпа тех, кто в одиночку сует верхом по большим и малым дорогам, притязая залезть к нам в кошелек даже вопреки нашей воле. Образцы всяческих товаров и перечни цен преследуют нас в городе и в деревне, и куда бы мы ни скрылись, они деловито застигают нас врасплох и предлагают такие оказии, каких никто бы не подумал искать сам. А что мне сказать о том народе, который прежде всех остальных присвоил себе благодать вечного странствования, которому деятельная подвижность помогает перехитрить живущих оседло и перегнать странствующих рядом? Мы не вправе сказать о них ни хорошего, ни дурного: хорошего — потому, что наше Общество их остерегается, дурного — потому, что странник обязан дружелюбно относиться к каждому встречному, помня, что так лучше для обоих.

Но прежде всего мы должны с чувством сердечного участия вспомнить художников, ибо и они вовлечены в мировое движение. Разве не странствует от ландшафта к ландшафту живописец, неразлучный с мольбертом и палитрой, разве не призывают его товарищей по искусству то туда, то сюда, потому что везде надобно строить и ваять? Еще легче на подъеме музыкант, ибо кто, как не он, должен заново поражать все новых слушателей, волновать не знавшее таких волнений чувство. Актеры, хотя и презревшие Феспидову повозку, попрежнему бродят маленькими хорами, в любом месте мгновенно возводя свой передвижной мирок. Они и поодиночке охотно кочуют с места на место, зачастую теряя важные и выгодные связи, побуждаемые растущими вместе с талантом потребностями. А обычной подготовкой к этому им служат выступления на всех без изъятия крупных сценах родной страны.

После них нам положено взглянуть и на ученое сословие, которое мы тоже видим в непрестанном движении: посещая с кафедры на кафедру, оно щедро разбрасывает во

все стороны семена скороспелого просвещения. Еще ревностнее и еще дальше странствуют те благочестивые души, которые направляются во все части света, дабы принести спасение язычникам. Другие, напротив, становятся странниками ради спасения собственной души; целыми толпами тянутся они к чудотворным святыням, чая воспринять там то, в чем было отказано их сердцу дома.

Если мы ничуть не удивляемся всем названным мною, ибо сама их деятельность была бы немислима без странствий, то уж от тех, кто отдает свой усердный труд земле, мы вправе были бы ждать привязанности к ней. Ничуть не бывало! Ведь возможно и пользование без владенья, и мы видим, как ревностный земледелец покидает арендованный участок, который много лет приносил ему радость и доход, и нетерпеливо ищет — близко ли, далеко ли — равного или большего дохода. Даже и собственник покидает впервые поднятую им новь, возделав ее настолько, что она может приглянуться менее умелому хозяину, и опять вторгается в пустыню, расчищает среди дебрей участок вдвое и втрое больше прежнего, чтобы вознаграить себя за потраченный там труд, а сам, быть может, и не помышляет навсегда остаться на новом месте.

Но пусть он борется себе с медведями и прочим зверьем, — оставим его и вернемся в цивилизованные страны: мы найдем и в них не больше оседлости. Поглядим на любую обширную и благоустроенную державу: там человек, чем он способнее, тем должен быть легче на подъем; по манию государя, по распоряжению государственного совета любой, кто годен для дела, перебрасывается с места на место. И к нему тоже относится наш призыв: «Старайтесь всюду приносить пользу — и вы повсюду будете дома!» Но вот когда мы видим, как против воли покидают свои высокие посты важные чиновники, тогда у нас есть причина пожалеть их, так как мы не можем считать их ни переселенцами — потому что они лишаются завидного положения и не имеют взамен даже мнимых видов на лучшее будущее, — ни странниками — потому что редко кому из них дано принести пользу на новом месте.

К странничеству особого рода призван солдат, — даже в мирное время ему приказывают стоять то тут, то там, он должен быть всегда готов двинуться в дальний или близкий путь, чтобы сражаться за отчизну, и не только ради того, чтобы спасти ее сей миг; нет, по умыслу народов и их пове-

лителей, он направляет шаг в любую часть света, и только немногим удается осесть где-нибудь навсегда. А поскольку из всех качеств солдата превыше всего ставится храбрость, которую полагают всегда неразрывно связанной с верностью, то мы видим, как некоторые народы, прославленные постоянством и преданностью, призываются служить телохранителями у владетельных особ, духовных и светских.

Особый разряд легких на подъем людей видим мы в тех незаменимых для каждого государства должностных лицах, которые посылаются одним двором к другому, берут в осаду государей и министров и опутывают невидимыми нитями всю вселенную. Для них тоже не бывает постоянных мест, в мирное время самых дельных из них ежеминутно посылают с одного конца света на другой, в военное они плетутся вслед за побеждающей армией, а разбитой подготавливают путь отступления, и переезд с места на место никогда не застает их врасплох, ради чего они постоянно имеют при себе запас прощальных визитных карточек.

Если и до сих пор мы на каждом шагу воздавали себе честь, объявляя своими спутниками и товарищами по судьбе деятельных людей в наибольшей и наилучшей их части, то под конец, дорогие друзья, вас ожидает высшая милость — право считаться братьями императоров, королей и прочих монархов. В начале помянем и благословим странника в сане императора — Адриана, который во главе войск прошел из края в край подвластную ему вселенную и лишь через это вступил в полное владение ею. Помянем с трепетом завоевателей, этих странников в доспехах, которым невозможно было сопротивляться, от которых ни стены, ни бастионы не могли оборонить мирные народы. Наконец, проводим полным искреннего сожаления взглядом несчастных монархов-изгнанников, которые, пав с высот прежнего величия, даже не могут быть приняты в скромный цех деятельных странников.

И вот когда мы напомним и разъясним все это друг другу, над нами станут не властны ни стесненное уныние, ни тоскливый мрак. Прошли те времена, когда в широкий мир бросались наудачу: стараниями объездивших мир ученых, мудро его описавших и живописно изобразивших, мы знакомы с каждым краем и можем примерно знать, что нас там ожидает.

Но одному человеку полная ясность недоступна. Наше товарищество затем и основано, чтобы каждый в свою меру

и в соответствии со своей целью получил должные объяснения. Если кто-нибудь задумывается о стране, куда направлены его желания, то мы стараемся во всех подробностях представить ему то, что смутным целым маячило в его воображении; к тому же нельзя провести время с большей приятностью и пользой, чем давая друг другу возможность обозреть обитаемый и годный для обитания мир.

Вот в каком смысле мы и вправе считать себя включенными в некий всемирный союз. Прост и велик замысел, разум и сила делают легким его исполнение. Единенье всемогуще, потому между нами ни раскола, ни раздора. Те основные правила, что у нас есть, приняты всеми. Мы говорим: пусть человек научится в мыслях не соотносить себя постоянно с внешним миром, пусть ищет причины и следствия не в обстоятельствах, а в себе самом — там он найдет их связь и с любовью взлелеет. Он воспитает себя и приучит к мысли, что для него везде дом. Кто посвящает себя самому необходимому, тот везде самым верным путем придет к цели, между тем как другие, ищущие более высокого и тонкого, должны быть осторожны уже при выборе пути. Но за что бы человек ни взялся и ни принялся, в одиночку ему не хватит сил: жить в обществе — высшая потребность всякого, кто на что-то годен. Такие люди должны быть связаны друг с другом, — так желающий строить ищет архитектора, а тот — каменщиков и плотников.

Всем известно, как заключен и на чем зиждется наш союз; в нашем товариществе мы не видим таких, кто не мог бы во всякий миг посвятить свой труд полезной цели и не был бы уверен, что везде, куда бы ни привели его случай, сердечное влечение и даже страсть, он будет хорошо рекомендован и принят, найдет поддержку, а при каком-нибудь несчастном происшествии — также возможную помощь и лечение.

Зато мы приняли на себя два строжайших обязательства: чтить все виды богослужения, ибо все они, в большей или меньшей мере, объемлются символом веры; далее, считать одинаково законными любые формы правления и, поскольку каждое правительство требует целесообразного труда и поощряет его, работать по его воле и желанию, какой бы срок мы ни оставались под его властью. Наконец, мы считаем своей обязанностью соблюдать законы нравственности, хотя и без педантической строгости, как того требует уважение к самим себе, приистекающее из трех видов благоговейного

страха, каковые мы все исповедуем, ибо все имеем счастье быть посвященными — а некоторые даже с юности — в эту высокую и всеобъемлющую мудрость. В торжественный час расставания мы должны еще раз все это обдумать, объяснить, услышать и сознать — и, наконец, запечатлеть дружеским прощальным приветом.

В землю ты не врос корнями!
В путь-дорогу! В добрый час!
Если ум и сила с нами,
Будет всюду кров для нас.
Лишь бы только солнце грело,
А о прочем нет тревог.
Мы кочуем без предела,—
Для того и мир широк!

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Под звуки заключительного хора большая часть присутствующих быстро встала с мест и, построившись попарно, вышла из зала, оглашая шумом все окрест. Ленардо, усевшись, спросил гостя, собирается ли он сейчас сказать то, ради чего прибыл, или же ему нужно особое заседание. Приезжий встал, поклонился присутствующим и начал такую речь:

— Здесь, на таком вот собрании, я и хочу объясниться без всяких околичностей. Все, кто не двинулся с места,— а судя по виду, это люди честные и дельные,— тем самым ясно выразили свое желание и намеренье не порывать с родною почвой и впредь. Их-то я и приветствую с особым радушием, ибо должен объявить, что всем, сколько ни есть их в этой зале, я могу предложить работу на много лет. Но я желал бы вскорости снова встретиться с вами, потому что считаю необходимым приватно изложить мои обстоятельства достопочтенным руководителям, до сих пор сплывавшим воедино присутствующих здесь добрых людей, и удостоверить их в моих полномочиях. А сразу после этого мне надобно будет подробно побеседовать с остающимися, чтобы я знал, какими трудами собираются они ответить на мое солидное предложение.

В ответ Ленардо выразил желание, чтобы им дали некоторый срок для улаживанья неотложных дел, а когда срок

этот был определен, вся толпа остающихся чинно встала с мест и так же парами удалилась из залы, негромко и приятно распевая песню.

Одоард тотчас же предъявил обоим оставшимся руководителям свои бумаги и поведал им о своих намереньях и планах. Но в дальнейшей беседе со столь превосходными людьми, давая им отчет о своем предприятии, он не мог не упомянуть и о тех чисто человеческих причинах, из которых оно возникло.

Из-за этого дальнейший разговор сплошь состоял из взаимных объяснений и признаний, в которых собеседники открывали друг другу глубочайшие сердечные тайны. Не разлучались до глубокой ночи и все дальше и безысходнее забивались в лабиринт человеческих умонастроений и судеб. Одоард чувствовал, что его побуждают дать отчет о помыслах его ума и чувствах его сердца, но делал он это постепенно и отрывочно, почему и до нас дошли неполные и неудовлетворительные сведения об этом разговоре. И все же мы должны быть благодарны Фридрихову счастливому дару все схватывать и закреплять на бумаге, ибо он позволил нам представить себе некоторые любопытные сцены и пролил свет на жизненные обстоятельства превосходного человека, который начинает занимать наше любопытство, пусть даже мы находим всего лишь намеки на то, что впредь, быть может, будет рассказано более подробно и связно.

Не заходи далеко!

Пробило десять вечера, к назначенному часу все было готово: в увешанной гирляндами маленькой зале был красиво накрыт на четыре персоны широкий стол, уставленный лакомствами и сладостями вперемежку с цветами и яркими канделябрами. Как радовались десерту дети, которым также разрешено было сесть за стол! Покуда же они на дыпочках бродили вокруг стола в праздничных нарядах и в масках, а так как детей нельзя изуродовать, то они и так были прелестны, словно два эльфа-близнеца. Отец подозвал их, и они почти без подсказки весьма мило произнесли торжественный диалог, сочиненный ко дню рождения их матушки.

Время шло, старуха не могла удержаться и каждые четверть часа подогревала нетерпенье нашего друга, сообщая ему, что лампы на лестнице вот-вот погаснут, что она боится, как бы любимые лакомства виновницы торжества не пе-

рестоялись. От скуки дети распались, от нетерпения стали и вовсе несносны. Отец сдерживался, но обычное спокойствие не желало к нему возвращаться; он жадно прислушивался к стуку экипажей,— они проезжали мимо, и в нем шевелилась невольная досада. Чтобы скоротать время, он потребовал от детей еще одной репетиции, но им так надоело ждать, что они стали невнимательны, рассеянны и неловки, говорили деланными голосами, жестикулировали неестественно, переигрывали, как ничего в душе не чувствующие актеры. Добрый супруг с каждым мгновением мучился все больше. Пробыло пол-одиннадцатого, живописать дальнейшее мы предоставляем ему самому.

«Миновал одиннадцатый час, мое нетерпение перешло в отчаяние; надежды больше не было, оставался один страх. То я опасался, что она войдет и с обычной своей грациозной небрежностью извинится, уверяя, что очень устала, и всем своим поведением упрекая меня за то, что я ограничиваю ее в удовольствиях. Все во мне переворачивалось, многое из того, что я годами сносил терпеливо, теперь вернулось и тяжким грузом легло мне на душу. Я начинал ненавидеть ее, я не мог придумать, как мне вести себя с нею при встрече. Детки, разубранные как ангелы, мирно спали на диване. Земля горела у меня под ногами, я не помнил и не понимал себя, мне оставалось только бежать, чтобы хоть как-то перемочь наступающие мгновения. И вот я, как был, в легком праздничном платье, бросился к выходу. Не помню, что пробормотал я старухе, какой придумал предлог. Она сунула мне в руки плащ, и я оказался на улице в таком состоянии, в каком не бывал уже долгие годы. Словно потерявший голову от страсти юнец, я стал носиться из переулка в переулок. Тут было где дать выход досаде, но холодный, сырой ветер своим суровым дуновением изрядно остудил ее».

Как нетрудно усмотреть из приведенного места, мы присвоили себе права эпического поэта и ввели благосклонного читателя в самую гущу бушующих страстью событий. Мы застаем человека высокого ранга среди домашних неурядиц, не узнав никаких подробностей о нем; поэтому, чтобы хоть отчасти уяснить себе причину такого его состояния, мы присоединимся к старушке и послушаем, что она в замешательстве и в волнении бормочет себе под нос или громко восклицает.

«Так я и думала, так и говорила заранее; ведь я не щадила хозяйку, я ее предупреждала, но это выше ее сил.

Хозяин целый день или в присутствии, или в городе, или в разъездах по делам, а как вернется вечером усталый, дома или никого, или целое общество, а оно ему и вовсе не нужно. И никак она от этого не отстанет! Если не видит вокруг себя людей, мужчин, если не разъезжает туда-сюда и не переодевается десять раз на дню, ей как будто и дышать нечем. Нынче ее день рождения, а она с утра укатила за город. Ну ладно, мы тут все устраиваем честь по чести, она дает слово ровно в девять быть дома, у нас все готово. Хозяин слушает стишок, что детки наизусть заучили, я их приодела; лампы-свечи горят, всего наварено-нажарено, а ее нет. Хозяин — а уж он умеет владеть собой! — старается спрятать нетерпение, да оно прорвалось. Вот он и бежит из дому в такую тьму! Почему бежит, понятно, но вот куда? Я ей прямо и честно говорила: уж будет у нее соперница! Покуда я ничего за хозяином не замечала, хотя одна красotka давно уже к нему подбивается да увивается вокруг. Бог знает, как он устоял до сих пор. А теперь вот оно и случилось: барин за все свое добро и старанья никакой благодарности не видит, с отчаянья ночью бежит из дому, — значит, пиши пропало. Сколько раз я ей говорила, чтобы она не заходила слишком далеко!»

А теперь отыщем нашего друга и послушаем его самого.

«В лучшей здешней гостинице я увидел свет в нижнем окошке и постучался в него, а когда высунулся слуга, я спросил его, благо мой голос был ему знаком: не прибыл ли кто из приезжих и не известил ли о прибытии? Он отворил мне ворота, на оба вопроса ответил отрицательно и попросил меня войти. В моем положении я счел за лучшее держаться своей сказки и спросил у него комнату, которую он мне тотчас же и отвел на верхнем этаже, потому что нижний, как он полагал, следует оставить для ожидаемых приезжих. Он поспешил туда кое о чем распорядиться, я ему не мешал и только поручился, что счет будет оплачен. Покамест все сходило мне с рук; но мои муки опять вернулись ко мне: я воображал себе все, что было, то преувеличивая, то смягчая, я бранил самого себя и пытался овладеть собой, смирить досаду. Лишь бы только завтра все пошло обычным чередом! Я уже представлял себе завтрашний день таким же, как все прочие, но потом раздражение снова прорывалось и брало надо мною верх, я никогда бы не подумал, что могу быть так несчастен».

Наши читатели, без сомнения, уже прониклись участием к благородному человеку, которого мы застигли в таком смятении по ничтожному на первый взгляд поводу, и поэтому хотят поближе узнать все его обстоятельства. Мы воспользуемся для этого перерывом в череде ночных происшествий, во время которого сам он продолжает безмолвно метаться по комнате.

Так познакомимся с Одоардом — отпрыском старинного рода, унаследовавшим от многих поколений своих предков благороднейшие душевные качества. Воспитание в военной школе придало ему то проворное изящество манер, которое, сочетаясь со многими достоинствами ума и сердца, делало его обхождение особенно приятным. Недолгая служба при дворе научила его хорошо разбираться во всех внешних обстоятельствах жизни высокопоставленных особ, а когда, быстро заслужив их благосклонность, он был прикомандирован к посольской миссии и так получил возможность увидеть мир и узнать дворы других государей, в нем незамедлительно обнаружилась трезвость взгляда, счастливая способность в точности запоминать все случившееся и прежде всего готовность брать на себя любые поручения. Легкость, с какой он изъяснялся на нескольких языках, и непринужденная без навязчивости манера держать себя способствовали его быстрой карьере; во всех дипломатических поручениях ему сопутствовала удача, так как он быстро завоевывал людскую благосклонность, и такое преимущество позволяло ему умело сглаживать недоразумения, а способность по справедливости взвешивать наличные причины помогала действовать всегда к удовольствию обеих сторон.

Первый министр вознамерился сделать столь превосходного человека своей креатурой и отдал за него дочь, девицу, наделенную, сверх красоты и живого нрава, всеми потребными в высшем свете добродетелями. Но всегда благополучное течение жизни наталкивается однажды на преграждающую плотину; так случилось и с Одоардом. При княжеском дворе воспитывалась как приемная дочь принцесса Софрония — последний отпрыск своей ветви рода; хотя и страна и подданные давно уже отошли к ее дяде, но ни ее богатства, ни ее притязания никак нельзя было сбрасывать со счета, по каковой причине, желая избежать далеко идущих разногласий, Софронию прочили замуж за наследного принца, бывшего намного младше нее.

Одоарда заподозрили в сердечной склонности к ней, сочтя, что он слишком пламенно воспел ее в одном из своих стихотворений под именем Авроры; к этому присовокупилась неосторожность с ее стороны: на подтрунивание подруг она с присущей ей прямою характера резко ответила, что, мол, пужно быть слепой, чтобы не видеть стольких достоинств.

Вследствие женитьбы Одоарда это подозрение заглохло, но противники не давали ему угаснуть совсем и при случае вновь его раздували.

Хотя в стране избегали касаться вопросов государственной власти и престолонаследия, все же речь о них иногда заходила. Если не сам князь, то его мудрые советники считали, что полезнее всего с этим делом потянуть, между тем как негласные приверженцы принцессы желали бы, чтобы с ним скорее было покончено и благородной даме предоставлена ббльшая свобода, тем более что престарелый король соседней державы, родственник и покровитель Софронии, был еще жив и при случае выказывал готовность по-отечески вмешаться.

Одоарда заподозрили в том, что он, участвуя в посольстве, отправленном туда лишь во исполнение этикета, вновь возбудил этот вопрос, решение которого намеренно затягивали. Противники воспользовались случаем, и тестю, которого он убедил в своей невинности, пришлось пустить в ход все свое влияние, чтобы добиться для него должности-наместника в одной из дальних провинций. Там Одоард почувствовал себя счастливым, ибо мог сделать много необходимого, полезного, доброго, прекрасного и великого, причем сделать на века и не жертвовать при этом собой, между тем как в условиях придворной жизни люди порой губят себя, занимаясь вопреки убеждению вещами преходящими.

Не то чувствовала его супруга, не мыслившая себе жизни вне большого света и лишь долго спустя поневоле поехавшая вслед за мужем. Он угождал ей чем мог и старался всеми подручными средствами возместить ей прежнее блаженство, поощряя летом — загородные поездки, зимой — любительские спектакли, балы и прочие любимые ею затеи.

Одоард терпел даже друга дома, иностранца, который с недавних пор втерся к ним, хотя вовсе ему не нравился, ибо пронизательный взгляд Одоарда усматривал в нем некоторую неискренность.

И вот в эти опасные минуты многое из рассказанного нами прошло перед его внутренним взором, то смутно и туманно, то ясно и отчетливо. Но довольно! Конфиденциально поведав читателю то, что сберегла для нас превосходная память Фридриха, вернемся к Одоарду, который по-прежнему мечется по комнате, жестами и восклицаниями обнаруживая, какая борьба происходит у него в душе.

«Обуреваемый такими мыслями, я метался по комнате; слуга принес мне чашку бульона, в чем я весьма нуждался, ибо, занятый приготовлениями к празднику, не съел ни крошки, а изысканный ужин остался дома нетронутым. В эту минуту с улицы слышались приятные звуки почтового рожка. «Это с гор»,— сказал слуга. Мы подбежали к окнам и увидели барскую карету с двумя горящими фонарями по бокам, запряженную четверкой и тяжело нагруженную. Лакеи соскочили с козел. «Это они!»— воскликнул слуга и поспешил вон. Я удержал его и строго-настрого наказал не говорить, что я здесь, и не выдавать, что комнаты заказаны; он пообещал мне и убежал.

За разговором я упустил поглядеть, кто вышел из кареты; мною вновь овладело нетерпение, мне казалось, будто слуга слишком долго медлит сообщить мне о прибывших. Наконец я узнал от него, что это две дамы, одна пожилая и почтенная на вид, одна помоложе, невероятной красоты, и при них горничная, да такая, что лучше не сыщешь. «Она было начала приказывать,— говорил слуга,— потом хотела ко мне подольститься, а когда я за ней приударил, стала насмешничать,— видно, такая бойкость у нее от природы. Я сразу заметил, как они удивились, что я начеку, а в доме все готово к приему: в комнатах свет, камин затоплен, так что можно расположиться с удобством, в зале ждет холодный ужин, а когда я им предложил бульону, они остались и совсем довольны».

И вот дамы сели за стол; пожилая не ела почти ничего, красавица вовсе не ела, зато горничная, которую они называли Люси, ужинала в свое удовольствие, расхваливая при этом гостиницу и наслаждаясь ярким блеском свеч, тонкостью столового белья, фарфора и всей сервировки. Она уже успела отогреться у пылающего камина и, когда снова вошел слуга, стала спрашивать, всегда ли у них все готово к приему, даже если постояльцы нагрянут в любой час дня и ночи. Хотя слуга был хитрый малый, но сейчас он вел себя в точности как дети, которые хоть и не выдают секре-

та, но не могут скрыть, что какой-то секрет им доверили. Сперва он отвечал уклончиво, потом — ближе к правде, а в конце концов, загнанный в тупик неуемной служанкой, дожимавшей его все новыми расспросами, сознался, что тут был слуга, нет, приходил один господин, он ушел, он потом вернулся; в конечном итоге у служителя выпытали, что господин находится наверху и в беспокойстве расхаживает взад-вперед. Молодая дама вскочила с места, остальные за нею; красавица поспешно высказала предположение, что господин, должно быть, стар, но слуга стал уверять, что он, напротив того, молод. Дамы усомнились в его словах, он заверил их, что говорит правду. Дамы пришли в еще большее замешательство и волнение. Красавица уверяла, что это дядюшка, старшая дама возражала, что такие вещи не в его привычках. Но младшая упрямо настаивала на том, что никто, кроме него, не мог знать об их прибытии сюда в этот час. Слуга клялся и божился, что господин наверху молод, крепок и хорош собой. Люси давала голову на отсечение, что это дядюшка: слуга большой плут, ему нельзя верить, он уже целых полчаса путается в противоречиях.

В конечном итоге слуге пришлось пойти наверх, чтобы передать господину настоятельную просьбу поскорее спуститься, а не то и пригрозить, что дамы сами поднимутся поблагодарить его.

— Они совсем переполошились,— говорил слуга,— не понимаю, почему вы мешкаете им показаться; они вас принимают за старого дядюшку, которого им не терпится обнять. Прошу вас, сойдите вниз. Разве вы не их ждали? Что за прихоть отказываться от такого приятного приключения? Право, дамы вполне благопристойные, а на красотку стоит посмотреть! Пойдемте скорее вниз, не то они сами ворвутся к вам в комнату!

Страсть порождает страсть. В том волнении, в каком он пребывал, Одоард томился по чему-нибудь новому, неизвестному. Он спустился вниз в надежде шутливо объясниться с приезжими дамами, все им разъяснить и отвлечься, узнав чужие обстоятельства, но на душе у него было так, словно ему предстояло вернуться к обстоятельствам знакомым и полным значения. И вот он стоял у дверей; дамы, которым слышалась походка дядюшки, поспешили ему навстречу, он вошел. Что за встреча! Какое зрелище! Красавица с криком бросилась в объятия пожилой дамы, наш друг, тотчас же узнавший их, отшатнулся, потом безудержный порыв бро-

сил его к ногам красавицы, он схватил ее руку, но тотчас отпустил, запечатлев только смиренный поцелуй. Звуки имени «Ав-ро-ра!» замерли у него на губах.

Если теперь мы обратимся взглядом к дому нашего друга, то обнаружим, что дела там идут весьма странным образом. Старушка знать не знала, что ей делать. Ламп в прихожей и на лестнице она не загасила, но сняла с огня кушанья, многие из которых были безвозвратно погублены. Горничная оставалась подле уснувших деток и присматривала за свечами в комнате, выказывая столько же спокойствия и терпения, сколько сновавшая взад-вперед старуха — раздражения и досады.

Наконец подкатил экипаж, и дама, выйдя из него, узнала, что супруга ее несколько часов назад вызвали из дому. Поднимаясь по лестнице, она, судя по всему, даже не заметила праздничного освещения. От лакеев старуха узнала о том, что по дороге вышла неприятность, экипаж опрокинулся в канаву, и обо всем, что случилось далее.

Дама вошла в комнату.

— Что это за маскарад? — спросила она, указывая на детей.

— Коли бы вы вернулись на несколько часов раньше, — отвечала горничная, — вы бы на них нарадоваться не могли.

Разбуженные дети вскочили и, увидев перед собою мать, стали читать ей то, что заучили наизусть. Смущение было обоюдным, но некоторое время дело кое-как шло, потом, без ободрения и подсказки, малютки стали запинаться и наконец совсем смолкли, после чего их с поцелуем отослали спать. Дама, оставшись одна, бросилась на диван и заплакала горькими слезами.

Но теперь приспела необходимость сообщить подробнее и о самой даме, и о печально завершившемся загородном празднестве. Альбертина принадлежала к тем особам женского пола, с которыми наедине не о чем разговаривать, зато очень приятно встречаться в большом обществе, которое они призваны украшать и быть бродилом во всякий миг, когда оживленье гаснет. Их привлекательность такова, что может проявиться и беспрепятственно обнаружить себя, лишь когда вокруг довольно простора; чтобы производить впечатление, им требуется публика, им нужна стихия, которая несла бы их и вынуждала быть привлекательными, а с отдельными людьми они даже не знают, как себя держать.

Друг дома только тем и приобрел и сохранял за собой ее благосклонность, что умел затевать то одно, то другое и постоянно находить занятия для не слишком большого, но веселого кружка. При распределении ролей он избрал себе амплу благородного отца, но благопристойностью манер и стариковской рассудительностью обеспечил себе преимущество перед более молодыми первыми, вторыми и третьими любовниками.

Флорина, владевшая поблизости большим родовым имением, была многим обязана Одоарду, чьи улучшения в хозяйстве края случайно, но весьма удачно для нее пошли на пользу ее поместью и сулили впредь во много раз увеличить доходы. Зимой она жила в городе, но летом перебиралась в деревню, и ее усадьба делалась местом многих светских увеселений, причем с особой неукоснительностью справлялись дни рожденья, дававшие повод к разнообразнейшим празднествам.

Флорина была жизнерадостна и задорна, казалось, она ни к кому не питает привязанности и ни от кого ее не требует, так как в ней не нуждается. Страстная любительница танцевать, она ценила мужчин лишь по их умению двигаться в такт музыки; в обществе не зная устали, она считала невыносимым любого, кто хоть на мгновение устремлял взгляд вдаль и принимал задумчивый вид. Впрочем же, будучи весьма мила в ролях разбитных возлюбленных, без которых не обходится ни одна пьеса и ни одна опера, она по этой причине никогда не соперничала с Альбертиной, выступавшей на амплу скромниц.

Чтобы отпраздновать в избранном обществе наступающий день рождения, было приглашено лучшее общество из города и соседних поместий. Танцы, начавшись после завтрака, продолжались и после обеда, веселье никак не кончалось, выехали поздно, и, когда ночь застигла их посреди дороги, тем более скверной, что недавно ее исправляли, карета, нежданно-негаданно для ехавших в ней, по оплошности кучера свалилась в канаву. Наша красотка, Флорина и друг дома переплелись в клубок и чувствовали себя весьма худо. Первым сумел выбраться друг дома и, склонившись над каретой, стал кричать: «Флорина, где ты?» Альбертине казалось, что все это сон; но друг дома сунул руки внутрь кареты и вытащил Флорину, в обмороке лежавшую на подруге; потом он стал хлопотать над нею и наконец, выбравшись на дорогу, понес на руках. Альбертина все еще была заперта в ка-

рете, ей помогли выбраться кучер и лакей, и она попыталась идти, опираясь на руку одного из них. Дорога была скверная и непригодная для бальных туфель, она на каждом шагу спотыкалась, хотя малый и поддерживал ее. Но в душе у нее было еще темней, еще пустыней. Она не понимала, не сознавала, что с нею стряслось.

Только дойдя до гостиницы и увидев Лелио, вместе с хозяйкою хлопчущего над простертой на кровати Флориной, она удостоверилась в своем несчастье. Во мгновение ока обнаружилась тайная связь между неверным другом и предательницей-подругой, ей пришлось увидеть, как Флорина, едва подняв веки, бросилась другу на шею, блаженно ощущая, что вместе с жизнью ей возвращена и любимая ее собственность, как черные ее глаза опять заблестели, свежий румянец вмиг украсил побледневшие щеки и вся она помолодела, похорошела, стала еще соблазнительней.

Альбертина стояла одна, потупившись, не замечаемая ими; потом они опомнились, овладели собой, но беда уже случилась; и когда им, предателям и жертве предательства, пришлось всем вместе сесть в карету, то даже в аду не могли бы оказаться заперты в столь тесном пространстве так ненавидящие друг друга души.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Несколько дней Ленардо и Одоард трудились не покладая рук: один должен был обеспечить отъезжающих всем необходимым, другой — познакомиться с остающимися, чтобы судить об их способностях и посвятить их в свои цели. Той порой у Фридриха и нашего друга оставалось довольно свободного времени, чтобы спокойно побеседовать. Вильгельм попросил в общих чертах обрисовать ему замысел друзей, а когда его достаточно ознакомили с местностью и ее ландшафтом, высказав при этом надежду на скорый рост населения такой обширной области, разговор естественным образом перешел на то, что и сплачивает людей, — на религию и нравы. Весельчак Фридрих оказался способен достаточно много сообщить и об этом, и мы заслужили бы благодарность, если бы передали этот разговор так, как он шел, со всеми вопросами и ответами, возражениями и уточнениями, двигаясь через множество занимательных отступлений к подлинной своей цели. Но мы не можем задерживаться так на-

долго и предпочитаем сразу же сообщить конечные итоги, не беря обязательства постепенно подводить читателя к тем же умозаключениям. Вот в чем состоит суть всего, о чем говорилось.

Все религии настаивают на том, что человек должен смириться с неизбежным, и каждая старается по-своему справиться с этой задачей.

Христианство предлагает нам в помощь самое отрадное: веру, надежду, любовь; из этого проистекает терпение, сладостное ощущение того, сколь неоценимым даром остается наше бытие, даже если в нем нет желанных наслаждений, а вместо этого оно отягчено мучительнейшими страданиями. Этой религии мы неизменно придерживаемся, хотя исповедуем ее по-своему: нашим детям мы внушаем с самых ранних лет, какие она принесла блага, но о ее происхождении, о ее истории сообщаем лишь под самый конец. Только тогда мы можем по-настоящему полюбить ее зиждителя и всякое относящееся до него сведение будет для нас свято. Потому мы и не терпим в нашей среде евреев; это можно счесть излишним педантизмом, но нельзя не признать, что это логично: ибо почему должны мы уделять от высшего просвещения тем, кто отверг его исток и начало?

Но наша этика совершенно отделена от религии; она определяется трудом и сводится к немногим заповедям: умеренность в произвольном, рвение в необходимом. Это лаконическое изречение каждый может по-своему применить в жизни, ибо ему дается текст, заключающий в себе бесконечные возможности истолкования.

Всем внушается глубочайшее уважение ко времени — высшему дару бога и природы, неотступному соглядатаю нашего земного бытия. Часы у нас установлены во множестве, их стрелки и бой отсчитывают каждую четверть часа; но и такого отсчета времени нам мало, поэтому воздвигнутые по всей стране телеграфные вышки, если не заняты ничем другим, то благодаря весьма хитроумному устройству отмечают бег дневных и ночных часов.

Наша этика, по сути своей практическая, настоятельнее всего требует рассудительности, которой немало способствует умение распределять время и не упускать ни часа. Каждый миг что-то должно быть сделано, но разве это возможно, если не думать равно и о деле, и о времени?

Имея в виду, что дело наше только начинается, мы придаем важнейшее значение семье. На отцов и матерей семейств мы намерены возложить важнейшие обязанности; воспитывать же людей у нас нетрудно, так как каждый должен оставаться независимым и сам себе быть батраком и батрачкой, слугой и служанкой.

Есть, конечно, такие вещи, в которых надобно добиться известного единообразия: аббат берется сам обучить народ уменью бегло читать, писать и считать, его метода напоминает систему взаимного обучения, но только она остроумней, и в ней главное то, что образование получают одновременно учитель и ученик.

Я хочу упомянуть еще об одном предмете взаимного обучения: навыке и умении нападать и обороняться. Это — дело Лотарио, его тактика напоминает тактику наших вольных стрелков, но он всегда и во всем должен быть оригиналом.

Тут я должен заметить, что в гражданском обиходе мы не допускаем колоколов, а в военном — барабанов: и там и тут довольно человеческого голоса в сочетании с духовыми инструментами. Все это и прежде было, и теперь есть, а найти наилучший способ воспользоваться имеющимся мы предоставляем человеческому уму, который и сам бы отлично до этого додумался.

«Главное, в чем нуждается каждое государство, — это деятельные руководители». У нас за ними дело не станет: всем нам не терпится взяться за дело, мы полны сил и убеждены, что начинать надо с простого. Так, мы думаем не о судеустройстве, а о полиции. Основное правило для нее гласит со всей определенностью: никто не должен причинять неудобств другому, а кто выкажет себя неудобным сожителем, тот устраняется из общества, пока не поймет, как надо себя вести, чтобы тебя терпели. Если неудобство проистекает от какого-либо неодушевленного предмета или неразумного установления, они также устраняются.

В каждом округе должно быть по три начальника полиции, которые посменно чередуются через каждые восемь часов, как на горных разработках, где работа также не должна останавливаться; один из наших людей должен быть под рукой у начальника, особенно в ночное время.

Они имеют право указывать, порицать, бранить и устранять, а если сочтут нужным, то и созвать в большем или меньшем числе присяжных. Если голоса разделяются поров-

ну, то не председательствующий решает, а тянут жребий, поскольку мы убеждены, что при двух противоположных мнениях все равно, какому последовать.

Относительно большинства голосов мы держимся особых понятий; правда, мы не лишаем его силы в повседневном обиходе, однако не слишком ему доверяем. Но на этот счет я не вправе распространяться подробнее.

Если спросить о верховных руководителях, которые всё направляют, то их никогда нельзя застать на одном месте: они постоянно кочуют, чтобы поддержать всеобщее равенство в главном и дать волю каждому в том, что допустимо. В истории прецедент уже был: германские императоры разъезжали по стране, и такой порядок более всего соответствует духу свободного союза государств. Мы опасаемся учреждать столицу, хотя и видим в наших владениях место, где соберется больше всего людей. Однако мы покуда храним тайну; это произойдет постепенно и все-таки достаточно скоро.

Таковы в общих чертах те статьи, по которым большинство из нас сходится во мнении; и все же стоит встретиться нескольким нашим сочленам, пусть даже немногим, как их обсуждают снова и снова. Но главное начнется тогда, когда мы прибудем на место. Новое положение вещей, которое должно, впрочем, сохраниться надолго, находит выражение в законе. Наши кары мягки; указать имеет право каждый, кто прожил достаточно долго; порицать и бранить — только тот, кого признали старейшим; наказать — только созванные в определенном числе граждане.

Замечено, что излишняя строгость законов быстро притупляется, а вольность постепенно нарастает, потому что природа берет свои права. У нас законы снисходительные, потому суровость их может постепенно нарастать; наша кара состоит прежде всего в отлучении от гражданского общества, оно, смотря по обстоятельствам, может быть мягче или строже, дольше или короче. Если достояние граждан постепенно вырастет, можно будет отчуждать большую или меньшую его часть, смотря по той вине, за которую их наказывают такой мерой.

Все члены товарищества поставлены об этом в известность и прошли испытание, которое обнаружило, что каждый уже успел по основным статьям примениться к нашим законам. Но главное для нас — перенять все блага просвещения и избавиться от его вредных последствий. Мы не

потерпим у себя ни кабаков, где торгуют водкой, ни библиотек, где выдают книги, но как мы будем бороться с бутылкой и книгой, я лучше утаю: судить о таких вещах следует после того, как они сделаны.

По этой же причине тот, кому довелось собрать и привести в порядок настоящие бумаги, воздерживается от обнародования тех частей уложения, которые все еще обсуждаются между членами товарищества, так как попытка ввести их может быть сочтена по прибытии на место неразумной, а подробное изложение на этих страницах едва ли будет одобрено.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Наступил срок, назначенный Одоарду для произнесения речи; когда все собрались и наступила тишина, он начал так:

— Огромный труд, участвовать в коем я пригласил столько честных, дельных работников, отчасти известен вам, так как в общих чертах я о нем уже говорил. Из того, что было мною сказано, явствует, что и в Старом Свете, как и в Новом, есть обширные земли, нуждающиеся в лучшей, нежели до сих пор, обработке. В Новом Свете природа простерла огромные пространства, где она пребывает нетронутой и дикой, так что люди не отваживаются выступить против нее и начать с нею борьбу. Но для людей решительных не так уж трудно постепенно отнять у нее эти пустыни и участок за участком забрать их в свое владение. В Старом Свете все наоборот. Здесь все участки уже захвачены во владение, незапамятная давность освятила права собственности, и если там непреодолимой преградой представляется сама безграничность пространств, то здесь еще более непреодолимой преградой лежат перед нами раз навсегда проведенные границы. Над природой верх берет усердие, над людьми — насилье или умение убеждать.

Если все общество считает частною собственностью святыней, то еще более свято всякое владение самому собственнику. Привычка, первые юношеские впечатления, почтение к предкам, неприязнь к соседям и сотни других причин заставляют собственника коснеть в неприятии всяческих перемен. И чем дольше существует такое положение вещей, чем больше есть путаницы и раздробления, тем труднее предпринять общие меры, которые, что-то отняв у отдельных лиц, послужили бы ко благу общества, а потом, неожиданно, бла-

годаря содействию и взаимодействию всех,— и на пользу каждому.

Уже много лет я от имени моего государя правлю провинцией, которая лежит особняком от его владений и потому приносит гораздо меньше пользы, чем могла бы. Из-за этой оторванности, или, если угодно, замкнутости, до сих пор не нашлось никого, кто, учредив что-либо, дал бы ее обитателям возможность пустить во внешний оборот то, чем они владеют, и получать извне то, в чем они нуждаются.

Я правлю этой страной с неограниченными полномочиями. Можно было сделать немало добра, но только до известных пределов: для лучшего все двери были заперты, и казалось, будто все, к чему я стремился, находится где-то в другом мире.

Хорошо вести хозяйство — это был мой единственный долг. Что может быть легче! Ничуть не труднее, чем искоренить злоупотребления, использовать способности каждого, помогать старательным. Все это я выполнял легко и просто, благодаря силе и разуму, все это в какой-то мере делалось само собой. Но более всего меня занимали и тревожили те соседи, которые правили или дозволяли править своими областями, имея в виду другие цели или, по крайней мере, не разделяя моих убеждений.

Я чуть было не смирился и не приспособился к своему положению, используя, худо ли, хорошо ли, то, что было заведено,— но вдруг я заметил, что сам век приходит мне на помощь. В соседние области были назначены чиновники помоложе, они имели в виду то же самое, что я, хотя их благие намеренья и не были столь определены, и тем охотнее обязывались во всем примкнуть к моим планам, что наибольшие жертвы доставались на долю мне, причем никто не замечал, что на моей стороне оказываются и наибольшие преимущества.

Так нас стало трое, нам дано право распоряжаться обширными земельными пространствами, наши государя и министры уверены в бескорыстии и полезности наших предложений. А ведь гораздо труднее не проглядеть свою выгоду в большом, нежели в малом. В малом сама необходимость указывает нам, что делать и чего не делать, и вполне достаточно приложить это мерило к насущному, а в большом мы должны создавать будущее, и даже если какой-нибудь проныковенный ум найдет подходящий план, то можно ли надеяться, что и другие с ним согласятся?

Одному человеку это было бы не под силу, но время, освобождая умы, позволяет взглянуть дальше, а вдали большое легче разглядеть, и это помогает легче устранить одну из самых мощных преград, мешающих людям действовать. Она состоит в том, что люди охотно приходят к согласию относительно цели, но куда реже относительно средств к ее достижению. Ибо истинно великое возвышает нас над нами самими и сияет, как звезда, а выбор средств возвращает нас вспять, и тогда каждый становится таким, как был, и вновь чувствует себя одиноким, будто его голос не звучал только что в общем хоре.

Тут нам придется повторить: век должен прийти нам на помощь, время должно занять место разума, а сердце расширится настолько, чтобы помыслы о высшей выгоде вытеснили из него помыслы о выгоде ничтожной.

Но довольно об этом, а если сейчас я сказал слишком много, то впоследствии я буду напоминать о сказанном каждому участнику. Произведены точнейшие измерения, намечены дороги, определены места, где на них будут воздвигнуты постоянные дворы, а впоследствии, быть может, возникнут села. Есть возможность и даже необходимость начать всевозможные строительные работы. Лучшие зодчие и инженеры все подготавливают для них, чертежи и сметы уже составлены; мы намерены раздать большие и малые подряды и при строжайшем контроле потратить уже отпущенные деньги на удивление метрополии; ибо мы живем прекрасной надеждой, что это станет почином единодушной деятельности, развивающейся все дальше вширь.

Но вот на что я должен теперь же обратить внимание всех собравшихся, ибо это обстоятельство, может быть, окажет влияние на их выбор: я имею в виду порядок и форму объединения работников, задуманные с тем, чтобы обеспечить каждому достойное место в своей среде и всем — в гражданском обществе.

Едва мы вступим в названную область, как все ремесла незамедлительно будут объявлены искусствами, причем название «строгие искусства» решительнейшим образом отделит их от «свободных искусств». На сей раз речь идет только о тех, чье дело — строительство, но к этому разряду относятся все, кто собрались здесь, и стар и млад.

Перечислим их в той последовательности, в какой они возводят здание и постепенно делают его пригодным для жилья.

Первыми я назову каменотесов, которые обрабатывают каждый камень фундамента, каждый краеугольный камень, чтобы он точно пришелся на предназначенное для него место, куда положат его каменщики, которых я и назову вторыми. Это они приходят после тщательных изысканий грунта, чтобы упрочить и нынешнее и будущее. Потом плотник рано или поздно приносит заранее вытесанные балки, и так тянется ввысь то, что существовало лишь в замысле. А теперь позовем поскорее кровельщика! А для внутренних работ нам нужны столяры, стекольщики, слесари, и если маляра я назову последним, то лишь потому, что свою работу он может начать в любое время, зато должен придать всей постройке, и внутри и снаружи, последний лоск. Я говорю только о главных и не называю вспомогательных работ.

Строжайшим образом должна соблюдаться черед ступеней ученика, подмастерья и мастера; правда, каждая ступень может иметь и свои разряды, но испытания должны быть как можно строже. Всякий начинающий знает, что посвящает себя строгому искусству и не вправе ждать от него послабления в требованиях: ведь если ломается одно звено, то и вся великая цепь распадается. Великий труд все равно что великая опасность: легкомыслию тут места нет.

Именно в этом строгие искусства должны служить образцом для свободных и даже стремиться к тому, чтобы посрамить их. Если мы присмотримся к так называемым свободным искусствам, то обнаружим, что хотя слово «свободный» надобно понимать и принимать в высоком смысле, однако, в сущности, безразлично, делает ли художник свое дело хорошо или плохо. Скверно изваянная статуя стоит на ногах так же твердо, как и самая совершенная, фигура на картине бодро-весело шагает криво нарисованными ногами и крепко хватает изуродованными руками, а пол не проваливается из-за того, что фигуры на нем расставлены как попало. В музыке это еще заметнее: звуки визливой скрипки в деревенском кабачке заставляют дюжих танцоров всю работу ногами, под самую фальшивую музыку верующие в церквах возносятся духом. Если вам будет угодно причислить к свободным искусствам еще и поэзию, то вы увидите, что она сама вряд ли знает, где ее границы. Хотя в каждом из искусств есть свои внутренние законы, несоблюдение их ничем не грозит человечеству, а вот строгие искусства никак не могут себе этого позволить. Можно хвалить свободного художника и восторгаться его до-

стойнствами, хотя при ближайшем рассмотрении его работа никуда не годится.

Если же мы взглянем и на свободные, и на строгие искусства в их высшем совершенстве, то первым следует остерегаться педантизма и засилья старых привычек, вторым — легкомыслия и недобросовестности в работе. Кто будет направлять их, тот напомним об этом и поможет избавиться от злоупотреблений и изъязнов.

Я не стану повторяться, так как вся наша жизнь будет повторением сказанного. Замечу только вот что: кто занялся строгим искусством, должен посвятить ему всю жизнь. До нынешних пор это искусство именовалось ручным промыслом, и именовалось правильно: промышленяющие им должны были работать вручную, а для этого рука сама должна была зажить собственной жизнью, стать самостоятельным естественным, обрести мысль и волю, — но все это невозможно, когда занятий множество.

Когда Одоард, присовокупив еще несколько добрых слов, закончил речь, все присутствующие поднялись с мест и, вместо того чтобы покинуть залу, разделились по цехам и правильным кругом обступили стол признанных глав товарищества. Одоард роздал всем напечатанный листок, по которому они не слишком громко запели на знакомый мотив задушевную песню:

Всяк, умеющий трудиться,
Плыть ли, нет ли — выбирай!
Там, где труд наш пригодится,
Там и будет милый край.
За тобой идем мы следом,
Цель близка, и страх неведом, —
К новой родине в поход!
Слава тем, кто нас ведет!

Груз поделишь ты умело,
Плату щедрой дашь рукой:
Молодым — жену и дело,
Старым — почесть и покой.
Сила веры обоюдной
Дом построит нам уютный,
Оградит и двор и сад,
Установит мир и лад.

Там, где при дорогах торных
Путников трактиры ждут,
Где в степях, в полях просторных
Каждому надел дадут,—
Там спешим мы поселиться
И в семью навеки слиться.
К новой родине в поход!
Слава тем, кто нас ведет!

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

После царившего все последние дни оживления наступила тишина. Трое друзей остались одни, и скоро стало заметно странное беспокойство, владевшее двумя из них — Ленардо и Фридрихом; оба не скрывали, что это нетерпение вызвано тем, что им мешают вместе с остальными уехать из этих мест. По их словам, они ждали посыльного, а покуда неспособны были говорить ни о чем разумном и важном.

Наконец посыльный является и вручает толстый пакет, на который тотчас же набрасывается Фридрих, желая вскрыть его. Ленардо удерживает друга и говорит:

— Оставь, не трогай его, пусть лежит перед нами на столе. Мы подумаем и попытаемся по его виду угадать, что в нем заключено. Коль скоро наша судьба должна вот-вот определиться, а мы над ней не властны и «да» или «нет», то или это, словом, все, чего мы можем ожидать, зависит от чужого ума и чужих чувств, то нам подобает побыть в покое, овладеть собой, спросить себя, под силу ли нам выдержать приговор, пусть это даже будет приговор суда, именуемого божьим, предписывающий нам заковать собственный разум.

— Ты сам вовсе не так спокоен, как хочешь казаться! — возразил Фридрих. — Оставайся-ка один со своими тайнами и делай с ними, что угодно, — меня они в любом случае не касаются. Позволь мне только открыть, о чем идет речь, нашему старому, испытанному другу и рассказать ему о тех сомнительных обстоятельствах, которые мы так долго от него утаивали. — С этими словами он увлек за собою нашего друга и еще по дороге воскликнул: — Она найдена, найдена, уже давно! Весь вопрос только в том, что с нею будет.

— Я это знал, — сказал Вильгельм. — Ведь друзья ясней всего обнаруживают друг перед другом именно то, что скры-

вают. Последний отрывок из дневника, тот, в котором Ленардо посреди гор вспоминает мое письмо, вызвал в моем воображении эту милую женщину вместе со всеми связанными с нею мыслями и чувствами; я воочию видел, как он на следующее утро приходит к ней, узнает ее, и все, что из этого могло получиться. Скажу откровенно, если меня и беспокоили ваше молчание и сдержанность, то причиной тут не любопытство, а искреннее участие в ее судьбе.

— Вот потому-то,— воскликнул Фридрих,— для тебя особенно интересен доставленный пакет; продолжение дневника было отправлено Макарии, а мы не хотели испортить рассказом такое важное и отрадное событие. Сейчас ты получишь дневник: Ленардо наверняка уже вскрыл пакет, а ему, чтобы узнать дальнейшее, дневник не нужен.

С этими словами Фридрих с былым проворством понесся прочь и прибежал с обещанной тетрадкой.

— А теперь и мне нужно узнать, что с нами будет,— воскликнул он и умчался снова, а Вильгельм стал читать,

Дневник Ленардо

(Продолжение)

Пятница, 19.

Сегодня мешкать нельзя было, чтобы вовремя поспеть к госпоже Сусанне, поэтому мы наспех позавтракали со всем семейством, поблагодарили хозяев, про себя пожелав им счастья и благополучия, а предназначенные девушкам подарки, богаче и нарядней позавчерашних, тайком передали отстававшему здесь от нас наладчику, очень этим его обрадовав.

Было еще рано, когда мы, за несколько часов проделав весь путь, увидели перед собой тихую, не слишком обширную долину с прозрачным озером, чьи волны омывали отражающийся в них скалистый обрыв, а в долине домики красивой постройки посреди тщательно обработанных участков, где неплохая почва на припеке давала возможность разбить хоть какие-то садики. Когда скупщик ввел нас в самый большой дом и представил госпоже Сусанне, я испытал странное чувство; между тем она, приветливо к нам обратившись, стала уверять, что ей особенно приятно видеть нас у себя именно в пятницу, самый спокойный из всех дней недели,

потому что в четверг вечером готовый товар отвозят к озеру и по воде в город. Скупщик перебил ее, сказавши:

— А возит его по-прежнему Даниель?

Она отозвалась:

— Конечно! Ведь он ведет дело честно и на совесть, как будто товар его собственный.

— Да и невелика разница, — сказал в ответ скупщик и, получив от нашей радушной хозяйки поручения, поспешил по своим делам в боковые долины, а мне пообещал вернуться за мною через несколько дней.

Той порой у меня на душе творилось что-то странное; едва я вошел, как у меня возникло предчувствие, что она и есть та, по ком я тосковал; я стал присматриваться — нет, это не была, не могла быть она; я глядел в сторону или она отворачивалась — и опять это была она; так в сновидениях борются друг с другом образы памяти и порождения фантазии.

Явилось несколько прях, запоздавших сдать недельную работу; хозяйка, мягко наказав им впредь быть прилежнее, стала договариваться о цене, но потом, чтобы вернуться к гостю, передала дело двум девушкам, которых она называла Лизхен и Гретхен и к которым я присматривался особенно пристально, желая разглядеть, насколько они сходствуют с тем, как изобразил их наладчик. Эти две особы совсем сбили меня с толку и уничтожили всякое сходство между хозяйкою дома и тою, кого я искал.

Из-за этого я еще внимательней стал наблюдать за ней, и она в любом случае казалась мне самой достойной, самой привлекательной из всех женщин, встреченных мною в горах. Сведений о ткацком промысле, которых я набрался, было довольно, чтобы со знанием дела вести с нею разговор о ремесле, в котором она так хорошо понимала; моя осведомленность и мой интерес были ей весьма приятны, и когда я спросил, откуда она берет хлопок, груз которого недавно у меня на глазах был доставлен в горы, она ответила, что этот караван и привез ей немалый запас сырья. Ее жилище расположено удачно еще и потому, что ведущая к озеру большая дорога проходит ниже по долине всего в четверти часа пути, и на ней либо она сама, либо кто-нибудь по ее поручению получает отправленные из Триеста на ее имя тюки; то же самое было и позавчера.

Она показала новому другу просторный, хорошо проветриваемый подвал, куда убирают запас хлопка, чтобы он

не пересох, не потерял веса и не стал менее гибок. У нее я нашел собранным вместе все то, о чем уже знал по отдельности: она указывала мне то на одно, то на другое, а я смотрел с интересом и с пониманием дела. Между тем она стала менее разговорчива и, как я мог понять по ее вопросам, заподозрила, что я занимаюсь тем же промыслом; она сказала мне, что так как хлопок недавно прибыл, то вскорости она ожидает посыльного или компаньона из триестинского торгового дома; он посмотрит, как идут у ней дела, и заберет причитающиеся за хлопок деньги, которые уже отложены и будут вручены всякому, кто удостоверит свое право на них.

Смутившись, я уклонился от прямого ответа, а когда она пошла на другой конец комнаты о чем-то распорядиться, поглядел ей вслед, и она показалась мне Пенелопой среди рабынь.

Она возвращается, мне сдается, что и с ней творится что-то странное.

— Так, значит, вы не из купеческого сословия? — говорит она. — Сама не понимаю, откуда у меня такое доверие к вам, откуда такая смелость, чтобы и у вас просить о том же. Вымогать я ничего не хочу, но если сердце вам велит, подарите и мне ваше доверие.

Она поглядела на меня, и глаза на этом чужом мне лице были такие знакомые и узнающие, что я почувствовал, как ее взгляд проникает мне в душу, и с трудом овладел собой. Колени у меня дрожали, рассудок мутился, но, к счастью, ее отозвали по срочному делу. Я мог опомниться и укрепиться в намерении владеть собою до конца, потому что мне мерещилось впереди какое-то новое несчастье.

Гретхен, девушка степенная и приветливая, повела меня посмотреть узорчатые ткани; она объясняла неторопливо и со знанием дела, а я, чтобы оказать ей внимание, заносил ее слова в записную книжку; вот что гласит эта запись — свидетельство того, насколько машинально я все делал, занятый совсем другими мыслями:

«На уток для киперных и узорчатых тканей берется, смотря по тому, чего требует рисунок, либо белая, слабо сученная нить, либо пряжа, окрашенная в красное или синее, которая идет на полосы и цветы.

При наборе основы ткань навивается на валы, образующие лежащую плашмя раму, за которой сидит несколько работниц».

Лизхен, как раз сидевшая у рамы, встала с места и присоединилась к нам, стараясь вмешаться в разговор и, переचा, сбить подругу; но я все равно слушал с большим вниманием Гретхен, и Лизхен стала расхаживать взад-вперед, спеша одно прибрать, другое принести, причем дважды, и во все не из-за тесноты комнаты, многозначительно задевала локотком мою руку, что весьма мне не понравилось.

«Добрая и Прекрасная» (она и вообще заслуживает такого имени, особенно в сравнении с остальными) повела меня в сад полюбоваться закатным солнцем, прежде чем оно зайдет за вершины хребта. На губах ее мелькала улыбка, как бывает всегда, когда хотят и не решаются сказать что-то приятное; и у меня, несмотря на обоюдное наше смущение, было отрадно на душе. Мы шли рядом, я не осмеливался поддержать ее под руку, притом что мне очень этого хотелось; мы боялись словом или знаком выдать наше счастливое открытие и слишком скоро сделать тайну обыденно-очевидной. Она показала мне цветочные горшки, я узнал кусты хлопчатника, взошедшие из семян.

— Так мы выхаживаем и выращиваем семена, которые для нашего дела не только что бесполезны, но и вредны. Они попадают к нам вместе с хлопком, проделав долгий путь, и мы сажаем их в землю из благодарности: ведь это истинная радость — видеть живым то, что своими останками дает нам заработать на жизнь. Вот перед вами начало, середина вам известна, а нынче вечером, если все сложится удачно, вы увидите счастливый конец.

Мы все, кто занимается здесь производством тканей, либо сами, либо через приказчика каждый четверг вечером отправляем собранный за неделю товар на грузовое судно и доставляем его в пятницу поутру в город. Здесь каждый относит свой товар к оптовикам и старается сбыть его по-выгодней, причем в уплату берут, сколько им потребно, хлопка-сырца.

Однако те, кто едет торговать, привозят не только запас сырья для работы и барыш наличными, но и еще всякой всячины — и на потребу, и на потеху. Если кто из семейства отправился в город торговать, тут нет конца ожиданиям, желаньям, надеждам, а то и страхам и тревогам. Начнется буря и гроза — все боятся, как бы судно не разбилось. Жадным не терпится знать, как удалось продать товар, они заранее высчитывают чистую прибыль, любопытные ждут новостей из города, щеголихи — нарядов и модных безделушек,

которые им должны привезти из поездки, а лакомки и особенно детишки — вкусной еды, пусть даже и простых булок.

Возврат обычно откладывается до вечера, потом на озере становится оживленно, судно за судном плывут под парусами или на веслах по его глади, стараясь обогнать друг друга, и те пловцы, которым это удастся, в шутку срамят отставших.

Нет ничего отрадней и красивей, чем плыть по озеру и глядеть, как на его поверхность и на окрестные горы ложится и постепенно густеет теплый багряный отсвет заката, как загораются звезды, как в прибрежных деревнях, откуда доносится вечерний благовест, зажигаются огни и отражаются в воде, как потом восходит луна и заливает блеском едва колеблемую гладь. Мимо проплывают изобильные прибрежья, деревня за деревней, хутор за хутором остаются позади; но вот подплываешь к родным местам, — тогда громко трубят в рожок, и ты видишь, как в горах там и сям появляются огоньки и понемногу спускаются к озеру: каждый дом, если на корабле есть кто-нибудь оттуда, высылает человека навстречу, чтобы помочь нести поклажу.

Хотя мы и живем довольно высоко в горах, но каждому из нас не раз случалось ездить в такую поездку, а что до самого дела, то оно для всех нас одинаково важно.

Я слушал и удивлялся, до чего хорошо и красиво она говорит, и даже, не удержавшись, заметил вслух, как это она, живя в такой глуши и занимаясь механическим трудом, достигла такой образованности. Она ответила, потупив глаза, с милой, немного лукавой улыбкой:

— Я родилась в других местах, красивее и приветливее этих, там живут и распоряжаются замечательные люди, и хотя в детстве я была нелюдима и строптива, все-таки влияние столь разумных людей, как тамошние хозяева, не миновало никого из живших вокруг. Но еще больше подействовало на юную душу благочестивое воспитание, оно развило во мне чувство, что справедливое и подобающее суть проявления вездесущей божественной любви. Мы уехали оттуда, — продолжала она, и губы ее перестали улыбаться, а глаза наполнились еле сдерживаемыми слезами, — мы уехали далеко-далеко и скитались из края в край, направляемые советами и указаниями благочестивых людей; наконец добрались мы сюда, в эти трудолюбивые края; в том доме, где вы меня застали, жили тогда наши единомышлен-

ники, нас приняли радушно, мой отец говорил на одном с ними языке и то же самое, что они, и скоро мы стали как бы членами семьи.

Я усердно вникала во все, что касалось домашних дел и ремесла, и, трудясь своими руками, постепенно обучилась всему, над чем сейчас, как вы видите, распоряжаюсь. Сын наших хозяев, старше меня на несколько лет, красивый и статный, полюбил меня и стал верить мне свои мысли. При его деятельной и вместе тонкой натуре он оставался равнодушен к заведенным в доме набожным обычаям; ему было мало этого, он тайно добывал в городе и читал такие книги, которые делают ум шире и свободнее, а когда заметил во мне то же стремление и те же природные задатки, постарался мало-помалу поделиться со мною всем, что так глубоко его занимало. Наконец и я этим прониклась, тогда он перестал таиться и открыл мне всё до конца. Право, мы были странною четой: во время прогулок вдаль от всех мы беседовали о жизненных правилах, дающих человеку самостоятельность, и наша искренняя взаимная склонность по видимости проявлялась лишь в том, что каждый укреплял в другом умонастроения, обычно разобщающие людей.

Хотя я не смотрел на нее пристально, а лишь время от времени поднимал глаза, но все же с удивлением и сочувствием заметил, как на лице ее отражается все, что она говорит. После мгновенной паузы оно снова прояснилось, и она сказала:

— На главный ваш вопрос я должна ответить признанием, оно поможет вам понять, откуда у меня это красноречие, которое даже кажется неестественным. К сожалению, нам приходилось притворяться перед другими, и хотя мы старались не лгать и не лицемерить в самом грубом смысле слова, но в более тонком смысле мы все же грешили этим, так как не находили предлога уклониться от участия в посещаемых всеми собраниях братьев и сестер. Там нам приходилось слышать немало такого, что шло вразрез с нашими убеждениями, поэтому он постарался поскорей показать и объяснить мне, что не все говорится от сердца, но есть много пустых слов, избитых образов и сравнений, застывших оборотов, твердых без конца стихов, которые мелькают в речи снова и снова, словно вращаясь вокруг одной оси. Я стала прислушиваться и усвоила этот язык настолько, что могла бы держать речь не хуже любого из глав нашей общины. Сперва мой добрый друг потешался

над этим, потом мое красноречие ему надоело, он потерял терпение, и я, чтобы утишить его досаду, обратилась вспять, стала внимательней его слушать и уже неделю спустя могла повторить все, что он говорил так искренне и от души, почти с тою же свободой и не искажая духовного смысла его слов.

Наша близость стала еще тесней и неразрывней, и объединяли нас страсть к добру и к правде, стремление жить по добру и по правде.

Я вспоминаю сейчас причину, из-за которой вы побудили меня все это рассказать: мое живое описание вечера после удачного торга. Не удивляйтесь же этому: в часы покоя и досуга для нас с женихом не было ничего отрадней, чем возвышенное зрелище прекрасной природы, которое мы созерцали с искренней радостью. Эти чувства пробуждали и поддерживали в нас превосходнейшие поэты нашей родины, мы часто перечитывали «Альпы» Галлера, «Идиллии» Гесснера, «Весну» Клейста, и нашему созерцанию открывалась то чарующая, то возвышенная сторона окружающего нас великолепия.

Я люблю вспоминать, как мы, оба остроглазые и зоркие, наперебой спешили показать один другому все совершающееся на земле и в небе, стараясь опередить и превзойти друг друга. Это было лучшим отдыхом не только от повседневных трудов, но и от глубокомысленных разговоров, которые заставляли нас слишком уж погружаться в себя и грозили нарушить спокойствие духа.

В эту пору к нам забрел некий путник, быть может, назвавшийся вымышленным именем; мы не допытывались до истины, он и так всей своей повадкой сразу же завоевал наше доверие, ибо всегда держался скромно и учтиво, а на наших собраниях слушал внимательно и чинно. Когда мой друг водил его по горам, приезжий выказал себя человеком степенным, проникательным и многоопытным. Я участвовала в их беседах о нравственных предметах, когда высказывается все, что может волновать внутреннего человека; гость быстро заметил колебание в наших мыслях, касавшихся предметов божественных. Все внешние выражения благочестия сделались для нас пошлы, утратили ядро, которое должны были заключать в себе. Он показал нам, как угрожающе такое состояние и сколь опасно отпадение от тех заветов, с которыми мы сроднились с ранней юности, особенно если наш внутренний мир не обрел окончательного

образа. Конечно, ежедневно и ежечасно соблюдаемое благочестие оборачивается под конец тратой времени и действует, подобно полицейскому надзору, лишь на внешнюю благопристойность, а не на глубочайшие чувства и помыслы, но против этого есть одно средство: в себе самом воспитать воззрения, которых нравственное действие было бы столь же могуче и миротворно.

Родители давно уже про себя считали наш союз делом решенным, и присутствие нового друга, сама не знаю как, ускорило нашу помолвку; по-моему, это по его желанию мы в тесном кругу отпраздновали окончательное утверждение нашего счастья, потому что и он, должно быть, слышал нашего проповедника, который воспользовался случаем напомнить нам о главе церкви Лаодикийской и об опасности быть ни холодным и ни горячим, каковой грех хотели обнаружить в нас с женихом. Мы еще несколько раз беседовали об этих предметах, он оставил нам листок, в котором обо всем этом говорилось, и впоследствии у меня часто находились причины в него заглядывать.

Он уехал, и стало так, будто вместе с ним нас покинули хорошие гении. Было замечено уже не раз, каким решающим событием бывает для любого тесного круга появление в нем замечательного человека и какая после его ухода остается брешь, в которую нередко и проникает случайное несчастье. Позвольте мне обойти молчанием все, что случилось потом; неожиданный случай погубил драгоценную для меня жизнь моего прекрасного жениха; в последние часы у него достало стойкости позаботиться о том, чтобы заключить со мною, безутешной, брачный союз и так сделать меня наследницей своей доли имущества. Для его родителей несчастье было особенно тяжело, ибо перед тем они потеряли дочь и теперь осиротели в полном смысле слова, и это так угнетало их нежную душу, что жизнь их продлилась недолго и они отравились следом за любимыми детьми. Меня же вскорости ждала новая беда: отца разбил удар, из-за которого он хотя и не утратил внешних чувств, воспринимающих мир, но потерял способность ко всякому труду, и ручному и умственному. Я оказалась в величайшей нужде и одиночестве, так что мне потребовалась вся та самостоятельность, к какой я сумела приучить себя, пока надеялась на счастливый брак и безмятежную семейную жизнь и в которой меня укрепили незадолго перед тем живительные речи проезжего незна-

Однако я не должна грешить неблагодарностью, так как и в этих трудных обстоятельствах у меня остался дельный помощник, который, став моим приказчиком, берет на себя все, что в нашем деле считается обязанностью мужчины. Если нынче вечером он воротится из города, вы с ним познакомитесь и узнаете, какие странные отношения нас связывают.

Тем временем я не упустил возможности вставить слово, чтобы мое дружеское участие и одобрение помогли ей раскрыть передо мной душу и не дали иссякнуть ее речи. Я даже не уклонялся совсем близко коснуться того, что еще не было высказано до конца, она тоже шла мне навстречу все ближе, и мы достигли того предела, когда довольно было малейшего повода, чтобы тайна, переставшая быть тайной, была бы высказана прямо.

Она встала с места и сказала:

— Пойдемте, пойдемте же к отцу!

Она поспешила вперед, я побрел следом, качая головой при мысли о том странном положении, в котором очутился. Она ввела меня в опрятно убранную заднюю комнату, где славный старик недвижимо сидел в своем кресле. Он мало изменился. Я подошел к нему, сначала он смотрел на меня без выражения, потом глаза его ожили, лицо осветилось радостью, губы дернулись, чтобы что-то произнести, а когда я потянулся пожать его неподвижно лежащую руку, он сам ответил на мое рукопожатие и даже поднялся на ноги, раскрыв мне объятия.

— О, боже! — воскликнул он. — Ведь это наш молодой господин, это Ленардо! Он, он самый!

Я не удержался и прижал его к груди, он рухнул в кресло, дочь подбежала, чтобы помочь ему, и тоже воскликнула:

— Это он! Это вы, Ленардо!

Тут вошла младшая племянница, они отвели отца, к которому вдруг вернулась способность ходить, в спальню, а он, обернувшись ко мне, произнес вполне внятно:

— Как я счастлив, как счастлив! Скоро мы опять увидимся!

Я стоял, готупив глаза и задумавшись; Марихен, воротившись, подала мне листок и сказала, что это тот самый, о котором было говорено. Я тотчас узнал почерк Вильгельма, чей облик отчетливо проступал передо мною из услышанного описания. Мимо меня мелькали незнакомые лица, в передней половине дома началось странное оживление. До

чего же неприятное чувство мы испытываем, когда нас внезапно и резко возвращают к действительности, к раздробленным повседневным впечатлениям, угашая в нас энтузиазм чистого узнавания, лишая радости, с какой мы убеждаемся в благодарной памяти людей и постигаем дивные сцепления судеб, гася все теплое и прекрасное, что поднимается в нас при этом.

Вечер пятницы на этот раз не был таким веселым и радостным, каким бывал обыкновенно: приказчик не вернулся на прибывшем с торга судне и только сообщил письмом, что дела не позволяют ему прибыть домой раньше чем завтра или послезавтра, он воспользуется другой okazji и тогда привезет все, что заказано и обещано. Так как в ожидании его собрались все соседи, стар и млад, то у многих на лицах была досада; особенно Лизхен, вышедшая было ему навстречу, явилась, судя по всему, в прескверном настроении.

Я ретировался в комнату, держа в руке листок, в который так и не заглянул, втайне досадуя на Вильгельма за то, что он, как явствовало из рассказа, ускорил их брак. «Все друзья таковы, любой из них дипломатничает и, вместо того чтобы в ответ на доверие также не лукавить, ради собственных видов идет наперекор нашим желаниям и ломает нашу судьбу!» Так я восклицал про себя, но потом отступился от собственных несправедливых слов и признал правоту друга, особенно когда обдумал нынешнее положение вещей; теперь я уже не мог удержаться и прочел листок следующего содержания.

«С первых мгновений своей жизни каждый человек постоянно стеснен и ограничен со всех сторон; сперва он этого не сознает, потом сознает наполовину, а потом и до конца. Но так как никто не знает смысла и цели своей земной жизни, или, вернее сказать, это остается тайной в руке всевышнего, то каждый пробует ощупью, хватается и отпускает, стоит на месте и порывается идти, мешкает и торопится, отчего и возникает множество смущающих нас заблуждений.

Даже самый разумный в повседневной жизни должен приравливать свой ум к насущному мигу и поэтому не может постичь целое. Редко удается знать наверняка, к чему обратиться в последующий миг и что следует делать.

К счастью, ваша жизнь, занятая непрерывным трудом, дала ответ и на этот, и на сотню других мудрых вопросов.

Неукоснительно выполняйте и впредь тот долг, что налагается злобою дня, и при этом следите, чтобы сердце было чисто и дух тверд. А если в свободный от трудов час вы найдете время перевести дыхание и поднять взор к небу, то уж точно отыщете, как правильно чтить то высшее начало, коему мы непременно должны предаться, благоговейно глядя на все происходящее в жизни и прозревая направляющий ее свыше промысел».

Суббота, 20.

Встав с рассветом, я бродил взад-вперед над озером, погруженный в раздумья, в лабиринт которых охотно углубилась бы со мною всякая чувствительная и участливая душа; хозяйка дома,— я был весьма доволен, что могу не считать ее вдовой,— словно вызванная моим желаньем, показалась сперва в окне, потом в дверях, она сказала мне, что батюшка хорошо почивал, проснулся веселым и вполне внятно сказал, что останется в постели и хотел бы меня увидеть не нынче, а завтра, после богослужения, когда сил у него наверняка прибудет. После этого она сказала, что сегодня будет подолгу оставлять меня одного, потому что день у нее занятой, и, спустившись ко мне, дала мне отчет о своих делах.

Я слушал ее только для того, чтобы слушать, но при этом убедился, что, судя по всему, она предана делу, которое ее привлекает как исконный долг, и занимается им со всей охотой.

— Так у нас принято и заведено,— говорила она,— кончать тканье к концу недели, а в субботу после полудня относить работу к хозяину, который просматривает на просвет, мерит и весит ткань, чтобы проверить, все ли сделано как надо, без изъянов, и сдан ли товар полным весом и мерой, а если он найдет, что все правильно, то платит ткачам, сколько условлено. Потом уж он сам старается очистить каждый кусок от приставших ниток и узелков, поудачней сложить его, выставить напоказ красивую, без изъянов, сторону, чтобы товар выглядел привлекательней.

Тем временем с гор спустилось множество ткачих, принесших свой товар на дом, среди них я заметил ту, что дала работу нашему наладчику. Она очень мило поблагодарила меня за оставленный для нее подарок и рассказала, что господин наладчик сегодня чинил у нее станок, благо тот стоит пустой, а на прощанье заверил, что госпожа Сусанна наверняка увидит по работе, как он его отладил. После этого она

вошла в дом вместе с другими, а я не удержался и спросил милую хозяйку:

— Скажите, ради бога, откуда у вас это странное имя?

— Это уже третье,— отвечала она,— которым меня награждают; я ничего не имела против, потому что так хотели свекор со свекровью: этим именем звалась их покойная дочь, на чье место они меня приняли, а ведь имя есть лучшее и живейшее напоминание о том, кто его носил.

Я отозвался на это:

— А вот вам и четвертое: будь моя воля, я назвал бы вас «Добрая и Прекрасная».

Она смиренно и вместе изящно поклонилась мне и сумела так сплести воедино свой восторг по поводу выздоровления родителя и радость по случаю свидания со мной, увеличив одно другим, что я, пожалуй, в жизни не слышал более лестных слов и не питал таких отрадных чувств.

Добрая и Прекрасная, которую уже дважды или трижды окликнули из дому, препоручила меня одному разумному и сведущему человеку, с тем чтобы он показал мне достопримечательности здешних гор. Погода была прекрасная, ландшафты разнообразны. Однако, идя вместе с ним, я убеждался, что внимание мое не могут занять ни скалы, ни леса, ни водопады, ни мельницы и кузни, ни даже семейства искусных резчиков по дереву. Между тем наша прогулка была рассчитана на весь день, мой провожатый нес в сумке вкусный завтрак, неплохой обед нам удалось получить в трактире на руднике, где никто не мог разобраться, кто я и что я, так как я выказал самое обидное для трудящихся людей лицемерие, пряча под личиной участия пустое безучастие.

Больше всех был сбит с толку мой провожатый, которому указал на меня скупщик пряжи, с большой похвалой отозвавшись о моей осведомленности во всяческих промыслах и любопытстве к таким вещам. Добрый человек рассказал и о том, как много я пишу и беру на заметку, и мой спутник рассчитывал на то же самое, однако ему пришлось долго ждать, прежде чем я вытащил записную книжку, да и то после его нетерпеливого вопроса о ней.

Воскресенье, 21.

Мне удалось вновь увидеть мою подругу только ближе к полудню. В доме уже окончилось богослужение, на которое она не пожелала меня допустить, зато ее отец присутство-

вал на нем и даже внятно и отчетливо произнес назидательное слово, тронув до слез и ее, и всех остальных.

— Это были,— сказала она,— всем известные изречения и стихи, выраженья и обороты речи, я сотни раз их слышала и досадовала на них как на пустой звук, но теперь они текли, как горячий металл по желобу, сплавленные сердечным чувством, полные тихого жара, очищенные от шлака. Мне стало страшно, как бы эти излияния не отняли у него все силы, но он был бодр, велел уложить себя в постель и сказал, что хочет собраться с силами, а потом позвать к себе гостя.

После обеда разговор у нас пошел живее и откровеннее, но это как раз и позволило мне лучше почувствовать и заметить, что она чего-то не договаривает, старается подавить тревожные мысли и лицо ее, вопреки этим усилиям, остается печальным. Сначала я так и сяк пытался заставить ее высказаться, потом прямо объявил, что по ее озабоченному лицу догадываюсь о каких-то гнетущих ей душу трудностях, о которых она должна откровенно мне поведать, чего бы они ни касались — домашних ли обстоятельств или торговых дел; я достаточно богат, чтобы так или иначе сквитаться с нею по старым долгам.

Она с улыбкой заверила меня, что дело совсем не в этом: — Сначала, когда вы к нам явились, я приняла вас за одного из тех господ из Триеста, у которых мне открыт кредит, и про себя порадовалась, что деньги у меня уже припасены, пусть даже с меня потребовали бы не только часть, но и всю сумму. То, что меня мучит, и вправду касается торговли, но тревожусь я не за сегодняшний день, нет, мне страшно за будущее. Машина побеждает ручной станок! Опасность надвигается медленно, как туча, но уж если дело повернулось в эту сторону, то гроза придет и настигнет нас. Еще мой покойный муж с грустью предчувствовал ее. Об этом говорят и думают, но, сколько ни думай и ни говори, помочь теперь нельзя. И кому охота заранее воображать себе весь этот ужас! Подумайте сами, сколько в здешних горах долин вроде той, откуда вы к нам спустились; у вас еще стоит перед глазами уютная и веселая жизнь, которую вы там видели в эти дни, которой отрадным свидетельством стала для вас нарядная толпа, что вчера сошлась сюда. Подумайте сами, все это захиреет, заглохнет, и пустыня, уже много столетий обитаемая и оживляемая людьми, станет, как встарь, безлюдной и дикой.

Есть только два пути, и оба тяжки: самим обратиться к новому и ускорить общее разорение либо сняться с места и искать счастья за морем, взяв с собою лучших и достойнейших. И то и другое опасно, но кто поможет нам взвесить все доводы и принять решение? Мне известно, что некоторые из соседей замышляют завести у себя машины и присвоить себе то, чем кормятся многие. Я не могу винить тех, кому своя рубаха ближе к телу, но себя бы я стала презирать, если бы должна была ограбить добрых людей и видеть, как они, беспомощные, идут по миру. Однако пойти по миру их рано или поздно заставят, они об этом догадываются, знают и говорят — и никто не решается сделать шаг к спасению. Но кто будет за них решать? Разве мне это легче, чем любому из них?

Мы с женихом решили переселиться отсюда и часто обсуждали, как развязаться со здешними делами. Он искал самых лучших, которых можно было бы собрать вокруг себя для общего дела, привлечь к себе и увлечь за собой; мы мечтали, быть может, по-юношески простодушно, добратся до таких мест, где то, что считается тут преступлением, было бы нашим долгом и правом. А теперь все наоборот: тот честный человек, который после смерти мужа остался моим помощником, всем сердцем мне преданный и во всех смыслах превосходный, держится противоположного мнения.

Я должна сказать вам о нем, прежде чем вы его увидите, хотя предпочла бы сделать это после, так как живое присутствие человека разрешает многие загадки. Будучи почти ровесником моему мужу, он, маленький бедняк, сдружился с зажиточным и щедрым товарищем, а потом привязался к семье, к дому, к промыслу, они вместе выросли и всегда держались вместе, но по природе это были разные люди: один — широкая душа, отзывчив к людям, другой — из-за пережитой в ранней юности нужды замкнут, прижимист, как бы ни было мало приобретенное, и, при всем своем благочестии, больше думает о себе, чем о других.

Я знаю, что он с самого начала заглядывался на меня и считал себя в полном праве, так как я была еще бедней его; но, едва заметив, что друг питает ко мне склонность, он отошел в сторону. Благодаря бережливому усердию, трудолюбию и честности он скоро стал участником в деле. Мой муж втайне помышлял при переселении оставить его тут и поручить ему все, что мы не берем с собой. Вскоре после

смерти моего любимого он постарался сойтись со мной ближе, а с недавнего времени не скрывает, что домогается моей руки. Но к этому примешиваются два странных обстоятельства: против переселения он высказывался уже давно, а теперь усердно добивается, чтобы мы тоже непременно завели у себя машины. Его доводы, конечно, убедительны: ведь в наших горах живет человек, который, пожелай он бросить наши простые станки и соорудить себе сложные механизмы, погубил бы нас всех. Этот человек, в своем деле очень умелый, — мы называем его наладчиком, — предан одной живущей по соседству богатой семье, и можно полагать, что он и сейчас помышляет использовать совершенствующиеся изобретения к своей и к их выгоде. Против доводов моего помощника возразить нечего, потому что время уже упущено, и если они нас обгонят, нам придется сделать то же самое, хотя уже не при таких благоприятных условиях. Вот что меня тревожит и мучит, вот почему такой дорогой для меня человек, как вы, кажется мне ангелом-хранителем.

В ответ я мог сказать мало утешительного, положение представлялось мне таким трудным, что я испросил себе время подумать. Однако она продолжала говорить:

— Мне нужно еще обо многом откровенно сказать вам, и вы увидите, как необычайны мои обстоятельства. Я ничего не имею лично против этого молодого человека, но заменить мне покойного мужа и тем более завоевать мою сердечную склонность он никогда не сможет. — Говоря это, она вздохнула. — С некоторых пор он стал настойчивей, его речи и страстны, и вместе рассудительны. Нельзя спорить ни с тем, что мне необходимо отдать ему руку, ни с тем, что неразумно, помышляя о переселении, упускать из-за этого единственное верное средство к поддержанию дела; а то, что я перечу ему и не отказываюсь от прихоти переселиться отсюда, настолько противоречит, как ему кажется, моему здравому смыслу во всех прочих хозяйственных делах, что при нашем последнем, довольно резком, разговоре явственно слышалось подозрение, будто моя склонность отдана кому-то другому. — Последние слова она произнесла, запинаясь, и потупила глаза.

Предоставляю каждому судить, что творилось у меня в душе при этих словах; но молниеносное размышление подсказало мне, что всякое мое слово только увеличит замешательство. И вместе с тем, стоя так перед нею, я отчетливо

сознал, как сильно я ее полюбил и как необходимо мне собрать все оставшиеся силы разума и здравого рассудка, чтобы помешать себе сейчас же предложить ей руку. Ведь если бы она последовала за мной, думал я, то могла бы все бросить. Но передо мною встали преградой страдания прошлых лет. Зачем тебе надобно допустить в душу новую напрасную надежду, а потом всю жизнь платиться за это?

Некоторое время мы оба молчали, но вдруг Лизхен, — я и не заметил, как она подошла, — появилась перед нами и попросила разрешения провести вечер на соседней кузнице. Позволение было дано без колебаний. Между тем я успел овладеть собой и повел рассказ об общих предметах: как я, путешествуя, сам заметил приближение названной ею угрозы, как с каждым днем становится сильнее и тяга переселиться отсюда, и необходимость сделать этот, покамест еще весьма опасный, шаг. Поспешить в путь, не подготовясь, — значит вернуться, не найдя удачи; нет другого предприятия, которое требовало бы такой осмотрительности и такого разумного руководства. Такие соображения не были для нее новы, она сама много думала об этом, но под конец сказала мне с глубоким вздохом:

— Эти дни, покуда вы у нас, я надеялась утешиться, доверительно рассказав вам все, но мне только стало хуже, я особенно глубоко почувствовала, до чего несчастна.

Она подняла на меня взгляд, но тут же отвернулась, желая скрыть заструившиеся из этих добрых и прекрасных глаз слезы, и отошла на несколько шагов.

Я не хочу оправдываться, но одно лишь желание если не утешить, то хоть занять рассказом эту дивную душу внушило мне мысль заговорить о том необычайном союзе обрекающих себя на разлуку странников, в который я недавно вступил. Незаметно для себя я так увлекся, что едва мог сдержаться, когда обнаружил, что в своей откровенности готов забыть осторожность. Она успокоилась, оживилась, стала удивляться и, представ передо мной во всей своей прелести, начала задавать мне вопросы с таким умом и пристрастием, что я не мог больше уклоняться и рассказал ей все без утайки.

К нам приблизилась Гретхен и сказала, чтобы мы шли к отцу. Девушка была задумчива и, судя по всему, чем-то раздосадована. Прекрасная и Добрая сказала ей вслед:

— Я отпустила Лизхен на вечер, так что займись делами ты.

— Не надо было ее отпускать, — возразила Гретхен, — ничего путного из этого не выйдет; вы и так потакаете этой плутовке больше, чем следует, и доверяете ей не в меру. Я сейчас только узнала, что она вчера написала ему письмо; подслушала, что вы говорите, и сама пошла к нему на свиданье.

Мальчик, который тем временем был оставлен при отце, пришел поторопить нас, потому что старик забеспокоился. Мы вошли, он сел в постели с веселым, просветленным лицом.

— Дети мои, — сказал он, — я провел эти часы в неустанной молитве, не пропустив ни одного из псалмов Давидовых, и хочу добавить от себя, укрепившись в вере: почему человек полагает упования свои лишь вблизи себя? Тут он должен действовать и помочь себе сам, а упования устремлять вдаль и полагаться на бога. — Потом он схватил руку Ленардо и руку дочери, соединил их и произнес: — Пусть будет ваш союз не земным, но небесным; любите друг друга, как брат с сестрою, доверяйте и помогайте друг другу столь же чисто и бескорыстно, как да поможет вам господь.

Сказав это, он откинулся назад с ангельской улыбкой и отошел в вечность. Дочь упала возле кровати на колени, Ленардо — рядом с нею, их щеки соприкоснулись, их слезы вместе окропили руки усопшего.

В этот миг врывается помощник и ошеломленно смотрит на них. Дико сверкая глазами и потрясая черными прядями, молодой красавец восклицает:

— Он умер, умер в тот миг, когда я хотел воззвать к нему, чтобы он вновь обретенным словом решил мою судьбу и судьбу дочери, больше которой я люблю только господа бога и желал бы, чтобы сердце ее исцелилось и могло почувствовать всю силу моей привязанности! Но для меня она потеряна, другой преклонил рядом с нею колени! Благословил ли он вас? Признайтесь же!

Прекрасная между тем встала, поднялся и Ленардо, придя в себя. Она сказала:

— Я вас не узнаю: всегда вы кротки и благочестивы — и вдруг такое неистовство. Ведь вы знаете, как я вам благодарна, как благоволю к вам.

— При чем тут благодарность и благоволение, — отозвался он, сдерживая себя, — когда дело идет о счастье или несчастье всей моей жизни. Меня пугает этот пришелец; стоит мне на него поглядеть, и я перестаю верить в себя, не

надеясь с ним сравняться. Да и как мне уничтожить старые права, разорвать старые узы!

— Когда ты снова придешь в себя,— сказала Добрая, став еще прекрасней, чем прежде,— когда с тобой можно будет разговаривать, как всегда, то я скажу тебе и поклянусь прахом усопшего родителя, что между мною и этим господином, моим другом, нет отношений, которых ты не мог бы знать, одобрить и с радостью разделить.

Ленардо затрепетал до глубины души, все трое стояли в неподвижном безмолвии и задумчивости. Юноша заговорил первым:

— Этот миг слишком торжествен, чтобы не принести с собой решения. То, что я говорю, не сейчас пришло мне в голову, у меня было время все обдумать, так что слушай внимательно. Причиной, по которой ты не желала отдать мне руку, было мое нежелание последовать за тобой, если ты из нужды или по прихоти затеешь переезд. А сейчас я клятвенно заверяю перед лицом этого полноправного свидетеля, что не только не буду ставить преград на твоем пути, но и стану тебе способствовать и повсюду последую за тобой. И взамен этой клятвы, не вынужденной, но лишь ускоренной некоторыми обстоятельствами, я немедленно требую твоей руки.

Уверенно и твердо стоя перед ними, он протягивал руку, они же от неожиданности невольно подались вспять.

— Этим все сказано,— сдержанно, но со смиренно-величавым видом сказал юноша.— Так и должно было случиться, так лучше для нас всех, так угодно было богу. Но чтобы ты не думала, будто я действую из нетерпенья или из прихоти, узнай, что ради тебя я отрекся от гор и скал и как раз все подготовил в городе, чтобы жить по твоей воле. Но теперь я уйду один; ты не откажешь мне в средствах, у тебя останется еще довольно денег, чтобы потерять их здесь, как ты этого опасешься — и опасешься правильно. Я и сам наконец убедился: искусный, умеющий работать мошенник направился в верховья долины, он там устанавливает машину за машиной, и ты увидишь, как он отобьет у всех хлеб; быть может, тогда — и очень скоро — ты призовешь назад верного друга, которого сейчас прогоняешь.

Едва ли случалось, чтобы троем людям было так мучительно глядеть друг на друга: каждый боялся утратить другого, и никто покамест не знал, как можно друг друга сохранить.

Полный страстной решимости, юноша устремился к дверям. Добрая и Прекрасная положила руку на остывшую грудь родителя и воскликнула:

— Нельзя полагать упования свои вблизи себя, должно устремлять их вдаль,— таково было его последнее благословение. Будем же полагаться на бога и доверять самим себе и друг другу, тогда все сладится!

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Наш друг с превеликим интересом прочел все изложенное выше, хотя должен был сознаться, что, еще кончая первую тетрадь, предчувствовал и даже заранее догадывался, что Прекрасная будет найдена и узнана. Описание сурового нагорья вновь перенесло его в памятные места, а предчувствие, посетившее Ленардо в ту лунную ночь, и повторенные строки его собственного письма окончательно навели его на след. Фридрих, которому Вильгельм обстоятельно поведал об этом, согласился с ним.

Но вот мы достигли того момента, когда обязанность повествовать, изображать, излагать все подробно и связно становится все более трудной. Всякий чувствует, что мы приблизились к концу, когда страх увязнуть в подробностях и желание не оставлять читателя без объяснений вносит в нашу душу немалый разлад. Правда, нам только что доставили депешу, из которой мы почерпнули немало сведений, однако и в письмах, и в различных приложениях к ним есть много такого, что не представляет интереса для всех. По этой причине мы намерены свести воедино и вкратце изложить то, что успели узнать тогда, и то, что дошло до нашего сведения позже, завершив таким образом взятое на себя нелегкое дело правдивого повествования.

Прежде всего мы обязаны сообщить, что Лотарио с Терезой, ставшей его женой, и с Наталией, не пожелавшей расставаться с братом, уже отправились в сопровождении аббата к морю. Отплыли они при благоприятных предзнаменованиях, и будем надеяться, что ветер дует им в паруса. У них осталось только одно неприятное чувство, одно душевное огорчение — из-за того, что они перед отъездом не нанесли визита Макарии. Крюк был слишком велик, а начатое дело слишком важно; отъезжающие и так уже корили себя за про-

медление, поэтому пришлось пожертвовать самым священным долгом ради необходимости.

Но нам, коль скоро мы взялись рассказывать и живописать, негоже расставаться с этими дорогими для нас людьми, еще раньше завоевавшими наше расположение, и ничего не поведать о том, как они жили и что делали все это время, тем более что мы давно уже не слышали о них никаких подробностей. И, однако, мы не станем этого делать, поскольку все, чем они до сих пор занимались, было лишь подготовкой к великому предприятию, ради которого они сейчас отплыли в море. Все же мы не теряем надежды радостно встретиться с ними и застать их в разгаре благоупорядоченной деятельности, которая помогает каждому из этих весьма различных по характеру людей обнаружить свою истинную ценность.

Жюльетта, Добрая и Рассудительная, — мы, конечно, не забыли ее, — вышла замуж за человека, который пришелся по сердцу дядюшке тем, что и действовал с ним заодно, и продолжал дело в его духе. В последнее время Жюльетта подолгу бывала у тетушки, где собралось множество лиц, испытавших ее благое влияние, и не только тех, кто оставался на материке, но и тех, кто намеревался отплыть за море. Ленардо с Фридрихом еще раньше отбыли с места, но тем чаще шел обмен посланиями через курьеров.

Хотя в списке гостей мы и недосчитались названных выше благородных особ, зато нашли в нем других лиц, хорошо нам знакомых и сыгравших немалую роль в этом повествовании. Гилария прибыла вместе с мужем, теперь уже капитаном и весьма богатым помещиком. И тут, как и везде, ей за прелесть и любезный нрав легко простили грех, в котором, как мы видели из рассказа о ней, она была повинна: мы имеем в виду чрезмерную легкость, с какой она переходила от одной склонности к другой. Особенно мужчины не придавали этому слишком большого значения: когда такой изъян — единственный, он ничуть не возмущает тех, кто сам надеется дождаться своей очереди.

Однако сейчас, судя по всему, ее чувствами целиком владел Флавио, ее муж, крепкий, жизнерадостный и довольно привлекательный; сама она, как видно, простила себе прошлые провинности, и у Макарии не было повода поминать о них. Флавио, по-прежнему увлекавшийся стихотворством, попросил разрешения прочесть на прощанье оду, которую он сочинил в честь Макарии и ее близких за те немногие дни, что провел у нее. Многим случалось видеть, как он рас-

хаживает под открытым небом, останавливается, потом, взмахнув руками, бросается вперед, что-то пишет на грифельной доске, задумывается и снова пишет. Теперь он, судя по тому, что передал через Анжелу свою просьбу, считал сочинение законченным.

Добрая Макария дала согласие, хотя и безо всякой охоты, и ода была выслушана, хотя при этом не узнали ничего нового и не испытали никаких новых чувств. Правда, стиль изложения был легок и приятен, рифмы и слог кое-где необычны, и хотелось только, чтобы все в целом было покороче. Под конец стихи, красиво переписанные на бумагу с узорной каймой, были вручены, и обе стороны расстались, довольные друг другом.

Эта чета возвращалась из долгой и благотворной для обоих поездки на юг, чтобы дать возможность отцу-майору отлучиться из дому, ибо он желал вместе с неотразимой вдовушкой, с недавних пор его супругой, также освежиться глотком райского воздуха.

Они также, в свой черед, побывали у Макарии, которая была особенно милостива к удивительной особе, везде умевшей снискать расположение, и даже приняла ее наедине во внутренних комнатах; потом эта чрезвычайная честь была оказана и майору. Последний заслужил одобрение, проявив себя и образованным военным, и хорошим хозяином, и любителем словесности, и даже дидактическим поэтом, а потому был тепло принят у астронома и у прочих домочадцев.

Особенно отличил его достопочтенный старый дядюшка, который, живя неподалеку, наезжал теперь чаще, чем обыкновенно, хотя всего на несколько часов, так что, несмотря на предложенные удобства, его так ни разу и не убедили переночевать в гостях.

Несмотря на краткость этих визитов, его присутствие было весьма приятно, ибо, будучи человеком светским, он старался явиться покладистым и общительным, причем даже доля аристократического педантизма не могла испортить удовольствие. К тому же его благодушие было небеспричинно: он чувствовал себя счастливым, как все мы, когда нам предстоит вести важные дела с людьми разумными и сведущими. Предприятие, начатое очень широко, было на полном ходу и неуклонно двигалось в соответствии с тщательно подготовленным соглашением.

Скажем о нем лишь в главных чертах. За морем у дядюшки есть доставшиеся от предков владения. Что это зна-

чит, пусть объяснит своим друзьям тот, кто знает тамошние обстоятельства, а нас это завело бы слишком далеко. Обширные земли были розданы в аренду и, в силу многих неблагоприятных обстоятельств, приносили мало дохода. Известное нам товарищество получает на них право собственности в государстве с совершенным гражданским устройством и, приобретя в нем влияние, может извлекать отсюда выгоду и распространять свои владения за счет невозделанной пустыни. В этом хотят особенно отличиться Ленардо с Фридрихом, ибо им требуется показать, как можно все начать сначала и пойти естественным путем.

Едва отбыли вышеназванные лица, весьма довольные своим визитом, как было доложено о гостях иного рода, принятых, однако, столь же радушно. Мы никак не ожидали увидеть в столь священном месте Филину и Лидию, но тем не менее они явились. Замешкавшийся в горах Монтан должен был заехать за ними и кратчайшей дорогой отвезти к морю. Их радостно встретили домоправительницы, ключницы и прочая женская прислуга. С Филиною было двое очаровательных детишек. Просто, но мило одетая, она всегда носила при себе не очень большие английские ножницы, привешенные на длинной серебряной цепочке к расшитому цветами поясу, и время от времени, словно желая особо подчеркнуть свои слова, начинала кроить и кромсать ими воздух, каковая странная манера весьма потешала зрителей, а затем наводила их на мысль о том, неужели в таком большом доме не найдется ничего для кройки. Конечно, тут же вспомнили о невестах, которым надо было приготовить приданое, так что Филинино усердие пришлось кстати. И вот она посмотрит, как выглядит в этих местах народный костюм, заставит девушку раза два пройтись перед нею — и начинает кроить, причем благодаря уму и вкусу умеет и сохранить особенно сти местного наряда, и придать ему изящество, сгладив все, что в нем есть дикарского, да так неприметно, что одетые ею девушки всем — и самим себе тоже — нравятся больше прежнего и не робеют, отступая от исконного обычая.

Потом в дело вступила наилучшая ее помощница Лидия, которая шила так же ловко, быстро и красиво, и можно было надеяться, что с помощью других женщин невесты будут наряжены скорее, чем ожидали. Девушки даже не имели права надолго отлучаться, — Филина, не упуская ни одной мелочи, обращалась с ними как с куклами или театральными статистками. Пучки лент и прочие украшения, принятые в этой

местности, были распределены так искусно, что взгляду хоть немного открылись статность тел и тонкость стана, прежде скрытые из-за дикарской приверженности обычаю, а грубоватость сложения, сглаживаясь, казалась даже привлекательной.

Но там, где жизнь течет равномерно, чье угодно излишнее усердие становится всем в тягость. Филина со своими ненасытными ножницами попала в ту комнату, где хранился запас всяческих тканей, чтобы одевать домочадцев. Увидев перед собой возможность все это раскроить, Филина испытала величайшее блаженство, но так как она не ведала ни меры, ни предела, то ее пришлось выставить из кладовой и накрепко замкнуть двери. Анжела только потому не пожелала оказаться в числе наряжаемых невест, что боялась безудержной закройщицы; вообще отношения между ними оставляли желать лучшего, но разговор об этом впереди.

Монтан медлил приездом дольше, чем предполагали, и Филина настояла, чтобы их представили Макарии. Это было сделано, так как все надеялись тем скорей от нее избавиться, и, право, зрелище оказалось примечательное: две грешницы, с двух сторон простерты у ног святой. Филина, между двумя детьми, которых она изящным движением заставила склониться перед Макарией, проговорила с обычным задором:

— Я люблю мужа, люблю детей, мне не лень на них работать и на других тоже, а остальное ты мне простишь!

Макария отпустила Филину с благословением, и та удалилась, благопристойно ей поклонившись.

Лидия простерлась по левую руку от святой и, уткнувшись лицом в ее колени, горько плакала, не в силах произнести ни слова. Макария, желая унять ее слезы, потрепала ее по плечу, потом, полная милосердия, раз и другой горячо поцеловала склоненную голову там, где волосы разделял пробор. Лидия сначала встала на колени, потом поднялась на ноги и взглядом, полным чистой радости, посмотрела на свою благодетельницу.

— Что со мной творится! — сказала она. — С моей головы в один миг сняли тяжкий гнет, который отнимал у меня если не рассудок, то способность думать! Я могу смотреть ввысь и устремляться мыслями ввысь, и, по-моему, — добавила она, глубоко переводя дыхание, — мое сердце стремится им вслед.

В этот миг отворилась дверь, и вошел Монтан, — ибо чаще всего тот, кого ждут слишком долго, появляется внезапно

и неожиданно. Лидия без смущения пошла ему навстречу, радостно обняла его и подвела к Макарии, восклицая:

— Ты должен знать, чем обязан божественной, и вместе со мной преклонить перед нею колени.

Монтан, который был так изумлен, что вопреки обыкновению немного растерялся, с достоинством поклонился почтенной даме и сказал:

— Мне сдается, я многим ей обязан, ибо я ей обязан тобой. Ты впервые встречаешь меня с открытым сердцем, впервые прижимаешь меня к груди, хотя я давно уже заслужил это.

Здесь мы должны по секрету сообщить, что Монтан любил Лидию с ее ранней юности, что Лотарио, куда более нравившийся женщинам, увел ее у Монтана, но тот остался верен другу и возлюбленной и в конце концов, к немалому удивлению наших прежних читателей, взял ее в жены.

И эта чета, и Филина, чувствуя себя в европейском обществе стесненно, с трудом удерживали рвущуюся наружу радость, едва только речь заходила о том, что ожидает их за морем. Филинины ножницы лязгали, а хозяйка их, рассчитывая получить монополию на поставку одежды для всей колонии, красноречиво описывала запасы сукон и полотна и кроила воздух, заранее воображая, по собственным словам, ту обильную ниву, которую ей предстоит жать.

Лидия, в чьей душе счастливое благословение вновь пробудило любовь и участие к людям, видела в мыслях сотни учениц, целое племя домашних хозяек, обученных ею и приученных к порядку и опрятности. Вдумчивый Монтан воочию видел перед собой такие запасы свинца, меди, железа и каменного угля, что порой готов был объявить, будто весь его прежний опыт сводился лишь к робким попыткам наугад, но зато там он будет отважно снимать богатый, щедрый урожай.

Можно было предвидеть, что Монтан быстро сговорится с нашим астрономом. Их беседы в присутствии Макарии были весьма занимательны, но лишь немногие из них мы находим записанными, так как с некоторых пор Анжела стала менее внимательно слушать и менее тщательно заносить их на бумагу. Кроме того, ей могло казаться, что многое в них слишком общо и не вполне понятно для женского ума. Поэтому мы по ходу дела вставим в рассказ только одну из относящихся к тем дням речей, которая дошла до нас записанной не рукою Анжелы.

Занимаясь науками, особенно имеющими своим предметом природу, столь же трудно, сколь и необходимо исследовать, действительно ли то, что завещано нам исстари и принималось нашими предками за истину, достаточно обоснованно и достоверно для того, чтобы служить фундаментом дальнейших построений, или же унаследованные верования окостенели и не способствуют движению, но ведут к застою. Есть и примета, помогающая такому исследованию: остается ли принятое мнение по-прежнему живым, способствует и помогает ли оно деятельному стремлению вперед.

Напротив, все новое надобно испытывать, задавая вопрос: дает ли принятое мнение действительный прирост или все дело в единомыслии моды; ибо суждение, высказанное людьми настойчивыми, распространяется в толпе подобно поветрию и зовется господствующим, каковое притязание для добросовестного исследователя лишено смысла. Пусть государство и церковь изыскивают всяческие причины провозглашать свое господство: им приходится иметь дело со строптивой людской массой, а для поддержания порядка все средства хороши; но в науке необходима полнейшая свобода, так как в ней работают не для сегодняшнего и не для завтрашнего дня, а для бесчисленных веков, безостановочно движущихся вперед.

Пусть даже ложь возьмет в науке верх, — все равно останется меньшинство, стоящее за истину; и пусть истина найдет убежище в уме единственного человека, — это тоже ничего не значит. Такой человек будет непрестанно творить в тиши и в тайне, и придет время, когда его възьдутся и спросят о нем, о его убеждениях, или когда свет распространится настолько, что их можно будет высказать без опасений.

Речь зашла и еще об одном, не столь общем, но непостижимом и странном предмете: Монтан рассказал, как при изысканиях в горах и исследованиях недр ему помогало некое лицо, наделенное удивительным свойством — особого рода связью со всем, что может быть названо каменной породой, минералами, вообще первичными стихиями. Лицо это не только испытывало воздействие подземных вод, металлических жил, пластов каменного угля и прочего, что обычно залегает большими массами, но, что более странно, чувствовало себя по-разному, когда менялась почва. Особое воздействие оказывали на это лицо различные горные породы, о чем сам Монтан мог получить от него разъяснения после того, как выработал странный, но вполне удовлетворявший обоих

язык; было проведено несколько испытаний, и названное лицо удивительным образом выдержало их по всем статьям, доказав, что умеет различать и физические и химические элементы и даже на взгляд отличать легкое от тяжелого. Это лицо, — какого оно пола, Монтан не пожелал объяснять, — он отправил вперед вместе с отъезжающими друзьями, надеясь, что оно будет весьма полезно для его целей в новых неисследованных местах.

После этого доверительного сообщения астроном открыл Монтану свое суровое сердце и с позволения Макарии поведал ему тайну ее связи со вселенской системой. Благодаря позднейшим рассказам астронома, мы можем сообщить хотя и немного, но главное из их бесед об этом важном предмете.

Нельзя не удивляться сходству приведенных случаев, хотя они и весьма различны. Один из друзей, чтобы не превратиться в Тимона, опустился в глубочайшие бездны земли и обнаружил там, что в человеческой природе есть нечто аналогичное самой косной и грубой из стихий; другому дух Макарии явил на живом примере, что особо одаренным натурам присуща способность не только пребывать на месте, как в первом случае, но и уноситься вдаль и что нам нет нужды ни пробиваться к центру земли, ни удаляться за пределы нашей солнечной системы, — довольно не оставаться праздным и, отдав все внимание деянию, почувствовать себя призванным к нему. Земля и ее недра — это мир, где имеется все необходимое для самых высоких земных потребностей, тот сырой материал, обработка которого есть дело высших человеческих способностей; избрав этот духовный путь, мы непременно обретем любовь и участие, придем к свободному и целесообразному труду. Кто заставил эти миры сблизиться и обнаружить присущие обоим свойства в преходящем феномене жизни — тот воплотил в себе высший образ человека, к какому должен стремиться каждый.

Согласившись в этом, друзья заключили союз и решили не делать тайны из своих наблюдений, ибо даже тот, кто с усмешкой признает их сказками, уместными разве что в романе, может все-таки увидеть в них иносказательное изображение того, к чему следует стремиться.

Вскоре Монтан уехал вместе с обеими своими спутницами, причем если его с Лидией охотно задержали бы еще, то беспокойная Филина стала совсем уж в тягость привыкшим к покою и порядку обитателям дома, особенно благород-

ной Анжеле, чье неудовольствие было усугублено особыми обстоятельствами.

Мы уже заметили выше, что Анжела, занятая, судя по всему, чем-то посторонним, стала хуже, чем раньше, исполнять свою обязанность внимательно слушать и записывать все разговоры. Чтобы объяснить такую аномалию в поведении столь преданной порядку особы, привыкшей обращаться в кругу людей самых нравственных, нам придется под конец этого объемистого сочинения вывести на сцену еще одно действующее лицо.

Наш старый, испытанный компаньон в торговых делах — Вернер, чьи негоции умножались и расширялись до бесконечности, должен был постоянно искать новых помощников, которых брал к себе только после предварительного испытания. И вот одного из них он посылает к Макарии, для переговоров о выплате значительных сумм, которые эта дама решила и обещала уделить от своих богатств новому предприятию — главным образом ради своего любимца Ленардо. Рассудительный молодой человек, недавно ставший помощником и младшим компаньоном Вернера, был в своем роде чудом, его талант — необычайное умение считать в уме — привлекает к нему интерес как везде, так особенно среди участников предприятия, которым приходится вести счета товарищества и справляться со всяческой цифирью. Да и в повседневном общении, где даже в толках и перетолках о делах света речь то и дело заходит о цифрах, денежных суммах и расчетах, такой человек непременно оказывается желанным собеседником. К тому же он очаровательно играет на фортепиано, в чем ему помогает способность к счету в сочетании с приятными природными задатками. Звуки легко сливаются у него под пальцами в аккорды, к тому же он порой дает понять, что ему доступны и большие глубины, и все это прибавляет ему привлекательности, хотя он и скуп на слова, а в том, что он говорит, мало прочувствованного им самим. Во всяком случае он выглядит моложе своих лет, в нем даже можно заметить что-то детское. Как бы то ни было, он завоевал благосклонность Анжелы, а она — его благосклонность, чем Макария осталась весьма довольна, ибо давно уже мечтала увидеть благородную девушку замужем.

Прежде Анжела, вечно одержимая сомнениями и чувствовавшая, как трудно найти ей заместительницу, уже неоднократно отвергала предложения влюбленных женихов, а может быть, и подавляла в себе невысказанную склонность;

но теперь, когда стало возможно не только подумать о премнице, но и почти что определить ее, наша девица, застигнутая врасплох тем, что гость ей понравился, позволяет первому впечатлению углубиться и перейти в страсть.

Мы же теперь можем открыть читателю самое важное; ведь то, о чем мы давно уже ведем речь, успело постепенно образоваться, потом прийти в расстройство, потом опять наладиться.

Отныне принято решение, что Прекрасная и Добрая, прежде именовавшаяся Смуглолицей, становится компаньонкой Макарии. Этот вкратце изложенный проект, одобренный также Ленардо, близок к осуществлению, так как все, кого он касается, пришли к согласию. Сусанна уступает все имущество помощнику, тот женится на младшей дочери упомянутого трудолюбивого семейства и становится свояком наладчика. Это дает возможность установить в новых, годных для совместного труда помещениях более совершенное оборудование и производить ткани по-новому, так что дела у трудолюбивых жителей долин пойдут отныне намного бойчее.

По этой причине любезная нам особа освобождается и поступает к Макарии на место Анжелы, уже обручившейся со своим избранником. Таким образом, покамест все устроилось, остается нерешенным только то, чего нельзя решить.

Но Прекрасная и Добрая требует, чтобы за нею приехал Вильгельм: есть дела, которые предстоит еще уладить, и для нее очень важно, чтобы именно он завершил то, чему, в сущности, положил начало. Он первым нашел ее, а потом удивительный рок повел Ленардо по его следам, и теперь она желает, чтобы он непременно облегчил ей прощание с привычными местами и сам испытал радость и успокоение от того, что хотя бы отчасти вновь взял в руки и связал запутавшиеся нити судьбы.

Теперь, однако, ради вящей полноты, мы должны посвятить читателя в тайны духовной и душевной жизни наших героев и сообщить вот что: Ленардо ни словом не обмолвился о своем желании теснее связать себя с Прекрасной и Доброй, но куда велись переговоры и в обе стороны летели письма, у нее постарались деликатно выпытать, как она отнеслась бы к такому союзу и к чему бы склонилась, если о том пойдет речь. Из ее ответа можно было заключить следующее: она полагает, что недостойна вознаградить благородного друга за столь сильную привязанность, отдав ему

только часть души,— такое чувство требует, чтобы женщина отдала все богатства своего существа, она же не может предложить такого дара. Воспоминание о женихе, о муже и о связывавших их узах еще живет в ней, поглощая все ее существо, не оставляя места для новой любви и страсти, так что она не может и помыслить ни о чем, кроме чистой дружбы и глубочайшей благодарности. На том и успокоились, а так как Ленардо сам не касался этого вопроса, то и не было необходимости ни о чем ставить его в известность.

Тут, как мы надеемся, уместно будет вставить некоторые общие замечания. Все прошедшие перед нами лица относились к Макарии с доверием, но и с благоговением, ощущая присутствие высшего существа, что, однако, никого не сковывало и позволяло каждому оставаться таким, каким создала его природа. Все являлись перед ней в своем подлинном облике без опасений, как не показываются ни родителям, ни друзьям, ибо каждому хотелось и от каждого требовалось обнаружить самое доброе, самое лучшее, что в нем было,— и это становилось источником всеобщего удовлетворения.

Мы не можем умолчать, что при всех этих рассеивающих внимание обстоятельствах Макария по-прежнему пеклась о Ленардо и не раз беседовала о его положении со своими присными: Анжелой и астрономом. Им казалось, что душа Ленардо лежит перед ними как на ладони: сейчас он спокоен, так как предмет его забот нашел счастье, а о будущем на все случаи жизни позаботилась Макария. Теперь он должен решительно приступить к своему великому делу, предоставив все остальное ходу событий и судьбе. При этом можно было предполагать, что силы для великого предприятия дает Ленардо мысль о том, что позже, прочно обосновавшись за морем, он призовет или даже сам заберет ее туда.

Нельзя было не сделать общих замечаний и по этому поводу, ибо явилась возможность подробно наблюдать редкий случай: страсть, порожденную угрызениями совести. Припоминались другие примеры чудесного преобразования однажды полученных впечатлений, таинственного развития врожденной склонности и долгой тоски. С сожалением говорилось о том, что в таких случаях советы бесполезны, хотя польза и требует по возможности сохранять ясность ума и целиком не подчиняться страсти.

Добравшись до этого пункта, мы не можем противостоять искушению привести тут листок из нашего архива, где речь

идет о Макарии и об особом свойстве ее духа. К сожалению, написана эта бумага по памяти, спустя много времени после того, как содержащиеся в ней сведения были нам сообщены, и потому не может быть признана подлинным документом, как то было бы желательно в столь важном случае. Но на нет и суда нет, мы же надеемся, что и сказанное здесь насторожит читателя и заставит его задуматься, не замечал ли он где-нибудь то же самое или хотя бы нечто подобное и не встречал ли записей об этом.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Между Макарией и нашей солнечной системой существует некая связь, которую мы едва осмеливаемся определить словами. Дело не только в том, что дух, душа и воображение Макарии заключают в себе солнечную систему, которую она постоянно созерцает, — сама Макария есть как бы часть этой системы, она зримо для себя особым образом движется по небесным кругам, вращаясь с самого детства вокруг Солнца, причем, как открыли недавно, по спиральной орбите, которая несет ее все дальше от средоточия к внешним сферам.

Если допустить, что всякое существо как существо телесное стремится к центру, а как существо духовное — к внешней окружности, то Макарию должно отнести к числу самых духовных натур: она кажется рожденной лишь для того, чтобы сбросить земную оболочку и проникнуть во все ближние и дальние области бытия. Это свойство, сколь оно ни дивно, сама Макария с малых лет воспринимала как возложенный на нее тяжкий долг. Как она помнит, ее внутреннее «я» всегда было пронизано некоей светящейся субстанцией, озарено светом, не уступавшим яркостью солнечному сиянию. Часто она созерцала два Солнца — одно внутри себя и одно на небе — и две Луны, причем Луна вне ее во всех фазах сохраняла одинаковую величину, а Луна внутри непрерывно уменьшалась.

Этот дар отвлекал Макарию от безразличной ей обыденности, однако ее родители, люди незаурядные, сделали все для ее воспитания, так что ни одна ее способность не осталась втуне, ни одно умение — праздным, и хотя сердце и дух у ней были полны неземными видениями, она имела довольно сил, чтобы справляться с внешними обстоятельствами, а все ее дела и поступки неизменно отвечали требова-

ниям самой возвышенной нравственности. Так она и росла, безотказная в помощи, готовая служить ближним в большом и в малом, подобная ангелу господню на земле, между тем как духовное ее существо, вращаясь вокруг освещающего наш мир Солнца, двигалось по все расширяющимся кругам к надмирным пределам.

Это состояние отчасти умерялось и смягчалось тем, что и в ней, по-видимому, происходила смена дня и ночи, и когда внутренний свет мерк, она старалась неукоснительно выполнять внешние обязанности, а когда внутри у ней вновь разгоралось сияние, она предавалась блаженному покою. По ее словам, она заметила, что порой вокруг нее сгущается некое подобье облаков, которые на время мешают ей видеть свет ее небесных спутников: такие периоды она всегда умела использовать на благо и на радость своим близким.

Пока она таила свои прозрения, ей было нелегко переносить их, а то, что она о них рассказывала, не получало веры либо неверно истолковывалось, поэтому всю свою долгую жизнь она соглашалась на то, чтобы посторонние считали ее состояние болезнью, как в семействе говорят о нем и поныне. Но в конце концов счастливый случай свел ее с человеком, которого вы уже встречали здесь; равно искушенный в медицине, математике и астрономии, к тому же отличавшийся высоким благородством, он сначала сблизился с ней только ради любопытства. Но когда она, проникнувшись доверием, постепенно описала ему свои состояния, связала настоящее с прошедшим и показала взаимозависимость событий, необычайное явление настолько его увлекло, что он уже не мог с нею расстаться и день за днем старался глубже проникнуть в эту тайну.

Он сам недвусмысленно дал понять, что вначале считал все лишь самообманом, так как Макария не отрицала, что с юности звездословие всегда занимало ее и она, став весьма в нем сведущей, все же не упускала возможности с помощью книг и приборов еще наглядней представить себе строение Вселенной. Поэтому его никак нельзя было убедить, что все это отнюдь не просто затвержено. Он упорно предполагал здесь влияние памяти и ни на что другое не отвлекаемого воображения, которым содействует сильный ум и особенно скрытые способности к счислению.

Как математик он упрям, как человек трезвого ума недоверчив, поэтому сопротивление его было долгим; однако он тщательно примечал все, что она сообщала, старался

достичь последовательность происшедшего за много лет, обращая особое внимание на последнее время, когда все сообщаемое Макарией согласовалось с истинным расположением светил, и наконец воскликнул: «Почему бы и вправду богу и природе не создать живую армиллярную сферу, не построить одушевленный часовой механизм, который мог бы на свой лад делать то же, что ежедневно и ежеминутно делают часы,— следить за ходом небесных тел?»

На этом, однако, мы и остановимся: ведь невероятное требует всякую цену, если хотят рассмотреть его во всех подробностях. Скажем только, что все вычисления основывались вот на чем: наше Солнце казалось ясновидящей в ее прозрениях меньше того, каким она видела его днем; также и необычное положение этого духовного светила в круге зодиака позволяло сделать некоторые выводы.

С другой стороны, путаница и сомнения возникали оттого, что Макария указывала на одновременное появление в одном из зодиакальных созвездий двух светил, между тем как заметить это на небе не удавалось. Возможно, то были тогда еще не открытые малые планеты. Ведь из других указаний Макарии можно было заключить, что она давно уже вышла за орбиту Марса и приближалась к орбите Юпитера. Было очевидно, что она некоторое время с изумлением наблюдала — трудно сказать, с какого расстояния — эту планету во всем ее величии и созерцала игру движущихся вокруг нее лун; но — странное дело — видела она Юпитер подобным убывающей Луне, однако перевернутой, такой, какой она бывает, вырастая. Из этого заключили, что Макария видела планету сбоку и, следовательно, должна вот-вот выйти за его орбиту и устремиться в бесконечное пространство по направлению к Сатурну. Туда за нею не способно последовать ничье воображение, но мы надеемся, что такая энтелехия не покинет совсем нашу солнечную систему, но, достигнув ее пределов, почувствует влечение вспять, чтобы возродиться к земной жизни и облагодетельствовать наших правнуков.

На этом мы, в надежде на то, что читатель простит нас, заканчиваем нашу эфирную поэму и возвращаемся к земной сказке, вскользь упомянутой нами выше.

Монтан с видом величайшей искренности рассказывал, что то лицо, которое могло по чувству различать каменные породы, отбыло в далекий край с первой партией переселенцев; однако внимательному знатоку человеческой души его

слова наверняка показались бы неправдоподобны. Неужели Монтан или подобные ему расстались бы с такой живою рудознатской лозой? Вскоре после его отъезда среди младшей челяди пошли всяческие толки и странные рассказы, постепенно возбуждившие сомнения на этот счет. Дело в том, что Филина и Лидия привезли еще одну женщину, выдавая ее за горничную, хотя та совершенно не годилась для этой роли и ни разу не была позвана хозяйками, когда они одевались или раздевались. Простое платье ладно сидело на ней, облекая крепкое, хорошо сложенное тело; однако и одежда, и весь облик выдавали в ней деревенскую жительницу. Ее поведение, ничуть не будучи грубым, не обнаруживало и следа того светского воспитания, карикатурой которого бывают манеры каждой горничной. Скоро она нашла себе подходящее место среди челяди, присоединяясь к занятым в саду или в поле и работая лопатой за двоих и за троих. Грабли тоже так и летали у нее в руках, и большой участок вспапанной земли в два счета становился похож на тщательно выровненную грядку. Держалась она тихо и вскоре завоевала общее расположение. Слуги рассказывали, что она часто клала лопату и пускалась без дороги через поле к какому-нибудь скрытому роднику, чтобы утолить жажду. Это повторялось ежедневно: всякий раз, когда ей нужно было, она, не сходя с места, определяла, где есть источник чистой воды.

Таковы были свидетельства, задним числом подтверждавшие то, что говорил об этой примечательной особе Монтан, пожелавший, однако,— наверное, во избежание обременительных испытаний и ненужных проб,— скрыть ее присутствие от благородных хозяев дома, которые заслуживали, конечно, большего доверия. Мы же хотели сообщить то, что нам известно, как бы ни было неполно наше изложение, и дружески побудить пытливых читателей обратить внимание на подобные случаи, благо их можно обнаружить по какой-либо примете чаще, чем принято думать.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Управитель барской усадьбы, еще недавно оживляемой присутствием наших странников, был человек по природе деятельный и оборотистый, не упускавший выгоды ни для своих господ, ни для себя; сейчас он с особой охотой засел за счета и отчеты, в которых не без самодовольства старался

изложить и объяснить, как велики доходы, полученные от пребывания гостей в подвластном ему округе. Однако сам он был убежден, что барыш — самая малая из выгод, так как заметил, какое сильное действие оказывают на всех трудолюбивые, умелые, непредубежденные и отважные люди. Одни уехали, чтобы поселиться за морем, другие разошлись, чтобы пристроиться на материке; но он обнаружил еще одно обстоятельство, из которого тотчас же вознамерился извлечь пользу.

Когда настал срок разлуки, выяснилось то, что можно было заранее предвидеть и предсказать: многие из молодых, крепких гостей более или менее коротко сошлись с хорошенькими дочками местных жителей. Но только у немногих хватило мужества в тот день, когда Одоард отбыл со своими людьми, решительно объявить, что они остаются; из переселенцев, поехавших с Ленардо, не остался ни один, но многие уверяли, что согласны скоро воротиться и осесть на месте, где им обеспечат заработок, позволяющий не бояться за будущее.

Управитель, который знал и нрав, и домашние обстоятельства каждого из подданных своего маленького государства, как истинный себялюбец про себя посмеивался над тем, что люди приняли на себя столько забот и расходов ради будущей деятельной и свободной жизни за морем или в глубине страны, а наибольший доход от этого получил, не выходя из дому, он, управляющий, не упустивший случая собрать и оставить при себе несколько отличных работников. Дух нашего времени помогал ему мыслить шире, поэтому он находил естественным, что разумно направленная щедрость и благотворительность дает похвальные и полезные плоды, и намеревался предпринять что-нибудь в том же роде в подчиненной ему округе. К счастью, многие зажиточные ее обитатели одновременно вынуждены были по закону выдать дочек за тех парней, что прежде времени стали их мужьями. Управляющий доказал им, что такое семейное несчастье есть великая удача, а поскольку и на самом деле все сложилось так удачно, что жребий этот постиг самых лучших из ремесленников, то он считал совсем уже нетрудным пустить в ход мебельную фабрику, благо для нее не требуется ни просторного помещения, ни особого оборудования, а нужны только умелые руки да запас сырья. О нем обещал позаботиться управляющий; жен, помещенье и склады давали местные жители, а умелые руки были у новых поселенцев. Все это оборотистый делец смекнул про себя.

еще тогда, когда вокруг кишела суматошливая толпа, и поэтому сейчас, едва наступило спокойствие, мог сразу же приступить к делу.

Да, покой, подобный кладбищенскому, воцарился и на барском дворе, и на улицах селения, едва схлынул людской поток; но и среди этого покоя нашего дельца оторвал от счетов и расчетов оклик внезапно подскакавшего всадника, нарушившего его душевный мир. Правда, конь не стучал копытами, так как не был подкован, но всадник соскочил с покрытого попоной скакуна,— он ехал без седла и стремян и правил одним только трензелем,— и стал громко и нетерпеливо спрашивать о гостях и обитателях дома: мертвая тишина, которую он застал, явно удивила и огорчила его.

Слуга при конторе не знал, что ему делать с незнакомцем, началась перепалка, на нее вышел сам управляющий, но и он мог сказать только одно: что все уехали.

— Куда? — поспешно спросил молодой и горячий незнакомец.

Управляющий терпеливо объяснил, какими путями отправились Ленардо, Одоард и тот загадочный гость, которого они называли кто — Вильгельмом, кто — Мейстером и который отправился к реке, протекавшей в нескольких милях, чтобы сесть на судно и отплыть вниз,— сперва он собирался навестить сына, а потом продолжить свое важное дело.

Юноша, уже вскочив на коня, осведомился, как ближе проехать к реке, потом поскакал к воротам и исчез так быстро, что смотревший ему вслед из верхнего окна управляющий только по развеивающемуся облачку пыли мог понять, что сумасбродный ездок свернул на правильную дорогу.

Едва развеялась вдали пыль и наш управляющий собрался снова сесть за работу, как к верхним воротам усадьбы подошел пеший посыльный и тоже спросил о членах товарищества: его спешно послали с дополнительными поручениями к ним. У посыльного был большой пакет и еще отдельное письмо на имя некоего Вильгельма, по прозванию Мейстер; вручившая его курьеру девица велела ему не за страх, а за совесть передать послание как можно скорее. Но увы, и ему могли сообщить только о том, что гнездо опустело, а он должен поспешить дальше, в надежде либо догнать самих странников, либо получить о них дальнейшие сведения.

Само это письмо только что обнаружено среди множества доверенных нам бумаг; оно так важно, что мы не вправе утаить его. Написано оно Герсилией, девицей столь же оча-

ровательной, сколь и своенравной, которая появляется на этих страницах нечасто, но при каждом появлении неодолимо привлекает всякого, кто наделен умом и тонкими чувствами. К тому же судьба ее — самая странная из всех, какие могут постигнуть нежную душу.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Герсилия — Вильгельму

Я сидела и думала, сама не знаю о чем. На меня иногда нападает такая бездумная задумчивость, что-то вроде ясно ощущаемого безразличия ко всему. Вдруг меня пробуждает ворвавшийся во двор конь, дверь распахивается, входит Феликс, блещущий юностью, как языческое божество. Он спешит ко мне, хочет меня обнять, я отстраняю его; он, как видно, не очень этим задет, держится на расстоянии, весело расхваливает скакуна, на котором приехал, подробно и доверительно рассказывает о своих упражнениях, о своих радостях. Старые воспоминания наводят нас на мысль о ларчике; Феликс знает, что он у меня, и непременно желает на него взглянуть; я соглашаюсь, нет никакой возможности отказать ему. Он разглядывает ларчик, подробно рассказывает, как отыскал его, я в замешательстве выбалтываю ему, что ключик тоже в моих руках. Его любопытство разгорается, он желает увидеть и ключик, хотя бы издали. Невозможно просить более настоятельно и притом более ласково; он просит, как молится, просит коленопреклоненно, его огненные глаза так прекрасны, а речи так сладки и вкрадчивы, что я снова впадаю в искушение. Я издали показываю ему мою чудесную тайну, но он хватает меня за руку, вырывает ключик и с дерзким видом отбегает прочь, обогнув стол.

— Что мне ларец, что мне ключик! — кричит он. — Твое сердце — вот что я хочу отомкнуть! Пусть оно раскроется мне навстречу, пусть прижмет меня к себе, пусть позволит мне прижать себя к груди!

Он был так хорош собой, так очарователен; когда я подошла к нему, он стал отступать, передвигая ларчик по столу. Вот ключик уже вставлен в скважину, Феликс грозит повернуть его — и поворачивает, но ключик ломается, и верхняя половинка падает на стол.

Тут я совсем растерялась, он, воспользовавшись моей рассеянностью и оставив ларчик, бросается ко мне и крепко

обнимает. Я боролась напрасно, его глаза все приближались к моим, и есть ли что отраднее, чем видеть свое отражение в глазах любящего? Я видела это впервые. Он порывисто прижался губами к моим губам, и хочу сознаться, что я ответила на его поцелуи: ведь это так отрадно — дарить другому счастье. Но я вырвалась, я с полной ясностью увидела, какая нас разделяет пропасть; вместо того чтобы овладеть собой, я перешла меру и гневно оттолкнула его; смущение придало мне храбрости и рассудительности; я угрожала, бранила его, приказывала ему не являться ко мне на глаза, и он поверил в искренность моих восклицаний.

— Ладно, — сказал он, — я уеду и буду странствовать по свету, пока не погибну.

Вскочив на лошадь, он умчался прочь. Все еще как в полусне, я собираюсь припрятать ларчик: половинка ключика валяется на столе, а у меня голова идет кругом от растерянности.

О, мужчины, о, люди! Неужто никогда не прибудет у вас разума? Мало того что отец наделал столько бед, — нужен еще и сын, чтобы мы совсем уж запутались?

Эта исповедь некоторое время пролежала у меня, но теперь прибавилось еще одно обстоятельство, о котором я должна сообщить, ибо оно и проясняет и затемняет сказанное прежде.

К нам приходит старый золотых дел мастер и ювелир, которого весьма ценит дядюшка, и показывает нам драгоценные антики; меня просят принести ларчик, он осматривает сломанный ключик и указывает нам на то, чего мы сами не заметили; место слома не шероховато, а гладко. Приложенные друг к другу, обе половинки ключа сцепились, мастер извлек его в целости из скважины, половинки держались прочно, связанные магнетической силой, но открыть замок мог бы только посвященный. Старик отошел на несколько шагов, ларчик раскрылся сам собой, но он тотчас же опустил крышку; по его словам, к таким тайнам лучше не притрагиваться.

Мое состояние так необъяснимо, что Вы его, слава богу, не можете себе представить: ведь тому, у кого голова не идет кругом, головокружение непонятно. Знаменательный ларчик стоит передо мной, в руках у меня ключ, который не отпи-

рает; я согласилась бы, чтобы ларчик остался замкнутым, лишь бы ключик отомкнул передо мной ближайшее будущее.

Обо мне покамест не тревожьтесь, но вот о чем я Вас настоятельно прошу, умоляю, заклинаю: ищите Феликса! Я напрасно посылала во все стороны людей, чтобы найти его след. Не знаю, благословлять ли мне день нашей новой встречи или бояться его.

Ну вот, ну вот! Посыльный требует, чтобы я кончала: его, мол, довольно уже задержали здесь, а он спешит, чтобы нагнать стравников и передать важные депеши. Среди членов товарищества он или найдет Вас, или узнает, где Вы. А я тем временем не найду покоя.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Лодка скользила под лучами жаркого полуденного солнца вниз по течению, прохладные ветерки мягко оведали раскаленный эфир, ландшафт по обоим берегам радовал взгляд скромной, но уютной мягкостью. Нивы простирались до самой реки, плодородная почва подступала вплотную к журчащей воде, которая, в иных местах ускоряя бег, подтачивала ее рыхлые пласты, уносила обвалившиеся глыбы и воздвигала высокие, крутые обрывы.

На самом верху одной из таких круч, у самой кромки, там, где раньше, может быть, тянулся бечевник, наш друг заметил юного всадника, ладно и крепко сложенного. Но не успел он его рассмотреть, как нависающий дерн обвалился и несчастный кувыркком полетел в воду вместе с конем. Тут уж было не до размышлений, почему да отчего; гребцы стрелой погнались лодку к водовороту и во мгновение ока изловили прекрасную добычу. Юный красавец лежал на палубе и казался бездыханным, а опытные корабельщики, подумав немного, повернули к поросшей ивняком косе посреди реки. Причалить, перенести тело на сушу, раздеть его и обсушить — все было делом одной минуты. Но признаков жизни не было, прекрасный цветок поникал в их руках.

Вильгельм немедленно схватил ланцет, чтоб отворить жилу на руке, кровь брызнула обильным током, смешалась с игриво плещущейся волной и понеслась вниз вдоль речных излучин. Жизнь вернулась к юноше, и едва успел участливый хирург закончить перевязку, как тот бодро встал на ноги, бросил на Вильгельма пронзительный взгляд и воскликнул:

— Если жить, так с тобою!

С этими словами он бросился на шею своему спасителю, узанному им и узнавшему его, и горько заплакал. Так и стояли они, обнявшись, как братья Кастор и Поллукс, когда их сводит встречный путь между Орком и небом.

Юношу просили успокоиться. Добрые гребцы успели приготовить для него удобное ложе, ни в тени, ни на солнце, под сенью тонких лоз ивняка. И вот он лежал, вытянувшись на отцовском плаще, и был прекрасен; темные пряди, быстро высохнув, снова завились кудрями, он улыбался, успокоившись, и скоро заснул. Наш друг, наклонившись, чтобы накрыть сына, с восторгом глядел на него.

— О чудное подобье божие! — воскликнул он. — Неужто ты будешь все снова и снова рождаться на свет — и лишь для того, чтобы сразу же что-нибудь извне или изнутри повредило тебе?!

Плащ упал, смягченный солнечный жар влил в тело животворное тепло, щеки зарделись здоровым румянцем, — казалось, юноша совсем оправился.

Неутомимые гребцы, радуясь удачному исходу доброго дела и ожидаемой щедрой плате, уже почти что высушили на согретой гальке его одежду, чтобы он мог, как только проснется, снова принять приличный в обществе вид.



ИЗ АРХИВА МАКАРИИ

Не дозволено и невозможно открывать тайны жизненного пути; есть камни преткновения, на которых должен оступить каждый странник. Но поэт указывает, в каком месте они лежат.

Не было бы проку дожить до семидесяти лет, если бы вся мудрость мира сего была бы лишь безумием перед богом.

Истина богоподобна: она не является нам воочию, мы должны угадывать ее по ее проявлениям.

Истинный ученик научается выводить неизвестное из известного и тем приближается к наставнику.

«Но ведь людям нелегко выводить неизвестное из известного, так как они сами не знают, что их рассудок не менее искусен, чем сама природа».

«Ибо боги учат нас подражать искуснейшим их деяньям; однако мы знаем, что делаем, но не понимаем, чему подражаем».

«Все и одинаково и неодинаково, все полезно и вредно, красноречиво и безмолвно, разумно и неразумно. И наши мнения о каждой вещи нередко противоречат одно другому».

«Ибо люди сами поставили себе закон, не зная, о чем они законодательствуют, меж тем как порядок природы устроен всеми богами».

«Что установлено людьми, то годится не всегда, так как может быть и правым и неправым; а что устанавливают боги, то всегда уместно, и правое и неправое».

«А я хочу показать, что всем известные искусства человека подобны происходящему в природе, будь оно тайным или явным».

«Такого рода искусство прорицания. Оно познает скрытое через явное, будущее через настоящее, живое через мертвое, постигает смысл бессмысленного».

«Так и посвященный всегда понимает природу человека правильно, а непосвященный смотрит на нее то так, то иначе, и каждый подражает ей по-своему».

«Когда мужчина сходится с женщиной и рождается мальчик, то из известного возникает неизвестное. Напротив того, когда темный разум мальчика воспринимает отчетливые образы вещей, ребенок становится мужчиной и научается познавать будущее через настоящее».

«Смертное, даже при жизни, несравнимо с бессмертным, и все же наделенное одной только жизнью уже разумно. Так желудок отлично знает, когда ему хочется есть и пить».

«Так искусство прорицания соотносится с человеческой природой. Для проницательного и глубокого и то и другое всегда хорошо, а ограниченный смотрит на них то так, то иначе».

«В кузнице железо размягчают, раздувая огонь и отнимая у болванки лишнюю пищу; когда же она очистится, ее бьют и гнут, а потом питают чуждой железу водой, отчего оно вновь твердеет. То же претерпевает человек от своего учителя».

«Поскольку мы убеждены, что те, кто созерцает мир умопостигаемого и воспринимает красоту истинного разума, способны увидеть и пребывающего превыше наших чувств творца этого мира, то попытаемся взглянуть пристальнее и выразить для себя — настолько, насколько такие вещи могут быть внятно высказаны, — каким образом возможно для нас воочию постичь красоту духа и мира».

«Для этого представьте себе, что рядом стоят две каменные глыбы, одна из которых осталась не обработанной искусством, а другая претворена искусством в статую, изображающую человека или божество. Если это божество, то пусть статуя представляет одну из харит или муз, если человек, то пусть она будет не портретом отдельного лица, а образом, в котором искусство собрало все прекрасные черты».

«Камень, который превращен искусством в такой образ, сразу же покажется вам прекрасным, но не потому, что он есть камень,— не то и вторая глыба считалась бы прекрасной,— а потому, что камень обрел образ, который придало ему искусство».

«В самом материале этого образа не было, однако он уже раньше существовал в голове замыслившего статую, а потом перешел в камень. Но и у художника образ создан не потому, что у него есть глаза и руки, а потому, что искусство одарило его».

«Значит, прекрасное, и притом намного более прекрасное, было уже в самом искусстве: ведь в камень переходит не тот образ, который покоился в искусстве,— он там и остается, а наружу выходит другой, не столь совершенный, не воплощающий во всей чистоте ни самого себя, ни желаний художника, но удавшийся лишь настолько, насколько материал повиновался искусству».

«Но если искусство воплощает во внешнем то, что оно есть и чем владеет, воплощает прекрасное в соответствии с тем разумом, которому следует во всех своих действиях, значит, этому разуму более всего и поистине принадлежит наивысшая красота искусства, более совершенная, нежели все, что появляется вовне».

«Ибо форма, переходя в материал, тем самым распространяется и делается слабее той, что пребывает в едином. Ибо все, что может быть разделено, отлучается само от себя: мощь от мощи, теплота от теплоты, сила от силы и точно так же красота от красоты. Потому действующее начало будет непременно выше того, что этим действием произведено. Музыканта не создаст ничто, кроме самой музыки, а сверхчувственная музыка создает музыку, воплощенную в чувственно воспринимаемых звуках».

«Если же кому угодно презирать искусство за подражание природе, то можно ответить на это, что любая природа есть также подражание чему-то другому; далее, что искусства не подражают непосредственно видимому нами воочию, но восходят к тому разумному началу, которым существует природа и в соответствии с которым она действует».

«Далее, искусства немало создают и сами по себе, а также, заключая в себе прекрасное, добавляют многое, чего не хватает для совершенства. Поэтому Фидий мог изваять бога, хотя и не подражал ничему чувственному, видимому, но составил себе в уме образ, в котором явился бы Зевс, если бы мог предстать пред нашими глазами».

Нельзя досадовать на идеалистов древности и нового времени за то, что они так настойчиво требовали почтения к единому, из которого все возникает и к которому следовало бы вновь все свести. Ведь животворящее и упорядочивающее начало, несомненно, до того утеснено в мире явлений, что едва может спастись. Но мы ограничиваем себя с другой стороны, если насильно переносим формообразующий принцип и высшую форму в некую сферу единого, ускользающего от наших внешних чувств и от разума.

Удел всех людей — протяженность и движение; это — те всеобщие формы, в которых являют себя все прочие формы, прежде всего чувственные. Но и духовная форма ничуть не умаляется, обнаруживаясь в явлении, — при том условии, конечно, что обнаруживается она, породив и расплотив нечто действительное. Порожденное никак не менее существенно, чем порождающее, напротив, преимущество живого акта рождения в том, что рожденное может быть лучше рождающего.

Было бы чрезвычайно важно изложить это подробнее, чтобы оно стало совершенно наглядным и, более того, практически действительным. Однако обстоятельное, последовательное изложение потребовало бы от слушателей слишком большого внимания.

Что присуще человеку, то, — сколько ни старайся избавиться, — при нем и останется.

Новейшая философия наших западных соседей свидетельствует о том, что и человек, и целый народ, веда они себя как угодно, всегда возвращаются к присущему им от рождения. И может ли быть иначе, если этим определяется их натура и образ жизни?

Французы отrekliсь от материализма и признали за первичными началами несколько более одухотворенности и жизни; они избавились от сенсуализма, согласились, что существует саморазвитие глубин человеческой природы и что она обладает творческой силой, а потому и не пытаются более объяснять все и вся в искусстве подражанием воспринятому чувствами внешнему миру. Желаю им упорней держаться этого направления.

Эклектической философии не может существовать, могут быть только философы-электики.

Электиком будет всякий, кто из всего окружающего и происходящего вокруг усваивает только то, что отвечает его природе; таково все, что мы называем образованием и прогрессом, как в теории, так и в практике.

Два философа-электика могут поэтому стать жесточайшими противниками, если оба, будучи по рождению антагонистами, усваивают из всех традиций философии только то, что отвечает их натуре. Стоит оглянуться вокруг — и убеждаешься, что так поступает каждый человек и по этой причине не может понять, как это ему не удастся обратить всех остальных в свою веру.

Если приглядеться пристальнее, то обнаружится, что и любому историку не так легко сделать свой труд историческим: ведь он пишет только так, словно сам присутствовал при этом, и не пишет о том, что было раньше и двигало события тогда. Даже хронист дает более или менее ясное представление об особенностях, об ограниченности своего города, своего монастыря и своего века.

Редко бывает даже, чтобы кто-нибудь, дожив до глубокой старости, мог исторически отнестись к самому себе и к своим современникам, то есть чтобы он отбросил все контро-версии с ними.

Различные изречения древних, которые все мы привыкли то и дело повторять, имели совсем не то значение, какое придали им в позднейшие времена.

Слово о том, что незнакомый с геометрией, чуждый геометрии не должен входить в школу философа, вовсе не значит, будто необходимо быть математиком, чтобы стать мудрецом.

Под «геометрией» имеются в виду те ее начала, которые предстают перед нами у Евклида и к которым должен приступить каждый новичок. Тогда геометрия становится лучшей подготовкой, даже наилучшим введением в философию.

Если ребенок начинает понимать, что видимой точке непременно предшествует невидимая, что кратчайшую дорогу между двумя точками можно мысленно представить себе в виде линии прежде, чем эта линия проведена карандашом по бумаге, он чувствует гордость и удовольствие, и не без основания: ведь перед ним открылся источник всяческого мышления, ему стала понятна идея и ее воплощение, «*potentia et actu*»¹. Философ не откроет ему ничего нового, так как геометру открылась уже основа всякого мышления.

Возьмем затем столь важное изречение, как «познай самого себя»; его ни в коем случае нельзя истолковывать в смысле аскетическом. Тут нет и намека на «самопознание» наших новейших ипохондриков, юмористов и самоистязателей. Изречение значит просто-напросто: не забывай о самом себе, следи, каковы твои отношения с себе подобными и с миром! Для этого не нужно никаких психологических мучений; каждый здравый человек понимает и знает на опыте, что это значит. Слова эти — добрый совет, приносящий каждому и всякому величайшую практическую выгоду.

Вспомните, в чем величие древних и прежде всего сократической школы: она воочию показывает источник и дает правила жизни и деяния, она побуждает не предаваться пустопорожним умозрениям, но жить и трудиться.

Если наше школьное образование все время ссылается на авторитет древности, если оно поощряет изучение грече-

¹ (Существующее) в возможности и в действительности (*лат.*).

ского и латинского языков, то мы можем в добрый час пожелать себе, чтобы эти необходимые для высшего просвещения занятия никогда не прекращались.

Ибо когда мы сравниваем себя с древними, когда не из праздного любопытства, а ради собственного образования созерцаем древность, то как бы впервые начинаем по-настоящему ощущать себя людьми.

Школьный учитель, когда пытается говорить и писать по-латыни, кажется самому себе выше и благородней, нежели он мог возомнить себя в повседневной жизни.

Ум, восприимчивый к творениям поэтов и ваятелей, чувствует себя, когда имеет дело с древними, так, словно вернулся к отрадно-идеальному естественному состоянию, и гомеровские песни по сей день способны хотя бы на миг освободить нас от бремени, которым придавило нас насчитывающее вот уже несколько тысяч лет предание.

Как Сократ призвал нравственного человека обернуться на себя, чтобы самым простым способом просветиться на свой собственный счет, так Платон и Аристотель выступили как равно полномочные перед природой личности: один — чтобы предаться ей умом и душой, другой — чтобы взглядом исследователя и методом завоевать над нею власть. И любая возможность приблизиться к этим троицам — ко всем вместе или к каждому поодиночке — радостна для нас и всегда способна помочь нашему образованию.

Чтобы спастись от беспредельной сложности, раздробленности и запутанности современного учения о природе и вернуться к простоте, нужно всегда задавать себе вопрос: как отнесся бы Платон к той чрезвычайно многообразной, хотя и единой в своей основе природе, какой она предстает перед нами теперь?

Мы убедили себя, будто можем, идя тем же путем, естественным образом достичь последних ответвлений познания и, стоя на этой основе, постепенно возвести и упрочить вершины любой науки. Но мы должны ежедневно исследовать, как помогает или препятствует нам в этом деятельность нашего века, — если мы не хотим отвергнуть полезное и принять вредное.

Восемнадцатое столетие прославляют за то, что оно занималось преимущественно анализом; значит, девятнадцатому веку оно оставило задачу раскрыть ложь господствующих синтетических суждений и заново произвести анализ их содержания.

Есть две истинные религии: одна признает и чтит то святое, что обитает в нас и вокруг нас, вне всякой формы, другая чтит его облеченным в прекраснейшую форму. Все лежащее в промежутке есть идолопоклонство.

Нельзя отрицать, что реформация была попыткой обрести духовную свободу. Новое просвещение, открывшее греческую и римскую древность, породило жажду более свободной, пристойной и изящной жизни. Немало способствовало этой жажде также то, что сердце захотело вернуться к простоте естественного состояния и сосредоточить в себе всю силу воображения.

Святые были все разом изгнаны с небес, чувства, мысли и души устремились от богоматери с нежным младенцем ко взрослому — нравственному воспитателю и безвинному страдальцу, — который позже преобразился в полубога, а затем был признан и чтился как подлинный бог.

Фоном, на котором он стоял, была простертая творцом Вселенная; от него исходила сила, воздействовавшая на человеческий дух, его страдания люди принимали в пример, а его преобразование было залогом вечности.

Как от ладана живей разгораются угли, так молитва живит надежды сердца.

Я уверен, что Библия становится тем прекраснее, чем больше в ней понимаешь, то есть чем глубже в нее проникаешь и чем яснее видишь, что каждое слово, которое мы воспринимаем вообще и применяем в частности к себе, имело совершенно особое, непосредственное и неповторимое отношение к известным обстоятельствам, к определенным условиям места и времени.

Если присмотреться, то мы каждый день должны быть реформаторами и протестантами, пусть даже не в религиозном смысле.

В нас живет неизменное, каждодневно возникающее вновь, глубочайшее стремление постигать слово в возможно более непосредственной связи со всем пережитым, увиденным, передуманным, пережитым, существующим в уме и в воображении.

Пусть каждый испытает себя,— и он найдет, что это гораздо труднее, чем можно было бы подумать: ведь обычно слова для людей — только заменители, человек мыслит и знает по большей части лучше, чем высказывает мысли и знания.

Но будем тверды в стремлении к ясности и честности, чтобы благодаря им по возможности избавляться от всего ложного, непристойного, недодуманного, что может само возникнуть в нас и в других или закрасться извне.

С годами испытания становятся строже.

Там, где мне приходится не быть больше нравственным, я теряю всякую власть.

Цензура и свобода печати всегда будут бороться друг с другом. Цензуры требуют могущественные, и они же ее осуществляют, слабые нуждаются в свободе печати. Могущественные не хотят, чтобы неуместная гласность шла наперекор и мешала их планам и делам, и желают послушания; слабые хотят высказать свои доводы, узаконить непослушание. То же самое можно найти всегда и везде.

Однако следует заметить, что и слабейшая, страдающая сторона по-своему старается подавить свободу печати,— а именно в том случае, когда она устраивает заговор и не хочет, чтобы ее выдали.

Люди не бывают обмануты — они обманывают себя сами.

В нашем языке нужно было бы слово, смысл которого так относился бы к слову «народ», как «детство» — к слову «дитя»: «народство». Воспитатель должен выслушивать детство, а не дитя; законодатель и правитель — «народство», а не народ. Ведь оно высказывается всегда одинаково, оно разумно, надежно, чисто и правдиво; а народ толь-

ко хочет, но сам не знает, чего. Вот закон и должен, и может быть словесным выражением всеобщей воли — воли «народа», которую толпе никогда не облечь в слово, но которую человек рассудительный все же слышит, разумный умеет исполнить, а добрый исполняет с охотой.

Какое право имеем мы управлять, — об этом мы даже не спрашиваем: мы просто управляем. Имеет ли народ право свергать нас — до этого нам нет дела: мы просто принимаем меры, чтобы у него не возникло искушения сделать это.

Если бы можно было отменить смерть, мы бы не имели ничего против; а вот отменить смертную казнь будет трудно. Если это случится, нам придется от случая к случаю снова ее восстанавливать.

Если общество отказывается от права располагать в числе своих средств смертной казнью, то люди сами приходят себе на помощь, и вот уже в дверь стучит право кровной мести.

Все законы созданы стариками и мужчинами. Молодые и женщины хотят исключений, старики — правил.

Управляет не сам рассудительный человек, а рассудок и не сам разумный человек, а разум.

Кого хвалят, с тем ставят себя вровень.

Мало знать — нужно еще и уметь применить; мало хотеть — нужно еще и делать.

Не может быть ни патристического искусства, ни патристической науки. И то и другое принадлежит целому миру, как все высокое и благое, и то и другое может развиваться лишь благодаря свободному взаимодействию всех ныне живущих при постоянном внимании к тому, что осталось и что известно нам от прошлого.

В целом науки все больше отдаляются от жизни и возвращаются к ней лишь кружным путем.

Собственно, каждая есть только компендиум жизни, она обобщает и приводит в систему внешний и внутренний опыт.

Интерес к наукам, в сущности, возникает только в особом мире, именуемом ученым; если же к этому призывают и остальную публику и сообщают ей некие научные сведения, как то происходит в последнее время,— это только злоупотребление, и вреда от него больше, чем пользы.

Науки должны были бы влиять на внешний мир, лишь совершенствуя практику; в сущности, все они эзотеричны, и стать экзотерическими могут, только способствуя какому-либо роду деятельности. Иное участие бесплодно.

Даже в тесном кругу посвященных наукой занимаются ради сиюминутных, насущных интересов. Когда толчок дан чем-либо новым, неслыханным или хотя бы просто большим успехом, то всеобщее внимание привлекается к ней, иногда на многие годы; в последнее время внимание это стало весьма плодотворным.

Значительное открытие, гениальное аргументы задают хлопот множеству людей, которые должны сперва узнать его, потом понять, потом обработать по-своему и передать дальше.

Толпа о каждом значительном явлении спрашивает: какая от него польза? Она не так уж неправа: ведь только польза открывает ей ценность всякой вещи.

Истинные мудрецы спрашивают, как вещь относится к самой себе и к другим вещам, и не помышляют о пользе, то есть о применении вещи к чему-то знакомому и необходимому в жизни; другие умы, зоркие, жизнерадостные, опытные и умелые во всяком промысле, отыщут эту пользу.

Лжемудрецы стремятся только поскорее извлечь из каждого нового открытия выгоду для себя, они гонятся за пустой славой, распространяя его, размножая, улучшая, поспешно забирая в руки, а иногда и захватывая заранее, и не дают ничему созреть, тем самым сбивая с толку и запутывая истинную науку и явно омрачая прекраснейший результат успеха — внешнее ее процветание.

Вреднейший предрассудок — думать, будто хоть один метод исследования природы может быть предан анафеме.

Всякий исследователь должен смотреть на себя как на вызванного в суд присяжного заседателя. Его долг — со вниманием следить, насколько полно доложено дело и как доклад подкреплён доказательствами. После этого он приводит к краткому итогу свое убеждение и подает голос, независимо от того, совпадает ли оно с мнением докладчика или нет.

При этом он равно сохраняет спокойствие, голосует ли большинство заодно с ним либо же он остается в меньшинстве; свое дело он сделал, свое убеждение высказал, а над умами и чувствами он не властен.

Однако такой образ мысли никогда не имел силы в учебном мире, для которого важнее было, что преобладает и господствует; а так как истинно самостоятельных людей очень мало, то толпа притягивает к себе отдельных лиц.

История философии, науки, религии — все показывает, что мнения распространяются всегда во множестве, однако из всех получает преимущество самое понятное, то есть самое подходящее и легкое для заурядного ума. Более того, кто достиг высот образования, должен заранее предположить, что большинство будет против него.

Не будь природа в безжизненных началах своих столь глубоко стереометрична, как достигла бы она жизни, не поддающейся ни счету, ни мере?

Сам человек, покуда его внешние чувства здоровы и служат ему, есть самый точный и лучший физический инструмент, какой только может быть; величайшая беда современной физики в том и состоит, что она разобщила эксперимент и человека и стремится познать природу только через показания искусственно созданных приборов и даже ограничить и определить этим ее деятельные возможности.

Точно так же обстоит дело и с вычислениями. Многое из того, чего нельзя вычислить, истинно, как истинно и многое такое, что нельзя свести к точному эксперименту.

Человек потому и стоит так высоко, что в нем отображается нигде более не отображимое. Что такое струна и все ее механические деления по сравнению с ухом музыканта?

Можно даже сказать: что такое все стихийные явления природы по сравнению с человеком, который должен сначала обуздать и видоизменить их, чтобы потом в какой-то мере уподобить их себе?

Требовать, чтобы эксперимент был универсальным орудием, чрезмерно. Ведь не могли же когда-то представить себе иначе как следствием трения электричество, наивысшее проявление которого вызывается теперь простым прикосновением?

Подобно тому как никто не станет спорить, что французский язык есть совершеннейший и к тому же непрестанно совершенствующийся язык двора и света, так никому не придет в голову умалять заслугу перед человечеством математиков, которые, трактуя на своем языке важнейшие обстоятельства, научились упорядочивать, определять и решать все, что в высшем смысле подчинено числу и мере.

Всякий мыслящий человек, заглянув в календарь или посмотревши на часы, вспомнит, кому он обязан этими благодеяниями. Но пусть даже мы почтительнейшим образом уступим им в собственность пространство и время, все же они сами признают, что нам доступно нечто выходящее далеко за эти пределы, принадлежащее всем, такое, без чего бы им самим не ступить ни шагу: *идея и любовь*.

Один веселый естествоиспытатель сказал: «Что знают об электричестве? Разве не вспоминают о нем, только когда глядят в темноте кошку или когда сверкает молния и гремит гром? Так много или мало знают о нем?»

Писаниями Лихтенберга можно пользоваться как самой чудодейственной рудознатской лозой: везде, где он пошутит, скрыта проблема.

Он нашел место для остроумной догадки даже в пустом пространстве между Марсом и Юпитером. Когда Кант тщательно доказал, что обе названные планеты поглотили и присвоили себе всю материю, какая только была в этом пространстве, Лихтенберг заметил на свой шуточный лад: «А по-

чему бы не быть невидимым мирам?» И разве не сказал он истинную правду? Разве новооткрытые планеты не остаются невидимы всему миру, кроме немногих астрономов, чьим словам и счислениям мы должны верить?

Новой истине ничто не вредит больше старого заблуждения.

Есть бесчисленное множество условий всякого явления, они засыпают человека, так что он не может воспринять одного первичного условия.

«Если путешественники находят немалое удовольствие в восхождении на горы, то для меня в такой страсти есть что-то варварское и даже безбожное. Горы, правда, дают нам понятие о могуществе природы, но не о благодати providения. На что они человеку? Затеет он на них поселиться,— зимою снежная лавина, а летом обвал погребут или сдвинут с места его дом; его стада будут унесены дождевыми потоками, его житницы — снесены ураганами. Пустится он в путь,— каждое восхождение станет Сизифовым трудом, каждый спуск — низвержением Вулкана; каждый день его дорогу засыпают камни, а потоки непригодны для судоходства. Пусть его карликовый скот и находит себе скудную пищу или сам хозяин добудет ее,— все равно все уничтожат или стихии, или дикие звери. Здесь жизнь человека — жалкое прозябание мха на могильном камне, она лишена удобств и общества. Эти зубчатые гребни, эти отвратительные скалистые кручи и бесформенные гранитные пирамиды, заслоняющие прекрасную ширь мира ужасами, достойными северного полюса,— какое удовольствие может находить в них благомыслящий человек? как может похвалиться он именем человеколюбца?»

На эти веселые парадоксы достойного мужа можно было бы ответить так: если бы богу и природе заблагорассудилось распутать Нубийский горный узел и вытянуть его к западу вплоть до великого моря, затем несколько раз разрезать эту горную цепь с севера на юг, то немедля возникли бы долины, где множество праотцев Авраамов нашло бы свой Хаанаан, а Альбертов Юлиусов — свой Фельзенбург, где их потомки могли бы умножаться, споря числом со звездами.

Камни — безмолвные учителя, они делают безмолвными тех, кто их наблюдает, и лучшее, чему от них научаются, невозможно сообщить другому.

То, что я по-настоящему знаю, я знаю для себя; произнесенное слово редко помогает, по большей части оно вызывает противоречие, и дело застопоривается и останавливается.

Кристаллография, рассматриваемая как наука, заставляет прийти к особым воззрениям. Она ничего не производит, остается самой собой и не дает никаких результатов, особенно теперь, когда найдено столько изоморфных тел, оказавшихся совершенно различными по своему составу. Нигде не применимая, она в высокой мере замкнута сама в себе. Уму она дает некое ограниченное удовлетворение, а в частности так разнообразна, что ее можно назвать неисчерпаемой; потому-то она и захватывает так крепко и надолго многих превосходных мужей.

В кристаллографии есть что-то монашеское, что-то от старого холостяка, поэтому она довлеет себе. Практического воздействия на жизнь она не оказывает; ведь самые благородные из подвластных ей произведений природы — кристаллические самоцветы — нужно сперва огранить, а потом уже мы сможем украшать ими жен.

Прямо противоположное может быть сказано о химии, показавшей, насколько широко ее применение и безгранично влияние на жизнь.

Понятие возникновения совершенно недоступно для нас; потому мы, если видим, как нечто появляется, думаем, будто оно уже имелось в наличии. По этой причине нам и кажется понятной теория преморфизма зародыша.

Как много видим мы значительных вещей, составленных из многих частей; стоит взглянуть на произведения зодчества — и видно, какое это нагромождение правильных и неправильных деталей. Потому-то нам так близки и удобны атомистические понятия, поэтому мы, не робея, прилагаем их и к органической жизни.

Кто не понимает разницу между фантастическим и идеальным, между закономерным и гипотетическим, тот оказывается как естествоиспытатель в жалком положении.

Есть гипотезы, где идею замещают рассудок и воображение.

Плохо, когда слишком долго пребывают в области отвлеченного. Эзотерическое приносит только вред, когда стремится стать экзотерическим. Живое — вот лучший урок для жизни.

Самой превосходной из женщин сочтена будет та, которая окажется в состоянии заменить своим детям умершего отца.

У иностранцев, которые только теперь основательно изучают нашу литературу, есть одно неопределимое преимущество: для них не существует тех болезней роста, через которые нам пришлось пройти на протяжении почти что столетия, и если им повезет, они извлекут из нее весьма ценные уроки.

То, что у французов восемнадцатого столетия было разрушительным, у Виланда остается только легкой насмешкой.

Поэтический талант дается одинаково и крестьянину и рыцарю; все дело в том, чтобы каждый понял свой удел и ценил его по достоинству.

«Что такое трагедии, как не переложенные в стихи страсти тех, кто из внешних обстоятельств делает бог весть что?»

Слово «школа» в том смысле, в каком употребляет его история изобразительного искусства, говоря о флорентинской, римской, венецианской школе, впредь будет неприменимо к немецкому театру. Может быть, это выражение годилось лет тридцать — сорок назад, когда, благодаря ограниченности внешних обстоятельств, еще можно было думать о сообразном природе и искусству совершенствовании; ведь если присмотреться поближе, то и в изобразительном искусстве слово «школа» действительно только по отношению к первоначальным временам: стоило ей произвести на свет превосходных мастеров — и воздействие ее тотчас же рас-

пространялось вширь. Флоренция оказывает влияние на Испанию и Францию; нидерландцы и немцы учатся у итальянцев и добиваются большей свободы духа и ума, южане, в свою очередь, заимствуют с севера более совершенную технику и большую тщательность исполнения.

Немецкий театр достиг той завершающей поры, когда всеобщее образование так распространено, что не принадлежит более тому или иному месту и не может брать исток в каком-нибудь одном пункте.

Основа театрального, как и всякого другого, искусства — истина, соразность природе. Чем значительнее и выше истина, которую способны постичь поэты и актеры, тем выше ранг, которым по праву похвально сцена. Тут у Германии есть великое преимущество: публичное чтение лучших поэтических произведений стало здесь общим обычаем и распространено не только в театре.

На речитации зиждется и вся декламация, и вся мимика. Так как при чтении вслух надобно следить только за нею, то совершенно ясно, что публичные чтения должны остаться школой истины и естественности, — если только люди, которые берутся за такое дело, проникнуты сознанием ценности и важности своего занятия.

Шекспир и Кальдерон положили блистательное начало подобным чтениям; но при этом следует постоянно опасаться, как бы слишком импозантный чужеземец или талант, выросший до невероятных высот, не повредили совершенствованию немцев.

Своеобразие выражения — альфа и омега искусства. Но у каждой нации есть особенности, отличные от присущего всему человечеству своеобразия; сперва они могут нас отвратить, но если мы найдем в них вкус и полностью им предадимся, они в конце концов возьмут верх над нашей собственной природой и подавят ее.

Пусть литераторы будущего растолкуют исторически, сколько лжи принесли нам Шекспир и особенно Кальдерон, как эти величайшие светочи поэтического небосклона стали для нас блуждающими огнями,

Я никак не могу одобрить полного уподобления испанскому театру. У великолепного Кальдерона столько условности, что непредвзятому наблюдателю трудно разглядеть огромный талант поэта сквозь театральный этикет. И если что-нибудь такое показывают публике,— значит, заранее предполагают в ней добрую волю и склонность предаться совершенно чуждому ей, получать удовольствие от иноземного смысла, тона и ритма и на время выпасть из всего, что ей под стать.

Йорик-Стерн — остроумнейший из всех бывших когда-либо остроумцев; читая его, сразу чувствуешь себя свободным и прекрасным; его юмор неподражаем, а ведь не всякий юмор освобождает душу.

«Чистота небес и мера — это Музы с Аполлоном».

«Зрение — самое благородное из внешних чувств. Четыре других чувства просвещают нас только через посредство прикасающихся органов: мы слышим, ощущаем, обоняем и осязаем все благодаря прикосновению; зрение же стоит неизмеримо выше, оно утончается, превозмогая материю и приближаясь к духовным способностям».

«Если бы мы ставили себя на чужое место, то исчезли бы ревность и ненависть, которые мы часто испытываем к другим; а если бы мы ставили других на свое место, то у нас поубавилось бы гордости и самомнения».

«Раздумье и деянье кто-то сравнил с Рахилью и Лией: первая была более прекрасна, вторая — более плодovита».

«В жизни, кроме здоровья и добродетели, нет ничего ценнее знания; а его и легче всего достигнуть, и дешевле всего добыть: ведь вся работа — это покой, а весь расход — время, которое нам не удержать, даже если мы его не потратим».

«Если бы можно было копить время, как наличные деньги, не используя его, то это отчасти оправдывало бы праздность, которой предается полчеловечества; но только отчасти, потому что тогда это было бы хозяйство, в котором основной капитал проедается, а о процентах не заботятся».

«Новейшие поэты льют много воды в чернила».

«Среди множества чудовищных нелепостей, принятых в школах, одна кажется мне самой смехотворной из всех: это споры о подлинности древних писаний, древних произведений. Чем мы восхищаемся — автором или произведением? Что порицаем? Ведь перед нами — автор и только автор! Так что нам за дело до его имени, если мы истолковываем творение его духа?»

«Кто станет утверждать, будто перед нами — Гомер или Вергилий, только потому, что мы читаем приписываемые им слова? Перед нами — переписчики, но что нам нужно еще? Я в самом деле полагаю, что ученые, которые столь тщательно занимаются такими несущественными вещами, ничуть не умнее одной очень красивой дамы, которая однажды с самой умильной улыбкой спросила меня, кто же был автор трагедий Шекспира».

«Лучше сделать хотя бы пустяк, чем считать пустяком потерянные полчаса».

«Мужество и скромность — эти добродетели бесспорны: они таковы, что лицемерию их не подделать. И еще одно общее свойство есть у них: один и тот же цвет есть признак обеих».

«Среди всяческого вора худшие воры — это дураки: они крадут и время и настроение».

«Самоуважение — исток нашей нравственности; способностью ценить других определяется наше поведение».

«Искусство и наука — эти слова употребляют очень часто, но редко понимают, в чем же точно разница между ними; поэтому часто одно употребляют вместо другого».

«Мне не нравятся и определения, которые им дают. Мне встретилось где-то сравнение науки с острословием, искусства — с юмором. В нем я нахожу больше фантазии, чем философии: оно дает некоторое понятие о различии науки и искусства, но никакого понятия — об особых свойствах того и другого».

«Я полагаю, науку можно назвать знанием всеобщего, отвлеченным знанием; искусство же, напротив, есть наука, примененная к делу. Наука — это разум, а искусство — его механизм, потому его можно назвать практической наукой. Таким образом, в конце концов оказывается, что наука — это теорема, а искусство — проблема».

«Быть может, мне возразят: поэзию считают искусством, а между тем в ней нет ничего механического. Но я не согласен, что поэзия есть искусство; вместе с тем она и не наука. К искусствам и наукам ведет мысль, к поэзии — нет, так как поэзия есть внушение свыше, она была уже зачата в душе, когда впервые зашевелилась в ней. Ее следует назвать не наукой и не искусством, а гением».

И сейчас, в наши дни, каждый образованный человек должен вновь брать в руки Стерна, чтобы и девятнадцатый век знал, чем мы ему обязаны, и предвидел, чем мы можем быть обязаны ему впредь.

С успехами литературы первичное движущее начало затмевается, верх берет то, что достигнуто благодаря вызванному им движению; поэтому благое дело — время от времени оглядываться назад. Все, что есть в нас *оригинального*, лучше сохранится и стяжает большую похвалу, если мы не потеряем из виду наших предков.

О, если бы изучение греческой и римской литературы навсегда осталось основой высшего образования!

Китайские, иудейские, египетские древности остаются всего-навсего курьезами; познакомиться с ними и познакомить с ними мир было благим делом, но для нашего нравственного и эстетического воспитания от них мало пользы.

Для немца нет большей опасности, чем тягаться с соседями и равняться по ним. Нет, пожалуй, народа, более способного к самостоятельному развитию; поэтому великой удачей было для него то, что внешний мир так поздно его заметил.

Если мы оглянемся на нашу литературу за полстолетия, то найдем, что в ней ничего не было сделано ради чужих.

Немцев разозлило, что Фридрих Великий не желал о них знать, и они постарались стать в его глазах хоть чем-то.

Теперь, когда возникла мировая литература, наибольшие потери грозят, если присмотреться внимательно, именно немцам, и благо им, если они задумаются над этим предостережением.

Даже самые проникательные люди не замечают, что они стремятся объяснить те первоосновы всякого опыта, дальше которых незачем углубляться.

Но пусть и это послужит нам на пользу, а не то всякое исследование прекратится слишком рано.

В наши дни придется плохо тому, кто не приналяет на какое-нибудь искусство или ремесло. В быстром коловращении мира знание больше не помогает; прежде, чем успеешь все заметить, потеряешь самого себя.

Общее образование поневоле знакомит нас с миром, так что заботиться об этом незачем; усваивать нужно только частное.

Наибольшие трудности — там, где мы их не ищем.

Лоренс Стерн родился в 1713, умер в 1768 году. Чтобы понять его, нельзя упускать из виду принятое в его время церковное и нравственное воспитание; при этом следует помнить, что его современником был Уорбертон.

Душе, свободной, как у него, грозит опасность стать слишком дерзкой, если благородная доброжелательность не восстановит в ней нравственного равновесия.

При его легкой ранимости все в нем развивалось изнутри; благодаря непрерывным столкновениям с миром он научился отличать правду от лжи, первой держался непреклонно, а со второй беспощадно воевал,

Серьезность была ему глубоко ненавистна, так как она дидактична и догматична и легко становится педантической, а это вызывало у него глубокое отвращение. Отсюда — его неприязнь к терминологии.

Многое изучая и много читая, он повсюду открывал изъяны и смешные стороны.

«Шендизмом» он называет неспособность думать две минуты подряд о серьезных предметах.

Должно быть, эта быстрая смена серьезности и шутки, участия и равнодушия, боли и радости присуща ирландскому характеру.

Чутье и пронизательность его беспредельны.

Его веселость, невзыскательность и терпеливость в путешествии, где эти качества подвергаются наибольшему испытанию, не имеют равных.

Как и всякий раз, когда нас развеселит зрелище свободной души подобного рода, так особенно в этом случае мы непременно вспомним, что из всего нас восхитившего мы ничего не вправе перенять.

Стихия сладострастия, в которой он ведет себя так изящно и умно, для многих была бы пагубна.

Заслуживает внимания его отношение к жене и к миру. «Я не использовал моего несчастья как мудрый человек», — говорит он где-то.

Он мило шутит над противоречиями, делавшими его положение двусмысленным.

«Я терпеть не могу проповедовать: видимо, я объелся проповедями в юности».

Ни в чем он не выставляет себя образцом, но везде указывает и пробуждает.

«По большей части наше участие в общественных делах — филистерство».

«Нет ничего драгоценней, чем один день».

«Pereant, qui ante nos nostra dixerunt!»¹.

Так удивительно мог сказать только тот, кто чувствовал себя автохтоном. Кто считает почетным свое происхождение от разумных предков, тот признает, что и они умели мыслить, по крайней мере, не хуже него самого.

«Самые оригинальные писатели нового времени оригинальны не потому, что сумели создать что-то новое, а только потому, что оказались способны говорить так, будто до них никогда не было сказано то же самое».

Поэтому прекраснейший признак оригинальности — умение так плодотворно развивать воспринятую извне мысль, чтобы трудно было найти, сколько всего за нею спрятано.

Многие мысли рождает само всеобщее просвещение, так же, как зеленая ветка — цветы. В пору цветения роз можно видеть розы повсюду.

По сути, все дело в воззрениях; где есть воззрения, появятся и мысли, и каковы воззрения, таковы будут мысли.

«Трудно воспроизвести что-либо с полной беспристрастностью. Зеркало, можно сказать, составляет тут единственное исключение, но и в нем мы не видим вполне точного отражения нашей внешности, потому что зеркало переворачивает изображение и делает левую руку правой. Это — символ всех наших рассуждений о самих себе».

«Весной и осенью нелегко вспомнить об огне в камине, и все же случается, что, идя мимо горящего камина, мы находим вызываемое им чувство особенно сладостным и нам хочется подольше этому чувству предаваться. Пусть это будет подобием соблазна».

«Не будь нетерпелив, если твоим доводам не дают веры».

Кто всю жизнь водит знакомство только с важными особами, тому встретится, конечно, не все, что может встретиться человеку, но нечто аналогическое, а может быть, и нечто беспримерное.

¹ Да погибнут те, кто до нас сказал наши слова! (лат.)



Стоял я в строгом склепе, созерцая,
Как черепа разложены в порядке,
Мне старина припомнилась седая.

Здесь кости тех, кто насмерть бились в схватке,
Забыв вражду, смирившись поневоле,
Лежат крестом. О кости плеч, лопатки

Могучие! Никто не спросит боле,
Что вы несли; оторван член от члена,
Нет связи жизни, деятельной воли.

Вы врозь лежите, руки и колена,
Вам мира нет: вы вырваны в сиянье
Земного дня из гробового плена.

Нет в скорлупе сухой очарованья,
Где благородное зерно скрывалось.
Но мной, адептом, прочтено писанье,

Чей смысл святой не всем раскрыть случилось,
Когда среди мертвого оцепененья
Бесценное творенье мне досталось,

Чтоб в холоде и тесном царстве тленья
Я был согрет дыханием свободы
И жизни ключ взыграл из разрушенья.

Как я пленялся формою природы,
Где мысли след божественной оставлен!
Я видел моря мчащиеся воды,

В чьих струях ряд всё высших видов явлен.
Святой сосуд,— оракула реченья! —
Я ль заслужил, чтоб ты был мне доставлен?

Сокровище украв из заточенья
Могильного, я обращусь, ликуя,
Туда, где свет, свобода и движенье.

Того из всех счастливым назову я,
Пред кем природа-бог разоблачает,
Как, плавя прах и в дух преобразуя,
Она созданье духа сохраняет ¹.

(Продолжение следует)

¹ Перевод С. Соловьева.



КОММЕНТАРИИ

Первые мысли о написании романа «Годы странствий Вильгельма Мейстера, или Отрекающиеся» возникли у Гете, когда он заканчивал «Годы учения Вильгельма Мейстера». Свидетельством этого является письмо Ф. Шиллеру, который читал «Годы учения...» в рукописи и дал Гете много советов, принятых им во внимание. «Главный вопрос, о котором предстоит говорить по поводу романа,— писал Гете Шиллеру,— это где оканчиваются «Годы учения», которые, собственно, и должны быть даны, а затем — насколько нужно в дальнейшем еще раз выводить на сцену действующих лиц. Ваше сегодняшнее письмо, собственно, предлагает мне продолжить роман, о чем я и сам думаю с увлечением, но об этом тоже при свидании. Что необходимо по отношению к предшествующему, должно быть сделано, так же как нужно указать последующее, но должны остаться зацепки, которые, как и сам план, указывают на продолжение...» (12 июля 1796 г.)

Однако к работе над романом Гете приступил только одиннадцать лет спустя, о чем есть запись в его дневнике: «Утром в половине седьмого начал диктовать первую главу «Годов странствий Вильгельма Мейстера» (17 мая 1807 г.). Эта глава — «Святой Иосиф Второй». В том же году были написаны новеллы «Новая Мелузина» и «Опасное пари». К ним присоединяются задуманный еще в 1803 году рассказ «Пятидесятилетний мужчина» и «Смуглолицая девушка», одновременно Гете перевел с французского «Безумную скиталиду», также вошедшую в состав «Странствий...».

Таким образом, с самого начала «Годы странствий Вильгельма Мейстера» были задуманы как собрание новелл, скрепленных обрамлением — повествованием о путешествиях Вильгельма Мей-

стера, предпринятых по велению Общества башни (в новом романе его члены называются — Отрекающиеся), в ряды которого он вступил (см. седьмую книгу «Годов учения Вильгельма Мейстера»).

Не торопясь с осуществлением общего замысла, Гете печатает отдельные эпизоды — новеллы: так появляются «Безумная скиталица» (1808) и «Святой Иосиф Второй» (1809); издание второго рассказа Гете сопроводил заметкой, извещавшей читателей, что это произведение — часть «Годов странствий Вильгельма Мейстера». Таким образом, было сообщено читателям о подготовке продолжения «Годов учения Вильгельма Мейстера».

Гете много думал о том, каким должен стать новый роман, изучал для него разные вопросы, делал записи. Однако этот замысел был у него далеко не единственным; в 1810 году Гете занялся сначала автобиографией, а затем, с 1814 года, — «Западно-восточным диваном». Но и продолжение истории Вильгельма Мейстера не было совершенно позабыто, о чем говорит дальнейшая публикация новелл, впоследствии вошедших в роман. В течение ряда лет в печати появились: «Смуглолицая девушка» (1816), «Новая Мелузина» (1817—1818) и начало «Пятидесятилетнего мужчины» (1818). В 1819 году он задумывает новеллу «Кто предатель?» и заканчивает ее через год.

В целом, однако, работа над романом прервалась на десять лет. Гете вернулся к нему лишь в конце 1820 года и, перечитав старую рукопись, испытал странное чувство: «Она кажется мне неким возвратившимся духом, однако гораздо более молодым и приятным, чем нынешний автор и нынешнее время» (Сульпицию Буассерэ, 9 декабря 1810 г.).

В 1821 году роман вышел в свет с обозначением, что это всего лишь первая часть. Она состояла из восемнадцати глав. Книга начиналась историей Иосифа Второго, затем следовали встреча Вильгельма с Монтаном, посещение дяди, поездка к Ленардо, описание Педагогической провинции, новелла «Пятидесятилетний мужчина» (точнее, ее начало), путешествие на Лаго-Маджоре, продолжение описания Педагогической провинции, участие Вильгельма в горном празднике. Далее Вильгельм видит через подзорную трубу Наталию, вместе с группой путешественников, оказавшихся на соседней горе, — этот эпизод в окончательный вариант романа не вошел. Затем Вильгельм встречается с людьми, намеревающимися эмигрировать, и в их кругу слышит рассказы «Новая Мелузина», «Безумная скиталица» и «Кто предатель?». Заклучала первую часть речь Ленардо (в окончательном варианте кн. III, гл. 9). Отсутствовали в первом варианте романа глава о Макарии (I, 10), занятия Вильгельма хирургией (II, 11; III, 3), споры

о происхождении земли (II, 9), планы переселения бедняков в Америку и товарищество ремесленных и сельскохозяйственных рабочих в Германии (III, 4, 10—12). Введение этих глав в окончательный текст придало роману социально-философскую масштабность, которой недоставало первому варианту: там главные идейные мотивы были выражены в Педагогической провинции. Эта важная часть во втором варианте не только сохранена, но и несколько расширена, хотя здесь она становится лишь одним из аспектов той широкой социальной утопии, которую создает Гете. Окончательный текст был дополнен также историей любви Феликса к Герсилии, дневником Ленардо, содержащим описание быта и трудовой деятельности жителей горных местностей. Все, связанное с Макарией, как уже сказано, в первом варианте полностью отсутствовало; во втором — помимо уже указанной главы 10 первой книги — Гете вводит в разные главы ссылки на значение этой героини для других персонажей. Своей кульминации духовное значение и влияние Макарии достигает в конце романа (III, 14).

В окончательном варианте было изменено также и расположение новелл. Многочисленные планы свидетельствуют о том, насколько тщательно разрабатывал Гете композицию романа.

«Годы странствий Вильгельма Мейстера» значительно отличаются от всех других романов Гете. В «Страданиях юного Вертера», «Годах учения Вильгельма Мейстера», «Избирательном сродстве» есть обычный романский сюжет и четкая композиция, строящаяся вокруг судьбы главного героя и близких ему лиц. В «Годах странствий...» Вильгельм Мейстер, по сути, является лишь номинальным героем. Повествование лишено единства, распадается на отдельные, не связанные друг с другом эпизоды, пестрит вставными новеллами, не имеющими никакого отношения к судьбе героя.

Роман «Годы странствий Вильгельма Мейстера» был создан в эпоху господства романтизма: вторая и окончательная его редакция вышла в свет в 1829 году. Социальные идеи романа были встречены в штыки консерваторами, но вызвали дискуссии также и в либеральных кругах. Клерикалы резко осудили отношение Гете к религии. Что же касается художественной формы романа, то она была совершенно не понята современниками. Вплоть до нашего времени утвердилось мнение, что «Годы странствий...» — старческий роман, отразивший ослабление творческих потенций писателя. Типично в этом отношении мнение немецкого литературоведа начала века А. Бельшовского, которое затем неоднократно повторялось, и варьировалось, что «излюбленное поэтом сплавивание и скрывание совсем разнородных тел и обломков возбуждает чувство досады, и это чувство еще усиливается вследствие невероят-

пой небрежности редакции... После того как поэт отказался от мысли дать в этом романе художественное произведение, он и вообще перестал обращать внимание на сколько-нибудь тщательную обработку со стороны структуры» (А. Бельшовский. Гете, его жизнь и произведения, т. II. СПб., 1908, с. 462).

Обоснованность такого мнения на первый взгляд подтверждается рассказом друга и постоянного собеседника писателя, И.-П. Эккермана о том, что при подготовке романа к печати Гете ошибся в расчете из-за размашистого почерка переписчика. По договоренности с издателем роман должен был занять три тома, но при наборе выяснилось, что текста хватит только на два. Тогда Гете дал Эккерману толстые связки своих ненапечатанных рукописей, предложив ему выбрать из них материал на шесть — восемь печатных листов, чтобы заполнить пробелы. Сюда же Гете решил добавить два стихотворения, законченных в то время.

Вот как описан этот эпизод у Эккермана в его книге «Разговоры с Гете»:

«Он послал за мною, посвятил меня в то, что произошло, и в то, как он намерен выпутаться из этой истории, потом велел принести две толстые пачки рукописей и положил их передо мною. «В этих двух пакетах лежат разные, никогда еще не печатавшиеся работы, отдельные заметки, законченные и незаконченные вещи, афоризмы, касающиеся естествознания, искусства, литературы, жизни, наконец,— все вперемешку. Хорошо бы, вы взялись отредактировать и подобрать листов эдак от шести до восьми, чтобы, пока суд да дело, заполнить пустоты в «Годах странствий». Говоря по совести, это к роману прямого отношения не имеет, оправданием мне может служить только то, что в романе упоминается об архиве Макарии, в котором имеются такие записи. Следовательно, мы сейчас сами выберемся из большого затруднения, да еще вывезем на этой колымаге множество значительных и полезных мыслей на потребу человечества».

Я принял предложение, тотчас же засел за работу и закончил редактирование отрывков в короткое время. Гете, по-видимому, был очень доволен. Он соединил весь материал в две большие группы; одну мы дали под заглавием: «Из архива Макарии», другую назвали: «Размышления в духе странников», а так как Гете к этому времени закончил два замечательных стихотворения: «Перед черепом Шиллера» и «Завет» (1827) — и ему хотелось немедленно же ознакомить мир с этими стихотворениями, то мы присоединили их к заключению обеих частей».

Далее Эккерман рассказывает: «Но когда «Годы странствий» вышли в свет, никто толком не знал, как отнестись к этому роману.

Действие его то и дело прерывалось загадочными изречениями, смысл коих был понятен только специалистам, то есть художникам, естествоиспытателям и литераторам, остальные читатели, и прежде всего читательницы, пребывали в растерянности. Оба стихотворения тоже, можно сказать, остались непонятыми, никто не мог взять в толк, как они сюда попали.

Гете смеялся. «Теперь уж ничего не поделаешь,— сказал он тогда,— придется вам при подготовке к изданию моего литературного наследства разместить все как надлежит, дабы «Годы странствий» без вставок и без этих двух стихотворений уместились в двух томах, как оно и было задумано поначалу». (Эккерман. Разговоры с Гете. 15 мая 1831 г.).

Изменения, указанные Гете, были осуществлены в последующих изданиях. С таких сокращенных текстов роман был переведен и на русский язык. Однако уже в 1913 году появились две работы, указывавшие на важность идейных и художественных основ первопечатного текста «Годов странствий Вильгельма Мейстера»: статья Э. Вольфа «Первоначальный облик «Годов странствий Вильгельма Мейстера» («Goethe-Jahrbuch», 34, 1913) и монография Макса Вундта (Max Wundt. Goethes «Wilhelm Meister», 1913). Исследования гетеведов показали, что если просчет в объеме рукописи и имел место, то вставки в роман не были случайными.

Уже в «Избирательном сродстве» имеется целый раздел афоризмов, авторство которых приписано Оттилии, хотя далеко не все они соответствуют ее характеру и жизненному опыту. В «Годах странствий...», в главе 10 первой книги, Анжела подробно рассказывает Вильгельму об архиве Макарии и показывает ему это собрание рукописей, обещая позволить сделать из него выписки. В конце этого описания прямо говорится, что читатель в дальнейшем при первой возможности будет ознакомлен с извлечениями из архива.

Эти выписки должны были первоначально быть расположены в конце первой книги: об этом есть прямое указание в одном из предварительных планов. Однако в процессе завершения романа Гете кое-что изменил: рассуждения «Из архива Макарии» следуют за третьей частью, а после второй части помещены «Размышления в духе странников». В сообщении Эккермана явно можно поверить тому, что Гете сказал об этих собраниях афоризмов, а именно: «...на этой колымаге ...вывезем множество значительных и полезных мыслей на потребу человечества».

Уже работая над «Годами учения Вильгельма Мейстера», Гете признавался: «...если бы я захотел изображать все пространнее и подливать в рассуждения побольше воды, то из последнего тома

легко было бы сделать два; но, по-моему, он в своем концентрированном виде все же произведет лучшее и более длительное впечатление» (Ф. Шиллеру, 25 июня 1796 г.). Гете все время колебался между желанием высказать побольше мыслей и необходимостью сдерживать себя ради большей сжатости изложения. «Я оборвал в седьмой части «Наставление», в котором даны пока только очень немногие изречения об искусстве и художественном вкусе»,— сообщал он Шиллеру по поводу «Годов учения Вильгельма Мейстера».— Во второй его половине должны были быть помещены значительные мысли о жизни и о смысле жизни, и у меня была бы великолепная возможность, пользуясь устными комментариями аббата, объяснить и узаконить как все события вообще, так и, в особенности, те, которые были вызваны силами Башни; таким образом, я мог бы оградить всю эту махинацию от подозрения, что она вызвана только холодными потребностями романа, и этим придал бы ей эстетическую ценность, или, вернее, осветил бы ее эстетическую ценность» (9 июля 1796 г.).

Эти размышления, связанные еще с первым романом о Вильгельме Мейстере, позволяют предполагать, что, создавая «Годы странствий», Гете, вероятно, испытывал подобные же колебания. Первоначально он, по-видимому, сознательно сжимал объем романа, но, когда открылась известная нам возможность расширить его, поручил Эккерману щедро дополнить книгу афоризмами.

Аргументы Э. Вольфа и М. Вундта убедили гетеведов XX века, что каноническим следует считать второе, прижизненное издание романа, а не сокращенную редакцию Эккермана в посмертном издании. Первыми восстановили подлинный текст в редактированных ими изданиях сочинений Гете Э. Бойтлер в 1949 году и Э. Трунц в 1950 году. Настоящее собрание также воспроизводит полный текст романа.

Следует, однако, оговорить, что эккермановская редакция романа сохраняет свою ценность так же, как первый вариант «Геца фон Берлихингена», «Страданий юного Вертера», как «Театральное призвание Вильгельма Мейстера» и другие творения Гете, дошедшие до нас в разных редакциях. В каждом случае открывается художественная многогранность Гете, его желание сделать однажды созданное еще более совершенным.

Изменение отношения к двум редакциям «Годов странствий» было обусловлено глубокими сдвигами в эстетических оценках, происшедшими под влиянием некоторых явлений в художественной литературе XX века. В их свете то, что представлялось небрежностью и придавало композиции романа случайный характер, начали понимать как совершенно новый подход Гете к прин-

дипам композиции. Стало ясно, что отказ от традиционных приемов повествования, и в первую очередь от четко выстроенной фабулы, был намеренным. Это видно также из следующего заявления Гете: «Эта книжечка — то же самое, что и сама жизнь; в комплексе целого находишь и необходимое, и случайное, и преднамеренное, и неожиданно возникшее; одно удалось, другое — нет, и это придает ему своего рода бесконечность, которую нельзя понятными и разумными словами ни вполне выразить, ни до конца исчерпать» (Рохлицу, 23 ноября 1829 г.).

Слова эти — ключ к пониманию художественной формы романа «Годы странствий Вильгельма Мейстера». Это роман нового типа, герой которого не отдельное лицо, а вся жизнь, в ее многообразии, в ее течении и изменчивости, в переплетении прошлого, настоящего и будущего. Своим произведением Гете в некоторой степени предвосхитил так называемый «экспериментальный роман» XX века с его стремлением проникнуть в самые глубины мысли и чувства и одновременно охватить движение жизни во всем ее объеме.

В отличие от Э. Золя, который в пределах сложившейся формы романа второй половины XIX века производил художественный «эксперимент» взаимодействия человека (как биологической особи) и социальной среды, у Гете экспериментальной является и сама форма романа. Писатель задумал вместить в этот жанр не совсем обычное содержание: его произведение — не столько роман о человеческих судьбах, сколько роман идей. Идейное богатство характеризует и «Годы учения Вильгельма Мейстера», но там перед нами — волнующие человеческие судьбы (Мариана, Миньона, арфист), многочисленные жизненно важные события; все это разыгрывается на фоне реальной немецкой жизни, во вполне реальных замках, гостиницах, бюргерских жилищах, на опасных для путешествия дорогах. В «Годах странствий Вильгельма Мейстера» даже названные и описанные реалии приобретают нереальный, символический характер. Действие происходит не в той Германии, которая существовала во времена Гете, и не в той, которая была раньше, а как бы на рубеже будущего. Так как Гете не мог еще вполне постигнуть ту реальность, которая приходила на смену добуржуазной эпохе, а мысль его стремилась проникнуть именно в будущее, то это определило художественное своеобразие книги: она и роман и не роман, это некая «книга мудрости», как сказал о «Годах странствий...» Ф. Гундольф, ставя их в один ряд с «Государством» Платона и «Письмами об эстетическом воспитании человека» Ф. Шиллера.

Это сравнение, однако, не вполне правомерно, так как Шиллер теоретизирует впрямую, Платон, даже используя диалог, так-

же ясно и целенаправленно излагает свою точку зрения, тогда как своеобразная форма романа, избранная Гете, дает ему возможность высказываться предположительно. Второй роман о Вильгельме Мейстере с полным правом мог бы быть назван «Годы исканий», ибо и герой, и другие персонажи ищут выхода из сложившихся противоречий действительности, и Гете показывает итоги исканий каждого, часто несопоставимые и несовместимые с итогами других персонажей, ибо, наряду со стремлением отыскать некие общие решения для всего человечества, в романе учитывается и возможность индивидуальных решений, различных для каждого человека.

Забегая вперед, стремясь решить реальные жизненные противоречия раньше, чем для этого созрели действительные предпосылки, Гете не мог не отдать дань утопизму, и это также обусловило художественные особенности романа. Он не мог быть в такой же мере основанным на реальности, как предшествующие произведения Гете в этом жанре, ибо в нем речь идет не только о поисках решений, но и о поисках условий, делающих возможными гуманные решения уже возникших в действительности проблем. Поэтому новый роман Гете не обладает законченностью формы, он, в сущности, представляет собой ее поиск или, как мы уже сказали, эксперимент. Как и во второй части «Фауста», герой здесь связывает композицию произведения в единое целое, но его личная судьба отступает на второй план, а подчас совершенно вытесняется разными побочными эпизодами и вставными новеллами. И все же он не манекен, не бесполезная фигура, а личность, чья судьба имеет важное значение в идейном комплексе произведения.

«Годы учения Вильгельма Мейстера» изображали искания героя, стремившегося найти себе место в жизни, служа искусству. Завершающим событием было вступление Вильгельма в Общество башни — некое подобие масонских лож XVIII века, посвящавших свою деятельность каким-нибудь благим общественным целям. Принятие Вильгельма в Общество означает конец его ученичества, он становится человеком, способным осуществлять некую положительную миссию.

«Годы странствий Вильгельма Мейстера» начинаются с того, что герой, по поручению Общества, отправляется в мир, чтобы продолжать его изучение и найти новое призвание, ибо служение искусству, по мысли Гете, само по себе прекрасное, реальной пользы людям принести не может.

Сопровождаемый сыном Феликсом, Вильгельм ведет жизнь странника; он связан обязательством нигде не задерживаться дольше трех дней, и читатель наблюдает встречи и происшествий.

происходящие во время странствий героя. Основное действие первой книги перебивается тремя вставными новеллами: «Безумная ски-талида», «Кто предатель?» и «Смуглолицая девушка».

Книга вторая содержит описание некоей Педагогической провинции, где проводятся в жизнь новые принципы воспитания, отражающие просветительские идеалы истины и пользы. Вильгельм отдает туда на выучку сына. Здесь имеется только один вставной рассказ — «Пятидесятилетний мужчина». Потом возобновляется рассказ о судьбе Вильгельма. Мы узнаем, что он решил стать хирургом. Занятия медициной требуют от него постоянства и оседлости, и Вильгельм освобождается от утомительного обязательства каждые три дня менять местопребывание. В Италии Вильгельм встречает персонажей новеллы «Пятидесятилетний мужчина», которые теперь становятся действующими лицами романа.

После этих эпизодов описывается вторичное посещение Педагогической провинции и продолжается рассказ об этой утопии, ставящей целью образцовое воспитание нового человека, пригодного к практической деятельности.

Заканчивается вторая книга собранием афоризмов — «Размышлениями в духе странников», никак не связанными с действием романа, но продолжающими его философскую линию, идущую от правил Общества башни, — или Общества Отрекающихся, как оно именуется в данном романе, — к Педагогической провинции. За «Размышлениями» следует философское стихотворение, обычно помещаемое в томах лирики под названием «Завет».

Уже во второй книге читатель узнает о решении Общества помочь эмиграции бедствующих безработных в Америку. В третьей книге Вильгельм намеревается присоединиться к эмигрантам. Рассказ о нем перебивается дневником главы товарищества переселяющихся ремесленников Ленардо, за этим следуют новеллы «Новая Мелузина» и «Опасное пари».

Далее выясняется, что наместник одной провинции собирает группу бедняков, не пожелавших эмигрировать; он готов занять их трудоустройством на родине. Вильгельм присоединяется к ним и остается в Германии. О личной жизни наместника повествует новелла «Не заходи слишком далеко!».

Еще в первой книге читатель узнает о любви юного Феликса к Герсилии. В третьей книге она отвергает его любовь; несчастный юноша скачет к отцу, падает с коня в реку, его вытаскивают из воды, и подоспевший Вильгельм возвращает чуть не утонувшего Феликса к жизни; финал явно перекликается с завершающей вторую книгу новеллой об утонувшем мальчике.

Такова канва, но она не служит основой для сюжета, имеющего реальный жизненный смысл. Гете сам неоднократно подчеркивает условный характер своего произведения, вступая в прямое общение с читателем. В главе 10 первой книги он прерывает повествование словами о том, что «наши друзья взялись за роман», а не подлинную историю, но роман оказался «местами более назидательным, чем следовало». Гете постоянно приписывает себе роль редактора, публикующего разные рукописи: «Бумаги, лежащие сейчас перед нами, мы рассчитываем напечатать в другом месте, а сейчас... переходим к повествованию» (I, 10); «Среди находящихся у нас и подлежащих изданию бумаг имеется шуточный рассказ» (III, 8); и уже в самом конце: «Но вот мы достигли того момента, когда обязанность повествовать, изображать, излагать все подробно и связно становится все более трудной» (III, 14).

Если композиционный стержень явно имеет условный характер, то вставные новеллы — это реальные жизненные истории. Во всяком случае, они претендуют на то, чтобы их воспринимали как события, действительно имевшие место, хотя каждая из новелл изображает какой-нибудь необыкновенный, редкий, исключительный случай. Главная линия повествования, более или менее связанная с Вильгельмом, касается вопросов общественных, философских, эстетических, моральных. Новеллы посвящены личной жизни и на разные лады освещают тему любви.

В обоих планах повествования — общем и личном — в разной форме и степени выдвигается тема Отречения. В этом понятии нет ничего аскетического, ибо герой и его соратники по Обществу не только не отрекаются от жизни, но, наоборот, идут в самую гущу ее, чтобы помочь людям в решении наиболее трудных проблем.

Если герои романа от чего-то и отрекаются, то от эгоизма, себялюбия, корысти; их идеал — служение человечеству, помощь другим людям, утверждение гуманных начал во всех областях жизни.

Отречение, как оно выражено в романе, заключается также в отказе от абсолюта, от стремления к безграничному и бесконечному. Как и в «Фаусте», притом даже с большей настойчивостью, в «Годах странствий...» утверждается необходимость самоограничения. Каждый человек, говорится в дневнике Ленардо, всегда стеснен и ограничен со всех сторон. Даже самый разумный человек «должен приравнивать свой ум к насущному мигу и поэтому не может постичь целое». Это отнюдь не приводит Отрекающихся к отчаянию и пассивности. Осознать свою ограниченность означает для человека возможность четкого самоопределения.

На все смущающие человека вопросы дает ответ жизнь, занятая трудом: «...и на этот, и на сотню других мудреных вопро-

сов. Неукоснительно выполняйте и впредь тот долг, что налагается злобою дня, и при этом следите, чтобы сердце было чисто и дух тверд». Еще раньше близкие к этому мысли выражает другой Отрекающийся — Монтан: «...думать и делать, делать и думать — вот итог всей мудрости: это искони признано, искони исполняется, но не всяким постигается воочию. И то и другое в течение всей нашей жизни должно вершиться попеременно, как вдох и выдох, и, как вопрос без ответа, одно не должно быть без другого». Так в новом варианте предстает фаустовский принцип: «В деянии начало бытия».

Отречение, самоограничение не означает ни отказа от познания, ни бессилия человеческого ума постигнуть законы природы и жизни. Пример такого постижения законов природы подает Монтан, объясняя, как он изучает горные породы: он смотрит на трещины и расселины в горах, «как на буквы, стараясь их разгадать, составить из них слова и научиться бегло читать их». Это долгая и сложная наука, но именно таким путем — путем конкретного изучения жизненных явлений в их своеобразии — и достигается познание, утверждает Гете. В частном и единичном непременно должно обнаруживаться общее, а это подводит к установлению законов природы и законов жизни человека.

Если таково отречение в своем общем значении, то более буквально оно проявляется в сфере личной жизни. Самый ясный пример этого показан в переживаниях майора из новеллы «Пятидесятилетний мужчина». Герой новеллы приходит к пониманию того, что должен отказаться от любви к юной Гиларии и отдать невесту сыну: «Любовное наваждение старости рассеивается рядом со страстной младостью». По-своему переживают отречение мужественный Ленардо, добросердечный Одоард, «безумная скиталица». Высшим воплощением отречения является Макария, образ которой очерчен туманно, уклончиво и косвенно, скорее через высказывания окружающих ее лиц: Ангелы, астронома. Поэтому изречения из архива Макарии отнюдь не случайный довесок, а органичное выражение той коллективной мудрости, которую культивировала в своей среде Макария.

Как ни интересны наблюдения над человеческими сердцами, которыми изобилуют новеллы, еще более значительны те социально-экономические и нравственные идеи, которыми Гете наполнил свой роман. Своим прозорливым взглядом Гете увидел страшную угрозу, которая нависла над человечеством из-за развития капиталистической индустриализации. В романе выразительно говорится о том, как машина вытесняет ручной труд ремесленников. Добрая и прекрасная ткачиха жалуется Ленардо: «...мне страшно за будущее.

Машина побеждает ручной станок! Опасность надвигается медленно, как туча...» Она рисует мрачную картину постепенного угасания жизни в веселых и красивых долинах, превращающихся в пустыни по мере того, как их покидают лишившиеся заработка обитатели.

Хотя сначала в качестве главного средства борьбы с нуждой выдвигается идея эмиграции, она уступает затем пониманию того, что необходимо решить трудности и противоречия для населения, остающегося на родине. Гете не предлагает коренной ломки существующих государственных установлений. Конституция заморских поселений и реформы, предложенные на родине Одоардом, должны придать государству гуманный характер. Гете ищет золотой середины между сильной властью и индивидуальной свободой граждан. Идеализированное буржуазное общество, основанное на частной собственности, вместе с тем должно быть свободно от анархии и враждебной конкуренции. «Никто не должен причинять неудобств другому»,— гласит один из главных законов, предлагаемых основываемой колонией. Нарушители подвергаются наказаниям, имеющим разные степени — от порицания до отлучения виновного от гражданского общества, с большей или меньшей суровостью, на более или менее продолжительный срок.

Помня нападки Руссо на цивилизацию, можно по достоинству оценить заявление Фридриха: «Главное для нас — перенять все блага просвещения и избавиться от его вредных последствий».

По плану Одоарда, государственная власть должна взять на себя руководство всей хозяйственно-экономической деятельностью общества. Частное владение землей и орудиями производства — не помеха регулированию производства и торговли, хотя главным препятствием на пути прогресса будет эгоизм,— утверждает Гете. Одоард намечает «общие меры, которые, что-то отняв у отдельных лиц, послужили бы ко благу общества, а потом, неожиданно, благодаря содействию и взаимодействию всех,— и на пользу каждому».

Главная цель этой системы — сохранение ремесленного производства, которое в своем развитии должно подняться на степень подлинного искусства. Превознося деяние и труд, Гете мыслил о них в понятиях традиционного ремесленного производства, ибо, по его мнению, только оно может содействовать развитию личности, в отличие от крупной индустрии, превращающей человека в тупой и ограниченный придаток к машине. Социально-утопические воззрения Гете свидетельствуют о неспособности буржуазного гуманизма начала XIX века решить противоречие между техническим прогрессом и стремлением сберечь человеческие ценности.

Мы несколько не умалим оригинальности Гете, если отметим, что некоторые основные идеи романа теснейшим образом связаны

со взглядами Жан-Жака Руссо, вообще оказавшего огромное влияние на всю европейскую мысль конца XVIII и даже начала XIX века, в частности на Гете. Для «Годов странствий Вильгельма Мейстера» самое непосредственное значение имела книга Руссо «Эмиль, или О воспитании» (1762). Идея общественно полезного труда, утверждаемая Гете, восходит к положению Руссо: «Труд есть неизбежная обязанность общественного человека» («Эмиль», кн. 3). Руссо был идеологом доиндустриального периода, и его идеалом был труд ремесленника: «Из всех занятий, которые могут доставить человеку пропитание, ручной труд наиболее сближает его с естественным состоянием; из всех положений наиболее независимое от судьбы и от людей есть положение ремесленника. Ремесленник зависит только от своего труда...» (там же). Восприняв эти положения Руссо, Гете, однако, отказался от индивидуализма швейцарского мыслителя; если для Руссо идеалом является отдельный производитель и образцом ему казался Робинзон Крузо, то Гете видит ремесленный труд в свете возможной кооперации производителей, о чем ясно говорится в главе 12 третьей книги (речь Одоарда) и в дневнике Ленардо, приводящего речь «Доброй и Прекрасной» о труде ткачей.

К Руссо восходит также и идея странствия как важного элемента воспитания. Особый раздел пятой книги «Эмиля» был недавно посвящен путешествиям. Из рассуждений на эту тему главное гласит: «Дурно воспитанные и дурно направляемые молодые люди приобретают во время своих путешествий все пороки посещаемых ими народов и ни одной из добродетелей, с которыми эти пороки смешаны; но те, которые родились с хорошими задатками, получили хорошее воспитание, развившее их лучшие качества, и путешествуют с искренним желанием научиться, возвращаются лучшими и более разумными, чем тогда, когда они отправились». Путешествие без цели, как и учение без цели, считал Руссо, ничего не стоит. Странники Гете такую цель имеют: это благо отдельных людей и общества в целом.

В заключении своей книги Руссо рассматривает человека в его «гражданских отношениях к другим согражданам», иначе говоря, проблему общества и государства. Хотя Гете, конечно, не мог оставить эту часть книги без внимания, он не стал, подобно своему предшественнику, вдаваться в рассмотрение различных форм правления, но ограничился изображением мудрого правителя Одоарда, действующего в условиях существующего социального порядка. Считая бесполезными революционные катаклизмы, Гете верил в возможность медленных и постепенных реформ, осуществляемых гуманной властью, что и получило отражение в «Годах

странствий Вильгельма Мейстера». Главный упор в романе, однако, делается не на реформы, осуществляемые сверху, а на деятельность многих людей, объединенных идеями человеколюбия и справедливости. Однако благородная утопия Гете была опровергнута всем ходом европейской истории XIX века, ознаменовавшейся рядом революционных взрывов, которых не избежала даже отсталая Германия. Буржуазно-юнкерский строй, утвердившийся в этой стране, оказался нисколько не похожим на то идеальное общество, о котором мечтал Гете.

Гуманистические идеалы Гете утверждаются в романе главным образом через изображение Общества и его деятелей — Ленардо, Вильгельма, Монтана, проникнутых духом гуманности, альтруизма, взаимопомощи. Далее, Педагогическая провинция также воплощает стремление содействовать воспитанию общественного человека, «религией» которого должно быть почитание мира, каков он есть: того, что «над нами», «под нами», «около нас», и, наконец, превыше всего — «почитание самих себя», то есть утверждение человеческого достоинства, до которого, однако, надо дорасти, заслужив право на это всей своей жизнью и трудом.

Особенностью Педагогической провинции является то, что она не ограничивается образованием своих питомцев, а в подлинном смысле слова их воспитывает. Более того, ее педагогическая система стремится к неперемennomu развитию таланта, в первую очередь — художественного, ибо Гете вместе с Шиллером видел в эстетическом воспитании важнейшее средство развития общественного человека.

Решение всех нравственных проблем выражено Гете с наибольшей полнотой в комплексе глав, посвященных Макарии, «святой», которая воплощает в себе как Отречение в гетевском понимании, так и идею человеческой общности. Духовная сущность Макарии дает Вильгельму и всем остальным два главных урока: «Земля и ее недра — это мир, где имеется все необходимое для самых высоких земных потребностей, тот сырой материал, обработка которого есть дело высших человеческих способностей; избрав этот духовный путь, мы непременно обретем любовь и участие, придем к свободному и целесообразному труду. Кто заставил эти миры сблизиться и обнаружить присущие обоим свойства в преходящем феномене жизни — тот воплотил в себе высший образ человека, к какому должен стремиться каждый».

Гете, однако, не ограничивается идеей личного самоусовершенствования. Важной чертой романа является идея воспитания коллективного сознания. Она проводится как при описании Педагогической провинции, так и в изображении деятельности Отрекаю-

щихся. Гете ищет такие методы воспитания, которые могли бы привить людям общественные навыки и чувство действительного, общечеловеческого единства. Он и как художник ищет пути к этому, стремясь, наряду с отдельными персонажами, обычными для романа, дать изображение коллективов, массы. Несколько абстрактно и безлико это воплощено в жизнь при описании тружеников, собирающихся покинуть страну; более живо и картинно представлены Отрекающиеся в первой главе третьей книги романа, когда они торжественно шествуют с песнями, славя труд на благо человечества.

Музыка, как и другие искусства, оправдывает свое существование именно тем, что содействует развитию духа общности между людьми, считает Гете. Правда, у Гете в романе есть и противоречие в толковании искусства, так как он колеблется между двумя крайними о нем понятиями. С одной стороны, как вытекает еще из «Годов учения...», искусство оказывается бесполезным, и потому Вильгельм обращается к практической деятельности. Но, с другой, в «Годах странствий...» со всей определенностью говорится о роли искусства как средства духовного воспитания человечества. Такая двойственность не раз встречается у Гете, и ее нужно принимать как факт, памятуя, однако, что в конечном счете Гете считал искусство великим посредником в познании «тайны жизни», в чем и заключается главная его польза.

Роман Гете на всем своем протяжении изобилует глубочайшими мыслями, вложенными автором в уста различных персонажей; вместе с тем два раздела, завершающие вторую и третью книги, представляют собой в целом собрания изречений, из которых одну группу Гете определяет как «размышления в духе странников», то есть братства Отрекающихся, а другую — предлагает считать извлечениями из архива Макарии.

Ни одно иное произведение Гете не является в такой мере дидактическим, как «Годы странствий Вильгельма Мейстера», — именно дидактическим, а не философским. В «Фаусте» мысль Гете воплощена не столько в прямых изречениях, сколько в живых образах и ситуациях. В «Годах странствий...» все служит тому, чтобы дать последовательное изложение идей по обширнейшему кругу философских, религиозных, педагогических, эстетических и морально-этических вопросов, неизменно связанных как с пониманием природы, так и общественных отношений.

Это действительно кладезь гетевской мудрости, но мы ошиблись бы, предположив, что мудрость эта сложилась у писателя в точно разработанную систему, как то имело место у его великого современника Гегеля. Гете противник не только школярской философии, но и ученых систем, каких в его время было немало.

Его взгляд на мир был глубоко поэтическим, а его философия, если ее можно так назвать, представляла собой тоже своего рода художественное творение.

Всякая мысль Гете рождалась из наблюдения и живого образа, возникавшего в его сознании. Единичный факт никогда не оставался для него изолированным. В *отдельном* он научился видеть *общее* и считал, что всякий образ, в сущности, является символом.

Если один полюс мысли Гете составляло конкретное богатство и многообразие реального мира, то другим полюсом была идея космического единства всего сущего. Отдельное, единичное было в его глазах всегда проявлением гармонического, но вместе с тем диалектически противоречивого мироздания. Наиболее полное и художественно совершенное воплощение это получило в «Фаусте». «Годы странствий Вильгельма Мейстера» в иной форме отражают миропонимание Гете, как оно сложилось к концу его жизни. Здесь тоже воплощен «конечный вывод мудрости земной», во многом совпадающий с тем, что выражено в «Фаусте»: вечная неудовлетворенность, искания истины, трагический опыт жизни, почти неизбежно связанной с потерями и необходимостью ограничить себя, труд на благо человечества — все это и многое другое роднит наименее популярный роман Гете с его общепризнанным шедевром. Но в романе идеи Гете предстают непосредственно, без образного облачения.

Здесь обнаруживается особенность Гете — мыслителя и художника одновременно, — проявляющаяся в мастерском владении языком для выражения мысли. Это утверждение покажется менее тривиальным, если вспомнить, какой сложной, трудной, тяжеловесной была форма изложения у того же Гегеля (не только в лекциях, записанных его учениками, но и в тех, которые философ написал сам).

Правда, Гете опирался на опыт литературы и философии XVII—XVIII веков в целом, особенно французской, развившей традицию классического афоризма. Паскаль, Ларошфуко, Шамфор, Вольтер, Дидро создали школу философской прозы, обладавшей неоспоримыми художественными достоинствами. В Германии у Гете предшественником был Лихтенберг.

Гете много и тщательно работал в жанре афоризма. Недаром Эккерману было легко отыскать в его рукописном архиве массу изречений, включенных в роман. Что же характерно для гетевских афоризмов?

Прежде всего, твердая опора на действительность. Все изречения Гете основаны на его жизненном опыте и наблюдениях, будь то явления природы, методы научного исследования, человеческие страсти, вопросы искусства, проблемы нравственности. Зна-

комясь с изречениями Гете, читатель еще раз убеждается в универсальности кругозора Гете, в его способности видеть жизнь во всей ее полноте и многогранности. При этом у Гете есть одно существенное отличие от его замечательных предшественников. За исключением Паскаля, все они были склонны к скепсису. Их анализ человека был подчас таким же уничижительным, как и критика общества. Мы знаем, что насмешка была орудием идейной борьбы в XVII—XVIII веках, и она принесла немалые плоды. Гете тоже способен с иронией отозваться о человеческих заблуждениях, но это встречается у него редко. Главное в том, что афористическая философия Гете насквозь проникнута духом жизнеутверждения, верой в способность человека к совершенствованию. Так же, как и роман в целом, приложенные к нему изречения бьют в одну цель: помочь человечеству решить свои противоречия, преодолеть трудности на пути прогресса. Изречения Гете — великая школа жизни, проникнутая духом гуманности.

В афоризмах возникает образ их создателя — человека, необыкновенно умудренного жизнью, изведавшего своей мыслью все, доступное разуму, и спокойно останавливающегося перед тем, что остается загадкой. Гете не претендует на то, что он способен ответить на все вопросы, он постоянно подчеркивает, что многое — притом очень важное — не только остается, но и должно остаться для людей загадкой. Жизнь утратила бы смысл, если бы человеку вдруг стали известны ответы на все вопросы, которые его волнуют.

Гете-олимпиец предстает нам в изречениях особенно выразительно. Но, как известно, его олимпийство было весьма относительным; его мудрые изречения также свидетельствуют, что спокойная и трезвая работа его мысли не имеет ничего общего с безразличием. Наоборот, афоризмы Гете свидетельствуют о его глубочайшем и неутолимом интересе к жизни во всех ее проявлениях. Чего стоит хотя бы точность и острота наблюдений, не говоря уже о смелости выводов! Если можно говорить об олимпийстве Гете, то лишь в том смысле, что он поднялся на такую духовную высоту, с которой ему было видно то, что многим людям остается недоступным из-за узости их взглядов и слишком большой близости к предмету наблюдения. Гете же достиг той высоты, когда он мог смотреть и на мир, и на себя с предельно доступной объективностью, во многом стоя выше предрассудков и заблуждений, свойственных его времени.

И, наконец, отметим еще одну важную особенность Гете-мыслителя. Он никогда не считал свои идеи окончательными, всегда готов был дополнять и развивать свои мысли, опираясь на новые наблюдения. Более того, он не боялся впадать в противоречие

с самим собой. Ему было свойственно нередко смотреть на одни и те же вещи с разных точек зрения и приходить к разным выводам. Его мысль была живой, подвижной, безостановочно развивающейся. Это же надо сказать и о рассматриваемом романе; его подлинный сюжет, его истинное действие — это движение мысли, направленной к единой цели: как сделать жизнь лучше и красивей, чем она есть.

КНИГА ПЕРВАЯ

Стр. 7. *Бегство в Египет.*— Начало романа описывает встречу героя с семейством плотника, которое напоминает картины на сюжет евангельской легенды: о том, как Иосиф и Мария бежали с младенцем Иисусом в Египет, опасаясь жестокости иудейского царя Ирода. Живопись часто пользовалась этим сюжетом. Описание действующих лиц аналогично их традиционным изображениям на картинах. Особенно это заметно при указании на синий и красный цвета одежды женщины — традиционные цвета одеяния богоматери на картинах.

Стр. 9. *...молодой силач нес на плече топор-тесак...*— Гете последовательно уподобляет встреченного незнакомца евангельскому святому Иосифу, мужу Марии и приемному отцу Иисуса. По роду занятий Иосиф был плотником. Далее герой Гете назван Святой Иосиф Второй (см. с. 12).

Вайи — пальмовые ветви. На картинах, изображающих бегство в Египет, неперемный атрибут ангелов.

Стр. 10. *Наталия* — сестра Лотарио и Фридриха, возлюбленная и затем жена Вильгельма. См. роман «Годы учения Вильгельма Мейстера» (т. 7 наст. изд.).

Стр. 14. *...между ними росла лилия...*— В христианской символике белая лилия обозначает чистоту и целомудрие, а посему часто является атрибутом Марии, Иосифа и других святых. Гете не был верующим христианином, но в поздних произведениях часто пользовался распространенной в его время христианской символикой, наряду со ссылками на языческую античную мифологию.

Стр. 16. *...этому животному выпала честь везти на своем хребте бога и пресвятую мать его.*— Имеется в виду та же легенда о бегстве в Египет и традиционное изображение ее в живописи. Богоматерь с младенцем обычно изображается едущей на осле.

Стр. 17. *С царем Иродом, как известно, были шутки плохи...*— Согласно библейскому преданию, иудейский царь Ирод оставил о себе память жестоким умерщвлением младенцев.

Стр. 18. *Посещение Елизаветы Марией.*— Гете продолжает здесь уподобление своих героев и эпизодов персонажам и собы-

тиям евангельских легенд. Святая Елизавета — по Евангелию, мать Иоанна Крестителя.

Стр. 26. *Хозяин назвал его Монтаном...*— Имя Монтан означает «горный» (от лат. *mons* — «гора»). Это псевдоним Ярно, друга Вильгельма (см. «Годы учения Вильгельма Мейстера»).

Стр. 27. *...на древнейшей в мире горной породе.*— Гете считал гранит древнейшей породой и посвятил этому специальную статью («Гранит»).

Стр. 29. *Странствуй дальше, новый Диоген...*— Согласно преданию о древнегреческом философе, Диоген шел днем с фонарем и, когда его спросили, зачем ему фонарь, ответил: «Ищу человека».

Стр. 31. *...такой камень зовется крестовым...*— Гармот, или крестовый камень — крестообразный прозрачный кристалл желто-красного цвета. Его действительно добывали в окрестностях города Сантьяго-де-Компостела в Испании,— древнее место паломничества католиков, ибо существовала легенда, что там погребен апостол Иаков, считавшийся покровителем Испании.

Сивилла — у древних греков предсказательница судьбы.

Стр. 32. *Пигмеи* (греч. миф.) — малорослые существа, обитавшие в горных недрах.

Стр. 35. *...оказать мне честь на сократовский лад...*— Древнегреческий философ Сократ, по дошедшим преданиям, имел обыкновение задавать своим собеседникам наводящие вопросы, подводя таким образом к истине.

...страннический посох, наделенный чудесным свойством...— Намек на легенду о средневековом немецком порте-миннезингере Тангейзере. Совершившему немало прегрешений Тангейзеру было предсказано, что он получит прощение не раньше, чем оживет и зазеленеет его посох. Когда покаявшийся Тангейзер пришел паломником в Рим, его посох в самом деле зазеленел.

Стр. 36. *...Монтан сразу же заговорил о нем как о вещи давно ему знакомой.*— Речь идет о сумке хирурга, с помощью которой Вильгельм долго и безуспешно пытался напасть на след Наталии (см. «Годы учения Вильгельма Мейстера»).

Стр. 42. *...вынесли его, как некогда Улисса, под открытое небо.*— Намек на эпизод из «Одиссеи» (XIII, 117 и далее). Заснувшего Улисса (Одиссея) феакийцы вынесли с корабля спящим на землю его родной Итаки.

Стр. 43. *...не увидел ничего напоминающего ни старомодный сад, ни современный парк...*— Существенное для времени Гете различие. Старомодный сад — во французском стиле; современный парк — на английский лад.

...географические карты всех четырех частей света...— Пятая

часть света — Австралия, открытая капитаном Куком в 1770 г., во времена написания этой книги на карты еще не попала.

Стр. 45. *«Безумная скиталица»*.— Вольный перевод анонимной французской повести, напечатанной в 1789 г. во французском журнале «Тетради для чтения», издававшемся в Гете.

Стр. 48. *«Куда, приятель, иль откуда?»*.— Эта, по определению Гете, «озорная песня» была впервые напечатана во французском «Сборнике наиболее веселых современных песен» (1764). Гете перевел ее в 1797—1798 гг. и опубликовал в «Альманахе муз» Ф. Шиллера в 1799 г. Позже он включил ее в собрание своих стихотворений, и она обычно печатается в собраниях также и отдельно от романа.

Стр. 58. *...во времена Беккарии и Филанджери...*.— Чезаре Беккария (1735—1794) и Гаэтано Филанджери (1752—1788) — итальянские юристы, выступали в своих сочинениях против устаревших феодальных законов и предлагали либеральные реформы. Сочинение Беккарии «О преступлениях и наказаниях» (1764), ратовавшее за отмену пыток и жестоких наказаний, произвело переворот в уголовном праве. Оба названных юриста оказали влияние на французских и немецких просветителей. Со вторым из них Гете лично познакомился во время пребывания в Италии в 1787 г.

Стр. 59. *...бедственное преобладание картофеля...*.— Распространение картофеля, вывезенного из Америки, было сначала враждебно встречено в европейских странах, где его называли «чертовым яблоком». В Германии культура картофеля была насильственно введена Фридрихом II Прусским. Отсюда стойкое предубеждение против него, которое было распространено как среди народа, так и в среде образованных людей.

Стр. 60. *...начертаны изречения из Корана...*.— Коран — священная книга мусульман, содержащая изречения житейской мудрости; Гете подробно познакомился с ней в годы создания стихов «Западно-восточного дивана» (1814—1819) и очень ею увлекался.

Стр. 67. *...которую звали Находиной...*.— По-видимому, Гете умышленно дал этой девушке значащее имя (со славянским корнем), в противоположность героине «Зимней сказки» Шекспира с латинским именем Пердита, что означает «потерянная».

Стр. 70. *Близнецы Менехмы* — герои комедии древнеримского писателя Плавта «Менехмы», поразительно похожие друг на друга братья-близнецы.

Стр. 72. *Уильям Пенн* (1644—1718) — религиозный реформатор, проповедник идей квакеров. Пенн основал в Северной Америке вольную колонию религиозных сектантов, названную по его имени Пенсильвания, с г. Филадельфией в центре ее. Добивался свободы вероисповедания.

Стр. 73. *...играть за морем роль Орфея или Ликурга.*— Орфей (греч. миф.) — легендарный певец, укрощавший своим пением и игрой на лире диких зверей; согласно учению секты орфиков был основоположником религиозных таинств. *Ликург* — древнегреческий законодатель, образец правосудия.

Стр. 78. *...выпускаемых Гомановой печатней...*— Типография известного географа и нюрнбергского издателя И.Б. Гомана (основана в 1702 г.) специализировалась на печатании географических карт, атласов и книг с перспективами городов.

Стр. 80. *...о прекрасном острове на большом южном озере...*— Прекрасный остров — буквальный перевод итальянского названия Изола-Белла, острова на озере Лаго-Маджоре (Северная Италия). Здесь, по воле Гете, начинала жизнь одна из героинь романа «Годы учения Вильгельма Мейстера» — Миньона.

Стр. 81. *Антон Рейзер* — герой одноименного романа К.-Ф. Морица (1751—1793), друга Гете; этот персонаж отличался любовью к странствиям. Эта же склонность Антони противопоставляется здесь домовитости Люцинды.

Вечный Жид — легендарный персонаж. В наказание за бессердечие, проявленное им к ведомому на казнь Христу, несшему крест, он осужден на вечную жизнь и странствования до второго пришествия.

Стр. 90. *Вильгельм Оранский* (1650—1702) — Вильгельм III, штатгальтер (правитель) Нидерландов; после английской революции 1688 г. был призван на английский трон и в 1694 г. провозглашен королем Уильямом III. Здесь приведен как образец либерального конституционного монарха. В отличие от него, французский король *Людовик Четырнадцатый* (1638—1715) — пример полновластного короля-самодержца.

Стр. 92. *Фемида* — древнегреческая богиня правосудия.

Стр. 97. *...показать вам все царства мира и славу их.*— Слова Сатаны, искушавшего Христа, удалившегося в пустыню (Евангелие от Матфея, 4, 8).

Стр. 102. *Анжела, Макария.*— Гете употребляет значимые имена. Имя Анжела происходит от слова «ангел», Макария — от древнегреческого слова «μακάριος» — блаженный.

Стр. 105. *Непомерное перестает быть величественным...*— Отклик на известное рассуждение философа Иммануила Канта (1724—1804) в его работе «Критика способности суждения».

Стр. 107. *...привычка носить очки... есть главная причина сомнения нынешней молодежи.*— Гете долго был резким противником ношения очков и неоднократно это высказывал. Он считал, что стекла искажают верное восприятие человеком мира. Однако позднее он вынужден был сам пользоваться очками.

Стр. 115. *Человек этот был из числа «тихих братьев»...*— Имеются в виду пиетисты, религиозно-нравственное течение, широко распространенное в XVIII в. в немецких и других протестантских странах. Пиетисты учили, что главное — не догмы и обряды а воспитание веры и человеколюбия. Сусанна фон Клеттенберг, подруга и родственница матери Гете, сблизила юного поэта с кругами франкфуртских пиетистов (см. коммент. к т. 7 наст. изд., с. 521).

Стр. 124. *Потому-то древние и говорили обычно: «Сыны героев ни на что не годны»...*— Это высказывание восходит к Гомеру («Одиссея», II, 227). Гете знал его в латинской редакции из книги «Адагии» («Изречения») Эразма Роттердамского.

Стр. 126. *...у моих сотоварищей такие же замыслы...*— Вильгельм говорит здесь о членах Общества башни, или Отрекающихся (см. «Годы учения Вильгельма Мейстера»).

...изложил причины своего желания скорее избавиться от тягостного условия...— то есть от обязательства нигде не оставаться более трех дней (см. с. 11.).

КНИГА ВТОРАЯ

Стр. 132. *Паломники... благополучно прибыли на границу той провинции, где им предстояло увидеть и узнать так много примечательного.*— О Педагогической провинции Гете впервые упоминает в предыдущей книге романа (с. 124), называя ее устами Ленардо «чем-то вроде Утопии». Введение Педагогической провинции в роман отражает глубокий интерес передовых кругов тогдашнего общества к вопросам воспитания и образования. Под влиянием Ж.-Ж. Руссо и его романа «Эмиль» передовые педагоги XVIII в. разрабатывали планы новых форм воспитания. В своем описании Гете использовал некоторые элементы воспитательного учреждения, созданного в 1799 г. швейцарским педагогом Ф.-Э. Фелленбергом (1771—1844) с целью подготовки учащихся прежде всего к практической деятельности, а также к занятиям музыкой и пением.

Стр. 141. *...не столько синхронистически, сколько симфронистически...*— Синхронистическая связь — последовательность во времени. Симфронистическая связь — связь логическая, по содержанию, по внутреннему смыслу.

...вы видите Авраама, которого посетили его боги в виде прекрасных юношей...— Имеется в виду библейская легенда (Бытие, 12—25).

...Аполлона среди Адметовых пастухов...— Согласно древнегреческим мифам, бог Аполлон в наказание за убийство должен был целый год работать пастухом у царя Адмета.

Стр. 142. ...превосходное собрание священных книг.— Имеется в виду так называемое Пятикнижие, то есть пять книг Моисея в Ветхом завете. Гете с полным основанием отрицает «священный» характер этих книг, опираясь на современную ему критику религии, и видит в них произведения народного творчества первобытных времен, как то провозгласил друг Гете философ и поэт Иоганн Готфрид Гердер (1744—1803).

Стр. 143. *Жизнь его была жизнью частного лица...*— Гете не признает личность и деятельность Христа священными, он отводит ему роль проповедника морали. Ниже он явно иронизирует над евангельскими рассказами о «чудесах», якобы совершенных Христом.

Стр. 144. ...мы здесь отделили жизнь этого необычайного человека от его кончины.— То есть деятели Педагогической провинции исключили историю распятия и воскресения Христа.

Стр. 145. ...он дает пищу и предателю, который погубит и его, и лучших его учеников.— Речь идет об Иуде Искариоте.

Стр. 163. ...усматривал в работе вдовицы медленность Пенелопина тканья.— Пенелопа — верная жена пропавшего Одиссея — обещала дать ответ осаждавшим ее женихам, когда закончит начатое ею рукоделие. Однако по ночам она распускала ткань, которую ткала; таким образом, ее работа не продвигалась («Одиссея», XIX, 138 и сл.).

Стр. 167. ...которую именуют описательной или, в известном смысле слова, дидактической поэзией.— В XVIII в. в Германии и Швейцарии широко была развита так называемая описательная поэзия, представленная такими поэтами, как Брокес, Галлер, Э.-К. Клейст и др. Представители этого вида литературы считали, что поэзия, подобно живописи, должна создавать словесные картины природы, сопровождая их поучениями и философскими рассуждениями, почему и говорится, что произведения майора были «в известном смысле дидактической поэзией». Вкусы майора и младшей из дам, высказывающей дальше свое отношение к описательной поэзии, отражают взгляды, широко распространенные в Германии до того, как Лессинг в «Лаокооне» (1766) решительно выступил против описательности в поэзии.

Стр. 168. ...мне приятнее такие, которые переносят меня в какую-нибудь красивую местность... — Такою была поэзия старшего современника Гете швейцарского поэта С. Гесснера (1730—1788), автора «Идиллий» (1756).

Стр. 173. *Heu! Quae mens...*— Г о р а ц и й. Оды, IV, 10, 6.

Стр. 174. *Nec factas...*— О в и д и й. Метаморфозы, VI, 17.

Арахна — в греческой мифологии искусная ткачиха, вызвавшая на соревнование саму богиню Афину (у римлян Минерва). Богиня, разгневанная тем, что Арахна осмелилась выткать на ковре

постыдные превращения богов, превратила ее в паука (Овидий. *Метаморфозы*, VI, 5).

Стр. 175. *Однако сквозь все звучала знакомая нам элегическая тема...* — Ироническое описание охотничьей поэмы майора напоминает «Весну» Эвальда Клейста (1749).

Стр. 179. *...преследуемый фуриями Орест.* — В греческой мифологии сын аргосского царя Агамемнона и Клитемнестры; убил мать в отместку за отца, убитого ее любовником Эгистом. За это Ореста преследовали богини мщения — фурии. История Ореста после убийства матери изображена Гете в драме «Ифигения в Тавриде».

Стр. 180. *...рискуя, как Психея, нарушить целительный сон.* — Богиня красоты и любви Афродита, завидуя красоте царской дочери Психеи, послала Амура погубить ее. Амур влюбился в девушку, и они встречались по ночам, так как он скрывал от нее свой облик. Томимая любопытством, Психея зажгла ночью светильник, чтобы разглядеть возлюбленного, но при этом капля горящего масла упала на него, и он проснулся. Разгневанный Амур покинул ее, и они соединились лишь долгое время спустя. Гете знал эту легенду по книге римского писателя Апулея «Золотой осел».

Стр. 181. *Благородное искусство поэзии вновь явило здесь свою врачующую силу.* — В «Поэтике» Аристотеля говорилось о том, что один из видов поэзии — трагедия — обладает целительной, очищающей душу силой. Это положение Гете распространяет на всю поэзию.

Стр. 198. *Аббат* — французское духовное лицо, в XVIII в. часто только по одеянию принадлежавшее к церкви. Такой светский аббат, оказавший влияние на духовное развитие героя, выведен в «Годах учения Вильгельма Мейстера».

Стр. 199. *...Вильгельм оказывается в обществе живописца, одного из тех, каких немало... бродит призраками по страницам романов и драм...* — Речь может идти о романах «Ардингелло, или Острова блаженных» (1787) Вильгельма Гейнзе, «Странствования Франца Штернбалда» (1798) Людвиг Тика и многих других произведениях писателей-романтиков.

...прибывают на берег большого озера... — Речь идет о Лаго-Маджоре в Северной Италии.

Стр. 200. *Девочка-мальчик.* — Миньона одевалась в мужское платье, и ее принимали за мальчика (см. «Годы учения Вильгельма Мейстера»).

Стр. 201. *...и убежищем страшного выводка сказочных драконов.* — Художник, изображенный Гете, воспроизводит в живописных образах то, о чем пела Миньона в своей знаменитой песне «Ты знаешь край...» (см. т. 7, с. 117).

Маркиз — дядя Миньоны.

Стр. 203. *...едва Вильгельм предъявил им листок...* — Это место разъясняется при обращении к первому варианту романа. Там Герсилия, посылая Вильгельму рассказ «Пятидесятилетний мужчина», сопровождала его записочкой, которую и показывает Вильгельм.

Стр. 205. *Слово «гондола» здесь не следует понимать в погребальном венецианском смысле...* — Венецианские гондолы, как правило, были окрашены в черный цвет.

Стр. 211. *...это давало возможность встретить в среде Отрекающихся самый радушный прием...* — Художник подготовлен к вступлению в ряды Отрекающихся тем, что «почувствовал себя посвященным во все горести первой ступени Отречения» (с. 210), ему приходится отречься от Гиларии, в которую он влюбился.

Стр. 213. *Далее могу сообщить вам о Лотарио...* — Лотарио, брат Наталии, — один из главных деятелей Общества.

Стр. 218. *...старается как можно чище соблюдать все долги и краткости...* — Стремясь приблизить немецкую поэзию к классическим образцам древнегреческого стиха, поэты XVIII в. пытались воспроизвести особенности греческой метрики — разделение слогов на короткие и длинные.

Стр. 222. *...о той прекрасной битве между юными героями и амазонками...* — Легендарное воинственное племя женщин-амазонок, обитавшее в Скифии, сражалось во время Троянской войны против греков на стороне троянцев. Гете видел в Риме саркофаг, на барельефе которого были изображены эпизоды битвы юных греков и амазонок.

Стр. 224. *«Чтоб творить, в уединенье, о художник, уходи!..»* Стихотворение было первоначально написано в 1816 г. для собрания Союза художников в Берлине, напечатано в 1817 г. Сходную мысль Гете выражает в драме «Торквато Тассо»: «Таланты образуются в покое, // Характеры среди житейских бурь» (I, 2; т. 5 наст. изд.).

Стр. 229. *Многие утверждали, что своим обликом земля обязана покрывавшим ее, но постепенно схлынувшим водам...* — Гете касается здесь научного спора между так называемыми «нептунистами» (сторонниками первой из охарактеризованных здесь теорий) и «вулканистами». Сначала Гете поддерживал «нептунистов», затем стал признавать частичную обоснованность взглядов «вулканистов». Этому же вопросу он касается во второй части «Фауста», об этом же беседует с Эккерманом (1 февраля 1827 г.). Теорию «нептунистов» развивали ученые О.-Б. де Сосюр, А.-Г. Вернер, Л. Океп. «Вулканисты» — П.-Л.-А. Кордье, Ж.-Б.-Ж. Фурье, Ж.-П. Скроп. Третью теорию («сложившиеся в лоне земли формации... прорывали земную кору...») выдвинули А. Гумбольдт и

Л. Букс. Четвертая группа — сторонники падения метеоритов — представлена И.-Л. Геймом.

...призывали на помощь века жестокого холода... — Эту гипотезу выдвигали фон Венетц, И. фон Карпантье и, независимо от них, сам Гете.

Стр. 230. *...образ духа, носившегося над водами, и картину погола...* — Образы из Библии (Бытие, 2, 2; 7, 20).

Стр. 232. *Какого рода было это происшествие...* — Гете не выполнил обещания и не рассказал об этом тяжком происшествии, Предположительно речь должна была идти о несчастье на руднике, где Вильгельм получил бы возможность показать свое хирургическое искусство.

Я кажусь себе невинной Алкменой... — Алкмена — в древнегреческой мифологии жена царя Амфитриона, полюбившаяся богу Зевсу; приняв облик Амфитриона, он посещал ее по ночам в отсутствие мужа, она же не подозревала о подмене.

Стр. 243. *...лобороть те препятствия, которые вначале встретило оспопрививание.* — Оспопрививание, впервые введенное в Европе английским врачом Эдуардом Дженнером в 1796 г., первоначально встречено было с большим предубеждением.

Стр. 244. *...если юмористу дозволено пересказывать с пятого на десятое...* — Намек на вольную повествовательную манеру популярного в начале XIX в. немецкого писателя Жан-Поля (1763—1825).

Ты, конечно, помнишь сумку с инструментом, которую извлек ваш превосходный хирург... — Намек на эпизод в романе «Годы учения Вильгельма Мейстера» (см. выше коммент. к с. 36).

РАЗМЫШЛЕНИЯ В ДУХЕ СТРАННИКОВ

Стр. 247. *Всякая разумная мысль...* — Гете перефразирует афоризм римского комедиографа Теренция: «Все сказанное было уже сказано прежде».

...познать самого себя? — «Познай самого себя» — знаменитое древнегреческое изречение; оно, по преданию, было высечено на храме Аполлона в Дельфах.

Стр. 251. *«Играть на трубе...»* — гасконская поговорка; Гете заимствует ее из «Опытов» Монтеня (I, 24).

Стр. 256. *Рукописное предание* — термин классической филологии; под ним подразумевается преемственность скопированных одна с другой рукописей одного произведения, восходящая к одной изначальной рукописи (архетипу).

Стр. 260. *«Никто не должен быть должен».* — Лессинг. «Натан мудрый» (I, 3). Эти слова процитировал в письме к Гете от

4 января 1826 г. его друг, композитор Цельтер. Далее Цельтер прибавляет: «А я говорю вам: *кто хочет, тот должен!*» Гете отвечал Цельтеру 21 января 1826 г.: «*Кто хочет, тот должен!*» А я продолжу: *кто глубоко видит, тот и хочет.* Так мы по кругу возвращаемся к тому, с чего начали: *мы должны быть должны по убеждению.*»

Стр. 261. ...*перед физикой, рядом с нею и после нее.* — Гете обыгрывает этимологическое значение слова «метафизика» — «после физики» (от названия соответствующего труда Аристотеля, следующего в ряду его сочинений после «Физики»).

Стр. 265. *Хроматика* — учение о цвете.

Прафеномен — в терминологии Гете, объективно существующая внутренняя сущность каждого явления, далее которой человеческое познание пойти не может.

Стр. 266. *Veraalt* (голланд.) — в первичном значении — «ограниченный межевыми столбами, вежами», что обыгрывается Гете.

Стр. 267. ...*а иные даже сомневаются в его существовании.* — Намек на субъективно-идеалистическое учение Джорджа Беркли (1684—1753).

Стр. 268. *Геогнозия* — по терминологии времен Гете, наука о строении земной коры и составляющих ее минералах. *Геология* — учение о происхождении земли.

Стр. 269. *Лагранж* Жозеф-Луи (1736—1813) — французский математик и механик. Научное творчество Лагранжа импонировало Гете стремлением обнаружить простые и всеобщие принципы, которые только и могут соответствовать объективной реальности.

КНИГА ТРЕТЬЯ

Стр. 273. *Ради этого он извлек табличку...* — Речь идет о своеобразной карте, присланной Вильгельму аббатом, на которой было обозначено местонахождение членов Общества (см. с. 213). Ниже она так и названа картой.

Стр. 275. ...*будто внутри у меня некий гений ритмически нашептывает что-то...* — Гений. — Так Гете передает греческое слово «δαίμων» («демон»), которым Сократ называл свой «внутренний голос», удерживающий его от дурных поступков. Гете придает своему герою черту, присущую ему самому (см. «Поэзия и правда», т. 3 наст. изд., с. 439).

Стр. 276. *Сын Енака* — то есть крупный человек, великан (см. Библия, Числа, 13, 23 и 29).

Святой Христофор — католический святой; согласно легенде, великан, переносивший странников через реку и перенесший также младенца Христа.

Стр. 277. *Алый Плащ* — прозвище таинственного брадобрея из сказки «Немая любовь» немецкого писателя И.-К.-Л. Музеуса (1735—1787). В некоем волшебном доме этот брадобрей безмолвно побрил героя сказки, а затем потребовал от него ответной услуги, угрожая смертью за малейший порез при бритье.

Стр. 280. «*Помни о смерти!*» (лат.: Memento mori!) — Этими словами обменивались вместо приветствия монахи ордена трапистов.

Стр. 281. *Альфьери* Витторио (1749—1803) — итальянский драматург, автор трагедий на античные и библейские сюжеты. Характерная особенность его трагедий (самая известная из них «Саул») точно определена здесь Герсилией.

Стр. 282. *...пресловутый орган сразу у меня появился...*— Речь идет о «шишке воровства». Шутливый намек на популярные тогда теории доктора Ф.-И. Галля (1758—1828), согласно которым каждой человеческой склонности и способности соответствует определенный участок мозга; если способность развита, на черепе над этим участком появляется шишка.

...и я подумаю о седьмой заповеди...— Заповедь «Не укради!» — седьмая заповедь по тексту Библии, принятому в Европе. В православном Ветхом завете эта заповедь является восьмой.

Стр. 284. *...с особенным рвением я взялся за анатомию, видя в ней основу основ.*— Изучением анатомии Гете интенсивно занимался начиная с 1781 г. Нижеследующее описание основывается на личном опыте поэта.

Стр. 287. *Иезекииль* — библейский пророк; бог явил ему в видении воскресение мертвых (Книга пророка Иезекииля, 37).

Стр. 289. *Элохимы* (множ. число) — библейское наименование божества.

Стр. 290. *Эскулап* — латинская форма от греческого «Асклепий», в античной мифологии бог врачевания.

Стр. 292. *...в которой рассказывается о «воскресителях».*— Перевод английского слова «resurrection-men»; так называли людей, раскапывающих могилы и выкрадывающих трупы для продажи их анатомам. Этот вид преступления был распространен в начале XIX столетия, особенно в Англии.

Стр. 294. *Филина* — один из женских персонажей «Годов учения Вильгельма Мейстера», отличавшаяся легкомысленным поведением.

Стр. 295. *Монтанова Лидия* — также персонаж из «Годов учения...», характер которой представлен здесь иначе, чем в первом романе (VII, 2—4). Лидия — жена Ярно, или Монтана.

Стр. 297. *Дневник Ленардо.*— В этой главе Гете описывает правильно-ткацкое ремесло, основываясь на подробном письменном

докладе, сделанном для него его другом Генрихом Мейером в 1810 г. Гете в качестве министра Веймарского правительства очень интересовался этой отраслью промышленности и строил планы ее внедрения и развития в Веймарском герцогстве. Доклад был снабжен зарисовками.

Стр. 299. *...каждый хотел знать о войне...*— По-видимому, никакая историческая война здесь не подразумевается.

...машинное производство распространялось по стране все шире...— Гете был весьма обеспокоен неблагоприятными для ремесленников последствиями индустриализации, что вело к росту безработицы среди ткачей и прядильщиков.

Стр. 302. *Зная его доброе намеренье, я его не удерживал.*— Речь идет о том, что Святой Христофор уходит спать в другое место, не желая мешать остальным своим мощным храпом (см. с. 277).

Стр. 303. *...устроенное на манер систра...*— СISTR — старинный шумовой инструмент типа трещотки, употреблялся в культовых празднествах в честь древнеегипетской богини Изиды.

Стр. 306. *Амброзиус Лобвассер (1515—1587)* — профессор Кенигсбергского университета, переводчик французских псалмов, которые обрели большую популярность среди немецких протестантов, главным образом среди швейцарских кальвинистов.

Стр. 309. *Новая Мелузина.*— Гете рассказывает о возникновении этой сказки в «Поэзии и правде» (т. 3 наст. изд., с. 375 и коммент.). Название «Новая» предполагает новое воссоздание старинного французского сказочного сюжета о Мелузине — морской фее, вышедшей замуж за рыцаря. Этот сюжет был популярен в Германии и послужил основой немецкой народной книги XV в.

Стр. 320. *Король Экальд* — легендарный король карликов, персонаж из немецкой народной книги «Роговой Зигфрид» (напечатана в 1726 г.).

Стр. 324. *Ренгген Давид* — знаменитый немецкий мебельный мастер XVIII в. Гете познакомился с ним во время путешествия по Рейну в 1774 г.

Стр. 335. *Ведь мы уже видели, как северо-восток двинулся на юго-запад...*— Имеется в виду великое переселение народов IV—VI вв.

Стр. 337. *Йорик* — персонаж из романа «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена» английского романиста Лоренса Стерна (1713—1768), одного из любимых писателей Гете. От лица Йорика написано «Сентиментальное путешествие» Стерна.

Феспидова повозка.— Феспид считается первым афинским трагиком. По словам Горация («Искусство поэзии»), он странствовал со своей повозкой, служившей ему передвижной сценой.

Стр. 339. *...некоторые народы, прославленные постоянством*

и преданностью...— Речь идет о швейцарцах, которых нанимали для личной охраны государей, например, во Франции XVIII в.

Стр. 352. *Христианство предлагает нам в помощь самое отрадное...*— Гете повторяет здесь высказанное раньше, при описании Педагогической провинции (II, 2), отрицание обрядовой религии, ограничиваясь признанием провозглашаемых ею гуманных нравственных правил, и отвергает религиозные легенды о чудесах, связанных с Христом.

...воздвигнутые по всей стране телеграфные вышки...— Имеется в виду оптический телеграф, передававший сообщения посредством установленных на башнях семафоров.

Стр. 353. *Система взаимного обучения.*— Разработана шотландцем Э. Беллом (1753—1832) и англичанином Д. Ланкастером (1778—1838) независимо друг от друга. По ней старшие ученики обучают младших под наблюдением учителя. Гете интересовался этой системой, упоминал о ней в письме в Цельтеру (6 июня 1825 г.).

Стр. 355. *...но как мы будем бороться с бутылкой и книгой...*— Гете ополчается здесь на засилье пустой развлекательной литературы в общественных библиотеках.

Стр. 363. *...она показала мне Пенелопой среди рабынь.*— «Одиссея», I, 357 и сл.

Стр. 364. *«Добрая и Прекрасная».*— Это наименование является переводом древнегреческого определения «калоскагатос» (прекрасно-добрый), обозначавшего цель гармонического физического и нравственного воспитания в древнегреческом обществе.

Стр. 367. *«Альпы» Галлера, «Идиллии» Гесснера, «Весна» Клейста* — образцы описательной поэзии XVIII в., сыгравшей немалую роль в развитии чувства природы. Поэма «Альпы» Альбрехта фон Галлера появилась в 1729 г., «Идиллии» Саломона Гесснера — в 1756 г., а поэма «Весна» в гекзаметрах, принадлежащая Эвальду фон Клейсту, была напечатана в 1749 г.

В эту пору к нам забрел некий путник...— Речь идет о Вильгельме Мейстере.

Стр. 368. *...напомнить нам о главе церкви Лаодикийской и об опасности быть ни холодным и ни горячим...*— Намек на место из новозаветного Апокалипсиса (Откровение святого Иоанна Богослова, 3, 14—15), где упрекается священнослужитель, который «ни холоден, ни горяч».

Стр. 377. *Потом он схватил руку Ленардо...*— Непоследовательность текста: Ленардо начинает говорить о себе в третьем лице.

Стр. 379. *Лотарио с Терезой* — персонажи романа «Годы учения Вильгельма Мейстера».

Стр. 385. *Пусть даже ложь возьмет в науке верх...*— Гете,

по-видимому, имеет в виду теорию цвета великого физика Ньютона (1643—1727), против которой он спорил, оставаясь в меньшинстве.

...ему помогало некое лицо, наделенное удивительным свойством...— Речь идет о способности чутьем распознавать присутствие скрытых под землей металлов, минералов, водных источников. Об этом много писали и ставили эксперименты в начале XIX в. Гете очень интересовался подобными сообщениями, говорил об этом с Эккерманом (7 октября 1827 г.). В романе «Избирательное сродство» Гете наделяет Оттилию подобным даром.

Стр. 386. *Тимон* — афинский гражданин, современник Сократа. Его имя стало нарицательным для человеконенавистника и мизантропа.

Стр. 387. *Вернер* — торговый компаньон отца героя, персонаж из романа «Годы учения Вильгельма Мейстера».

Стр. 392. *Армиллярная сфера* — старинный астрономический прибор сферической формы, состоящий из колец, изображающих небесные круги.

...то были тогда еще не открытые малые планеты.— Действие романа предполагается происходящим до открытия планет Цереры (1801 г.), Паллады (1802 г.), Юноны (1804 г.), Весты (1807 г.).

Энтелехия — понятие, выдвинутое Аристотелем и означающее присутствие в самом предмете его внутренней цели, определяющей его развитие.

Стр. 399. *Кастор и Поллукс* (греч. Полидевк) — в античной мифологии братья-близнецы, сыновья Леды, символ нерасторжимой дружбы. Когда Кастор погиб, согласно одному варианту мифа, Поллукс умолил Зевса позволить ему отдать Кастору половину дарованного бессмертия и через день находиться вместо брата в подземном царстве. Меняясь друг с другом, они постоянно встречаются на середине пути.

ИЗ АРХИВА МАКАРИИ

Стр. 400. *Не было бы проку...*— В основе афоризма — два библейских изречения, с которыми Гете полемизирует: «Дней лет наших — семьдесят лет» (Псалом 90 (89 по православной псалтири), 10), «Мудрость мира сего есть безумие перед богом» (Первое Послание к Коринфянам, 3, 19).

«*Но ведь людям...*» — Этот и одиннадцать следующих афоризмов — цитаты из сочинения «отца медицины» Гиппократ (ок. 460—370 гг. до н. э.) «О распорядке жизни при острых болезнях».

Стр. 401. «*Поскольку мы убеждены...*» — Этот и восемь следующих афоризмов — цитаты из сочинения римского философа-неоплатоника Плотина (204—270) «Энеады».

Стр. 403. *Идеалисты* — здесь: сторонники Платонова учения об идеях, умопостигаемых сущностях, которые являются прообразами всех предметов. В дальнейших афоризмах Гете полемизирует с этим учением, отстаивая наличность духовной формы в самих явлениях и отрицая ее потусторонний характер.

Стр. 404. *Новейшая философия наших западных соседей...* — Гете имеет в виду эклектическое направление во французской философии, выступившее против механистического материализма и сенсуализма просветителей. С основоположником этого направления Виктором Кузеном (1792—1867) Гете был знаком лично; в следующих афоризмах содержится полемика с Кузеном, утверждавшим, что во всех философских школах есть нечто истинное.

Стр. 405. *Слово о том...* — Надпись «Не геометр да не войдет» стояла над воротами Академии (рощи, посвященной герою Академии), в которой учил Платон.

...ипохондриков, юмористов и самоистязателей. — Гете имеет в виду романтиков. Юмористами они названы от слова «юмор» в одном из старых значений: настроение, прихоть. «Самоистязатель» — название комедии греческого драматурга Менандра (342—ок. 290 гг. до н. э.), известной в переработке Теренция.

...величие... сократической школы... — Сократ, пренебрегая вопросами натурфилософии, обратился исключительно к практической этике, стремясь сделать философию «наставницей жизни».

Стр. 407. *Реформация.* — Гете имеет в виду не столько религиозную реформу Лютера, Кальвина и т. д., сколько эпоху Возрождения в целом.

Стр. 410. *Эзотерический* — доступный только посвященным, *экзотерический* — доступный всем.

Арегси (ф р а н ц.) — по терминологии Гете, внезапная гениальная мысль, схватывающая глубочайшие связи и закономерности природы.

Стр. 412. *Веселый естествоиспытатель* — Георг Кристоф Лихтенберг (1742—1799), немецкий естествоиспытатель-физик и писатель-сатирик, в особенности прославленный своими афоризмами. Занимался физическими исследованиями электрических явлений.

...Кант тщательно доказал... — Теорию происхождения солнечной системы Кант выдвинул в своем раннем труде «Всеобщая естественная история и теория неба» (1755).

Стр. 413. *Новооткрытые планеты* — малые планеты, обращающиеся между Марсом и Юпитером. См. коммент. к с. 392.

«Если путешественники...» — Цитата из романа немецкого писателя И.-Г. Шнабеля (1692—1750) «Остров Фельзенбург» — самой известной из немецких робинзонад. Упоминаемый в следующем афо-

ризме *Альберт Юлиус* — персонаж романа, родоначальник семейства, живущего на далеком острове. «Остров Фельзенбург» был переиздан в 1827 г. в переработке Людвиг Тика.

Визвержение Вулкана.— Намек на миф о том, что Юнона, родив Вулкана, бросила его с Олимпа на землю за то, что младенец был некрасив.

Стр. 414. *Теория преморфизма зародыша* — распространенная в естествознании XVII — XVIII вв. теория, учившая, что в зародыше уже имеются все органы будущего живого существа.

Стр. 415. «*Что такое трагедия...*» — Источник этой цитаты исследователями Гете не установлен.

Стр. 416. *Рецитация* — искусство выразительного чтения вслух по написанному.

Стр. 417. *Йорик-Стерн.*— См. коммент. к с. 337.

«*Чистота небес...*» — Этот и пятнадцать следующих афоризмов — цитаты из английского собрания афоризмов «Коран, или Опыты, чувства, характеры и Каллимаховы мелочи, сочинения Триединства» (1770). Во времена Гете это собрание приписывалось Стерну.

Рахиль и Лия — жены библейского патриарха Иакова; любимая им красавица Рахиль родила двоих сыновей, некрасивая и нелюбимая Лия — шестерых сыновей и дочь (Книга Бытие, 29—30).

Стр. 420. *Фридрих Великий* (1712—1786) — был приверженцем всего французского; в своем написанном по-французски сочинении «О немецкой литературе» отзывался о ней весьма пренебрежительно.

Стр 421. «*Шендизм*» — слово, образованное Стерном от фамилии героя его знаменитого романа «Тристрам Шенди» (см. коммент. к с. 337). Определение «шендизма» Гете нашел в изданном в 1775 г. собрании писем Стерна, которое читал в 1826 г. Оттуда же взяты две нижеследующие цитаты из Стерна.

«*По большей части...*» — Источник этой и следующей цитаты исследователями Гете не установлен.

Стр. 422. «*Regeant, qui...*» — афоризм этот, восходящий к римскому грамматiku Элию Донату (IV в.), Гете заимствовал из названного выше английского собрания, как и следующий афоризм (см. коммент. к с. 417).

Автохтон.— Здесь употреблено в мифологическом значении слова, то есть «герой, рожденный Землей».

«*Трудно воспроизвести...*» — Этот и два следующих афоризма также заимствованы из упомянутого выше английского собрания.

СОДЕРЖАНИЕ

ГОДЫ СТРАНСТВИЙ ВИЛЬГЕЛЬМА МЕЙСТЕРА, ИЛИ ОТРЕКАЮЩИЕСЯ

КНИГА ПЕРВАЯ

Глава первая

<i>Бегство в Египет</i> ¹	7
<i>Вильгельм — Натали</i>	10

Глава вторая

<i>Святой Иосиф Второй</i>	12
<i>Посещение Елизаветы Марией</i>	18
<i>Цветок лилии</i>	22

Глава третья

<i>Вильгельм — Натали</i>	24
-------------------------------------	----

Глава четвертая	30
---------------------------	----

Глава пятая	43
-----------------------	----

<i>Безумная скиталица</i>	45
-------------------------------------	----

Глава шестая	56
------------------------	----

<i>Ленардо — тетушке</i>	64
------------------------------------	----

<i>Тетушка — Жюльетте</i>	65
-------------------------------------	----

<i>Жюльетта — тетушке</i>	66
-------------------------------------	----

<i>Герсилия — тетушке</i>	66
-------------------------------------	----

<i>Тетушка — племянницам</i>	68
--	----

<i>Герсилия — тетушке</i>	68
-------------------------------------	----

<i>Тетушка — Герсилии</i>	68
-------------------------------------	----

<i>Вильгельм — Натали</i>	68
-------------------------------------	----

¹ Разделы глав и вставные новеллы, озаглавленные Гете, часто не исчерпывают содержания всей главы. В таких случаях заголовки даются с красной строки.

Глава седьмая	69
Глава восьмая. <i>Кто предатель?</i>	75
Глава девятая	89
Глава десятая	101
Глава одиннадцатая. <i>Смуглолицая девушка</i>	113
Глава двенадцатая	127

КНИГА ВТОРАЯ

Глава первая	132
Глава вторая	140
Глава третья	148
<i>Пятидесятилетний мужчина</i>	148
Глава четвертая	166
Глава пятая	178
Глава шестая	
<i>Вильгельм — Ленардо</i>	197
<i>Вильгельм — аббату</i>	198
Глава седьмая	199
<i>Ленардо — Вильгельму</i>	211
<i>Аббат — Вильгельму</i>	212
Отступление	214
Глава восьмая	214
Глава девятая	227
Глава десятая. <i>Герсилия — Вильгельму</i>	232
Глава одиннадцатая. <i>Вильгельм — Наталии</i>	235

РАЗМЫШЛЕНИЯ В ДУХЕ СТРАННИКОВ 247

«Кто жил, в ничто не обратится!..» 271

КНИГА ТРЕТЬЯ

Глава первая	273
Глава вторая. <i>Герсилия — Вильгельму</i>	281
Глава третья	283
Глава четвертая	293
Глава пятая. <i>Дневник Ленардо</i>	297
Глава шестая	308
<i>Новая Мелузина</i>	309
Глава седьмая. <i>Герсилия — Вильгельму</i>	328
Глава восьмая	329
<i>Опасное пари</i>	329
Глава девятая	334
Глава десятая	341
<i>Не заходи далеко!</i>	342

Глава одиннадцатая	351
Глава двенадцатая	355
Глава тринадцатая	360
<i>Дневник Ленардо (Продолжение)</i>	361
Глава четырнадцатая	379
Глава пятнадцатая	390
Глава шестнадцатая	393
Глава семнадцатая. <i>Герсилия — Вильгельму</i>	396
Глава восемнадцатая	398
ИЗ АРХИВА МАКАРИИ	400
«Стоял я в строгом склепе...»	423
Комментарии <i>А. Аникста</i>	427

Гете Иоганн Вольфганг

Г 44 **Собрание сочинений:** в 10-ти томах. Т. 8. Годы странствий Вильгельма Мейстера, или Отрекающиеся. Пер. с нем. С. Ошерова. Под. общ. ред. А. Аникста и Н. Вильмонта. Комментар. А. Аникста.— М.: Худож. лит., 1979.— 462 с.

В восьмой том входит роман Гете «Годы странствий Вильгельма Мейстера, или Отрекающиеся» (1829).

70304-374
Г 028(01)-79 подписное

И(Нем)

*Иоганн Вольфганг
Гете*
Собрание сочинений
том 8

Редактор
Е. Маркович
Художественный редактор
Л. Калитовская
Технический редактор
О. Ярославцева
Корректоры
Д. Эткина
Т. Крылова

ИБ № 1354

Сдано в набор 28.11.78. Подписано к
печати 26.04.79. Формат 84×108¹/₂.
Бумага типогр. № 1. Гарнитура
«Елизаветинская». Печать высокая.
24,36 усл. печ. л. 26,45 уч.-изд. л.
Тираж 200 000 экз. Заказ 1763. Цена
2 р. 40 к.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.

Полиграфкомбинат им. Я. Коласа Го-
сударственного комитета Белорус-
ской ССР по делам издательств, поли-
графии и книжной торговли. 220005,
Минск, Красная, 23.